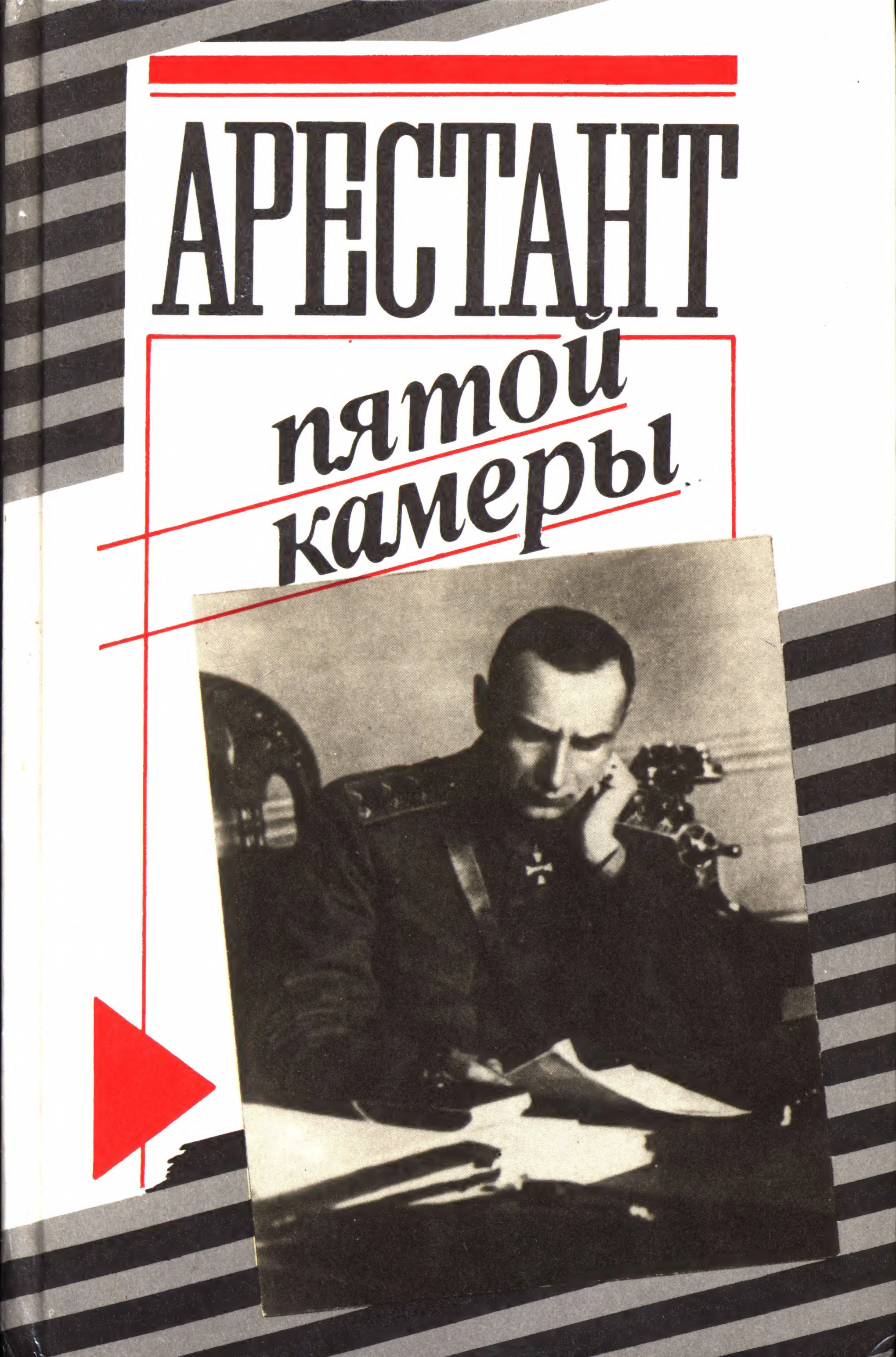
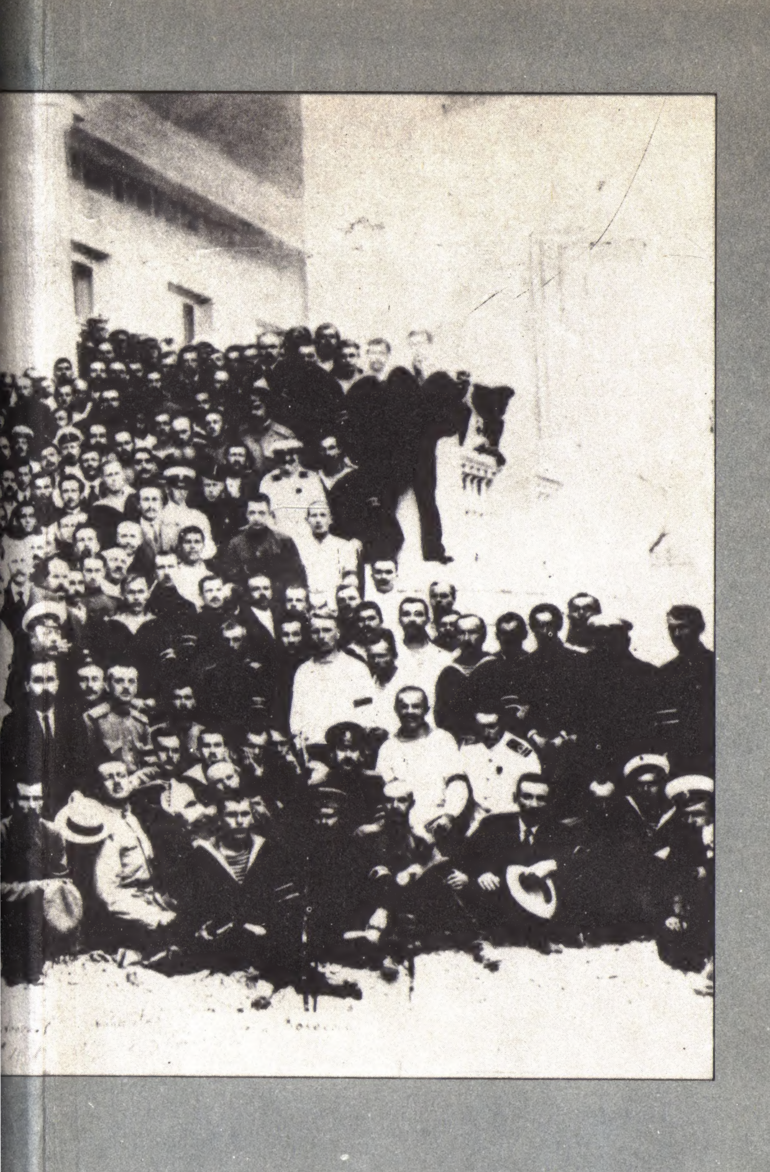


АРЕСТАНТ
пятой
камеры



А. Ф. Керенский и А. В. Колчак
в группе членов Севастопольского
исполнительного комитета.
Май 1917 г.



АРЕСТАНТ пятой камеры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Руководители контрреволюционных войск в Сибири.
Сидят: 1-й слева — генерал Р. Гайда
(один из командующих чехословацкими частями),
рядом — адмирал А. В. Колчак.
Не позднее июля 1919 г.

АРЕСТАНТ
пятой камеры

Дорогой
Григорий Григорьевич!
Спасибо Вам за всё,
что Вы сделали
для меня хорошего!
Постараюсь Вас
не разочаровать.

Ольга.

Юрий КЛАРОВ

Допрос в ИРКУТСКЕ



ДОПРОС КОЛЧАКА

Протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии

21 января — 6 февраля 1920 года

АРЕСТАНТ

пятой камеры

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 84Р7
А80

Арестант пятой камеры.— М.: Политиздат,
А80 1990.— 479 с.: ил.
ISBN 5—250—01405—4

В книгу вошли художественно-публицистическая повесть известного писателя Юрия Кларова и материалы Чрезвычайной следственной комиссии, проводившей допросы Колчака в январе — феврале 1920 года в Иркутске.

Книга рассчитана на массового читателя.

А $\frac{0503020000—355}{079(02)—90}$ КБ—21—3—90 ББК 84Р7+63.3(2)712

ISBN 5—250—01405—4

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее издание составлено из двух книг. Открывает сборник повесть известного писателя Юрия Кларова «Допрос в Иркутске». Широкой популярностью пользуются у читателей такие его произведения, как «Печать и колокол», «Черный треугольник», «Станция назначения — Харьков», «Повесть о следователе», многие исторические приключенческие произведения, а также романы, написанные им в соавторстве с А. Безугловым,— «Конец Хитрова рынка», «В полосе отчуждения», «Покушение» и другие.

«Допрос в Иркутске» увидел свет в 1972 году, когда многие материалы о колчаковщине и, главным образом, о самом адмирале Колчаке не подлежали, мягко выражаясь, широкой огласке. Вышедший в 1925 году в Госиздате Ленинграда стенографический отчет допросов Колчака, производившихся в Иркутске Чрезвычайной следственной комиссией в январе — феврале 1920 года, был изъят из библиотек и потому автор, как, впрочем, и другие писатели, занимающиеся данной темой, мог пользоваться этими материалами лишь по воле случая, если издание сохранилось в частных руках. Вероятно, отсюда и тот особый интерес, с которым читатели встретили в свое время повесть «Допрос в Иркутске».

Несмотря на прошедшие с тех пор почти два десятка лет, остросюжетная повесть Ю. Кларова и сегодня, по нашему мнению, не утратила своего художественного и исторического звучания.

Во второй части книги издательство публикует сам отчет Чрезвычайной следственной комиссии, покинувший спецхран и предоставленный ныне массовому читателю. Мы переиздаем его, ничего не меняя, в том виде, в каком стенографический отчет увидел свет в 1925 году. Стилистика этого документа, его орфография, пунктуация, написание терминов, а также примечания к «Допросу Колчака» сохранены без изменения.

Юрий КЛАРОВ

Допрос в ИРКУТСКЕ

Повесть

У всякого человека есть своя история,
а в истории свои критические моменты:
и о человеке можно безошибочно судить,
только смотря по тому, как он действовал
и каким он являлся в эти моменты...

В. Белинский

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВЦИК И СНК РСФСР «К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ, ИНОРОДЧЕСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ТРУДОВОМУ КАЗАЧЕСТВУ СИБИРИ»

«Товарищи рабочие, крестьяне и все трудящиеся!

Сибирская реакция разбита. Все устои, поддерживающие Колчака, падают, но сибирская реакция пока еще не вырвана с корнем...

Сибирским рабочим и крестьянам необходимо помнить, что остервенелая от злобы буржуазия и ее наемники, отступая сейчас под нашим натиском, еще не оставляют мысли о возобновлении борьбы за удушение рабоче-крестьянской власти...

Рабочие, крестьяне и все трудящиеся Сибири, вам российский пролетариат вручает защиту завоеваний революции и интересов труда в освобожденной Сибири...

Да здравствует Советская Сибирь! Да здравствует Советская Россия! Да здравствует мировая революция!

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
М. Калинин.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (ЛЕНИН).

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
В. Аванесов».

«Правда», 16 августа 1919 года

ИЗ БЕСЕДЫ А. Г. СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВА С ЧЛЕНОМ СИБИРСКОГО БЮРО ЦК РКП(б) И РЕВВОЕНСОВЕТА 5-Й КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ

от 21 ноября 1919 года

Член Бюро ЦК. Если не ошибаюсь, вы кончали Морской корпус?

Стрижак-Васильев. Да.

Член Бюро ЦК. Вместе с Колчаком?

Стрижак-Васильев. Адмирал выпуска 1894 года, а я 1903.

Член Бюро ЦК. Но вы знакомы?

Стрижак-Васильев. Да. Мы встречались дважды: в Порт-Артуре во время Русско-Японской войны и здесь, в Омске, когда после приговора военно-полевого суда меня доставили к Колчаку.

Член Бюро ЦК. Теперь вам предстоит третья встреча, видимо, последняя...

Стрижак-Васильев. Я вас слушаю.

Член Бюро ЦК. Пятой армии поручено освободить всю Западную Сибирь и окончательно ликвидировать колчаковщину. Если золотой поезд — материальная база белогвардейщины, то Колчак — ее знамя. Наша с вами задача — лишить белых и знамени, и материальных возможностей возродить в Сибири контрреволюцию.

Стрижак-Васильев. Насколько я понимаю, речь идет об уничтожении Колчака?

Член Бюро ЦК. Нет, об аресте. Не террористический акт, а приговор. «Верховный правитель» должен предстать перед судом революции и в полной мере ответить за все свои преступления. Только так.

Стрижак-Васильев. В мое распоряжение будет выделена группа?

Член Бюро ЦК. Нет. Переброска через линию фронта группы связана со многими сложностями. Целесообразней использовать для этой цели в тылу Колчака партизанские отряды и подпольные большевистские организации. Как ваше мнение?

Стрижак-Васильев. Пожалуй.

Член Бюро ЦК. Задание, конечно, сложное, но...

Стрижак-Васильев. Я сделаю все, чтобы его выполнить.

Член Бюро ЦК. Мы в этом не сомневались. А теперь давайте займемся чисто практическими вопросами...

СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВ

Разгоревшиеся в конце июля 1919 года ожесточенные бои в районе Челябинска закончились для Колчака очередной неудачей. Фронт белых как ножом был разрезан на две части. Одна группа войск, возглавляемая генералом Беловым, покатилась на юго-восток, другая, еще насчитывавшая в своих рядах сотни тысяч солдат, очистив Урал, поспешно отошла в глубь Сибири.

Неоднократные попытки белого командования перейти в мощное контрнаступление мало что дали: несколько потесненные было красные в середине октября форсировали Тобол. Под ударами частей Пятой армии пали Петропавловск, станции Лебяжья, Марииновка, Драгунская... На очереди была столица Колчакии — Омск.

По плану, разработанному в Реввоенсовете республики и штабе Восточного фронта, Омск предстояло взять Третьей армии. Но командарм Пятой, Михаил Тухачевский, любивший и умевший быть всегда и во всем первым, внес в этот план существенные коррективы... Из Челябинска, где находился штаб Пятой армии, полетели на фронт телеграммы, требующие уточнить обстановку. А 11 ноября начальник 27-й дивизии, глубоко к тому времени вклинившейся в расположение белых, получил директиву командарма Пятой — выбить белых из Омска. И уже 12-го политработники читали перед строем приказ комиссара дивизии:

«Красные орлы! Вы приближаетесь к сердцу колчаковского царства — Омску. Нужно во что бы то ни стало пронзить это сердце, дабы нанести смертельный удар нашему врагу. Омск должен быть наш — советский... Еще напор, еще одно-другое усилие, и генеральско-помещичья свора будет стерта с лица земли.

Красные орлы! Будьте до дерзости смелыми, проявите присущий вам героизм, вихрем ринтесь на гнездо Колчака — Омск и возьмите его, сокрушив живые силы противника...»

И 14 ноября 1919 года, совершив стокилометровый бросок и перейдя по еще не окрепшему льду только что остановившийся Иртыш, 238-й и 240-й полки 27-й дивизии при поддержке восставших рабочих первыми ворвались в Омск.

Командира 240-го Тверского полка, Шрайера, накануне поспорившего, что он будет завтракать в Омске, комиссар дивизии действительно нашел в ресторане

«Европа», где его вместе с группой красноармейцев предупредительно обслуживал ошеломленный официант в черном как воронье крыло фраке. При виде комиссара Шрайер отбросил накрахмаленную салфетку, встал и доложил:

— Директива командарма товарища Тухачевского выполнена: Омск советский.— И тоном радушного хозяина предложил: — Котлеты де-валяй? Бифштекс?

Вечером того же дня город был полностью очищен от сопротивлявшихся белогвардейцев. Немногочисленные части белых, которым посчастливилось вырваться из кольца, отступили на восток.

Столица Колчака пала. На башенке бывшего здания колчаковского «совета министров» (в дореволюционные времена дворец генерал-губернатора, а при Керенском «Дом Свободы») взвился красный флаг.

Поспешно отступая, белые оставили победителям сотни вагонов со снаряжением и боеприпасами, тысячи пленных и сыпной тиф...

Омск напоминал тифозный барак. Больные лежали повсюду: в бесчисленных лечебницах и лазаретах, в Политехническом институте, в гостинице «Деловой двор», в переоборудованном под госпиталь магазине Офицерско-экономического общества; валялись вповалку в коридорах, на лестничных площадках, в подъездах домов...

Двадцать тысяч больных и три тысячи незахороненных трупов. И, докладывая Тухачевскому о положении в городе, начальник санитарной части 27-й дивизии сказал, что, по его мнению, армии грозят потери, намного превышающие число погибших при форсировании Тобола, Ишима и Иртыша. К тем же выводам пришли и в Реввоенсовете Пятой. Началась спешная организация госпиталей и банно-прачечных отрядов.

Тифозная вошь дезорганизовывала тыл и наносила ощутимые удары по фронту, грозя сорвать дальнейшее продвижение красных дивизий. Обосновавшейся в Омске Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом — Чекатифу — были предоставлены диктаторские полномочия. Комиссия произвела мобилизацию врачей, фельдшеров, санитаров, братьев и сестер милосердия и приступила к ликвидации трупов.

Из ближайших сел и заимок потянулись к городу кошевы для выполнения «тифозной повинности». Из них и привлеченного в помощь крестьянам нетрудового населения формировались обозы Чекатифа — обозы смерти.

Трупы вывозили за город, чаще всего за Казачье кладбище, по ночам. В каждую кошеву, в строгом соответствии с инструкцией, грузили не менее десяти и не более пятнадцати покойников — штурмовиков «народного героя» генерала Пепеляева, красильниковцев, уральских казаков, солдат «Московской армии», которым в апреле 1919 года была дарована высокая честь первыми вступить в освобожденную от «красных банд» белокаменную Москву.

Отправлялись в последний путь на розвальнях, запряженных низкорослыми сибирскими лошадками, добровольцы князя Голицына и те, кому не удалось уклониться от мобилизации, прославившиеся своими зверствами анненковцы и выловленные на дальних заимках отрядами особого назначения дезертиры, прозванные в те годы «кустарниками»...

Мерзлая сибирская земля заступам не поддавалась. Поэтому мертвецов сваливали на заранее заготовленные груды валежника, скупо обливали керосином (керосина было мало, очень мало) и поджигали. В черную густоту покрытого сыпью звезд бездонного неба тянулись гигантские языки пламени, а по степи стлался густой дым. Крестьяне-возчики, натужливо кашляя, осеняли себя крестным знамением и, торопливо понукая храпящих лошадей, отправлялись в город за новой партией груза. За ночь полагалось сделать две-три ездки, а иным старательным удавалось и все пять...

Такие же костры, сжигая трупы, вшей и память о Колчакии, окружали огненным ожерельем городки, села, железнодорожные станции, места недавних боев. Вслед за фронтом они все дальше передвигались на восток, к Новониколаевску. По ним безошибочно можно было определить весь путь отхода белых. После Омска Пятая армия вступила в сплошную полосу тифа...

Благодаря стремительным темпам наступления, уже через несколько дней после захвата Омска бывшая столица Колчака перешла в разряд тыловых городов.

Рабочие Первого литейно-механического, автомобильного завода «Энергия» и омские железнодорожники, поднявшие восстание против Колчака во время боев за Омск, сдали свое оружие в комендатуру. Часть из них вступила в Красную Армию и была отправлена на фронт, другие приступили к работе.

В коридорах только что созданного ревкома толпились ходоки от крестьянских съездов, руководители пар-

тийных и профсоюзных ячеек, представители комбедов, волисполкомов и волостных ревкомов, владельцы магазинов, бань, лавок, лекторы, артисты, чиновники, учителя, инженеры, техники. Тут же можно было встретить и бывших солдат белых армий. Пленных оказалось так много, что Реввоенсовет Пятой решил распустить по домам тех, кто был принудительно мобилизован и не скомпрометировал себя участием в зверствах, а таких было немало... Теперь пленные оформляли в ревкоме документы и готовились к отъезду. Некоторых из них ревком направлял на работы по восстановлению разрушенного войной хозяйства, другим предоставлялась возможность искупить свою вину на фронте, в рядах Красной Армии.

Чрезвычайные уполномоченные наркоматов вместе со штабными и ревкомовцами подсчитывали трофеи и ежедневно сообщали в Москву сведения о захваченных у белых паровозах, станках, о вывезенном с Урала заводском оборудовании.

Радостно-возбужденный уполномоченный Наркомпрода, приплясывая от нетерпения возле старенького аппарата Юза, осевшим от простуды голосом кричал дежурному телеграфисту, еще вчера числившемуся среди военнопленных:

— Приготовились, товарищ?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Передавайте: «Сегодня героическому пролетариату Москвы отправлено полторы тысячи туш крупного рогатого скота... В шкурах... Впрочем, «в шкурах» можете не передавать... Налажена бесперебойная доставка с приемных пунктов хлеба... Завтра будет отправлен состав американских консервов».

А на противоположной стороне улицы, в двухэтажном особняке с лепными украшениями, шел сбор пожертвований в фонд Третьего Коммунистического Интернационала и в пользу голодающих рабочих Москвы и Петрограда, а на втором этаже того же особняка сухопарый и жилистый военный в пенсне читал лекцию для трудящихся Омска о международном положении.

У дверей хлебной лавки шумела разношерстная толпа. Мелькали ватники, зипуны, сибирские поддевки, бекеши, платки работниц и меховые шапочки бывших чиновниц, бывших офицерских жен, бывших дам, а ныне нетрудового населения города Омска... Тут же подъехавший на санях бородатый чалдон, исполнявший по ночам тифозную повинность, торговал у худосочной барышни

роскошный граммофон. Бородач впервые видел эту загадочную и хитрую штуку и поэтому не знал, сколько за нее предложить — три фунта сала или четыре?

Немного поодаль, на перекрестке, опасливо поглядывая по сторонам, красноармеец из хозяйственной роты менял отрез красного сукна на самогон. Это сукно в неисчислимом количестве было захвачено в одном из обозов белых. И теперь почти все командиры 27-й дивизии, отныне называвшейся «Омской», щеголяли в красных галифе и гимнастерках. Такая же гимнастерка была преподнесена и командарму.

Город, познавший за время гражданской войны Советскую власть, Временное сибирское правительство, эсеровскую Директорию и диктатуру «верховного правителя» адмирала Колчака, научился быстро применяться к обстановке.

В центре снова вспыхнуло электричество. Из вечера в вечер зажигали фонарщики на окраинах газовые фонари. Запрыгали по обледеневшей и выщербленной мостовой, оглашая улицу хриплыми гудками, автомобили; зазвенели по льду серебристым звоном подковы рысаков. Во дворах вновь появились бродячие шарманщики и предсказатели судьбы. Шарманщики крутили ручки шарманок и пели о любви, а предсказатели обещали омским обывателям деньги, покой и безоблачное счастье...

Время от времени резкие порывы ветра, дующего с Иртыша, заполняли город запахом гари и копоти. Этот запах напоминал о тифе, смерти, вшах и сжигаемых за городом трупах. Но он не в состоянии был не только остановить, но даже замедлить вечное течение жизни. Люди старались забыть, что у них существует обоняние. И это им удавалось. Они не замечали ни запаха гари, ни жирных пятен сажи на снегу. Они хотели жить, и они жили...

И человек в черном полушубке, остановившись возле слепленной ребятишками из грязного снега бабы, вспомнил врезавшиеся в память слова из Екклезиаста:

«Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их уже исчезла, и нет им более части во веки веков ни в чем, что делается под солнцем».

Вместо носа у снежной бабы была гильза от винтовочного патрона. Человек в черном полушубке вытащил из смерзшегося снега гильзу, повертел в пальцах, отшвырнул и подумал, что живому псу все-таки лучше только в том случае, если он не осознает себя псом...

Пройдя по лабиринту узких и кривых переулков, он вышел на главную улицу города — Атаманскую (ревком никак не мог решить, как ее назвать: «Имени Третьего Интернационала», «Улица Реввоенсовета Пятой армии» или «Проспект революции»?). У него было еще полчаса времени, и он шел не спеша, с любопытством присматриваясь к жизни улицы. Не доходя до деревянного моста через Омку, перешел на противоположную сторону и, поймав себя на том, что перешел мостовую наискосок (нет ли филеров?), улыбнулся: привычки, приобретенные за годы подполья, постоянно давали о себе знать. Учитывая, что через несколько дней ему вновь предстоит работать в тылу Колчака, это неплохо. Сколько он был среди своих? Три месяца. В условиях гражданской войны не такой уж маленький отпуск...

С дверей почти всех лавок, расположенных на Атаманской, были сняты повешенные в день прихода красных замки. На пузатых каменных тумбах появились афиши цирка. Открылись столовые, кухмистерские. Только по-прежнему были наглухо забиты досками окна излюбленного офицерами кафешантана «Чалдоночка», где до последнего дня пребывания белых можно было за золото получить все, кроме птичьего молока. Впрочем, птичье молоко вполне заменяли веселые девицы на эстраде. И девицы, и хозяин кафе по приказу комиссара дивизии сразу же после взятия Омска были привлечены к тифозной повинности...

Почти после каждого квартала человека в полушубке останавливали патрули. Настораживал не столько он сам, сколько его одежда. Подобные полушубки считались отличительным признаком анненковских офицеров из полка «черных гусар». Но у «подозрительного» были документы на имя связного Сибирского бюро ЦК РКП (б), а каждый из бойцов Восточного фронта хорошо знал, что такое Сиббюро.

Созданное постановлением Центрального Комитета РКП(б), оно сразу же стало штабом подпольных большевистских организаций и партизанских отрядов.

Армия, возглавляемая Сиббюро, официально не числилась в составе Вооруженных Сил Республики, но она

играла немалую роль в борьбе против Колчака и насчитывала в своих рядах десятки тысяч бойцов. На ее боевом счету были восстание в Омске, вооруженные выступления в Канске, на станции Иланская, беспримерное по мужеству восстание в ночь с 5 на 6 февраля 1919 года рабочих и солдат Енисейска, когда над городом, находившимся в глубоком тылу Колчака, почти месяц реяло Красное знамя, битвы в Славгородском, Змеиногорском и Бийском уездах Алтайской губернии и много других славных дел.

И, возвращая человеку в черном полушубке его документы, патрульный всякий раз почтительно говорил:

— Пожалуйста, товарищ Стрижак-Васильев.

И снова человек в черном полушубке, едва заметно прихрамывая, шел неторопливой походкой по улице, которой товарищи из Омского ревкома никак не могли придумать новое название...

В конце апреля 1919 года, когда один из руководителей подпольного большевистского центра в Сибири, Стрижак-Васильев, бежал по пути к месту расстрела, контрразведкой при ставке «верховного правителя» и управлением государственной охраны немедленно было сообщено об этом всем русским и чешским контрразведпунктам и отделениям. К ориентировочному письму о побеге «крайне опасного политического преступника (подпольная кличка «Американец»)» прилагались фотография и описание внешности. В графе «лицо» кратко указывалось: «обыкновенное». Действительно, судя по фотографии, сделанной то ли в омской тюрьме, то ли в контрразведке (на обороте снимка помечено: «Апрель 1919 г.»), в облике потомственного дворянина, ставшего профессиональным революционером, не было ничего привлекающего внимание. Узкое лицо, неопределенной формы нос, светлые небольшие глаза, в меру высокий и выпуклый лоб, ничем не примечательный рот. Ординарная внешность «человека из толпы», в одинаковой степени типичная как для народного учителя из какого-нибудь захолустья, так и для земского деятеля, мелкого чиновника или тоскующего в провинции офицера. А человеку свойственно — вольно или невольно — втискивать героизм в привычно изукрашенную резьбой воображения витиеватую рамку. И, рассматривая старую фотографию, с которой глядит из далекого прошлого ничем не примечательное усталое лицо, трудно поверить, что за плечами этого человека были напряженные годы подпольной

деятельности, тюрьма, ссылка, организация боевых дружин, эмиграция, Даурский фронт, допросы в контрразведке, работа в Сиббюро ЦК РКП(б).

Между тем внешность Стрижак-Васильева, видимо, как нельзя больше соответствовала требованиям, предъявляемым к облику подпольщика, который ничем не должен был выделяться, дабы не привлекать к себе внимания филеров. Что же касается героизма, то он меньше всего зависим от черт лица. Да и сам термин «героизм» среди революционеров-профессионалов тогда не употреблялся. Его заменяли другими, более приземленными, но зато и более точными: «партийное поручение» и «партийная дисциплина». А выполнение партийных поручений считалось не чем-то из ряда вон выходящим, а привычной повседневной работой. Участие в вооруженных выступлениях, ликвидация провокаторов, стойкость во время пыток и мужество перед казнью — все это воспринималось как само собой разумеющееся и не вызывало ни восхищения, ни удивления. Удивлялись тогда, когда человек вел себя иначе. Но это случалось не часто...

И когда в тот ноябрьский день 1919 года Стрижак-Васильев, предъявив — уже в который раз! — свои документы красноармейцу у подъезда гостиницы «Лондон», вошел в отделанный мрамором просторный вестибюль, у него, видимо, было такое же будничное лицо, как на фотографии. В конце концов, и переход линии фронта, и арест Колчака, и задержание поезда с золотым запасом России — все это почти не выходило за рамки привычного термина «партийное поручение». Да и слово «почти» относилось не столько к самому заданию, сколько к тем отношениям, которые по неизведанным законам случайности сложились между «верховным правителем» Александром Колчаком и связным Сиббюро Стрижак-Васильевым, отношениям странным и, по мнению Стрижак-Васильева, несколько забавным. И в конце 1918 года, когда адмирал Колчак стал диктатором, Стрижак-Васильев в кругу друзей любил вспоминать, как в 1905-м старший лейтенант Колчак по-отечески наставлял мичмана Стрижак-Васильева, позволившего себе высказать в офицерском обществе несколько крамольных фраз... Тогда Колчак был лишь одним из многих офицеров Российского флота. Впрочем, выше того уровня он не поднялся и тогда, когда превратился в «верховного правителя», белую пешку на шахматной доске истории. Белая пешка

не прошла, да и не могла пройти положенного числа клеток, чтобы стать королевой. Но это не помешало ей залить кровью всю Сибирь, и среди этой крови была кровь друзей Стрижак-Васильева: Арнольда Нейбута, Александра Масленникова, Михаила Рабиновича, Павла Вавилова...[1]

В гостинице «Лондон», уютной и комфортабельной, о которой командующий иностранными войсками в Сибири генерал Жанен говорил, что если бы не по-английски уродливые горничные, то ее смело можно было бы называть «Париж», почти весь вестибюль был завален ящиками и мешками с захваченными в колчаковских учреждениях и штабах документами. Возле неразобранных папок с унылым видом расхаживал в сопровождении господина в диагоналевых брюках со штрипками — по всему видно архивариуса — щеголеватый командир из штабных.

— Воевать надо было, а не бумажки писать. Ишь сколько написали! — бурчал штабник, брезгливо тыкая носком сапога в бумажные холмы.— Писатели, мать их за ногу! Я бы всех этих «писателей» через одного к стенке ставил... Вот так, друг ситцевый!.. Верно говорю, а?

— Совершенно справедливо, товарищ краском,— поспешно соглашался господин в диагоналевых брюках.— Совершенно справедливо!

Возле конторки портье два писаря любезничали с миловидной сестрой милосердия. Откидывая назад стриженную «под фокстрот» голову, она так громко взвизгивала, словно ее щекотали.

По узким проходам, через бумажные завалы, ловко лавируя, пробегали порученцы, ординарцы, лекторы, артисты созданного при политотделе дивизии театра, полковые и дивизионные корреспонденты.

Стрекотали пишущие машинки, скрипели новенькие — только что со склада — трофейные ремни портупей, хлопали двери номеров.

Стрижак-Васильев обратил внимание, что на дверях, еще вчера по-младенчески голых, уже висели таблички с надписями: «Политком», «Крестьянская секция подива», «Культурно-просветительная секция», «Завподив»...

На втором этаже гостиницы (номера «люкс») ни шума, ни табличек не было. Здесь размещались работники Сиббюро, которые ведали подпольными большевистскими организациями и партизанскими отрядами в тылу Колчака (с сентября 1919 года функции Сиббюро зна-

чительно расширились: на него были возложены обязанности по организации на освобожденных территориях советских и партийных органов и восстановлению народного хозяйства. Иван Никитович Смирнов выступал в трех лицах: члена Сиббюро ЦК, председателя Сибирского ревкома и члена Реввоенсовета Пятой армии).

Стрижак-Васильев прошел в конец безлюдного коридора и открыл обитую светло-коричневой кожей дверь 21-го номера. В номере никого не было, но на массивном письменном столе белела прижатая бронзовым купидоном записка, которая извещала о том, что хозяин «люкса» находится сейчас у «Никитовича», то есть у И. Н. Смирнова, и будет через 30—40 минут. Стрижак-Васильеву предлагалось использовать время по своему усмотрению. Он мог пообедать («рыба и хлеб в шкафу, а хорошо поищешь, найдешь и что и покрепче — «его же и монаси приемлют»), выпить чаю («чайник там же») или поспать («только не ленись и сними с кровати покрывало — собственность РСФСР»).

В сравнительно короткой записке было четыре синтаксических и три грамматических ошибки... В этом был весь Парубец. В прошлом токарь на заводе Розенкранца, а с 1902 года профессиональный революционер, известный в партийных кружках Москвы и Петрограда под кличкой «Металлист», он никогда не учился ни в гимназии, ни в реальном училище. Это, однако, не помешало ему в совершенстве освоить немецкий язык и довольно сносно французский, свободно ориентироваться в философии, экономике, политике и считаться среди эсдеков признанным авторитетом по аграрному вопросу. Но с грамматикой у Парубца всегда не ладилось... И секрет тут заключался не в отсутствии свободного времени (пять лет тюрьмы и ссылки могли восполнить любые пробелы в образовании), а в своеобразной принципиальной установке. Парубец считал себя рационалистом и подчинял все требованиям «целесообразности». Поэтому он делил знания на две части: нужные революционеру, а следовательно и ему, и не нужные, лишь обременяющие один из важнейших инструментов преобразования мира — голову — ржавчиной бесполезных сведений. Немецкий язык требовался для изучения в оригинале произведений Фейербаха, Гегеля, Маркса, Каутского. Французский — для ознакомления с энциклопедистами и утопистами. В перспективе знание языков могло потребоваться при осуществлении мировой революции. Точно

так же необходимы были философия, экономика, знание военного дела, физическая закалка. А грамматика, поэзия, живопись, музыка — все это лишь отвлекало подпольщика от его главного занятия — революционной деятельности.

С «рационализмом» Парубца и с ним самим Стрижак-Васильев познакомился еще в 1903 году, когда двоюродный брат, студент-политехник, затащил его на квартиру, где собирался кружок эсдековски настроенной молодежи.

На Стрижак-Васильева всегда, а особенно в молодости, производили впечатление не столько теории, сколько воплощавшие их люди. А руководитель кружка — широкоплечий, в лопающейся на груди атлета суконной косоворотке, с уверенными жестами — как будто специально был создан для того, чтобы поражать юношеское воображение.

— Если хотите из подмастерьев революции стать ее мастерами,— гремел Парубец,— отбросьте все лишнее, все, что вам мешает!

И сам Парубец умел «отбрасывать лишнее». Уже много лет спустя, когда Стрижак-Васильев отбывал вместе с ним ссылку в Мезени, он не переставал поражаться последовательности Андрея не только в большом, но и в малом. Пожалуй, тот был единственным в колонии ссыльным, который никогда не отвлекался ни на что с его точки зрения бесполезное. Он «просто так» не ходил в гости («Общение оправдано лишь тогда, когда имеет рационалистическую нагрузку»), почти не читал художественную литературу, отказывался от участия в редких вечеринках, вносивших хоть какое-то разнообразие в постылую жизнь ссыльных, и избегал политических дискуссий («Зачем? Я заранее знаю, кто что будет говорить. Эсеры обзовут нас «ленинскими молодцами». Меньшевики поорут о «сектантах», «революционных алхимиках» и «ура-революционерах». Потом, как положено, выступит кто-нибудь из наших и обругает их. А когда исчерпаете все аргументы, то запоете «Сибирскую кандальную»: «Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль. Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...» Верно?.. Так ты лучше спой соло и займись гирями. Очень хорошо плечевой пояс развивают, а это всегда пригодится...»)

Стрижак-Васильев окинул взглядом комнату и, обнаружив под кроватью двухпудовую гирю, улыбнулся:

Андрей был по-прежнему верен себе. «Неужто он привез эту гирю из Челябинска? С него станется...»

Хотя Парубец обживал номер всего второй день, казалось, что он поселился здесь давно. Обе комнаты, ничем не похожие на те, которые он занимал в Челябинске, тем не менее чем-то напоминали его прежнее жилье.

Стрижак-Васильев разделся, отыскав пепельницу, закурил. На овальном столике у окна лежала кипа гранок. Они предназначались для первых номеров газеты «Советская Сибирь».

Он взял несколько лент пористой, шершавой бумаги со вдавленными буквами. Среди фронтовых сводок, корреспонденций о борьбе с тифом были список расстрелянных колчаковцами партийных и советских работников во главе с Нейбутом и письмо Масленникова, Рабиновича и Вавилова, переданное ими из омской тюрьмы накануне казни. Когда Стрижак-Васильева в апреле 19-го доставили из иркутской тюрьмы в омскую, всех троих уже не было в живых. О письме он знал от своего соседа по камере. Теперь ему представилась возможность прочесть письмо...

«...Мы верим, что недалек тот час, когда весь мир сольется в общей борьбе с Великой Российской революцией против угнетателей и паразитов. («Как рассказывал очевидец расстрела, Михаил Рабинович во время залпа был только ранен и его потом добивали...»)

Мы верим, несмотря на то, что царские холопы во главе с Колчаком железом и кровью стремятся задушить малейшее проявление живого дела освобождения... Уже сейчас вся Сибирь покрыта сетью восстаний крестьянских масс. Несмотря на дикую расправу белогвардейской сволочи, вплоть до сжигания и уничтожения целых семей, революционное движение растет все шире и шире!..

Умирая в момент напряженной борьбы рабочего класса с мировой буржуазией, зная, что через день нас уже не будет в живых, мы с радостью умираем за рабочее дело освобождения рабочих и крестьян».

«Радость» и «умирать»... Трудно было найти два других столь несопоставимых слова. Чья эта фраза? Рабиновича, Вавилова, Масленникова? Скорей всего, Масленникова, неистового Саши Масленникова, бывшего студента Петербургского университета, бородача с улыбкой ребенка и по-детски наивными глазами за щитком

старомодных очков в металлической оправе. В конце 18-го Масленников сломал оправу и подвязывал дужку очков ниткой. Выступая на конференциях и собраниях, Масленников обычно снимал очки и вертел их в руках или клал в карман пиджака. Видимо, он снял очки и перед тем, как прозвучала короткая команда «пли»...

«С радостью умираем...»

В отличие от сдержанного и суховатого Нейбута и «рационалиста» Парубца Масленников увлекался поэзией и любил сравнивать русскую революцию с гениальной поэмой. «С радостью умираем» — было одной из строчек этой поэмы...

«Мы знаем,— читал Стрижак-Васильев,— что борьба требует жертв, и мы жертвуем себя: нисколько не жалеем своих жизней («Опять Масленников!»), ибо глубоко верим в грядущую Всемирную Социалистическую революцию и в конечную победу рабочего класса... Просим товарищей не скорбеть о нашем уходе из мира сего, а просим продолжать наше будущее дело борьбы с буржуазной сволочью.

Да здравствует власть Советов!..»

Стрижак-Васильев бережно положил короткую полоску бумаги на столик, разгладил ладонью. Саднили занозой засевшие в памяти слова из Екклезиаста: «...Память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их уже исчезла...» Исчезла ли? То, чем жили мертвые, остается живым. И Арнольд Нейбут, и Масленников, и Рабинович, и Павел Вавилов не растворились в небытии. Они живут в нем, Стрижак-Васильеве, в Андрее Парубце, в тысячах других коммунистов, которые продолжают их дело, их любовь и их ненависть. Иначе все было бы слишком несправедливо и бессмысленно.

За окном шел снег. Мелькали и исчезали снежинки. Скрипнула дверь тамбура, вошел Парубец.

— Давно ждешь?

— Нет, только вошел.

На Парубце был френч цвета «хаки» и бриджи. Военная форма сидела на его ладно скроенной мускулистой фигуре как влитая, подчеркивая линию плеч и гибкость талии. Ему было около сорока, но, несмотря на седину и глубокую вертикальную морщину, рассекающую на две части низкий и широкий лоб, он выглядел значительно моложе своих лет. В серых под куцыми бровями глазах угадывалось добродушие сильного человека и легкий скептицизм — неизбежная дань возрасту.

— Смотрю, все стареешь?

— Ничего, когда наши возьмут Иркутск и Читу, начну молодеть,— пообещал Парубец.

— Перед Иркутском еще Новониколаевск и Красноярск, Андрюша...

— Ну, Новониколаевск — это дело дней,— уверенно сказал Парубец.

Здороваясь, он так сильно сжал руку, что Стрижак-Васильев невольно поморщился.

— Учти, я же гирями не занимался...

— Извини,— не без самодовольства усмехнулся Парубец.— На будущее учту.— И, увидев у Стрижак-Васильева гранки, сказал: — Хотел тебя попросить дополнить статью о Нейбуте, но ты теперь не успеешь.

— Почему?

— Пришлось пересмотреть сроки...

— Когда?

Видимо, вопрос прозвучал слишком резко. Парубец удивленно взглянул на Стрижак-Васильева и сказал:

— Через линию фронта тебя перебросят этой ночью, часа в три-четыре, под утро...— И, отвечая на невысказанный вопрос, объяснил: — Наши здорово жмут. Еще несколько дней, и застрянешь в пути, а то и фронт догонит. Тогда вообще все насмарку...

После побега раненый Стрижак-Васильев скрывался месяц в домике фельдшера Граевского. Сегодня он узнал, что Граевский за несколько дней до отступления белых из Омска был расстрелян, и как раз завтра собирался навестить его семью.

Парубец записал адрес Граевских.

— О них можешь не беспокоиться: все, что нужно, сделаю. Записку хочешь написать?

— Хочу.

Стрижак-Васильев написал несколько фраз, передал Парубцу.

— Ну, один камень с души снял?

— Снял.

— А еще много осталось?

— Порядочно. Ты же знаешь, что у меня не душа, а каменоломня...

— Если что-нибудь от меня зависит...

— Остальное, Андрюша, от тебя не зависит и от меня тоже...

— Интеллигентщина?

— Она самая.

Парубец крякнул, почесал висок.

— Мой тебе совет, Леша: кончится война, женись на ядреной бабе, малограмотной, от сохи, и наплоди с ней кучу детей, штук восемь-десять. Они тебе все камни расчистят.

— Попробую.

— Обязательно попробуй,— внушительно сказал Парубец и спросил: — Собраться успеешь?

— Мои сборы короткие: все движимое имущество на себе и при себе.

— Документы в паспортном бюро получил?

— Да, на имя капитана полка «черных гусар».

— Подлинные?

— «Липа». Но добротная.

— Чего ж они тебя с чином обошли? — пошутил Парубец.— Я бы полковника и то не пожалел.

— Я не чинодрал. Чего тебя Смирнов вызывал?

— По поводу твоей переброски. Кстати, предлагает мне перейти в политотдел армии.

— Согласился?

— Пока нет. Просил у него, чтобы меня вместе с тобой отправили. Пустой номер...

Парубец достал из кармана трубку, набил табаком, щурясь, закурил.

— Проводник у тебя будет опытный, из местных, все тропинки и тропочки наперечет знает...

— Ну, переход линии фронта в этой ситуации не проблема. А вот как с явками?

— С явками хуже,— признался Парубец, старательно раскуривая трубку.— Плохо с явками. Адреса старые: живы люди, нет ли — неизвестно. Наиболее надежно в Новониколаевске, а в Красноярске и Иркутске — шатко...

— Связь установить не удалось?

— Практически нет,— виновато сказал Парубец.— На фронте такая кутерьма, что о постоянной связи с подпольем можно только мечтать. Информацию получаем от случая к случаю. Сам знаешь, какое положение. Еще с прифронтовыми районами туда-сюда, а чуть глубже — полопались ниточки... Но из двадцати явок пять или, на худой конец, три должны тебе что-то дать?

— По теории вероятности должны,— согласился Стрижак-Васильев.— «Совет министров» в Иркутске?

— В Иркутске. А поезд «верховного» и поезд с золотом отходят вместе с эшелонами штаба фронта. Сейчас

адмирал находится в Новониколаевске, но ты его там, видимо, уже не застанешь. Так что ориентировка прежняя: Красноярск или Иркутск. И там и там обстановка взрывная: эсеры и те зашевелились. Есть данные о подготовке восстания, но это скорей всего слухи: судя по всему, эсеры выдохлись окончательно...

Парубец располагал самыми различными документами, начиная от сводок контрразведки и кончая личными письмами колчаковских чиновников и офицеров, но обстановка менялась не только с каждым днем, но и с каждым часом. Поэтому значительная часть содержавшихся в них сведений успела устареть. И Парубец это понимал не хуже Стрижак-Васильева...

— С примерной дислокацией партизанских соединений познакомишь?

— Обязательно. Кстати, учти, что мы сейчас уделяем особое внимание согласованности действий партизанских отрядов с частями Пятой армии. В частности, все партизанские соединения в районах Ачинска и Иркутска, видимо, будут подчинены начальнику одной из дивизий армии.

Парубец достал потертую на сгибах карту и разложил ее на письменном столе.

— Начнем с Иркутска,—предложил Стрижак-Васильев.

— Давай с Иркутска.

Острие карандаша ткнулось немного повыше маленькой точки — села Усть-Кут. Где-то здесь проходила зигзагообразная линия Северо-Восточного фронта красных партизан Сибири. Низовье Ангары, бассейн Илима, Илимо-Ленское междуречье...

— Кстати, ты Екклезиаст читал?

— Нет, конечно. А что, прочесть?

— Пожалуй, ни к чему,— сказал Стрижак-Васильев и, помолчав, добавил: — Нерационально.

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ИРКУТСКА

«Чрезвычайная, вне всякой очереди. Поезд верховного правителя до места нахождения...

Политическую обстановку считаю угрожающей... Иллюзиям предаваться нельзя, ибо почва для восстаний благоприятна. Чехи и прочие иностранцы обнаруживают растерянность, их действия нервозны и больше чем бестактны... Чехи, понимая безвыходность положения, не желая воевать,— мечутся между эсерами и большевиками, боясь активных выступлений... Они выражают полное недоверие к тому, что существующая власть способна остановить напор большевиков и уберечь страну от анархии. Такое недоверие к власти считаю типичным. Падение престижа правительства при опасных факторах народного недовольства — это всегда готовый взрыв порохового погреба...

Главуправдел Гинс[2]. № 1156 (без даты)».

СВОДКИ КОНТРРАЗВЕДКИ

«Внешняя дисциплина солдат Новониколаевского гарнизона, в частности военного городка, начинает понижаться. Внутренняя дисциплина совершенно отсутствует... Настроение офицеров местного гарнизона весьма подавленное, в особенности у тех, которые приехали с фронта и проживают в г. Новониколаевске...

Начальник Новониколаевского отделения контрразведки
(подпись неразборчива) 30/XI 1919 г.».

«...Торговопромышленники недостаточно точно еще разбираются, какой грозный момент переживает сейчас армия. Помощь с их стороны будет весьма незначительна...

Начальник Иркутского отделения контрразведки
штабс-капитан Черепанов. 6/XII 1919 г.».

«Настроение тревожное связи отходом армии...

Начконтрразпункта прапорщик Кытманов.
8/XII 1919 г., № 581, Енисейск».

«По полученным Ачинска сведениям, двадцать девятом Сибирском полку, расквартированном Ачинске, готовится восстание...

Начконтрразпункта Пикулевич.
5/XII 1919 г. № 300».

«3 декабря фельдфебель, десять пулеметчиков 55-го Сибирского полка одним орудием — 7000 патронов перешли к красным на Тасеевском фронте.

Начконтрразпункта поручик Лысков.
9/XII 1919 г. № 1329. Канск».

«...Слухи... разнообразны, часто противоречат друг другу, но в разных вариациях ясно звучит общая усталость, жажда мира, покоя. Но это было бы еще полгоря, а главное то, что потеряна надежда на победу, надежда, без которой немыслим успех никакого дела...

Донесение сотрудника —
инструктора осведомительного отдела Лепорского
о городских слухах и настроениях
от 1/XII 1919 г., Новониколаевск».

ОМСК — НОВОНИКОЛАЕВСК — ИРКУТСК

Пытаясь спасти армию от полного уничтожения, Колчак в начале декабря приказал генералу Каппелю оставить на фронте только заслоны, а главные силы отвести в тыл для отдыха и пополнения. Но это уже было неосуществимо. Последний месяц 1919 года фактически стал последним месяцем существования колчаковщины. Сметая заслоны, красные стремительно рвались вперед, настигая и громя отходящие дивизии. По левому флангу фронта из охваченных восстанием районов наносили сокрушительные удары мощные партизанские отряды. Такие же отряды действовали в тылу. Кроме того, для выполнения директивы «верховного правителя» Каппелю необходима была железная дорога, а он ею не мог воспользоваться... По приказу командующего войсками интервентов генерала Жанена, установившего порядок эвакуации воинских эшелонов, первыми по Транссибирской магистрали отходили чехи и американцы, за ними румыны, итальянцы, сербы, поляки и лишь в последнюю очередь — русские. Воспользовавшись этим приказом, союзники задерживали не только воинские эшелоны, но и поезда с ранеными, больными и беженцами. Дело дошло до того, что чешские легионеры попытались отобрать паровоз у одного из поездов ставки «верховного правителя». Это переполнило чашу терпения... Генерал Каппель, которому Колчак поручил призвать чехов — «наших военнопленных» к порядку, направил командиру корпуса Яну Сыровому возмущенную телеграмму. Телеграмма заканчивалась вызовом на дуэль... Но, как и следовало ожидать, это впечатления не произвело. Флегматичный Сыровой тут же ответил «брату-генералу Капелю», что охотно принимает его вызов... но только после полной эвакуации чешских войск из Сибири. И в том порядке, в каком это предусмотрено генералом Жаненом...

Не изменила положения и угроза читинского самодержца атамана Семенова («В случае неисполнения вами этого требования я с болью в сердце пойду и всей имеющейся в моем распоряжении вооруженной силой заставлю вас исполнить ваш долг перед человечеством и замученной сестрой вашей — Россией»).

Чешское командование не верило ни в «сердечную боль» живущего на содержании у японцев атамана, ни в боеспособность его отрядов. Кроме того, еще в ноябре,

когда крах белого движения не вызывал уже серьезных сомнений, всем союзным державам был разослан чешский меморандум, в котором говорилось, что чехи не собираются дальше поддерживать Колчака и их единственная цель — возвращение на родину. Поэтому ответ на угрозу был предельно краток — «Попробуйте...».

И на рельсах Транссибирской магистрали по-прежнему безжизненно застывали, покрываясь толстой ледяной коркой, русские эшелоны. Неслись над тайгой, обрываясь на самой высокой ноте, гудки паровозов.

Кладбище на колесах беспрерывно пополнялось новыми составами. В декабре, начиная от Новониколаевска, уже вся железная дорога до самого горизонта была забита брошенными вагонами и открытыми платформами с вывезенными с Урала машинами и станками, со снаряжением, боеприпасами и людьми...

Стояли в безмолвии вросшие в ледяные горы нечистот и превратившиеся в морги санитарные поезда. Свистел ветер в проломленных стенах вагонов, забивая сухим и колючим снегом жерла пушек, врывался сквозь выбитые стекла в купе, наметая сугробы на брошенные чемоданы, баулы и корзины, с безразличным милосердием прикрывал глаза умершим...

Хоронить погибших в пути было некогда, но бросать их под откос все-таки не решались. С богом и совестью шли на компромисс: наскоро прочитав молитву, складывали тела штабелями в теплушках и товарных вагонах. Авось кто и похоронит, свет не без добрых людей... Надеясь на то же всемогущее «авось», покидали заиндевевшие поезда и, закутавшись по глаза, брели на восток.

На привалах ломали вагоны, разжигали костры, грелись, складывали в теплушках вновь преставившихся и снова шли на восток, подгоняемые ветром и призрачной надеждой на спасение.

Туда же в глубь Сибири отступали воинские части. Избегая встреч с крупными партизанскими соединениями, отходили по старому Сибирскому тракту и проселочным дорогам тысячи солдат и офицеров. Шли пешком. Ехали на реквизированных в селах подводах. Окоченевшие от мороза и злобы, расстреливали в тюрьмах политических заключенных, закалывали штыками пленных, дотла выжигали партизанские селения. Заподозренным в большевизме мужчинам выкалывали глаза, женщинам отрезали груди.

Когда случалось выходить на линию железной дороги, отбирали у беженцев теплые вещи и лошадей, вешали на телеграфных столбах и привязывали обнаженными к паровозным трубам железнодорожных рабочих, при случае обстреливали эшелоны захвативших дорогу союзников...

Если бы Стрижак-Васильев покинул Омск несколькими днями позже, уже после подписания Жаненом приказа о порядке эвакуации, он бы наверняка застрял где-то в пути.

А перейдя линию фронта 23 ноября, он выиграл не только время, но и получил возможность попасть в поезд.

Пристроил его русский комендант маленькой станции,— судя по шеврону на рукаве полушубка (скрещенные револьверы по красному полю), офицер Ижевской дивизии. С начала 19-го года все железнодорожные комендатуры на крупных станциях Сибири комплектовались из чешских легионеров, которые по соглашению с белогвардейским командованием несли охрану дороги, и только кое-где на полустанках обосновались русские, чаще всего отдыхавшие здесь после выписки из госпиталя. Но уже к декабрю генерал Сыровой «в целях обеспечения бесперебойной работы дороги» заменил их чехами. По словам ижевца, он уже получил предписание чешского командования, но только не торопился выполнять его.

Семья коменданта жила в Новониколаевске. И, проникнувшись к Стрижак-Васильеву доверием, которое, видимо, объяснялось не только внезапно вспыхнувшей симпатией, но и изрядным количеством выпитого спирта, комендант пообещал устроить его в теплушку и попросил передать письмо жене.

— Пусть немедля уезжает к тетке в Хабаровск! Немедля! До Хабаровска они не скоро доберутся...— лихорадочно говорил он, и его заросшее щетиной лицо дергалось при каждом слове так, словно он силился, но не мог улыбнуться.

— Но генерал Каппель заявил, что Новониколаевск не будет сдан ни при каких условиях...

— Бросьте, капитан, бросьте! И вы в это не верите, и я в это не верю. Вышибут и из Новониколаевска, и из Красноярска... Крышка, капитан! Проплевали Сибирь (он высказался более энергично). Все в тартарары летит. Осталась лишь одна игра в солдатики. И если ваш

покорный слуга до сих пор не дезертировал, то только потому, что он фаталист...

— Я вас не понимаю...

— Если останетесь живы и сделаетесь в Париже шофером или сутенером — что я вам от души желаю как офицер офицеру,—поймете... Проплевали Сибирь, проплевали.. — Он выругался, вытащил из-под стола бутылку со спиртом и протянул Стрижак-Васильеву.— Валюта... А лучше пейте сами... В наше время вольготно и весело живется на Руси только пьяному... Так, Шевчук? — обратился он к вошедшему солдату.

— А на Руси пьяному завсегда вольготно,— рассудительно сказал солдат с тем оттенком панибратства, который всегда был характерен для отношений между офицерами и солдатами Ижевской дивизии, считавшейся самой либеральной, но зато и самой стойкой в армии.— Пьяному, Григорий Митрофанович, извините за выражение, и помирать легше. Весело пьяному помирать...

— Глас народа, капитан,— заключил ижевец и приказал солдату определить «господина капитана» в «беженскую теплушку» 217-го смешанного эшелона.

— А если не пожелают?

— То есть как? — удивился комендант. И, облизнув потрескавшиеся губы, сказал: — Если не откроют, дайте очередь из «льюиса», короткую.— И деловито посоветовал: — Только соблюдайте дистанцию: возможен рикошет.

Впрочем, посадка обошлась без стрельбы: «черного гусара» приняли в теплушке если и не радушно, то терпимо.

«Коренное население» здесь составляла семья екатеринбургского заводчика Прошина: сам Прошин, пожилой господин лет шестидесяти, его жена, выглядевшая на все семьдесят, больная тифом невестка (сын Прошина — офицер пропал без вести где-то под Челябинском) и старик камердинер. Кроме хозяев, в теплушке ехали молчаливый чиновник — то ли из министерства юстиции, то ли из акцизного управления — и желчный штабс-капитан с колючими, как иглы ежа, усами.

Прошины почти полгода жили на колесах и хорошо обжили теплушку. На крыше были аккуратно сложены дрова, под вагоном размещался походный курятник («Платил не бумажками, золотом, но зато и сработали на славу»,— хвастался Прошин). Окна теплушки и ку-

рятник были защищены от непрошеного вторжения массивными железными решетками, пол устлан толстым ковром. Диванчик, две кровати, нары, на утепленных стенах — остатки дорогих обоев. Эти обои, втиснутый у дверей умывальник красного дерева и ночные горшки до крайности раздражали желчного штабс-капитана. Штабс-капитан был «учредиловцем», то есть одним из тех, кто восстал против большевиков под эсеровскими лозунгами Уфимской директории. Но за время пребывания на фронте и в госпитале он успел возненавидеть не только Колчака, «растоптавшего демократию», но и эсеров, земцев, крестьян — всю Россию.

Умывальник, ночные горшки и обои действовали на него, как красная тряпка на быка.

— Хотите знать, господин капитан, за что умирают доблестные солдаты и офицеры «первого гражданина возрождающейся России»? — спрашивал он негромко, но так, чтобы его хорошо было слышно хозяевам.— Вот за это-с.— Он стучал согнутым пальцем по стенке вагона.— И вот за это-с.— Он кивал в сторону умывальника.— А может быть, вы желаете видеть знамя белого движения, его, так сказать, сердцевину в представлении имущих слоев нашей горячо любимой родины?.. Пожалуйста, пожалуйста...— Штабс-капитан нагибался и изящным жестом циркового фокусника доставал из-под диванчика ночной горшок и торжественно поднимал его над головой.— Прошу-с. Вот он, ничем не запятнанный флаг. Какое великолепие, не правда ли? Обратите внимание на белизну, блеск и величавую красоту простых, но выразительных линий. Ну кто же не отдаст за него с радостью свою жизнь? Кто-с, я вас спрашиваю?

Прошина, неподвижно сидевшая часами у «буржуйки» и зябко кутавшаяся в лисий салоп, отворачивалась, делая вид, что не слышит, чиновник смущенно сморкался, камердинер сопел, а Прошин тоненьким, сверлящим голосом говорил:

— Позвольте, господин штабс-капитан, если вам все это так мешает, почему бы вам не перейти к своим друзьям в другой вагон? Мы очень ценим ваше общество, но еще нам дороже ваше душевное равновесие... Вы же наш гость...

— Пардон, мосье,— переходил на французский штабс-капитан,— милль пардон!

Штабс-капитан страдал бессонницей и по ночам затевал нескончаемые споры на политические темы с под-

севшими на очередной станции двумя восемнадцатилетними, похожими друг на друга, как близнецы, прапорщиками. Оба были добровольцами, оба боготворили Колчака, мечтали о восстановлении монархии и по-настоящему еще не нюхали пороха. Именно поэтому штабс-капитан и счел их за благодатный материал для необходимой ему мишени.

Он доводил мальчишек до белого каления, и Стрижак-Васильев опасался, как бы это плохо не кончилось. Действительно, после одной из стычек, когда штабс-капитан заявил, что разница между «верховным правителем» и чирьем на заднице не столь велика, как это может показаться с первого взгляда, прапорщики попытались выбросить его из вагона на ходу поезда. Однако штабс-капитан вырвался и, выхватив из вещевого мешка гранату, пообещал взорвать «весь хлев».

После этого случая он несколько утихомирился и стал пропадать часами в соседней теплушке. Оттуда он приходил, едва держась на ногах, и сваливался на свои нары. Иногда его сопровождал толстый офицер с оплывшим лицом и гноящимися глазами, который отрекомендовался Стрижак-Васильеву фронтовым другом штабс-капитана. После двух-трех стаканов самогона брыли щек «фронтового друга» розовели, и он начинал предаваться воспоминаниям. По его словам, он находился в окопах с первого дня мировой войны и, когда генералу Брусилову требовался надежный офицер для лихого дела, он вызывал только его. Кроме того, «фронтовой друг» был любимцем дам, и даже любовница Колчака, Анна Васильевна Сафонова-Тимирева — и та питала к нему нежные чувства, но он ради спокойствия «верховного правителя» безжалостно разбил ее сердце и снова уехал на фронт сражаться с «красной гидрой».

Штабс-капитан слушал его с непроницаемым лицом, а когда «фронтовой друг» засыпал или уходил к себе, объяснял Стрижак-Васильеву, что «этот хряк» никогда на фронте не был, а служил в интендантстве.

Иногда в теплушку приходили и другие офицеры, ехавшие в этом же эшелоне. И тогда дым шел коромыслом. Напившись, пели песни, целовались, плакали, ругались. Порой дело доходило до безобразных драк. В седьмой теплушке группа офицеров изнасиловала сестру милосердия, сопровождавшую тяжелораненых,

Не перенеся позора, молодая женщина бросилась под поезд...

Стрижак-Васильев, занимавшийся в омском подполье преимущественно политической и военной разведкой (добываемая им информация поступала не только в подпольный центр, но и в Сиббюро ЦК и Реввоенсовет Восточного фронта), хорошо знал белое офицерство. Коммерсант, занимающийся поставкой обмундирования для армии — а в деловых кругах Омска он выступал именно в этой роли,— общался не только с военными чиновниками, но и со штабными, начальниками училищ и командирами воинских частей. Было у него много «случайных знакомств», которые завязывались в коммерческом клубе, офицерском собрании, на званых обедах и ужинах.

Колчаковское офицерство никогда не являлось однородным. В армию адмирала попали бывшие эсеры, зачастую недоброжелательно настроенные к «верховному правителю», узурпировавшему власть, принадлежащую Учредительному собранию; крайние монархисты; озлобленные и напуганные революцией обыватели; продажные ландскнехты, для которых убийство стало профессией и источником существования; запутавшиеся в противоречиях интеллигенты; военные, привыкшие не рассуждать, а лишь выполнять команды.

Здесь были откровенные уголовники и «идейные борцы за великую и неделимую Россию», садисты, черносотенцы и те, кто безуспешно пытался сохранить человеческое подобие и убедить себя, что он, сражаясь против большевиков, отстаивает цивилизацию. Но у всех у них был какой-то стержень — дисциплина, убежденность, субординация, офицерская честь, представление о дозволенном и недозволенном. Теперь этот стержень сломался. Одновременно рассыпалась в прах и хрупкая оболочка показной благопристойности. Обезумевший от страха скот вырвался наружу. Офицерство исчезло, превратившись в банду убийц, насильников, воров и психопатов. В официальных документах это называлось разложением. И Стрижак-Васильев ощущал запах этого разложения, тяжелый, зловонный, вызывающий тошноту. Присутствуя при разговорах, происходивших в теплушке, при пьянках, драках, он только усилием воли сохранял необходимое хладнокровие.

Подпольщик, как и всякий человек, имеет право на эмоции, но пользоваться этим правом он может отнюдь не всегда. Кажется, слова эти принадлежали Арнольду

Нейбуту, а может быть, Парубцу или Михаилу Рабиновичу. Но как бы то ни было, а они достаточно четко формулировали требования, предъявляемые к подпольщику. И Стрижак-Васильев никогда не злоупотреблял естественным правом на эмоции. Да и помимо всего, в теплушке с походным курятником и остатком обоев на стенах не было никакого Стрижак-Васильева. Стрижак-Васильев остался в освобожденном Пятой армией Омске, а здесь находился монархист, анненковец, кадровый офицер, который хотя и брезговал карательными акциями, но тем не менее, подчиняясь присяге и необходимости, неоднократно принимал в них участие. И, не одобряя разнузданности, он относился к происходящему как к печальному, но, впрочем, вполне понятному и простительному явлению. И если анненковец мало пил, то объяснялось это не пренебрежением к офицерскому обществу, а контузией. В остальном же он ничем не выделялся среди других офицеров эшелона, стремившихся поскорей попасть в Новониколаевск, город, который генерал Каппель обещал превратить в грозную крепость.

Новониколаевск. Там находились штабы Второй и Третьей армий, резервы фронта, собранная в кулак тяжелая артиллерия, чешские полки, ломящиеся от добра склады союзников. Там можно было наконец передохнуть, осмотреться, привести себя в порядок. А потом... Но стоит ли думать над тем, что будет потом?

Ночью, не доезжая двадцати верст до станции Чулымская, поезд внезапно остановился. Ни разъездов, ни станций здесь не было. Один из прапорщиков отправился выяснять причину остановки. Через несколько минут после того, как он выскочил из теплушки, застучали выстрелы.

Штабс-капитан, спавший, казалось, беспробудным сном, молниеносно вскочил с нар, задул керосиновую лампу и задвинул засов на двери. Видимо, как и у всех пессимистов, у него был достаточно хорошо развит инстинкт самосохранения...

— Завидую вашей резвости,— сказал Стрижак-Васильев.

— Ну, умереть и жениться никогда не поздно...— огрызнулся тот.— Повстанцы?

— Наверно.

Штабс-капитан выругался, а Стрижак-Васильев подумал, что самым глупым было бы погибнуть сейчас от

партизанской пули и в обличье белогвардейского офицера.

Поезд дернулся, проехал немного назад и вновь остановился.

— Что же теперь будет? — тихо спросил Прошин. Ему никто не ответил.

Стрижак-Васильев нащупал карабин, поставил на боевой взвод курок, надел полушубок и шапку.

Под полом вагона истерически кудахтали перепуганные куры.

Шепотом молилась Прошина. Прерывисто и тяжело дышала больная тифом.

Покинуть эшелон — значило замерзнуть в пути. Что же делать? Стрелять в своих?

— В третьем вагоне пулеметная команда,— откашлявшись, сказал штабс-капитан.— Но я не слышу пулемета...

— Видимо, они успели обменять его на самогон,— объяснил Стрижак-Васильев,— и теперь, так же как и вы, лежа на нарах, ждут, пока нас всех не перестреляют... Пошли!

Он взял карабин и, открыв дверь, выпрыгнул на железнодорожное полотно. Вслед за ним спрыгнули прапорщик и штабс-капитан. Прапорщик, обутый в бурки на кожаной подошве, поскользнулся на льду и, балансируя на ногах, скатился с насыпи вниз.

— Ничего, молодой человек, там безопасней,— успокоил его штабс-капитан. Но прапорщик предпочел вскарабкаться обратно.

— Что будем делать, господин капитан? — спросил он у Стрижак-Васильева.

— Любоваться природой, разумеется...

Вдоль всего состава кляксами на промокашке темнели размытые ночью фигуры людей. Кто-то пытался подавать команды, и небольшая группа в центре состава залегла под насыпью. Визжали женщины. Тут и там блестели вспышки выстрелов. Стреляли для устрашения, потому что определить, где находятся партизаны, было совершенно невозможно. Застучал пулемет. Стрижак-Васильев ошибся: обменять на самогон его еще не успели...

Шелестела снегом поземка. Ветер резал глаза, вышибая слезы. Метались охваченные паникой люди. В плечо Стрижак-Васильева вцепилась чья-то рука.

— Вы живы, капитан?

— Как видите.

От «фронтового друга» пахло потом и спиртом. Мокрые, слипшиеся волосы нависали на лоб, а в круглых и желтых, как у кошки, глазах застыл ужас.

— Поезд окружен, капитан!

— Откуда вы это взяли?

— Окружен, можете мне поверить... Мы в кольце...— «Фронтового друга» трясло.— Сопротивление бесполезно...

Когда они добрались до паровоза, стрельба почти прекратилась. Видно, совершивший нападение партизанский отряд был слишком малочислен и, наведя панику, решил отойти от линии дороги, где с минуты на минуту ожидали появления застрявшего на промежуточной станции чешского бронепоезда.

Человек двадцать во главе с военным врачом, обмениваясь впечатлениями, растаскивали завал из бревен. В свое время Стрижак-Васильев направлял в отряды, оперирующие в тылу Колчака, специалистов минного дела. Но их было слишком мало...

Минут через десять подошел бронепоезд, и эшелон вновь тронулся в путь...

— Мы вроде колобка,— философствовал повеселевший штабс-капитан,— и от бабушки ушли, и от дедушки... Да-с. Вот только как бы лиса не встретилась...

Опасения штабс-капитана оказались не напрасными. Дальше станции Чулымская смешанный эшелон не пошел.

Закутанный в доху французский офицер заявил через переводчика, что он весьма сожалеет, однако вынужден выполнить полученное им предписание: паровоз необходим для военных нужд, и состав временно будет отведен в тупик.

Что означает слово «временно», все знали достаточно хорошо. Поэтому к французу для переговоров отправили делегацию беженцев и старшего в эшелоне офицера — пожилого, коренастого полковника. Но это ничего не дало. А когда толпа русских на перроне стала вести себя слишком шумно, на них нацелились стволы бронепоезда, а чешские солдаты молча выкатили на крыльцо станционного здания два пулемета. Затем вышел переводчик, черноусый ротмистр с осиной талией, и сказал, что лейтенант Глорье боготворит Россию и кровь доблестных русских воинов для него так же дорога, как кровь его соотечественников, поэтому он молит бога,

чтобы затесавшиеся среди офицеров и солдат большевистские элементы не вынудили его пролить эту кровь...

— А ротмистр неплохо устроился,— с завистью сказал штабс-капитан.— Предусмотрительный юноша.— И пожаловался: — А я в гимназии по французскому языку выше единицы не поднимался...

От Чулымской до Новониколаевска было не менее семидесяти-восьмидесяти верст, а все вновь прибывающие эшелоны тут же расформировывались. Но все же через сутки с небольшим Стрижак-Васильеву удалось покинуть негостеприимную станцию. Кто-то поджег ночью вещевой склад. Лейтенант Глорье, решив — и не без основания,— что это дело рук русских, произнес блестящую обличительную речь, но счел за благо избавиться от излишка русских солдат и офицеров. Поэтому к станции стали стягивать крестьянские кошевы. В одной из них нашлось место для штабс-капитана и Стрижак-Васильева...

До Новониколаевска добрались без особых приключений. Но на окраине города их задержала казачья застава.

Забайкалец-хорунжий, плосколицый, с бритой головой — видно, после тифа,— проверил документы и сказал:

— Есть приказ: всех прибывающих офицеров направлять в комендатуру.

Штабс-капитану по каким-то соображениям это не понравилось, еще меньше устраивала подобная перспектива Стрижак-Васильева...

— А может быть, обойдется без комендатуры?

— Приказ,— повторил хорунжий, но по его лицу было видно, что он озяб, устал и ему надоели все приказы...

Стрижак-Васильев молча достал подаренную комендантом станции бутылку спирта, и в глазах хорунжего появилось что-то похожее на участие. Он провел их в маленький заброшенный домик, где на покрытом клеенкой столе мгновенно появились хлеб и соленые огурцы.

— Чем богаты, тем и рады... Прошу, господа.

Выпив не закусывая стакан спирта, спросил:

— Как на фронте, табак дело?

— Не табак, а махорка-с, хорунжий,— сказал штабс-капитан.— И дрянная махорка...

— Я и то гляжу, чего столько офицеров в городе,— съязвил начальник заставы.

После того как бутылка спирта была добросовестно допита, хорунжий отправил казака за извозчиком.

— В случае чего скажете, что обошли заставу дворами,— сказал он.

— Не подведем.

Хмурый извозчик привез их в центр города. Пожелав попутчику «успехов в борьбе за единую и неделимую, а еще лучше — в овладении французским языком», штабс-капитан слез у подъезда гарнизонной офицерской гостиницы, где, по утверждению начальника заставы, достать приличный номер было так же трудно, как и не подцепить десяток «скороходов»... А Стрижак-Васильев, проехав улицу до конца, отпустил извозчика и, закинув за плечи вещевой мешок, свернул за угол.

Со стороны могло показаться, что анненковец куда-то торопится. Но в действительности Стрижак-Васильев еще толком не знал, куда он пойдет...

Он располагал пятью явочными адресами, но все пять попали в Сиббюро еще в сентябре. За это время надежные конспиративные квартиры вполне могли превратиться в столь же надежные ловушки новониколаевской контрразведки. Имея опыт работы в тылу Колчака, он достаточно трезво оценивал обстановку и возможности управления государственной охраны. С конца 1918 года из-за провалов неоднократно менялись составы всех без исключения подпольных комитетов Урала и Сибири. В том же Новониколаевске весной 19-го прошли массовые аресты, которые повторились летом. А в августе и сентябре контрразведка нанесла удар не только по городской организации, но и по польским революционным группам в войсках гарнизона. Такие группы, объединенные единым подпольным Центром, действовали во Втором и Четвертом польских пехотных полках, в уланских эскадронах и автоколонне. Сиббюро и Новосибирский подпольный комитет при подготовке вооруженного восстания возлагали на них большие надежды...

Итак, пять адресов. Пять возможностей связаться с подпольем и столько же — оказаться в контрразведке...

Какой же из пяти наиболее надежный? Ошибка здесь означала не только смерть, но и невыполнение задания, которому Бюро придавало важное значение. Поэтому возможность ошибки должна быть сведена к нулю.

Решение, как это нередко с ним бывало, пришло внезапно, словно подсказанное кем-то со стороны. Из пяти возможных вариантов он выбрал шестой...

Рассказывая о провалах в Новониколаевске, связной Сиббюро (доставленные им явки и получил Стрижак-Васильев) упомянул о раскрытой колчаковцами конспиративной квартире в доме № 42 по Енисейской улице, где был арестован приехавший из Иркутска товарищ. Раскрытая конспиративная квартира, разумеется, не числилась в списке Сиббюро, но зато она теперь не значилась и в Новосибирском отделении контрразведки — это уж наверняка... Да, шестой вариант, только так. В 1906 году в Москве Стрижак-Васильев почти месяц пользовался подобной квартирой, скрываясь от ареста, и вопреки опасениям товарищей она оказалась самой надежной в городе. Шаблонность мышления сотрудников жандармского управления гарантировала ему тогда полную безопасность. Филеры не испытывали к дому никакого интереса: ведь конспиративная квартира была давно раскрыта.

Поэтому в доме № 42 по Енисейской улице даже в случае неудачи ему почти ничто не угрожало, а расчет на то, что новониколаевские подпольщики в отличие от агентов контрразведки мыслят не шаблонно, мог оправдаться... И он оправдался: вычеркнутая из списка конспиративная квартира по-прежнему служила большевистскому подполью...

Правда, Стрижак-Васильев убедился в правильности своего предположения не сразу, а лишь через два дня (ночевал он в комнате, которую снимала жена коменданта станции. Не дождавшись вестей от мужа, она благоразумно уехала в Хабаровск неделю назад). Эти два дня нежданного посетителя «водили на поводке», проверяя, не подослан ли он контрразведкой и не установлено ли за квартирой тайное наблюдение. Проверка наверняка бы затянулась, если бы Стрижак-Васильев не форсировал событий. Он сразу понял, что за ним следят. Но кто: подпольщики или филеры? Скорей всего, конечно, подпольщики, но нельзя было отбрасывать и другую возможность, пусть и сомнительную. И он прибег к старому приему. Прогуливаясь по пустынной вечерней улице, анненковец неожиданно ускорил шаг, словно пытаясь оторваться от своей «тени», а затем так же неожиданно свернул за угол и прижался спиной к кирпичной стене дома. В следующее мгновение

из-за угла выскочил запыхавшийся парень в бекеше. Не давая ему опомниться, Стрижак-Васильев перехватил его правую руку, заломил ее за спину и рывком втянул свою «тень» в подворотню.

— Только не кричать.

Но предупреждение было излишним: парень молча и яростно сопротивлялся и, только почувствовав прижатый к боку ствол револьвера, затих. Ни оружия, ни свистка — обычная принадлежность филера — при нем не было, отсутствовал и маленький металлический значок на оборотной стороне лацкана пиджака. Отсутствие доказательств — еще не доказательство, но уже что-то... Нет, парень определенно не был похож на филера!

— Пошли.

— Куда?

— Сам не догадываешься?

Парень рванулся, скрипнул зубами от боли, но не закричал...

— Пусти, белогвардейская сволочь!

— Сейчас,— пообещал Стрижак-Васильев.— Мария Федоровна как раз интересовалась твоим здоровьем и просила передать привет Ивану Ивановичу... Мой адрес известен, так что милости прошу.

По тому, как обмякла его рука, Стрижак-Васильев понял, что парень растерян: значит, он знал пароль...

— За доставленные неприятности прошу извинить. Спокойной ночи и приятных сновидений. Буду ждать.

— Спокойной ночи...— как эхо повторил парень.

На этом мытарства Стрижак-Васильева не окончились, но значительно сократились. Сентябрьские аресты сделали подпольщиков крайне осторожными: они не верили паролям. Но все же случай с «тенью» произвел на них впечатление: и на следующий день наконец состоялась встреча, во время которой Стрижак-Васильев предъявил отпечатанный на вощеной папиросной бумаге мандат Сиббюро. Этот мандат окончательно рассеял подозрения.

— Обидно погибать накануне прихода своих, вот и осторожничаем,— сказал, смущенно улыбаясь и словно оправдываясь, член партийного комитета. У него было лицо смертельно уставшего человека: он почти год находился в подполье...

Он же пообещал свести Стрижак-Васильева с «чешским товарищем» («Не из наших, но может помочь»).

Услышав названную фамилию, Стрижак-Васильев про себя улыбнулся: «чешский товарищ» был как раз «из наших»...

Еще весной ЦК чехословацких коммунистических групп в России направил в распоряжение Сиббюро для работы в войсках интервентов нескольких чешских коммунистов. После соответствующей подготовки их летом перебросили через линию фронта. Ярослав Коржичек был первым из них. Но знать об этом члену комитета было совсем не обязательно, подпольщик должен знать только то, что имеет к нему непосредственное отношение, тогда его провал не повлечет за собой массовые провалы. Это Стрижак-Васильев усвоил еще в 1905-м...

Раньше с Коржичком он не встречался, но много слышал о нем от Парубца. Во время их последнего разговора в Омске, в гостинице «Лондон», Парубец, сетуя на потерю связи с Коржичком, высказывал опасение, не попал ли тот в руки чешской контрразведки. Значит, не попал, жив...

Поручик Коржичек, по образованию инженер-путеец, работал в Новосибирском отделении управления военных сообщений Чехословацкого корпуса. Его служебная квартира находилась недалеко от станции, в большом кирпичном доме, заселенном преимущественно железнодорожниками. «Черный гусар» мог сюда зайти, не вызывая подозрений, и Стрижак-Васильев этим воспользовался.

Коржичек оказался молодым, синеглазым и жизнерадостным. Встретил он Стрижак-Васильева так, как будто они знакомы, по меньшей мере, лет десять и находятся не в тылу Колчака, а где-то в Москве.

— Перед войной в Праге русских революционеров узнавали по калошам, башлыкам и количеству съеденного за обедом хлеба. А теперь? По погонам? — весело сказал он, обнимая Стрижак-Васильева за плечи и одновременно пожимая ему руку. Сам Коржичек, как и все чешские легионеры, погон не носил, их заменяла двухцветная ленточка — символ демократии. Командование корпуса, официально считавшегося частью вооруженных сил Франции, хотело хоть чем-то отделить себя от русских белогвардейцев...

Коржичек располагал обширной и ценной информацией, и Стрижак-Васильев пожалел о том, что сам сможет использовать лишь незначительную часть ее,

а Парубец получит нужные Реввоенсовету сведения уже после падения Новониколаевска.

Расспросив Коржичка о положении в Красноярске и Иркутске и получив от него новые явки, Стрижак-Васильев спросил, сможет ли тот его устроить в один из эшелонов.

— Само собой, как говорят русские,— заверил Коржичек.

— А когда?

— Завтра. До Красноярска, а если потребуется, то и до Иркутска, вы доедете с Томашем.

— Большевик?

— Пока нет. Не белый и не красный — розовый... как пастила. Утверждает, что голова его принадлежит Плеханову, душа — Бакунину и Кропоткину, а сердце — Ленину...

— А контрразведке ничего не принадлежит? — поинтересовался Стрижак-Васильев.

— Можете быть спокойны,— заверил Коржичек.— В нем я уверен так же, как в себе.

— Судя по той характеристике, которую вам дал Андрей, это немало.

Коржичек улыбнулся.

— Спасибо. Но товарищ Андрей слишком лестного мнения обо мне. Русским коммунистам вообще свойственно немного переоценивать своих иностранных товарищей. Наверно, это объясняется гипертрофированным чувством интернационализма. Но этот ваш недостаток мне всегда нравился. Что же касается Томаша, то в понимании интернационализма он почти русский, на него можно положиться...

— Тем лучше. Вы будете здесь ждать прихода наших?

— Нет,— сказал Коржичек.— Война еще не окончена, а я пока слишком мало сделал для революции. Надо продолжать работу. Через неделю я перееду в Красноярск, а оттуда, в зависимости от обстоятельств, возможно, в Иркутск или Владивосток...— И пошутил: — Надо же оправдать лестный отзыв товарища Андрея...

— А сведения?

— Оставлю у председателя комитета. Он передаст. Судя по всему, Новониколаевск будет освобожден к концу декабря. К тому времени они еще не устареют.

Прощаясь, Коржичек сказал:

— До встречи.

— В Красноярске или Иркутске?

— Пожалуй, лучше всего в Москве. Я хочу еще раз побывать в Кремле. Мне нравится ваш Кремль. Его архитектура напоминает о прошлом, а люди, в нем работающие,— о будущем. Такое может быть только в Москве. Итак, следующая встреча в Москве...

— Договорились,— сказал Стрижак-Васильев.

ИЗ РАЗГОВОРА КОЛЧАКА СО СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВЫМ
22 апреля 1919 года

Колчак. Я не хотел, чтобы сын предводителя дворянства и офицер русского флота был позорно казнен как большевик и немецкий шпион. Но, как вы сами понимаете, своим поведением вы лишили меня возможности смягчить вашу участь. Приговор военно-полевого суда будет приведен в исполнение. Вы упустили последний шанс сохранить жизнь и вернуть себе, сражаясь на фронте, почетное право называться русским офицером.

Стрижак-Васильев. Я не жалею об этом шансе.

Колчак. Тем лучше для вас. Если у вас имеется какая-либо просьба, то я в меру своих сил постараюсь ее исполнить.

Стрижак-Васильев. Романтично... Но мое последнее желание будет исполнено не вами, а Красной Армией. И, видимо, очень скоро.

Колчак. Я прикажу прислать вам в камеру военные сводки. Мои войска взяли Уфу, Бугульму, Ижевск и Воткинск. Мы вышли к Волге.

Стрижак-Васильев. Но у вас нет тыла. Две трети ваших войск несут гарнизонную службу и сражаются с повстанцами. А военное счастье переменчиво... Поражение на фронте — и все развалится. От вас откажутся не только союзники, но и ваши собственные генералы и офицеры. И это произойдет скоро, адмирал.

Колчак. Не буду лишать вас приятного заблуждения. Вы слишком много занимались большевистской пропагандой, настолько много, что сами в нее поверили. Вы фанатик, Стрижак-Васильев.

Стрижак-Васильев. Нет, коммунист.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МЕМОРАНДУМ

«Невыносимое состояние, в каком находится наша армия, вынуждает нас обратиться к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на

родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав.

...В настоящий момент пребывание нашего войска по магистрали и охрана ее становятся невозможными просто по причине бесцельности, равно как и вследствие самых элементарных требований справедливости и гуманности.

Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось.

Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности составляют обычное явление, и ответственность за все перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию.

...Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой из этой страны...

13 ноября 1919 г., Иркутск.
Б. Павлу, д-р Гирса».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

«Военная, оперативная.

Поезд верховного правителя.

Открытое письмо верховному правителю адмиралу Колчаку.

Я, командующий войсками Енисейской губернии, генерал-майор Зиневич, как честный солдат, чуждый всякого политического авантюризма и политических интриг, переживший четыре кампании, шел за вами, пока верил, что провозглашенные вами лозунги... будут вами действительно проведены в жизнь родной страны, теперь, после катастрофы на фронте, я вижу, что лозунги, во имя которых мы объединились вокруг вас, были только громкими фразами, обманувшими народ и армию... Живя всегда душа в душу с офицерами и солдатами вверенных мне частей, близко стоящий к народу, как сын простого рабочего, и лишь за время последней войны получивший высокие назначения, я всегда говорил им, что веду их в бой только за благо всего народа... и если борьба примет почему-либо другой характер, я... приму определенное решение. Теперь настало для этого время: гражданская война пожаром охватила всю Сибирь, армии нет, офицеры — эти безропотные и честные борцы за родину, брошены на произвол судьбы. Власть бездействует и позорно бежит на восток, готовая броситься в объятия любой реакции. Я призываю вас, как граж-

данина, любящего свою родину, найти в себе достаточно сил и мужества отказаться от власти, которая фактически уже не существует...

Генерал-майор Зиневич.

Верно: Начальник оперативного отдела
штаба командующего войсками Енисейской губернии
капитан Комин.

28/XII 1919 г. Красноярск».

В ПОЕЗДЕ «ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ»

Первое сообщение от Стрижак-Васильева Парубец получил в середине декабря. На следующий день после освобождения Пятой армией Новониколаевска ему вместе с информационными сводками Коржичка передали краткую записку: «В результате разговора с иркутским товарищем окончательно остановился на Иркутске. Буду там, если не произойдет никаких случайностей, в конце декабря. Рассчитываю на успех. Привет товарищам. Американец».

«Иркутский товарищ» оказался связным Сибирского подпольного комитета (этот комитет, находившийся вначале в Томске, а затем перебравшийся в Омск, после массовых арестов — в живых осталось лишь двое — летом 1919 года избрал своим местопребыванием Иркутск).

Связной был направлен в Сиббюро и дожидался в Новониколаевске прихода советских войск. Стрижак-Васильев виделся с ним накануне своего отъезда из города. То, что он рассказал Парубцу, вселяло уверенность в успех операции.

Алексей, конечно, прав: Иркутск, и только Иркутск...

Действительно, если судить сейчас по архивным документам, обстановка, которая сложилась в Иркутске к концу 1919 года, была исключительно благоприятной. Местная большевистская организация, ставшая к тому времени самой многочисленной в Сибири, не только полновластно руководила партизанскими соединениями губернии, поддерживая с ними постоянную связь, но и оказывала всевозрастающее влияние на политическую жизнь города, напряженную и противоречивую...

После сдачи Омска Иркутск превратился во вторую столицу «всероссийского правительства». Сюда переехали иностранные миссии, центральные учреждения и колчаковский «совет министров». Здесь же находилась штаб-квартира чехословацких войск в России. Сам Колчак, не желая покидать театра военных действий, в Иркутск не поехал, но его поезд по мере отступления белогвардейских дивизий медленно, но неуклонно приближался к новой столице, и, когда красные вступили в Новониколаевск, поезд «верховного правителя» уже находился в Красноярске.

Сюда, в этот поезд, стекались сведения с фронта и из новой столицы. Отсюда ежедневно рассылались приказы, указания и директивы...

Уставшего от тщетных усилий хоть в чем-то навести порядок бывшего присяжного поверенного и будущего юрисконсульта банка в Шанхае Вологодского сменил на посту председателя «совета министров» бывший комиссар Керенского в Кронштадте и будущий заключенный иркутской тюрьмы Пепеляев.

«...Признав необходимым — в тяжких условиях, переживаемых страной,— образование власти гражданской, твердой в стремлениях к водворению правопорядка, проникнутой единой волей к борьбе с большевизмом до окончательного его искоренения и в этих целях внутренне объединенной,— писал Колчак из своего поезда Пепеляеву в Иркутск,— я, зная вашу несокрушимую энергию и стойкость в проведении мероприятий истинно государственных, призвал вас на пост председателя Совета Министров...

С верой в светлое будущее нашей великой родины призываю всех ее верных сынов сплотиться в настоящие тяжелые дни вокруг власти, полным моим доверием облеченной».

Человек ограниченного ума, но действительно неограниченной энергии, Пепеляев сразу же развил бурную деятельность, которая, как обычно бывает в подобных случаях, началась с поисков виновных. Он добился предания суду сдавшего Омск генерала, отстранил группу министров во главе с министром иностранных дел Сукиным... Но, как острили отдыхавшие от русской смуты под японским солнцем белоэмигранты, хотя Сукина из правительства и выгнали, сукины дети все равно остались...

Правительство Колчака в Иркутске находилось в вакууме. Оно уже не могло опереться на армию и вернуть былые симпатии сибирского кулачества. В нем разуверились и союзники, и крупная буржуазия, и офицерство. Ничем кончились и призывы к «общественности». Иркутские земские деятели, правые эсеры и меньшевики, по-прежнему ненавидя «кремлевских диктаторов», не хотели, однако, связывать свою судьбу с умирающей властью. Они считали, что теперь пришло их время, и собирались, отстранив при благожелательном нейтралитете чехов Колчака, взять бразды правления в свои руки.

Эсеровский подпольный центр в Иркутске почти открыто призывал к перевороту. Это пугало. Но еще больше пугала надвигающаяся опасность большевизма, а она была более чем реальна. О ней свидетельствовали рост партизанского движения, беспрерывные восстания в уездах и глухое брожение на рабочих окраинах города...

«На основании имеющихся документальных данных,— писал начальник Иркутского губернского управления государственной охраны в департамент милиции,— можно с уверенностью утверждать, что в низах населения города, в среде рабочих различных промышленных и иных предприятий, а также в городской бедноте и среди всякого пришлого сборного элемента настроение безусловно большевистское, и эта часть населения за другими партиями — С. Р. (эсерами) и С. Д. меньшевиками — не пойдет. Если же она теперь радуется и поддерживает всякого рода противоречивые выступления этих партий, то лишь рассматривая их как средство для достижения восстановления большевистского рая... Глубоких корней в простонародье партии эти не имеют, тут все симпатии на стороне большевиков».

Именно поэтому эсеровские лидеры и губернатор Иркутска безуспешно пытались вступить в соглашение с большевистским подпольем, а старые и новые министры занимались не столько «проведением мероприятий истинно государственных», о которых писал в своем «рескрипте» Колчак, сколько оформлением заграничных паспортов и перечислением денег в банки Токио, Парижа и Шанхая.

Французский посол Могра, генерал Жанен, политический представитель чехов доктор Благож — один из авторов чешского меморандума, вызвавшего вспышку ярости у «верховного правителя» и панику среди его министров («Небось, когда все было в порядке, меморандумов не писали!»),— генерал Сыровой и другие знатные иностранцы всегда были почетными гостями пышных банкетов и интимных журфиксов, устраиваемых деятелями «всероссийского правительства».

Но теперь, когда от их благосклонности зависели вожделенные визы и не менее вожделенные вагоны, прицепленные к эшелонам, отбывающим на восток, они превратились в предметы поклонения, в языческих идолов, которых старались задобрить лестью, улыбками, невиданной предупредительностью и другими более

вещественными доказательствами преданности и обожания.

По вечерам на банкетах в великолепном зале иркутской гостиницы «Модерн», захлебываясь от восторга, вспоминали прекраснейший город мира Париж (для французского посла и генерала Жанена), удивлялись могуществу и богатству родины демократии и оплота антибольшевизма Америки («Говорят, американский генерал большой патриот!»), умилялись рыцарству самураев и стойкости чехов. Расплескивая неумеренные комплименты и оставшееся от лучших времен шампанское, произносили витиеватые длинные тосты.

В пьяных речах была неумеренная лесть, туманные намеки на благородство союзников, которые, разумеется, ни при каких обстоятельствах не бросят своих русских друзей на произвол судьбы, и звериный страх смерти...

А по утрам сверкающие лаком и стеклами литерные поезда «высоких союзных комиссаров» осаждали толпы бывших сановников, неудавшихся государственных деятелей, генералов, спекулянтов, крупных землевладельцев, землей которых уже давно пользовались крестьяне, лидеров несуществующих партий и чиновников...

Старый Иркутск со страхом следил за бешеным бегом часов истории, подгоняемых событиями на фронте. Внимательно наблюдал за стрелками этих часов из далекой Читы и атаман Семенов. Никогда не отличавшийся прозорливостью, ставленник японцев стремился лишь к одному — не упустить время и урвать жирный кусок от остающегося после Колчака наследства. Его представитель как тень следовал за поездом «верховного правителя» от Новониколаевска до Красноярска, убеждая адмирала подчинить «верному сыну России, всю жизнь работающему во имя и блага родины», Дальний Восток и Иркутский военный округ...

С той же целью эмиссары неунывающего атамана осаждали в Иркутске Пепеляева и наиболее влиятельных членов «кабинета», взвинчивая и без того уже впавших в истерику министров. Сотнями переходили на сторону партизан солдаты, повстанцы нападали на тюрьмы и освобождали политических заключенных, рабочие бастовали, обыватели возмущались дороговизной и ростом цен, земцы критиковали политику «правительства», а чешские войска спешно эвакуировались... Что тут можно предпринять?

Панацею от всех бед Пепеляев видел лишь в одном — в приезде «верховного правителя» в Иркутск и подписании им долгожданного указа о созыве Земского собора.

Колчак встретил приехавшего из Иркутска в Красноярск председателя «совета министров» сдержанно: на дебаркадере не было ни почетного караула, ни оркестра. Надоедливый и не в меру энергичный толстяк, носившийся с идеей Учредительного собрания, как дурак с писаной торбой, все больше раздражал «верховного правителя».

Земский собор? Нет, «верховный правитель» не собирался бросать кусок всяким земцам, эсерам и меньшевикам. Да и изменит ли это теперь что-либо? Нет, он не будет созывать Земский собор. Этот акт либерализма лишь разожжет страсти, так как наглядно продемонстрирует слабость правительства.

— И фронту и Иркутску могут помочь только штыки. Штыки и шомпола...

— Одно другое не исключает, ваше превосходительство...

— К сожалению, исключает, Виктор Николаевич. А впрочем, оставим пока этот вопрос. В случае необходимости мы к нему вернемся в Иркутске.

— Вы намерены ехать в Иркутск?

— Да. Тут я с вами согласен: мой приезд действительно необходим,— сказал Колчак.— В Иркутске давно пора навести порядок. А что касается фронта, то у меня есть основания считать, что он в ближайшие дни стабилизируется...

В последнем Пепеляев сильно сомневался, но еще больше он сомневался в том, что присутствие «верховного правителя» в Красноярске поможет командующему фронтом Каппелю остановить наступление красных.

— Буду счастлив сопровождать ваше превосходительство в Иркутск.

Слова эти прозвучали искренне, и Колчак улыбнулся.

— Вот и чудесно, Виктор Николаевич,— сказал он.— За время пути мы успеем с вами обо всем переговорить. Думаю, что наш «друг» генерал Жанен позаботится о том, чтобы наше путешествие было не слишком стремительным... Как вы смогли убедиться, союзники весьма торопятся очистить Сибирь. Но мы обойдемся без них... А теперь прошу к столу. Дамы уже заждались...

Через два дня после этого разговора Колчак покинул Красноярск, откуда накануне отбыл очередной чешский воинский эшелон. Этот эшелон ничем не отличался от сотен других, за исключением, может быть, того, что в нем помимо чехов ехал русский офицер из полка «черных гусар». А впрочем, русские офицеры ехали и в других чешских эшелонах: ведь не всегда удобно отказать в подобной услуге, особенно когда в теплушке свободное место...

* * *

Поезд «верховного правителя» шел на восток, проезжая мимо искалеченных опустелых составов, сожженных станций, идущих по путям беженцев и солдат, мимо раскачивающихся на столбах повешенных... Иногда он терялся среди чешских и польских воинских эшелонов, недвижно застывал в водовороте визгливо кричащих паровозов, обшарпанных теплушек, выстрелов, стонов и криков. И тогда вздрагивали, пробуждаясь от сонного оцепенения, дула установленных на открытых платформах броневиков, поспешно задергивались шторы вагонов, занимали свои места на площадках конвойцы. Поезд ощетинивался винтовками и ручными пулеметами, а в салон «верховного» входил генерал Мартьянов, директор личной канцелярии.

— Потрудитесь распорядиться, Александр Александрович,— коротко бросал ему Колчак.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Генерал наклонял блестящую от бриолина голову с косой ниточкой пробора и направлялся в купе начальника охраны. А еще через несколько минут начальник охраны уже объяснялся с чешским комендантом станции. За обледеневшими от слишком частого употребления на морозе вежливыми фразами неизменно следовали менее вежливые, зато более внушительные. Иногда этого было достаточно, и поезд «верховного» получал зеленую улицу. В других случаях угрозы, русский мат и иностранная брань (за время пути полковник освоил ругательства на трех европейских языках) подкреплялись официальными телеграммами и распоряжениями по прямому проводу.

И отделенный от всего происходящего лакированными стенами вагонов и плотными шторами, поезд вновь отправлялся в путь, нервно вздрагивая на стыках рельсов и тяжело переводя дыхание у сломанных семафоров.

Заранее сформированный и оборудованный в Омске специальным уполномоченным министра путей сообщений и директором личной канцелярии «верховного правителя», снабженный двумя мощными паровозами и броневиками, поезд гарантировал покой, комфорт и безопасность.

Телефонные и телеграфные аппараты, пишущие машинки и пулеметы составляли одно целое с мягкими креслами и диванами. Во всем чувствовались целесообразность и вкус. Прошедший хорошую школу в различных штабах директор личной канцелярии и обладающий многими светскими талантами адъютант «верховного» позаботились о том, чтобы салон-вагон Колчака мало чем отличался от его кабинета в Омске и в то же время напоминал бывшему командующему Черноморским флотом адмиральский салон на «Георгии Победоносце».

Вагон был обставлен с русским размахом и английской респектабельностью. Мебель красного дерева, строгая и дорогая; застланный ворсистым ковром пол; большая настенная карта фронта; книжная полка, на которой среди других книг можно было увидеть «Морскую тактику» адмирала Макарова с дарственной надписью прославленного автора; над письменным столом — фотография Нансена, у которого Колчак в Норвегии проходил подготовку перед своей первой полярной экспедицией; встроенный в стену платяной шкаф; небольшой сейф, где помимо документов хранилось полученное за Порт-Артур золотое оружие и дань сентиментальности — андреевский флаг — символ чести и доблести Российского императорского флота.

Убранство салона завершала видавшая виды походная койка, одна из тех, какими снабжали офицеров на Месопотамском фронте. На ней Колчак спал в Харбине, Владивостоке и Омске. Койка выпадала из общего стиля, но она была необходима как свидетельство аскетичности вождя белых армий, который, как всегда, делил со своими боевыми соратниками все тяготы крестового похода против большевизма. В дальнейшем, после окончательной победы, она, как и стоптанные ботфорты Суворова или кимоно генерала Ноги, в котором тот совершил харакири, должна была занять почетное место в музее истории.

И точно так же, как меблировка, жизнь в поезде мало чем отличалась от распорядка, установленного «верховным правителем» в его особняке в Омске.

Утром — беседа с Пепеляевым, сообщение адъютанта о срочных делах и краткие распоряжения. После завтрака обширный доклад директора личной канцелярии Мартьянова. Его сменял генерал-квартирмейстер. Затем адъютант пропускал в салон представителя одной из иностранных военных миссий, прибывшего с фронта офицера связи или начальника контрразведки, а еще через полтора-два часа приглашал на очередное заседание Пепеляева и членов «верховного совещания».

После заседания — обед. На нем, помимо Пепеляева, директора канцелярии и адъютанта, присутствовали любовница Колчака Тимирева, которой отводилась роль радушной хозяйки салона, и вдова Гришина-Алмазова, увядающая красавица, прославившаяся в Омске не столько своей неотразимостью, сколько фразой, сказанной после гибели мужа: «Боюсь, как бы это известие меня не состарило...»

После обеда — короткий отдых, потом снова доклады, разбор донесений и сводок, прием посетителей и составление бумаг.

Раздражительный и вспыльчивый, адмирал в эти дни был подчеркнуто сдержан и спокоен. И это трудно дававшееся ему спокойствие не было безразличием отчаяния, как полагал не лишенный проницательности директор личной канцелярии. Ошибался и адъютант, считавший, что Колчак лишь стремится с блеском доиграть затеянный им спектакль и сойти со сцены под овации зрителей. Адмирал просто не допускал мысли, что в его распоряжении считанные дни.

Сознавая трагичность ситуации, Колчак в то же время не сомневался, что рано или поздно она изменится. Он верил в свою звезду. Что-то должно было повлиять на ход событий, повернуть их в противоположную сторону, спасти его и белое движение. Этим «что-то» могло стать подготовляемое Каппелем контрнаступление, столкновение красных с войсками интервентов, осуществление фантастического плана прорыва через Западный Китай в Туркестан или, наконец, активное выступление японцев вместе с атаманом Семеновым...

И может быть, впервые у него возникло сомнение лишь тогда, когда почти одновременно были получены сведения о восстании в только что покинутом им Красноярске и Иркутске. Это означало, что фронт или, вернее, то, что в поезде «верховного» по привычке называли фронтом, лишился тыла, а главное — в мышеловке

оказался поезд самого адмирала, находившийся на железнодорожной линии между двумя городами. Колчак был теперь отрезан от еще сражавшихся западнее Красноярска частей Каппеля и от находящегося за Байкалом Семенова.

Телеграфное сообщение о событиях в Иркутске и открытое письмо красноярского бунтаря генерала Зиневича были доложены «верховному правителю» не без некоторых предосторожностей...

Адъютант, прекрасно понимавший значение случившегося, ждал нервной вспышки, ждал, что адмирал, как это нередко бывало в Омске, швырнет на пол чернильницу, затопает ногами... Но «верховный» вновь поразил его своей выдержкой. А может, это не выдержка, а то, что медики называют состоянием прострации?

Перебирая длинными нервными пальцами пуговицы кителя, на котором белел Георгиевский крестик, Колчак прочел открытое письмо Зиневича и сказал:

— Ну что ж, голубчик, подготовьте телеграмму Каппелю. Если он располагает надежными частями, которые можно снять с фронта, пусть займется Зиневичем. А теперь пригласите ко мне этого...

Адмирал не назвал, кого именно, но адъютант его понял.

В то утро был нарушен обычный распорядок: первым переступил порог салона представитель атамана Семенова.

Осторожно двигая толстыми ногами в сапогах-бутылках, стараясь не наследить, он прошел в глубь кабинета и вытянулся перед столом, за которым сидел «верховный правитель».

— Садитесь, полковник,— выдержав соответствующую паузу, сказал Колчак.— Вы знаете, зачем я вас побеспокоил?

— Никак нет, ваше превосходительство.

Полковник действительно не мог сообразить, чем объясняется этот срочный и непонятный вызов. Лишь два дня назад он добился через генерал-квартирмейстера ставки долгожданной аудиенции у «верховного». Но адмирал был холоден как лед. Он недвусмысленно дал понять, что совершенно не собирается расширять власть «читинского каторжника», как называли Семенова офицеры ставки. Точно так же закончился его визит к Пепеляеву. И вот теперь к нему явился собственной персоной высокомерный адъютант «верховного» и передал это

приглашение. От непривычного умственного напряжения на лбу полковника выступил пот.

Лицо Колчака казалось вылитым из бронзы. На нем ничего нельзя было прочесть. Между тем эта минута была одной из самых унизительных в его жизни: ему предстояла жалкая роль просителя перед лицом «читинского каторжника», которого он не только презирал, но и ненавидел. Колчак хорошо помнил свой приказ от 1 декабря 1918 года: «Командующий 5-м отдельным Приамурским корпусом полковник Семенов за неповиновение, нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии, что является актом государственной измены, отрешается от команды 5-м корпусом и смещается со всех должностей, им занимаемых...» Этот приказ так и не был выполнен, потому что за Семеновым стояли японцы, а им было плевать на «верховного правителя». Не считался с «верховным правителем» и сам Семенов...

Однако выбора не было. Сохранить Красноярск, конечно, шансов мало. Не сегодня завтра в него все равно ворвутся красные. Что же касается тылового Иркутска...

Несколькими фразами Колчак обрисовал обстановку и прямо спросил:

— Семенов располагает достаточной вооруженной силой хотя бы для того, чтобы ликвидировать бунт в Иркутске?

Теперь полковнику все стало ясно.

— Ваше высокопревосходительство, если атаман Семенов получит доказательство вашего доверия и благорасположения...

— Он его получит.

В присутствии полковника Колчак подписал приказ, которым производил Семенова в генерал-лейтенанты и назначал его главнокомандующим войск Дальнего Востока и Иркутского военного округа. За эту плату атаману предлагалось в кратчайший срок ликвидировать иркутское восстание.

Мечта Семенова исполнилась: он стал хозяином всей Восточной Сибири, по крайней мере на бумаге...

И вскоре к городу двинулись из Читы эшелоны с войсками. Новый «главнокомандующий войск Дальнего Востока и Иркутского военного округа» в своей, как обычно, пространной телеграмме предупреждал восставших, что он не намерен вести никаких переговоров и

предлагает немедленно сложить оружие. В этом случае — и только в этом — атаман готов проявить милосердие и повесить одних лишь зачинщиков бунта. В той же телеграмме указывалось, что японское командование также не может остаться безучастным к происходящим событиям... И действительно, в Иркутск были направлены и японские части. Но положение по-прежнему оставалось неопределенным. И в поезде «верховного» все, начиная от адмирала и кончая писарем, напряженно ждали вестей из Иркутска. И они наконец поступили...

Ночью, когда Колчак по своей старой привычке раскладывал перед сном пасьянс, генерал Мартьянов передал ему принятую дежурным офицером телеграмму.

«Нижнеудинск, поезд верховного правителя.

Создавшаяся в Иркутске политическая обстановка повелевает Совету Министров говорить с вами откровенно.

Положение в Иркутске после упорных боев гарнизона и забайкальских частей (то есть семеновцев) против повстанцев заставляет нас в согласии с командованием решиться на отход на восток, выговаривая через посредство союзного командования охрану порядка и безопасности города и перевода на восток антибольшевистского центра, государственных ценностей и тех из войсковых частей, которые этого пожелают. Непременным условием вынужденных переговоров об отступлении является ваше отречение, так как дальнейшее существование в Сибири возглавляемой вами российской власти невозможно.

Совмин единогласно постановил настаивать на том, чтобы вы отказались от прав верховного правителя, передав их генералу Деникину, и указ об этом передать через чехоштаб предсовмину для распубликования. Это даст возможность согласить идею единой всероссийской власти, охранить государственные ценности и предупредить эксцессы и кровопролитие, которые создадут анархию и ускорят торжество большевизма на всей территории. Настаиваем на издании вами этого акта, обеспечивающего от окончательной гибели русское дело...»

Директор канцелярии видел, как по мере чтения телеграммы белеет и без того бледное лицо адмирала. Да, этот удар был неожидан и для него и для Пепеляева.

Пойдет адмирал на отречение или нет? Скорей всего нет, он из числа тех, кто теряет корону только вместе с головой. Но как бы то ни было, а дверца мышеловки захлопнулась, и это имело прямое отношение не только к адмиралу, но и к нему, директору канцелярии. К сожалению, «читинский самодержец» оказался дутой фигурой, а, впрочем, какая корысть Семенову отстаивать теперь интересы Колчака? Он свое получил...

В приоткрытую дверь салона заглянула встревоженная Тимирева. Ее, разумеется, волновала не сама телеграмма, а то, как она отразится на адмирале. Если бы могла, она бы давно его посадила под стеклянный колпак. Это, конечно, трогательно, но директору канцелярии было не до сантиментов. Неслышно ступая по ковру, он подошел к двери, закрыл ее и так же неслышно вернулся обратно.

— Итак, Александр Александрович, к большевикам на западе присоединились большевики на востоке?

— По сведениям контрразведки, власть в Иркутске перешла к Политцентру [3],— поправил Мартьянов.

— Надолго ли?

Тон, каким это было сказано, свидетельствовал о том, что Колчак не ждет ответа, и генерал пожал плечами. Он, как и другие чиновники свиты, предпочитал с «верховным» не спорить. Это всегда было бессмысленно, а тем более сейчас. Конечно, «верховный», возможно, и прав. Но какое это теперь имеет значение для него, Мартьянова, для адмирала, Пепеляева и десятков других людей, находящихся в поезде? Надо немедленно получить от генерала Жанена и Сырового гарантию беспрепятственного проезда через Иркутск на восток эшелонов ставки и поезда с золотым запасом России. Это главное. А там, в Чите, Хабаровске или Владивостоке, «верховный правитель» (или бывший «верховный правитель» — это уже несущественно) мог поступать, как ему заблагорассудится...

Колчак молчал, и это молчание все более и более тяготило директора канцелярии.

Дверь в салон опять приоткрылась, но на этот раз генерал сделал вид, что ничего не заметил.

«Верховный» недвижно сидел в кресле, откинув голову и закрыв глаза. Его левое веко дергалось в нервном тике. Если бы не это, могло показаться, что он дремлет.

И Мартьянов с тоской подумал о Японии, о ее игрушечных домиках, языческих храмах и гибких как тростник женщинах. Всего полгода назад он мог навсегда проститься с этой холодной, загаженной кровью и нечистотами страной, которая называлась его родиной. Мог, и не простился... Тогда он еще, как последний безмозглый павлон, верил в этого позера, в неминуемое торжество белой идеи... «У нас у всех одно желание — скорей добраться до Москвы, увидеть вновь коронование, спеть у Кремля «аллаверды»... Да, трижды был прав этот авантюрист Гайда, когда сказал адмиралу, что уметь управлять кораблем — это еще не значит уметь управлять Россией...

Директор канцелярии сделал почтительное лицо и ровным — слишком ровным — голосом спросил:

— Какие будут приказания, ваше превосходительство?

Колчак вздрогнул, открыл глаза, закурил. Постепенно лицо его приобрело обычное непроницаемое выражение.

— Я не думаю, Александр Александрович, что успех восстания в Иркутске будет иметь решающее значение, тем более что там помимо врагов находятся и наши друзья,— сказал он и, помедлив, добавил: — Что же касается возможных случайностей, то... Самое важное в жизни каждого порядочного человека — уменье с достоинством умереть.

Мартьянов почувствовал, что еще мгновенье — и он сорвется.

— Какие будут приказания, ваше превосходительство? — повторил он.

— Пригласите ко мне Виктора Николаевича Пепеляева и членов Верховного совещания.

Когда начальник канцелярии вышел, Колчак смял телеграмму в кулаке, бросил на стол, затем для чего-то разгладил скомканный бланк, перевернул его текстом вниз. На обороте телеграммы было написано: «Подано 3 января в 14 ч. 20 м. Получено в поезде верховного правителя в 23 часа местного времени, расшифровано в 23 часа 30 минут».

РАДИОСООБЩЕНИЕ

«Правительственная, вне очереди, всем — экстренно.

Передать всем рабочим, копия Москва, Совнаркому.

Иркутск пал после 6-дневного боя. Белые банды отступают... Телеграфное сообщение от Иркутска к Ленскому тракту восстановлено. Идет ремонт телеграфной линии, которую белые разрушили при отступлении...

Главнокомандующий
Северо-Восточным партизанским фронтом Сибири
Зверев.

Подана из Иркутска через Охотскую радиостанцию.
8/I 1920 г., № 79, Иркутск».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО РЕВКОМА А. А. ШИРЯМОВА

«Когда Политический центр выбросил лозунг «Долой Колчака и его правительство», революционные массы солдат и рабочих пошли в бой под этим лозунгом — это был лозунг революции. Но когда тот же Политический центр, заняв с помощью этих масс город, обратился к населению с декларацией о созыве Учредительного собрания Сибири, те же самые массы немедленно отшатнулись от него.

Учредительное собрание — был лозунг контрреволюции... Колчаковщина не была изжита с приходом Политцентра. Политцентр был продолжением колчаковщины, вернее ее заключительной главой».

ПЕРЕВОРОТ

Когда в поезде адмирала обсуждали полученную из Иркутска телеграмму, «министры» уже несуществующего правительства находились на вокзале, который, как и вся железная дорога, был объявлен интервентами нейтральной полосой. Те же, кому не удалось заблаговременно добраться до станции (понтонный мост через Ангару был взорван, а путешествие по льду между полыньями представлялось крайне рискованным), подняв вверх руки, стояли в ожидании грузовика, который должен был отвезти их в губернскую тюрьму...

Антиколчаковское восстание почти одновременно вспыхнуло в Глазкове, Военном городке, на станциях Иннокентьевская и Батарейная. Но самые ожесточенные бои происходили в самом Иркутске. Однако поражение верных Колчаку войск было предрешено.

На рассвете 4 января сдался повстанцам оборонявший гостиницу «Модерн» офицерский отряд. Часом позже выкинули белый флаг засевшие в здании Оренбургского военного училища юнкера. Пулеметным огнем и самодельными гранатами рабочих дружин Иркутского гвоздильного завода и пимокатной фабрики были выкурены из государственного банка пытавшиеся вывезти золотой запас предприимчивые семеновцы...

К вечеру город был полностью очищен от белых. И 5 января 1920 года на заиндевевших каменных тумбах в многозначительном соседстве с грозными приказами бежавшего за Байкал начальника Иркутского гарнизона и задубевшими от мороза афишами («28 декабря для нижних чинов гарнизона будет дан духовный концерт: Литургия Иоанна Златоуста, музыка Чайковского») появился манифест Политцентра.

Обращенный «ко всему населению Сибири», он сообщал, что «волею восставшего народа и армии власть диктатора Колчака и его правительства, ведших войну с народом, низвергнута... Все гражданские свободы: слова, печати, собраний, союзов и совести, упраздненные правительством Колчака, восстанавливаются...».

И 5 января, разместившись в недавней резиденции правительства Колчака — здании Русско-Азиатского банка, руководители Политцентра приступили к «государственной деятельности».

Одной из их главных задач было заручиться поддержкой союзников. И Политцентр начал с того, чем закончило колчаковское «правительство»...

В клубе имени Патлых[4] готовились к торжественному приему в честь «высоких союзных комиссаров», а в холле гостиницы «Националь», занятой под штаб-квартиру Чехословацкого экспедиционного корпуса, доктор Благож, не столь давно улыбавшийся здесь Пепеляеву, так же радостно приветствовал явившихся к нему с визитом «созидателей русской демократии и несгибаемых борцов с реакцией и большевизмом» — председателя Политцентра Флориана Федоровича и красноречивого товарища председателя Бориса Косминского. Оркестранты, научившиеся за время гражданской войны с одинаковым воодушевлением исполнять «Интернационал», «Боже, царя храни», «Кде домов муй?», «Смело, корниловцы, в ногу!», «Марсельезу» и десятки других официальных и неофициальных гимнов, не жалели легких. Но они все же не могли заглушить грохота патрулировавших улицы города чешских броневиков и многозначительную речь Бориса Косминского...

Товарищ председателя Политцентра заверил доктора Благожа, что власть Политцентра — это власть мира. Он торжественно обещал, вступив в переговоры с Реввоенсоветом Пятой армии, части которой находились уже под Красноярском, добиться прекращения наступления красных и тем самым дать возможность союзникам беспрепятственно вывезти из Сибири свои войска. «Наша цель — созыв Учредительного собрания. Нам в одинаковой степени чужды как диктатура Колчака, так и нетерпимость большевиков. И, восстав против насилия, Политцентр,— сказал он,— не пожелает, разумеется, сам воспользоваться насилием. Поэтому мы не будем препятствовать отъезду в Читу или Владивосток адмирала Колчака. Слово «месть» для русской демократии не существует».

Эту же полюбившуюся ему фразу Косминский повторил во время посещения руководителями Политцентра командующего союзными войсками в Сибири генерала Жанена.

— А ваша точка зрения? — спросил Жанен у председателя Политцентра.

— Учитывая, что адмирал Колчак в настоящее время официальным лицом уже не является[5], у нас нет

никаких оснований настаивать на его аресте, так же как и на аресте находящегося с ним бывшего председателя «совета министров» Пепеляева,— сказал Флориан Федорович.

Этот разговор состоялся 6 января. А в ночь с 12-го на 13-е конвой Колчака и охрана поезда с золотым запасом России были разоружены...

Простоявшие около месяца в Нижнеудинске литерные поезда вновь двинулись на восток. Они шли в Иркутск...

ГОЛОСА С АРХИВНЫХ ПОЛОК

Генерал Альфред Нокс, глава британской военной миссии в России, личный друг Колчака:

«Заключительная трагедия в Сибири была подготовлена многими факторами, одним из них, достойным упоминания... является тот факт, что французский генерал (имеется в виду Жанен) оказался неспособен надлежащим образом дисциплинировать контингенты союзных войск, находящихся под его командованием.

(Лондонский журнал «Славянское обозрение», март 1925 года)

Генерал Жанен, командующий войсками интервентов в Сибири, бывший личный друг Колчака:

«Получен ряд телеграмм по поводу Колчака. Есть от верховных комиссаров, переданные через Фукуду (военный представитель Японии), есть от Будберга и моего старого друга Лохвицкого (приближенные Колчака). Эти два сановника, мирно проживающие во Владивостоке или в Харбине, откуда они заботливо следят за судьбой адмирала, высказывают трогательное негодование при мысли, что я не повел ради него на смерть чехов.

Буксеншуц (начальник штаба Жанена) составляет им ответ в немного суровых словах, напоминая, что если они хотят защищать Колчака, то следовало бы стоять немного поближе, а не у конца телеграфного провода».

(Ж а н е н, «Сибирский дневник», запись от 23 января 1920 года)

АРЕСТ

Было два часа ночи. Но в поезде никто не спал: ни Колчак, ни Пепеляев, ни офицеры ставки. Бодрствовали сменяемые каждые четыре часа чешские и русские часовые. Придирчиво проверяя посты, переходил из вагона в вагон представитель Черемховского военно-революционного штаба большевик Буров[6], один из авторов знаменитого ультиматума Черемховского съезда повстанцев. Первый экземпляр этого документа был передан союзникам, а второй, аккуратно сложенный, лежал в кармане гимнастерки Бурова. Он помнил его наизусть...

«Господа интервенты! Мы, красные партизаны, шахтеры, истинные хозяева Восточной Сибири, вас предупреждаем:

1) Если с вашей стороны в момент ареста Колчака и его свиты и конфискации «русского золотого запаса» будет оказана защита Колчака и последует вооруженное сопротивление, то у нас хватит силы и средств, чтобы призвать господ интервентов к порядку и заставить вас разделить участь полковника Богатнау, контрразведчика Волкова и подполковника румынской армии Бодареску и других авантюристов, павших от нашей руки.

2) Шахтеры Черембасса за нарушение нейтралитета не дадут вам ни фунта угля, будут взорваны железнодорожные мосты на реках Сибирской Оке, Унге, Сибирской Белой и Китой.

3) ...Чехи, поляки, японцы, британцы, итальянцы и французы будут объявлены нами от имени РСФСР вне закона и не получат угля для следования в своих эшелонах к берегам Великого океана, и всеми средствами мы воспрепятствуем продвижению на Восток ваших эшелонов...

По поручению съезда повстанцев 3000 вооруженных красных партизан Черембасса:

1. Председатель Реввоенсовета и военный комиссар «Красных черемховских партизан» рабочий-шахтер Л. Карнаухов.

2. Комиссар рабоче-крестьянского отряда «Красных черемховских партизан», народный учитель и обер-офицер русской армии поручик К. Хвостов.

3. Член Реввоенсовета и начальник военного снабжения «Красных черемховских партизан», рабочий-шахтер и артиллерист русской армии Александр Токарев.

4. Начальник штаба рабоче-крестьянского отряда «Красных черемховских партизан» матрос-моторист из Тихоокеанского флота И. Станкевич.

5. Адъютант Реввоенсовета и начальник разведывательного отряда «Красных черемховских партизан» батрак и пастух Середкин-Оранский Петр».

Ультиматум оказал должное впечатление на союзников, в результате чего партизаны Бурова и оказались в поезде, который они, лежа в снегу у полотна железной дороги, поджидали три дня... Теперь партизаны-че-

ремховцы стояли на площадках вагонов рядом с чешскими легионерами. Чехи выполняли волю французского генерала Жанена, партизаны — Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, от имени которой действовал съезд повстанцев, направляя свой ультиматум.

Поскрипывали стены пульмановских вагонов. Сгорбившись, стоял у окна Колчак. Закрывшись изнутри на ключ, сжигал извлеченные из потайного сейфа секретные документы директор личной канцелярии «правителя» генерал Мартьянов. Лежа на диване, закинув руки за голову, смотрела в подрагивающий потолок вагона бездумными глазами Тимирева...

В купе, которое день назад занимали шифровальщики, сидел, склонившись над столиком, человек в офицерском кителе и накинутом на плечи черном полушубке. Он писал...

Стучали колеса, и, словно опасаясь не поспеть за их стремительным бегом, неслось по бумаге перо, оставляя за собой замысловатые узоры строчек.

«Здравствуй, Андрей!

Завтра через Охотскую радиостанцию будет передано сообщение об аресте Колчака и задержании золотого поезда (вес ценностей, судя по документам, с которыми я вчера ознакомился,— 21 637 пудов 25 фунтов). Следовательно, это письмо излишне, тем более что я не смогу переслать его. Но оно предназначено, как ты совершенно справедливо когда-то заметил, не столько для тебя, сколько для меня самого. Мне, как обычно, нужно высказаться. Пребывание в одиночном заключении чревато многими дурными привычками. Одна из них — привычка разговаривать с самим собой. А такой разговор лучше всего получается на бумаге. Я всегда преклонялся перед бумагой. В конце концов вершиной цивилизации являются не заводской котел, в котором пришлось вывариться мужичку, не шахты, не различные приспособления для уничтожения себе подобных, а обычная писчая бумага и перо. По крайней мере, благодаря им человечество имеет возможность узнать о своем прошлом и извлечь из него кое-какие уроки на будущее. А разве не в этом секрет социального прогресса?

Впрочем, эти строки, если письмо все-таки попадет к тебе, можешь пропустить... Не хмурься. Как это ни прискорбно, я никогда не отличался столь ценимым тобой рационализмом. Что поделаешь? Не говоря уже о

том, что в моих жилах течет «благородная» кровь, я в довершение ко всему российский интеллигент. А общеизвестно, что мышление оного в отличие от мышления европейского интеллигента пуще всего боится прямых линий. И если российский интеллигент и добирается когда-либо до сути, то только по спирали... Тут уж, наверно, ничего не поделаешь.

А теперь о том, что только и представляет для тебя ценность,— о фактах.

Благодаря товарищу Ярославу добрался благополучно и почти с комфортом. Ехал в теплушке роты связи 3-го чешского полка. Моим покровителем и постоянным собеседником был «войяк»[7] Томаш Власак, знакомец товарища Ярослава по лагерю для военнопленных. Парень своеобразный, рабочий, из эсдеков, но с анархистским душком, впрочем, последнее от молодости и ершистости характера. Из разговора с ним и его друзьями убедился, что гражданская война в России кое-чему их научила. Они знают, что в рядах Красной Армии сражается несколько тысяч чехов, и понимают, что это значит. Это уже не те чехи, которые, защищая «проданную тевтонам Россию», расстреливали и вешали «немецких агентов — большевиков» в Самаре и Омске. Теперь Чешский корпус — мина замедленного действия, начиненная крамольными взглядами и революционными идеями. Для взрыва нужна лишь искра.

В Черемхове узнал, что в Иркутске идут бои... Вот так, Андрей! Выступление эсеров, к возможности которого мы столь скептически относились, все-таки состоялось... Это, кажется, последняя попытка реванша «серых» и «меков»[8] за разгон Учредилки.

Несмотря на то что восстание подготовлялось достаточно долго, что-то около трех месяцев, «серые» и «меки» допустили много промахов. Основной из них — расчет на «детонацию». Предполагалось, что первые же выстрелы «разбудят совесть» солдат гарнизона и те, окропив слезами раскаяния пороги своих казарм, все, как один, встанут под святое знамя Учредительного собрания. Но «детонации» не произошло... Положение оказалось настолько критическим, что Политцентр вынужден был идти на поклон к «тиранам-большевикам». Комитет большевиков учел ситуацию и принял решение о поддержке восстания. Штаб рабоче-крестьянских дружин направил в Знаменское свои части и начал стягивать к городу партизан. По Качугскому

тракту подошли бойцы Каландаришвили, за ними части Зверева. Из Черемхова прибыл отряд шахтеров. Это и решило исход боев. Впрочем, подробности происшедшего я узнал уже в Иркутске...

Когда эшелон туда прибыл, в городе еще шли бои. Единственным местом, где не стреляли, был вокзал. Союзники предусмотрительно объявили станцию и железнодорожную линию нейтральной полосой. Нейтралитет охранялся чешскими и американскими солдатами. Ими же были забиты залы ожидания первого и второго класса. Третий класс предоставили в полное распоряжение беженцев. Здесь по-походному расположились жены министров, генералов, аферистов и спекулянтов. Дамы довольно быстро освоились с походной обстановкой, и в то время, как мужья осаждали железнодорожного коменданта, они ели крутые яйца, шепотом ругали чехов и воздушной походкой бегали на перрон за кипятком... Все это напоминало плохую оперетту.

Через представителя Владивостокского отделения американской фирмы «Меркантиль Оверси» в Иркутске я связался с Ширямовым[9]. Общая атмосфера в Сибирском комитете и губкоме не оставляет желать лучшего. Настроение, пользуясь твоей терминологией, боевое (а может, «боевитое»?). Губком еще на полулегальном положении, но это «еще». Он располагает многочисленными отрядами, основательным запасом оружия, добротной типографией и безоговорочной поддержкой пролетариата губернии. Сейчас он сила более реальная, чем Политцентр. Но, учитывая, что западнее Иркутска около тридцати тысяч чехов, комитет вывеску Политцентра сменять не торопится. Как поют на Украине: «Чоловик сие мак, жинка каже «Гречка»... Нехай так, нехай так, нехай буде гречка мак». Итак, мак для успокоения союзников пока называется гречкой... Нехай так.

Последний наш связной посетил Иркутск в октябре, поэтому можешь представить, сколько мне было задано вопросов. Проговорили до утра. Оказалось, что предложение о задержании поезда с золотом и эшелона Колчака уже обсуждалось. В штабе рабоче-крестьянских дружин я встретился с командирами партизанских отрядов, среди которых был и Каландаришвили[10].

Увы, план, столь тщательно разработанный нами в Омске, оказался нереальным. По сведениям штаба, охрана литерных поездов в Нижнеудинске составляла

не менее трехсот человек, а чешский гарнизон, не считая транзитных эшелонов, около тысячи. Плюс пулеметы, пушки и броневики... Для успешного нападения требовалось минимум две тысячи штыков, а местные партизаны и рабочие дружины могли выставить самое большее триста-четыреста. Переброска же партизанских групп с севера Иркутской или же из Енисейской губернии заняла бы слишком много времени. Кроме того, даже в случае удачи нападения невозможно было бы вывезти и надежно укрыть в тайге золото (как-никак 28 вагонов), а тем более пленных.

Но тогда же стали вырисовываться наметки нового плана...

11 января из Иркутска отбыла на запад делегация Политцентра, которая во что бы то ни стало должна была добиться от Реввоенсовета признания нового сибирского правительства и прекращения наступления советских войск (сейчас, наверно, уже ведутся переговоры?), а накануне нас «принял» член Политцентра, в прошлом товарищ председателя Приморской земской управы Косминский. Видно, каждый русский либерал — от «Александра IV» — Керенского и далее — чуть ли не в утробе матери уже начинает готовить себя к государственной деятельности. Иначе трудно объяснить ту быстроту, с которой Косминский обжился на новом месте. Эти пять дней у власти его преобразили. Впрочем, не в меньшей степени его преобразило и наше требование о выдаче Колчака и поезда с золотом... Он мгновенно слинял.

Беседа закончилась тем, что Косминский сослался на необходимость предварительно проконсультироваться с другими членами Политцентра. А вечером он сообщил, что Политцентр разделяет по известному вопросу позицию губкома большевиков и будет отстаивать перед союзниками передачу Колчака, Пепеляева и поезда с золотом «народному правительству».

Ширямов объяснил эту неожиданную храбрость весьма просто: во-первых, голова Колчака и золотой поезд могут стать для политцентровцев козырями во время переговоров с Реввоенсоветом 5-й армии [11], а во-вторых, они укрепляли авторитет Политцентра в самом Иркутске и давали ему какую-то надежду на сотрудничество с большевиками. Но как бы то ни было, а Федорович, Косминский и еще двое политцентровцев (фамилий не знаю) отправились к Жанену. По настоянию комитета

в этой компании оказался и я. Кроме Жанена и «велителя чехословэнского войска на Руси» Сырового присутствовали представители Англии, Японии и Америки. Кажется, спектакль разыгрывался специально для них. Было видно, что Жанен и Сыровой прекрасно осведомлены о цели посещения, но предпочитают это не афишировать, опасаясь эпатажа. Переводил — еще одна улыбка судьбы — находящийся при Жанене для связи с Колчаком поручик Капнист. Впрочем, роль переводчика была, скорей, символическая: политцентровцы, как люди «из общества», сносно изъяснялись по-французски, а Жанен настолько хорошо владел русским языком, что мог даже щеголять пословицами.

Когда Косминский изложил суть вопроса, Жанен изобразил недоумение. Как? Ведь только недавно в этом самом вагоне... и так далее.

Федорович сказал, что изменение позиции Политцентра объясняется вновь выявленным обстоятельством — зверской расправой колчаковской контрразведки в Иркутске с активными работниками Политцентра [12].

После этого беседа приняла настолько любопытный поворот, что привожу ее текстуально:

«**Жанен.** Я слышал об этом прискорбном факте и полностью разделяю ваше возмущение. Я прошу вас от собственного имени и от имени высоких союзных комиссаров принять соболезнование. Это действительно ужасно. Если мы можем чем-либо помочь семьям погибших, то... (выразительный жест)... Но мне не совсем понятно, какое отношение к происшедшему имеет адмирал...

Федорович. Являясь верховным правителем, Колчак несет ответственность за все.

Жанен. Конечно, но только моральную ответственность, а не юридическую. Я не думаю, чтобы у адмирала запрашивали санкцию на это убийство. (Смотрит в сторону англичан и американцев, словно призывая их оценить упорство, с каким он отстаивает адмирала.)

Федорович. Массы требуют следствия и суда над «верховным правителем». Черемховские рабочие грозят прекратить снабжение железной дороги углем.

Сыровой (с интересом). Вон как?

Федорович. Политцентр, разумеется, приложит все силы, чтобы выполнить свой долг перед союзными войсками и не оставить паровозы без угля. Но пока мы видим только одно реальное средство обеспечить бесперебойную работу Черемховских угольных копей — удо-

влетворить требование шахтеров, так как в этом районе сейчас находится 1-я Балаганская дивизия партизан под командованием большевика Дворянова. В случае конфликта партизаны, конечно, поддержат углекопов...

Жанен. Я всегда был демократом и русским патриотом, но последнее время я часто жалею о Николае II...

Косминский. Мы считаем, что решение этих вопросов в значительной степени способствовало бы успеху переговоров с красными...

Сыровой. Это вероятно.

Жанен. Мы располагаем достаточными силами, чтобы дать отпор большевикам, но мы не хотим напрасной крови. Нет у нас желания вмешиваться и во внутренние дела России. Но прошу понять меня, мне кажется, что предъявляемые вами требования похожи на требования большевиков...

Федорович (с достоинством). Политцентр — коалиция всех демократических сил Сибири. И он выполняет требования лишь тех, кто его поставил у власти.

Жанен (смотрит на Федоровича, потом на меня. Впечатление, что он располагает исчерпывающими сведениями о тайных пружинах происходящего). Разумеется, разумеется... Но я только сказал: «похожи». Что же касается политической базы новой власти, то у союзного командования впечатление, что она несколько у́же, чем можно было бы вначале предположить.

Партизанская армия Зверева, которая, по нашим сведениям, подчинена командованию Пятой большевистской армии, и многие повстанческие отряды, оперирующие в районе железной дороги, не считаются с Политцентром...

Федорович (с еще большим достоинством). В каждом правиле имеются исключения.

Сыровой (не без ехидства). Эти исключения слишком дорого нам обходятся. Вчера возле Слюдянки произошло крушение воинского эшелона...

Федорович. Политцентр примет меры к исключению в дальнейшем подобных инцидентов.

Я. Но это во многом будет зависеть от самого союзного командования...

Жанен. Что вы этим хотите сказать?

Косминский (возвращая разговор на дипломатическую стезю). Командиры партизанских отрядов, несмотря на разъяснения Политцентра, продолжают, к сожалению, сомневаться в лояльности союзников...

Я (настойчиво и скорбно). Некоторые горячие головы в случае отказа выдать Колчака и золотой поезд грозятся даже взорвать Кругобайкальские железнодорожные туннели, что значительно затруднило бы эвакуацию союзных войск на восток...

Сыровой (ему надоела вся эта игра). Да, наша контрразведка получила такие данные».

Через полчаса после этого меланхолического заявления Сырового делегация Политцентра, заручившись согласием союзников, покинула салон Жанена.

Участь Колчака была решена.

В тот же день я выехал в Нижнеудинск. Чехи там уже получили телеграмму Сырового, поэтому никаких осложнений с их командиром майором Кадлецом у меня не было. Конвой Колчака разоружили без единого выстрела. Охрана до Иркутска смешанная: чехи и наши.

Вот как это произошло, Андрей. Таким образом, задание выполнено, точнее — почти выполнено, так как формально хозяин положения — Политцентр. Но само собой понятно, это временно...

Колчака пока не видел. Сам арест обошелся без моего непосредственного участия, на мою долю выпали лишь функции режиссера. Оно и к лучшему...

Выплеснул все на бумагу и почувствовал облегчение: очистил голову от того, что теперь мне уже не нужно. Все уложилось в символы букв... Опять хмуришься? Не надо. Как видишь, в последнюю минуту удержался от психологических изысков. Начинаю исправляться — одни факты. Цепочка фактов — и ничего более. Так что ты должен быть мною доволен...»

Скребнув по бумаге и оставив после себя россыпь чернильных брызг, перо остановилось. Затем оно в нерешительности приподнялось над столиком, и, вновь опустившись, поставило точку.

— Точка,— вслух сказал Стрижак-Васильев и повторил: — Точка.

Он перечитал густо исписанные листы. Усмехнулся. Действительно, события, превратившись в строки письма, уже не волновали. Они стали прошлым. Фэт акомпли, как говорят французы, совершившийся факт.

Стрижак-Васильев представил себе выражение лица Парубца, когда тот будет читать письмо. Но... Переслать письмо, видимо, все-таки не удастся. А жаль... Наверно, Парубец сейчас в Новониколаевске, куда он,

конечно, перевез свою гирю, а может быть, на фронте, где-то в районе Красноярска, где Пятая армия добивает войска «верховного правителя»... Но где бы он ни находился, радиограмму ему доложат. Так что он будет знать о случившемся. И он, и товарищи из Реввоенсовета. Не узнают только Нейбут и Саша Масленников... Но когда их вели на расстрел, они знали, что это когда-нибудь произойдет. Должны были знать.

Задание выполнено.

В этих словах овеществлялись два последних месяца его жизни. Да и только ли два месяца?

Арест приближал неизбежную агонию колчаковщины — то, за что долгий год сражались коммунисты на фронте и в тылу. Фэт акомпли...

В купе вошел Буров, покосился на исписанные листы бумаги.

— Все пишешь?

— Пишу...

— М-да,— сказал Буров и потер ладонью пунцовую щеку.— Каждому свое... Роман?

— Что-то вроде... А ты, гляжу, щеку отморозил?

— Пустяки... За такое дело не щеку — жизнь отдать и то не жаль. Много я за время владычества его навиделся... Э-э, да что говорить! А щека что? Заживет щека...

На голове Бурова был лисий малахай. Широкую с чужого плеча бекешу стягивал ремень, на котором почти у колена болталась деревянная коробка маузера. У маузера была сбита мушка, поэтому начальник партизанского конвоя поезда пользовался в деле наганом, но с маузером все-таки не расставался.

— Присаживайся, чувствуй себя как дома,— пошутил Стрижак-Васильев.

— Ну, если как дома...

Буров стащил с головы малахай, придерживая маузер, сел, огляделся.

— Ничего устроились, а? Хочешь — вою́й, а хочешь — отдыхай... Диванчики, лампочки, коврик...

— Все в порядке?

— Будто так. Вот только Колчак что-то просился с начальником охраны переговорить... Мне мои ребята сообщили. Сомнение у них...

— Кадлец у него был?

— Нет, он сейчас на паровозе, у машиниста.

— Зачем?

— А черт его знает! Видно, опасается... Привык, что эшелоны под откос летят, ну а адмиралов не каждый день возить приходится... Может, ты лично сходишь?

Слово «лично» Буров любил так же, как и свой маузер, и к месту и не к месту вставлял его.

— Как бы «верховный» чего не выкинул... Сходи побеседуй. А я пока посижу тут. Договорились?

— Ну что ж...

Стрижак-Васильев спрятал письмо в полевую сумку и, сбросив на диван полушубок, вышел в коридор. Он был пуст, лишь с двух концов его стояли часовые: у выхода в тамбур — увешанный самодельными бомбами из жестяных консервных банок черемховец, а у дверей салона — чех.

— Товарищ комиссар, огонька не найдется?

Стрижак-Васильев достал из кармана спички, протянул черемховцу.

— Шахтер?

— Углекоп,— сказал черемховец, раскуривая козью ножку.

Огонек спички повис над проржавевшей жестянкой...

— Смотри, как бы не взорвалась...

— Не взорвется,— успокоил черемховец.— Они, эти самоделки, такие: час вонь, а опосля огонь.

— Солдаты говорят, что винтовка раз в год сама стреляет.

— Так то винтовка... А тут...— Он тряхнул жестянками.— Горе! Вот пушку мы сработали — так это да. Чудо заморское. Дистанция, ежели не врать, куцая, а грохоту — что у двенадцатидюймовки. От одного грохота в портки наложишь. И сила подходящая... Не пушка — геенна огненная.

Разговор со словоохотливым партизаном развеселил. Улыбаясь, Стрижак-Васильев направился в противоположный конец коридора, где, облокотившись спиной о стену вагона, скучал чех, а вероятней — словак, белобрысый и толстогубый, веснушчатый, с голубыми глазами — рязанец, да и только.

— Наздар! — сказал Стрижак-Васильев.

— Наздар!..— вяло ответил на приветствие часовой и не спеша открыл дверь. Ему было безразлично все происходящее здесь, его интересовала лишь его чешская Рязань...

Стоявший у окна спиной к вошедшему Колчак обернулся, сделал несколько шагов навстречу Стрижак-Ва-

сильеву. Остановился в выжидательной позе. В салоне было полутемно, горела лишь настольная лампа. Но все же можно было разглядеть мятое, небритое лицо с крупным орлиным носом и словно нарисованными тушью темными глазами, которые, по мнению омских дам, делали адмирала неотразимым. Адмирал постарел, явно постарел...

— Я просил кого-нибудь из чешских офицеров...— сказал Колчак.

— Начальник чешского конвоя сейчас занят, если вам угодно говорить только с ним, то вам придется подождать.

— Вы?

Острый, крупный кадык на шее адмирала подпрыгнул к подбородку и вновь исчез за воротником френча. Стрижак-Васильев понял, что Колчак узнал его.

— Вы живы?..

Вопрос относился к числу риторических. Итак, «пришелец с того света». Заключительная сцена плохой мелодрамы. Стрижак-Васильев поморщился. Он не любил мелодрам, тем паче если их играли любители. И, предупреждая последующий вопрос, объяснил:

— Приговор военно-полевого суда не был приведен в исполнение. Мне удалось бежать.

— Вон как... Мне не докладывали,— сказал Колчак таким тоном, будто тогда или теперь от этого что-то зависело.

— Видимо, не хотели отвлекать вас от более важных занятий,— заступился за неизвестного ему чиновника из министерства внутренних дел Стрижак-Васильев.— Может быть, присядем?

— Да, да, конечно...

Они сели.

— Не думал, что мы с вами встретимся еще раз...

— Я тоже,— сказал Стрижак-Васильев.— Но, как видите, встретились. И мое «последнее желание» осуществилось. На это потребовалось немногим больше полугода... Но не будем отвлекаться. Зачем вам потребовался начальник чешского конвоя?

Колчак поднял глаза, помедлил.

— Я хотел узнать, кем осуществлялась... эта акция.

— Насколько я понимаю, вы были в некотором роде очевидцем.

— Я имею в виду другое: по чьему указанию произведен арест?

— По приказу командования чешского экспедиционного корпуса.

— И что же они собираются предпринять далее?

— С вами?

— Со мной и... теми, кто сопровождал меня.

— В Иркутске вы будете переданы Политцентру. Об этой организации вы, кажется, знаете — блок правых эсеров, меньшевиков, земцев...

— Генерал Жанен знает о случившемся?

— Разумеется.

Кажется, последнее произвело на Колчака наибольшее впечатление. Он подался весь вперед.

— Вы хотите сказать, что Жанен санкционировал арест?

— Совершенно верно,— подтвердил Стрижак-Васильев.— Но слишком строго судить его не стоит. Он был поставлен перед выбором: или Колчак и золотой поезд, или беспрепятственная эвакуация из России доблестных союзных войск. Понятно, что он предпочел эвакуацию, тем более что, как вы догадываетесь, адмирал Колчак особого интереса для союзников уже не представляет.

— Но, помимо всего, существует честь.

Похоже было, что Колчак ищет у него сочувствия... Но то ли еще в жизни бывает, а чувство юмора никогда не было сильной стороной «верховного правителя»... Мелодрама явно превращалась в фарс — обычный просчет любительских спектаклей...

— Что касается чести вождей белого движения, то тут я пас,— сказал Стрижак-Васильев.— Но позволю себе заметить, что, судя по тому, во что вы превратили Сибирь, лично ваши представления о чести и совести были достаточно емкими...

— Я сейчас пленник и в силу своего положения лишен возможности дискутировать с вами...

Стрижак-Васильев улыбнулся.

— Вы, как всегда, любите звонкие слова, адмирал... Наш спор, который начался в девятьсот четвертом, закончен. И вы не пленник, а преступник. И как у каждого преступника, у вас впереди — следствие, суд и приговор, который, я уверен, не останется только на бумаге, а будет приведен в исполнение... Что касается дискуссии, то вам теперь остается дискутировать только с самим собой...

Наступило молчание.

— Надеюсь, госпожа Тимирева не будет подвергнута аресту?

— И ей, и Гришиной-Алмазовой ничто не угрожает.

— Я могу быть в этом уверенным?

Стрижак-Васильев пожал плечами.

— И, если разрешите, последний вопрос.

— Слушаю.

— Вы представляете здесь Политцентр?

— Нет, большевиков. Все?

— Все...

Когда Стрижак-Васильев вернулся в купе, Буров спал. Но лишь Стрижак-Васильев тронул его за плечо, он сразу же открыл глаза.

— Ну что?

— Хотел узнать, по чьему приказу арестован и кому его передадут.

— Про судьбу свою, значит?

— Про судьбу...

— Ну, судьба-то у него теперь известная — та, что нам готовил. Жаль только, что у каждого одна смерть... Я б его тысячу раз умереть заставил, чтоб по разу за каждого нашего. У меня на это крепкая бухгалтерия заведена. Где дебет, а где кредит — все расписано...

Буров расправил плечи, зевнул.

— Ты у него лично обыск производил?

— Нет.

— Что так?

— Ни к чему, пожалуй.

— Как знать... А если оружие? Возьмет — и поминай как звали.

— Думаешь, застрелится?

— А что? Запросто.

— Нет. Если раньше не застрелился, то теперь не застрелится.

— Может и так, тебе видней...— И, повернув голову на тугой шее, сказал: — Мне Илья [13] говорил, что ты с адмиралом лично знаком, верно?

— Верно. Во время русско-японской познакомились, в госпитале вместе лежали.

— Ишь ты...

— Я же морской офицер.

— Был,— уточнил Буров.

— Был.

За окном глухой непроницаемой шторой висела темень. Буров встал, прижался лбом к стеклу, снова сел.

— Что увидел?

— Да разве увидишь что?.. Это я так, для порядка...

Он достал из бездонного кармана бекеши несколько коробок папирос, положил на столик.

— Кури, трофейные. Штабные на год запаслись...

Стрижак-Васильев взял одну из коробок, посмотрел наклейку. Папиросы назывались «Атаман». На коробке был изображен «читинский самодержец». Маньчжурская папаха, бурка, грозные усы. Семенов на коробке напоминал то ли Козьму Пруткова, то ли забайкальского Илью Муромца.

— Тоже знакомец?

— Нет, с этим не привелось.

— Ничего, придет время, и с Семеновым поближе познакомимся,— пообещал Буров.

Он закурил.

— Табак будто маньчжурский: слабый, а приятный...

Перестук колес стал реже. В купе вошел начальник эшелона № 52 майор Кадлец, стройный, голубоглазый, над четко очерченным ртом аккуратная щеточка усов. Кадлец был еще молод, считался красавцем и пользовался неизменным успехом у провинциальных дам. Разоружение конвоя Колчака вопреки его опасениям прошло без осложнений, а поездка в Иркутск из такой дыры, как Нижнеудинск, сулила удовольствия.

Сияя глазами и улыбкой, Кадлец почти без акцента сказал:

— Прибываем.

По состоявшемуся соглашению Колчак должен был быть передан Политцентру только после того, как из Иркутска выедут все «высокие комиссары». Жанен не хотел встречаться со своим бывшим другом при такой не совсем удобной для него, Жанена, ситуации... Поэтому под Иркутском предстояла остановка, возможно длительная.

Буров надел малахай, застегнул бекешу.

— Пойду посмотрю, как там...

Майор Кадлец, содержавший до войны в центре Праги роскошную парикмахерскую, вежливо кивнул ему вслед, как старому, но не особенно выгодному клиенту, и сказал:

— Очень беспокойный человек. Большевики вообще очень беспокойные люди. Мои симпатии всегда были у социалистов-революционеров. Они настоящие славяне. А большевики... Нет, большевики не похожи на славян...

— Вы будете говорить со своим командованием, майор?

— Да. Но на скорый отъезд рассчитывать нельзя. Нет, нельзя...— Майор улыбнулся.— Так что ваш друг большевик успеет побриться...

Сам Кадлец, как отметил Стрижак-Васильев, был чисто выбрит. От него даже пахло одеколоном. Майор был готов к встрече с иркутскими дамами. Стрижак-Васильев вспомнил, как атаман Семенов произвел в почетные казаки английского консула Портера и вице-консула Хилла, и мысленно примерил на голове красавца майора маньчжурскую папаху. Лихой бы вышел казак... Он усмехнулся и предложил Кадлецу папиросы «Атаман». Тот изящным движением взял папиросу, поблагодарил.

Звякнув сцепами вагонов, поезд остановился. За окном купе желтели огни.

Переговорив со штаб-квартирой чехословацких войск, Кадлец узнал, что все «высокие комиссары» уже в Верхнеудинске [14].

— Но ваш друг все-таки успеет побриться,— сказал он Стрижак-Васильеву, вернувшись со станции.

Днем 15 января политический представитель Чехословацкой республики доктор Благож пригласил к себе на городскую квартиру Косминского и договорился с ним о технике передачи Колчака, Пепеляева и их свиты.

Передача состоялась в 10 часов вечера в присутствии бойцов Черемховского отряда Бурова и была оформлена актом. С чешской стороны его подписали доктор Благож и начальник эшелона № 52 майор Кадлец. С русской — заместитель командующего войсками Политцентра Нестеров и члены комиссии.

Все произошло без инцидентов, если не считать неожиданного заявления Тимиревой, что она хочет разделить участь Колчака.

— Любовь,— философски заметил Кадлец и вопросительно посмотрел на Нестерова. Тот пожал плечами...

А уже на следующий день Сыровой доложил о происшедшем Жанену. Сделано это было за завтраком у японского генерала. По свидетельству корреспондента читинской газеты, доклад Сырового не повлиял на аппетит французского генерала... Жанен выпил за здоровье Колчака и заметил, что «адмирал сам виноват: он за последнее время не слушал его, Жанена, советы и находился в дурном окружении».

ИЗ ПИСЬМА СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВА НЕВЕСТЕ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ СТАЛА ЕГО ЖЕНОЙ

Май 1908 года, Бутырская тюрьма.

«Твои рассуждения меня удивили. Присутствие жандарма помешало откровенности, да и не хотелось тратить драгоценные минуты свидания на спор. Видеть тебя было счастьем, а счастье, поскольку это в твоих силах, омрачать не следует. Но теперь ты там, за стенами тюрьмы... Будем до конца откровенны.

Ты почти дословно повторила слова отца, сказанные им во время нашего разрыва. Но предводитель уездного дворянства Стрижак-Васильев всегда исходил из того, что бог создал Адама, Еву и дворянство. Причем если предназначение Адама и Евы поддается разным толкованиям, то смысл существования дворянства предельно ясен: оно должно охранять престол и православие, есть, пить, закладывать и перезакладывать свои имения и — последнее по счету, но не по значению — делать карьеру. И, кажется, обыск в доме в первую очередь потряс его тем, что столь успешно начатая мною карьера (орден, досрочное производство в лейтенанты и тому подобное) безвозвратно погибла... Он мне мог простить все, кроме этого... А теперь ты...

Ты очень красочно и убедительно говорила о бессмысленности самоотречения, о никому не нужном аскетизме, героизме (прости, не помню, были, кажется, еще какие-то «измы»). Целиком с тобой согласен. Но ведь ты лучше, чем кто бы то ни было, знаешь, что я далеко не аскет, и уж скорей меня можно обвинить в излишней любви к удовольствиям жизни. А героизм, с моей точки зрения, вообще нонсенс. Героизм — это когда человек пытается перепрыгнуть через самого себя. У меня же еще в Морском корпусе дело с прыжками обстояло далеко не важно (одна из причин, почему я не получил премии адмирала Рикорда...). И, наконец, самоотречение... В том-то и дело, что, участвуя в революционной работе, я не отрекаюсь от себя, а следую своим принципам и своим убеждениям, то есть своему «я». Да, это чревато многими тяготами, неудобствами, риском... Но при всем своем желании я не в состоянии отказаться от самого себя. Я есть я. Я не в состоянии жить сытой и бездумной жизнью, в то время как миллионы умирают с голода. Вот и все...

А в тюрьме не так страшно, как тебе показалось. Если бы не сырость в камере и брящающие кандалы (то ли по забывчивости, то ли в силу каких-то мудрых государственных соображений мне не дали ремня для поддержки кандалов, и это создает некоторые неудобства), то здесь было бы вполне терпимо. Сокамерники люди вполне порядочные и приятные в общении. Это скрашивает тюремную жизнь. Скрашивает ее и мысль о том, что рано или поздно наши места здесь займут те, кто пожнет посеянную ими же бурю грядущей революции. При мысли об этом я испытываю не злорадство, а естественное чувство удовлетворения. Это будет не местью, а биосоциальной гигиеной. Все новорожденные, в том числе и революции, подвержены инфекциям. И если насилие — повивальная бабка истории, то биосоциальная гигиена — свидетельство ее опытности...

Но это будущее, а настоящее... Не дай тебе бог познакомиться когда-либо с тюрьмой!»

О ПОЛЬЗЕ ТЮРЬМЫ

(Мнение инспектора Главного тюремного управления Лучинского)

«Тьма делает человека более чувствительным к свету, невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет его глубоко вдуматься в свое «я», в окружающие его условия, в свое прошлое и настоящее и подумать о будущем».

(«Тюремный вестник», 1913)

В ОДИНОЧНОМ КОРПУСЕ

Стрижак-Васильева ждал Ширямов. Поэтому он не присутствовал при церемонии передачи Колчака представителям Политцентра, а сразу же отправился в Знаменское предместье, где по-прежнему размещался партийный комитет, который теперь перешел на полулегальное положение.

Передача много времени не заняла. И уже через полчаса после того, как Стрижак-Васильев распрощался с Буровым, бывшего «верховного правителя» вывели из здания вокзала.

«...Направляемся к берегу по Вокзальной улице,— вспоминал потом Нестеров.— Впереди Колчак, за ним Пепеляев. Подошли к кромке льда. Тут Колчак, молчавший всю дорогу, спросил: «Давно ли встала Ангара?» Я ему ответил: «Недавно, Ангара только что встала...»

Действительно, кругом громоздились торосы, зияли полыньи, и только кое-где пролегали свежие следы на снегу. Ночь была очень темная, беззвездная. Над рекой стоял туман. Идти можно было только цепочкой. Показав рукой на ледяную тропу, я сказал: «Вперед, адмирал!» Пошли. Впереди Колчак, затем я с наганом в руке, дальше Пепеляев, за ним начальник конвоя... Путь был очень напряженным: кругом темень, куда ни посмотришь — нагромождение льда. В голове одна мысль: «А что, если Колчак бросится вправо или влево? Скорее вправо, к станционным путям, где стоит японский эшелон...»

Но, чувствуя, что в затылок ему смотрит дуло нагана, адмирал на побег не решился. Он торопливо шел по льду, как будто хотел скорее преодолеть это опасное расстояние. Вышли мы к правому берегу Ангары, недалеко от Курбатовской бани. Нас уже ждали. Арестованных посадили в машины и кратчайшим путем повезли в тюрьму...»

Думал ли Колчак о побеге, когда шел по льду Ангары? Вряд ли. Попытка побега была такой же бессмыслицей, как и самоубийство, которого опасался Буров. Именно поэтому на вокзале в Иркутске, когда ему был задан вопрос, имеется ли оружие, он достал из кармана револьвер и молча передал его помощнику коменданта...

Арест и разговор со Стрижак-Васильевым подвели черту. И адмирал понимал, что перейти через эту черту он уже не сможет...

Видимо, шофер был неопытный — машину бросало из стороны в сторону. На одном из поворотов, задев локтем конвойного, Колчак извинился.

— Ну чего там, бывает,— буркнул тот.

Колчака поразила будничность интонации, с какой были сказаны эти слова. Он был для конвойного не верховным правителем, не адмиралом, а арестантом или, пользуясь терминологией Стрижак-Васильева, обычным преступником. И, сопровождая «вождя белого движения» в тюрьму, этот человек чувствовал себя не участником исторического события, а исполнителем скучного, но нужного дела — «революционного долга», кажется, так они выражаются?

Он не мог разглядеть лица конвойного. Но, судя по голосу, тот был молод — еще не установившийся басок. И адмиралу, захотелось вновь услышать этот голос. Он задал первый пришедший на ум вопрос:

— Скоро приедем?

— А чего не скоро? Скоро,— охотно отозвался конвойный.— Только вам-то торопиться не след... Тюрьма учреждение скучное, а для ясности сказать, то и подлое. Вот покончим с мировой буржуазией, с вами то есть, и разрушим все тюрьмы к чертовой бабушке, чтоб ни одной не осталось... В тюрьму разве кто торопится? Не приходилось, верно, в тюрьме бывать?

— Нет.

— То-то и оно,— удовлетворенно сказал конвойный,— а я пребывал... Подлое учреждение!

Машина, просигналив у ворот, въехала во двор.

С этой минуты «верховный правитель и верховный главнокомандующий армий России» превращался в заключенного иркутской губернской тюрьмы...

Тюрьма эта, расположенная в Знаменском предместье по соседству с торговыми банями, куда выходили ее боковые ворота, в отличие от Александровского централа или знаменитых петроградских «Крестов», ничем не выделялась из 718 тюрем «общего устройства» Российской империи, к которым Главное тюремное управление относило губернские тюрьмы, уездные, окружные и полицейские арестные помещения.

Построена она была задолго до того, как тюремное управление откомандировало за границу своих чиновников для изучения опыта просвещенного Запада. В инструкции командированным указывалось: «Тюрьма должна быть построена прочно и удобно, но совершен-

но просто, без всяких лишних украшений и роскоши, нередко допускаемых в западных государствах и столь нежелательных для России, где предстоит построить значительное количество мест заключения».

К тому времени иркутская тюрьма была уже в ветхом состоянии. Ее подправили, расширили и возвели одиночный корпус, который был «сделан прочно и удобно, но совершенно просто, без всяких лишних украшений и роскоши». Таким образом, одиночный корпус в отличие от всей тюрьмы имел сравнительно короткую историю. Но это отнюдь не умаляло его прошлого.

И Стрижак-Васильев, и бывший начальник иркутской тюрьмы, служивший теперь после отмены пенсии старшим тюремным надзирателем, могли бы рассказать об этом корпусе много интересного и поучительного. В частности, они могли бы объяснить адмиралу, почему пятую камеру, в которую его собирались поместить, называют «висельной». Это прозвище она получила после того, как известный в Восточной Сибири палач Федька Лапов, вздернув пять приговоренных к смертной казни террористов и пересаженный «во избежание эксцессов» из общей камеры в пятую, закончил свою непутевую жизнь в петле, сделанной из взятой им «на счастье» веревки от казненного.

Кого только не видели стены камеры! Пропагандистов из «Черного передела», либералов, анархистов, эсеровских боевиков, конституционных демократов, большевистских руководителей, взбунтовавшихся крестьян...

В «висельной» сидел, дожидаясь суда, будущий председатель Иркутской губчека Самуил Чудновский. Здесь же в апреле 1919 года перед отправкой в омскую контрразведку находился Стрижак-Васильев...

Сотни людей, сменяя друг друга, обживали эту ничем не примечательную каморку с асфальтовым полом, выкрашенными сажей на масле стенами и запирающейся на крюк койкой: борцы за народ и борцы за власть, убежденные революционеры и временнообязанные революции, те, кто отстаивал будущее и кто цеплялся за прошлое. Отсюда уходили на свободу, на каторгу, на смерть. О прошедших через «висельную камеру» напоминали лишь надписи, которые при желании можно было обнаружить на стенах и полу: «7/XII—18. Передать всем: «Мефодий — провокатор», «Дядя Сережа», «Большевики гибнут, но дело их живет...», «Да здрав-

ствует мировая революция! «Кепка», «Завтра — казнь. Никого не выдал. Л. Б. 10 января 1919 года...»

Надписи были грубейшим нарушением соответствующего параграфа инструкции. Их предписывалось всячески искоренять, «налагая на арестантов взыскания, до карцера включительно». Но старший надзиратель, знавший, как «Отче наш», все 400 статей Устава о содержании под стражей 1886 года и 394 статьи этого же устава в издании 1890 года, ничего не мог поделать. Арестанты находились в таких условиях, что их не мог испугать даже темный карцер, а камеры начиная с 1917 года не ремонтировались. Власти, сменявшие друг друга, были слишком озабочены своим собственным положением, чтобы всерьез заняться тюрьмой. И когда в ноябре 1918 года в Омске был опубликован манифест адмирала Колчака, возвестивший падение директории и установление военной диктатуры, старый чиновник возрадовался: диктатура знаменовала твердость и устойчивость. Он решил, что для его любимого детища наступает эра возрождения.

В обширной докладной на имя «верховного правителя», принявшего «крест власти», выпавший в феврале 17-го года из ослабевшей десницы самодержца всероссийского, царя польского, великого князя финляндского, царя сибирского и астраханского, старший надзиратель проявил себя не только чиновником, но и поэтом. Подробно описав, каким благом для государства являются «надлежащим образом функционирующие места заключения», и изложив в сдержанно красноречивых фразах бедственное состояние иркутской тюрьмы, он «нижайше просил» его высокопревосходительство способствовать выделению ассигнований на приведение тюрьмы в «образцовое состояние, приличествующее великой цивилизованной державе, коей является Россия». Но Колчак, занятый подготовкой весеннего наступления, не обратил на докладную должного внимания, переадресовав ее в министерство внутренних дел с краткой резолюцией: «Разобраться». А у министерства внутренних дел, в свою очередь, были другие, более важные дела, связанные с подавлением партизанского движения и рабочих забастовок. Так докладная и погибла, не получив хода, а только изукрасившись еще несколькими ничего не значащими резолюциями с завитушками и без оных...

О цементе и краске можно было только мечтать. Что же касается строительства, то за последний год во

дворе тюрьмы было построено лишь одно здание — тифозный барак. Сколоченный из досок, он совершенно не вписывался в тюремный ансамбль, выпирая безобразным, раздражающим глаз наростом. Не отличался он и вместимостью. И если в него все-таки втискивали больных, которых день ото дня становилось все больше, то только потому, что ежедневно умирало шесть — восемь тифозных арестантов... И, наблюдая за тем, как из барака крючьями вытаскивали трупы, для того чтобы освободить место на полу для новой партии, старший надзиратель с тоской вспоминал о невинно убиенном в Екатеринбурге всемилостивейшем императоре: только он мог вернуть былое величие тюремному ведомству.

При Колчаке же тюрьма не только не «возродилась», но пришла в окончательный упадок: в камеры, рассчитанные на двенадцать человек (двенадцать коек, одна параша и один столик), набивали по сорок, а то и по шестьдесят заключенных. И в глазок двери, который всегда являлся недреманным оком Российской империи, ничего нельзя было разглядеть, кроме копошащейся массы тел. Власти забыли про тюремные инструкции. Даже мудрый, десятилетиями выверенный ритуал смертной казни и тот был попран сапогом невежды. Теперь не заказывали саванов, веревок, мыла (обязательно варавского). Все это было ни к чему: приговоренных не вешали — их стреляли. И делалось это без представителя прокурорского надзора, без врача, зачастую в самих камерах, которые после расстрелов невозможно было привести в приличный вид... Какое уж тут «возрождение»!

Так грубая действительность рассеяла мечты энтузиаста тюремного дела. И хотя всю свою жизнь он привык не сомневаться в мудрости высокого начальства, в его душе день ото дня зрело недовольство «верховным правителем». И арест Колчака его не удивил — это была естественная кара за пренебрежение неотложными нуждами тюремного ведомства. «Верховный правитель» обрек себя уже тогда, когда подписал свою ничего не значащую резолюцию. Бывший начальник тюрьмы не мог сочувствовать такому сановнику. Тем не менее он учитывал, что Колчак полный адмирал, то есть чин второго класса. Это по приложению к статье 244 устава о службе соответствовало по гражданскому ведомству действительному тайному советнику, а по придворному — обер-камергеру, обер-гофмаршалу или обер-шенку.

Особа второго класса — это особа второго класса.

На шитых золотом погонах полного адмирала — три двуглавых орла. И каждый из них требует свою долю почтения и уважительного трепета. Эти чувства должны выражаться во всем — в готовности оказать услугу, в лице, жестах, в умении слушать и поддакивать, в интонации и даже в почерке. Письма, а тем более докладные, адресованные особе второго класса, полагается писать разборчивым округлым почерком, на цельном листе большого формата специальной почтовой, а не обычной писчей бумаги. В тех же случаях, когда письмо занимает больше страницы и нужно переносить часть текста на следующую, слова ни в коем случае не разъединяются. Переносятся лишь фразы. А еще лучше — так подгадать, чтобы переносимый текст начинался по какому-нибудь иному поводу, а следовательно, с новой строки. Чернила полагается употреблять не цветные, а только черные. И заканчиваются такие письма трепетными и уважительными словами: «С глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Высокопревосходительства всепокорнейший и преданнейший слуга...»

Именно так, с соблюдением всех правил, писал свою докладную старый чиновник, вышедший на пенсию в скромном чине коллежского асессора, что, как известно, соответствует штабс-капитану или, к примеру, штабс-ротмистру. И хотя по докладной не было принято мер, а сам «правитель» прибыл в тюрьму в качестве арестанта, бывший начальник тюрьмы считал своим долгом оказать почет если не самому Колчаку, то трем двуглавым орлам, на крыльях которых полный адмирал парил над головами простых смертных. Поэтому он собственноручно, поскольку это некому было поручить, вымыл пол в «висельной камере», поскреб ногтем надписи и отправился к новому коменданту тюрьмы, который две недели назад еще числился арестантом из 11-й камеры.

По требованию губкома большевиков Политцентр не только назначил комендантом тюрьмы коммуниста, но и дал, как выразился Ширямов, «более или менее добровольное согласие» на замену караула рабочей дружиной. Теперь все арестованные во время переворота деятели колчаковского «правительства» фактически находились в руках большевиков.

Когда «ясные пуговицы», так прозвали заключенные старшего надзирателя, появился в конторке, комендант

обсуждал с командиром дружины систему расстановки внешних и внутренних караулов (Тимирева, Колчак, его адъютант и директор канцелярии временно находились в общей камере) и одновременно пытался стянуть со сбитой в кровь ноги чрезвычайно тесный сапог. И то и другое почему-то не получалось.

Войдя в контору, старший надзиратель сразу же сообразил, что он здесь не ко времени. Багровое, нахмуренное лицо бывшего арестанта из одиннадцатой не предвещало ничего хорошего. Но над ним, старшим надзирателем, довлел груз долга, поэтому он не пошел на попятный, а, осторожно прикрыв за собой дверь, вытянулся и деликатно кашлянул.

— Ну что там? — недовольно спросил комендант, оставя в покое сапог и разминая в ладони поросший сизой щетиной подбородок.

— Я касательно господина адмирала,— тихо, но твердо сказал старший надзиратель.

— Так ведь все уже решили-вырешили... Будет в «висельной». Подготовили?

— Прибрал...

В воспаленных глазах коменданта вспыхнули веселые огоньки.

— Прибрали?

— Так точно. Подмел, пол вымыл...

— Сами?

— Так точно.

Комендант хмыкнул.

— Слыхал, Петр Зосимович? — подмигнул он командиру дружины.— Сам вымыл! Мы-то без приборочки, в собственном дерьме сидели... Расстарался старик, а?

— Адмирал...— буркнул немногословный командир дружины.

— То-то и оно что адмирал,— согласился комендант.— Ну да ладно, прибрал так прибрал. Чистота, она не помешает. А пожаловал зачем?

Бывший начальник тюрьмы, прижимая ладони рук к тощим старческим ляжкам, сказал:

— Прошу соизволения на размещение в камере номер пять книг.

— Каких книг?

— Дозволенных тюремным ведомством, божественных...

— Какой уж тут бог, папаша! — махнул рукой командир дружины.

— Православный,— не понял «ясные пуговицы».

От удивления комендант так сильно дернул сапог, что тот, скрипнув, освободил наконец ногу. Эта неожиданная удача настроила его на благодушный лад.

— Валяй,— сказал он.— Хотя бога нет, ежели разобраться, но против книг не возражаю, пусть и божественных...— Комендант пошевелил под столом занемевшими пальцами ноги, покрутил голой горячей пяткой по холодному полу. Такое же ни с чем не сравнимое блаженство он испытал три месяца назад, когда с него сняли «предупредительные связки» — хитроумные кандалы, скреплявшие цепью правую руку с левой ногой.— Можешь ему хоть всю тюремную библиотеку перетащить,— сказал бывший арестант 11-й камеры.— Белогвардейщине крышка. Теперь каждому заключенному, пусть он и Колчаком будет, послабление... Без мордобоя и кандалов... Придет время, судить по закону будем, а издевательств никаких. И прогулки ему, и свидания с гражданкой княгиней... Большевики не колчаковцы.

Старший надзиратель добился больше, чем рассчитывал. Но высшей инстанцией для него все-таки был не арестант одиннадцатой, превратившийся по воле случая в коменданта («ну и времечко!»), а старые циркуляры. Они же строго ограничивали количество, а главное — качество духовной пищи. Заключенных полагалось снабжать литературой лишь «духовно-нравственного», «серьезного» и «научного содержания». Относительно газет и журналов указывалось, что их можно давать арестантам не ранее года после их выхода («Правила содержания в тюрьмах гражданского ведомства политических арестантов», утверждены министерством юстиции 16 апреля 1904 года).

Полный адмирал и бывший «верховный правитель» мог, конечно, рассчитывать на некоторые льготы. Однако они должны были идти по линии расширительного толкования правил, но не их искажения.

Поэтому после некоторых колебаний старший надзиратель остановился на библии, «Молитвеннике для заключенных» директора пермского тюремного комитета протоиерея Попова, искуренном наполовину историческом романе господина Лажечникова «Ледяной дом», подшивках журнала духовного ведомства «Церковный вестник» и омской газеты «Слово» за последние месяцы 1918 года. Все это он аккуратно сложил ровной

стопочкой, а затем, поддавшись порыву великодушия, присовокупил два номера «Тюремного вестника».

Когда Колчака ввели в камеру, она не только соответствовала всем требованиям министерства юстиции, но и отличалась некоторым щегольством, которое оценил бы каждый опытный арестант. Но бывший «верховный правитель» был новичком. Поэтому он в первую очередь отметил не чистоту пола, не такую роскошь, как постельное белье и книги, а зарешеченное окно, сырость и тот специфический запах, по которому можно узнать тюрьму даже с закрытыми глазами. «Запах неволи», как назвал его в одном из своих писем Стрижак-Васильев...

В камере было тихо. Колчак сделал несколько шагов, остановился, снял полушубок, шапку, положил их на табурет, прислушался. По коридору шли люди, а впрочем, скорей всего ему показалось. Он переложил полушубок и шапку на койку, сел, упершись руками в колени. Пальцы подергивала мелкая дрожь.

Он вспомнил о коробке с ампулами и шприцем, которая лежала в потайном ящике письменного стола. Один укол морфия... Он многое дал бы за этот укол...

Лампочка под потолком погасла, затем снова зажглась. От затхлого запаха и бессонной ночи кружилась голова. Много лет назад флаг-офицер по распорядительной части при командующем учебным отрядом судов, плавающих с гардемаринами, капитан второго ранга Иващин любил говорить, что гардемарин становится офицером не тогда, когда надевает мичманские погоны, а когда осваивает науку владеть собой. Иващин был бездарным офицером и во многом ошибался, но как раз в этом он был прав...

В конце концов, тюрьма знаменовала не только конец вооруженной борьбы, но и начало другой, не менее трудной, которая требовала предельной четкости мысли и самообладания.

Адмирал встал. Он пытался вновь почувствовать себя тем человеком, которого восторженно встречали офицеры в Омске и в чью честь ревели «ура!» казачьи сотни.

Когда Колчак в зале ожидания первого класса Иркутского вокзала отдал свой бельгийский браунинг, стоявший рядом молоденький офицер Политцентра удивился.

— У вас было оружие?.. Я бы на вашем месте застрелился, господин адмирал...

У офицера был пухлый рот и до предела ясные глаза недоучившегося гимназиста, а в его наигранном удивлении чувствовалось презрение. Мальчишка, конечно, не понимал и не мог понять, что именно самоубийство и было бы проявлением трусости.

Так думал Колчак после тягостного разговора со Стрижак-Васильевым в поезде. Так думал он и теперь, в камере № 5 одиночного корпуса иркутской тюрьмы...

Щелкнул засов. В камеру вошел старик. На нем был старый, но чистый, тщательно выглаженный вицмундир, залатанные штиблеты. Он улыбнулся, обнажив крупные желтые зубы, вежливо представился:

— Старший надзиратель иркутской губернской тюрьмы, бывший ее начальник и бывший коллежский асессор...— «Не слишком ли много «бывшего»?» — Надеюсь, господин адмирал доволен порядком в камере?

Последняя фраза могла показаться издевательством, но интонация, с какой она была сказана, и почтительное выражение лица свидетельствовали об искренности. Просто маленький чиновник чувствовал себя радушным хозяином, принимающим высокого гостя. Поняв это, Колчак сказал, что у него нет никаких претензий.

Он и раньше встречал похожих людей, относясь к ним с презрительной симпатией. Такие восторженно-трепетные чиновники являлись частицей того устойчивого времени, когда жизнь подданного Российской империи была предопределена задолго до его рождения, когда каждое сословие знало свои права и свято выполняло обязанности, а поступки людей, даже в мелочах, регламентировались сводами законов, правилами поведения, обычаями и предрассудками.

Подданные империи были обременены многими обязанностями, но зато от одной, наиболее тяжкой, их начисто освободили. Это была обязанность размышлять и принимать самостоятельные решения. Сие от них не требовалось. В России все предопределялось начальством, которое, в свою очередь, выполняло волю помазанника божьего, императора всея Руси. Поэтому не только русская армия являлась частью России, но и сама Россия, в более высоком, конечно, смысле, являлась частью русской армии, а ее чиновники теми же унтерами и офицерами.

«Ежели во Франции имеется могила Неизвестного солдата, то в России следовало бы воздвигнуть монумент неизвестному чиновнику». Эти слова были сказаны

сыном знаменитого революционера Адриана Михайлова, министром Временного Сибирского правительства, а затем и министром Колчака Иваном Михайловым, больше известным в Сибири под кличкой «Ваньки-Каина». Цинизм Ивана Михайлова всегда фраппировал адмирала. Но в высказанной им мысли было нечто созвучное тому, о чем думал «верховный»...

Адмирал искренне был убежден, что революция явилась результатом разболтанности, а она, эта разболтанность,— следствием неуважения и невнимания вот к такому маленькому чиновнику, унтер-офицеру империи... Такие вот, как Стрижак-Васильев, из года в год подтачивавшие, подобно термитам, устои империи, в первую очередь подтачивали чувство уважения народа к чиновникам. И это привело к хаосу, к власти мужиков и мастеровых...

Старший надзиратель деликатным кашлем прервал размышления высокопоставленного арестанта. Он обратил внимание господина адмирала на опрятность камеры, на книги, лежащие на столике, коротко познакомил с тюремным распорядком, со временем прогулок и свиданий с госпожой Тимиревой-Сафоновой, камера которой ничуть не хуже той, что занимает (он именно так и сказал) господин адмирал...

И Колчак вновь остался один. Краткий разговор со стариком подействовал на него успокаивающе: он был чем-то единственно реальным в жуткой нереальности последних трех месяцев, когда все незыблемое, как некогда в 1917-м, потеряв устойчивость, стремительно покатилось в бездну.

Бегущий и умирающий фронт, крутящиеся в безумной пляске языки пламени, обрывки мыслей, предатели-союзники, унизительное чувство беспомощности и обреченности, конвой, поспешно сложивший оружие без какой-либо попытки к сопротивлению, и гнетущая неизвестность...

Колчак взял со столика какой-то журнал, стал его перелистывать. Глаза выхватили со страницы тесно пригнанные друг к другу строчки: «Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни... Тишина заставляет его глубоко вдуматься в свое «я»... и подумать о будущем...»

Прочитанное что-то напоминало... Но что? Ну да, тот разговор...

Он вновь услышал густой насмешливый голос:

— Видите ли, дорогой Александр Васильевич, когда я после большевистского переворота, отказавшись выполнять приказания прапорщика Крыленко, был незамедлительно препровожден в Трубецкой бастион, я кое-что понял. Я там понял, в чем сила революционеров...

— В чем же?

— В натренированном уме, и ни в чем более. Тюрьма, она размышлять заставляет, Александр Васильевич, мыслить... Поэтому в отличие от мозгов верных сынов отечества мозги революционеров более реально оценивают обстановку в нашей любезной толстопятой Расеюшке... Вот поглядите их лозунги: «Грабь награбленное!», «Не хочешь войны — уходи с фронта»... Кратко и вразумительно, каждому пейзанину понятно. Это не то что «единая и неделимая»... А все тюрьма, Александр Васильевич, уединение и размышление...

У собеседника Колчака было рябоватое лицо с бородкой «буланже» и тронутые сединой усы. Это был один из основателей Союза возрождения, командующий войсками Директории генерал-лейтенант Болдырев[15], а разговор состоялся во время первого визита Колчака к командующему в конце октября восемнадцатого года в Омске, где сибиряки, сложив свои полномочия, провозгласили Уфимскую директорию Всероссийским Временным правительством. Колчак тогда в качестве частного лица только прибыл из Владивостока, и Болдырев сватал ему пост военного министра...

Странным оказался тот разговор. Колчаку и тогда и сейчас непонятна была позиция собеседника и он сам.

Сын сельского кузнеца, Болдырев любил подыгрывать под мужичка, употребляя простонародные словечки и выражения, что не мешало ему быть изысканным ценителем Оскара Уайльда и пользоваться репутацией самого рафинированного профессора Академии генерального штаба.

За лукавым косноязычием нарочито корявых фраз Колчак угадывал что-то расплывчатое и потаенное. И дав Болдыреву выговориться, напрямик спросил:

— Следовательно, Василий Георгиевич, вы считаете, что для того чтобы победить, нам придется сражаться под эсеровским флагом Директории?

— Нет,— мотнул круглой головой с седеющей щеткой волос Болдырев.— Под красным флагом Совета Народных Комиссаров.

Он шумно, раскачиваясь всем своим массивным корпусом, расхохотался, а затем, оборвав смех, пристально посмотрел на Колчака.

— Вот так, стало быть, Александр Васильевич... Для победы к комиссародержавию примыкать надо было бы... Вот Брусилов, к примеру, генерал Бонч-Бруевич, командующий большевистским флотом — ваш однокашник, контр-адмирал Василий Альтфатер — те в самую точку попали...

— А вы?

— А я так же, как и вы, Александр Васильевич,— по касательной... Все около да около...

— Сражаясь с большевизмом, я следую своим принципам,— разрывая паутину шутливости, сухо сказал Колчак.

— Принципы — основа,— кивнул Болдырев.— Принципы — они дороже хлеба насущного. Только народец-то наш темный. Ему не принципы, а землицу помещичью подавай. И воевать он не желает. Большевички-то это и смекнули... А почему? А потому, что за чинами не гонялись, орденов не выпрашивали, а размышляли и агитировали... Потому и говорю, что в тюрьме посидеть малость нашим рыцарям все-таки не помешало бы... Нет, не помешало. Наедине с собой... Тюрьма для смутного времени — вроде Академии генерального штаба. Что же касается победы, то иного выхода у нас нет: или мы их, или они нас...— И вне всякой связи с предыдущим сказал: — А Ленин уже миллионную армию подготовил... Вот вам и «немецкий шпион»!

«...Тишина заставляет его глубоко вдуматься в свое «я»...»

А Болдырев, видимо, сейчас в Японии. Он тогда не принял свержения Директории, хотя и относился иронически к эсеровским лидерам... Странный все-таки человек, очень странный... Как он сказал? «В отличие от мозгов верных сынов отечества мозги революционеров способны более реально оценивать обстановку...»

«Реально»... Пожалуй, в этом Болдырев был прав. Во всяком случае, то, что говорил ему в апреле 19-го Стрижак-Васильев, осуществилось. Поманив призраком мнимых побед, судьба жестоко подшутила, бросив его в эту камеру. В чем он ошибся? В себе? В сложившейся после революции ситуации? В русском народе? В союзниках? В оценке большевиков?

«Наш спор, который начался в 1904-м, закончен. И вы не пленник, а преступник. И как у каждого преступника, у вас впереди следствие, суд и приговор... Что касается дискуссии, то вам теперь остается дискутировать только с самим собой...»

Нет, Колчак не собирался сдавать своих позиций, на этот раз уже последних...

Наблюдавший за ним в глазок старший надзиратель видел, как адмирал читал журнал, а затем, достав из кармана золотой портсигар, закурил.

Статья 25-я «Правил» допускала курение табака только с разрешения губернатора. Но иркутский губернатор сбежал накануне переворота, а арестант «висельной камеры» был особой второго класса. И старший надзиратель, опустив щиток глазка, отошел от обитой жестью двери...

ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ КАППЕЛЕВЦЕВ К НАСЕЛЕНИЮ

«За нами с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедноты и гонения на веру в Иисуса Христа.

Где утвердится советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется.

Большевики отвергают бога, и, заменив божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга.

Большевики несут к вам заветы ненависти к Христу, новое красное евангелие, изданное в Петрограде коммунистами в 1918 году.

В каждой местности, где утверждается советская власть, большевики прежде всего силой отнимают у крестьян хлеб, производят мобилизацию и гонят в бой пулеметами ваших сыновей...

Крестьяне, уже скоро весна. Зачем же вам усеивать кормилицу землю трупами, когда она ждет, чтобы вы бросили в нее всхожее зерно».

ПАРТИЗАНСКАЯ ЛИСТОВКА

«Мы, советская армия рабочих и крестьян, обращаемся к вам с разъяснением, что мы не хотим вашей крови, что мы не будем убивать вас, как это делают палачи офицеры, которые посеяли рознь между вами и нами...

Сибирь уже занята советскими войсками. Оставьте позорное дело, уничтожайте палачей офицеров, которые завели вас в эту непроглядную тьму. Вставайте в наши ряды под знамя, облитое кровью мозолистых рук... Управлять страной должен сам народ через посредство Советов... И недалек тот час, когда братья по труду подадут друг другу руку, станут под одно знамя, на котором написано: «Рабочие и крестьяне всех стран, соединяйтесь», и скажут: довольно крови, довольно борьбы в защиту капитала и привилегированного класса, так как нам, рабочим и крестьянам, война не нужна, мы от нее получили сирот, калек, слезы и разорение, а они набили карманы.

Граждане! Граждане! Вам офицеры говорят, что большевики грабители, что они не признают бога и религии. Нет, это все ложь! Мы признаем все религиозные обряды, но не такие, как они,— расстреливать и насиловать. Мы хотим отделить церковь от государства, это значит то, чтобы церковь не вмешивалась в дела государства, государство в дела церкви, чтобы во время церковного служения не молились на людей, живущих на земле, таких же, как и мы, равных по плоти и крови...

Довольно лепить вам эти черепки разбитой монархической власти, все равно не слепить! Долой тиранов-палачей! Да здравствует власть трудящихся! Да здравствует Интернационал всего мира! Да здравствуют Советы рабочих и крестьян!»

ЗА СТЕНАМИ ТЮРЬМЫ

В то время как Александр Колчак готовился предстать перед Чрезвычайной следственной комиссией, уже сформированной Политцентром с согласия большевиков, а бывший начальник тюрьмы с благосклонным интересом наблюдал за ним через глазок в двери камеры, за стенами тюрьмы надвигались события, имевшие прямое отношение и к бывшему «верховному правителю», и к Политцентру. Предвестниками этих событий были слухи. Фантастические и неопределенные, порой противоречивые, они объединялись вокруг одного имени — имени «народного героя» генерала Владимира Оскаровича Каппеля. Так же как и брат последнего председателя колчаковского «совета министров» двадцативосьмилетний генерал Анатолий Пепеляев [16], Каппель резко выделялся среди ничем не примечательных офицеров ставки. Он обладал не только незаурядными военными способностями, но и такими чертами характера, которые представляли благодатный материал для легенд. Еще будучи командиром Первой добровольческой дружины так называемой «Народной армии» Комуча [17], Каппель лично водил в атаки офицерские роты. Под ураганным огнем красных, с папиросой в зубах он картинно шел в цепи, сбивая стеком головки ромашек («Пуля должна кланяться русскому офицеру, а не русский офицер пуле...»). Таким бесстрашным, железным солдатом, встречи с которым пугливо избегала сама смерть, его и запечатлел для парижского буржуа французский корреспондент. Фотография Каппеля со стеком в руке и букетиком ромашек, выглядывающим из нагрудного кармана френча, обошла многие газеты, красноречиво свидетельствуя о кредитоспособности никому доселе не известной «Учредилки».

В активе Каппеля был захват Симбирска, победоносные бои у Нижнего и Верхнего Услона под Казанью, раздуваемые газетами военные удачи во время весеннего наступления колчаковских армий в 1919 году. Волевой и честолюбивый, при случае беспредельно жестокий, Каппель еще в 1918 году взлетел на гребень славы. Но командующим он стал только после падения Омска, когда фронт лавиной откатывался на восток.

Теперь иркутские обыватели шепотом говорили о том, что фортуна вновь повернулась лицом к своему любимцу.

Рассказывали, что, разгромив под Красноярском авангард красных и повесив в назидание бунтовщикам генерала Зиневича, Каппель, верный слову, которое дал адмиралу Колчаку, идет на Иркутск, где соединится с войсками атамана Семенова. Здесь, в Иркутске, будет положен конец распространению большевизма, отсюда начнется новое мощное наступление, которое закончится падением красной Москвы...

С остекленевшими от восторженного ужаса глазами шептались, что в обозе Каппеля едет под чужим именем то ли дядя покойного царя — великий князь Николай Николаевич, то ли брат — великий князь Михаил Александрович, который будет в Иркутске коронован. Говорили, что Каппель поклялся повесить на каждом фонаре города по большевику, а всех либералов сначала выкупать в проруби, а затем заменить ими для «мелодичности звона» языки на колоколах Спасской и Крестовской церквей и Вознесенского монастыря.

Назывались дата падения Иркутска и даже здания, в которых после победоносного штурма будут ставка «народного героя» (Дом Географического общества) и резиденция нового императора (бывший институт благородных девиц).

Слухам верили и не верили. Познавшие всю горечь поражений офицеры относились к этим разговорам скептически. Не только Каппель — сам бог и тот не смог бы превратить в грозное воинство людей, которые тысячами сдавались в плен. Но... дыма без огня не бывает. И офицеры вытаскивали из тайников надежно спрятанное оружие. Кто знает, может, оно еще и пригодится...

В ожидании надвигающихся событий старый Иркутск затаился. Обыватели старались реже выходить из домов. Улицы обезлюдели. Даже на Большой Московской и шумной Китайской к вечеру все замирало. Иркутские лихачи — краса и гордость города — и те подвязывали колокольчики и бубенцы, словно опасаясь нарушить настороженную тишину притаившихся за сугробами домов.

А слухи множились, переползая через заборы и ограды, пробираясь в двери и окна, обрастая все новыми и новыми подробностями... Во всех этих слухах было много лжи и некоторая доля истины...

Каппель, конечно, не мог остановить красных. Это ему было не под силу. Упорные бои в районе Красно-

ярска закончились тем, чем они и должны были закончиться: регулярная армия Колчака прекратила свое существование. Но группе Каппеля ценой неимоверных усилий все-таки удалось оторваться от передовых частей Пятой армии, и она стремительно покатилась на восток, с каждым днем увеличивая расстояние между собой и победителями. Собственно говоря, это было не столько отступление, сколько бегство. Но не беспорядочное, хаотическое, а целеустремленное, рассчитанное на то, чтобы спасти остатки армий от полного истребления и где-нибудь там, в Забайкалье, вновь начать борьбу с большевизмом...

Еще находясь в Нижнеудинске, Колчак в конце декабря направил Каппелю телеграмму, в которой, впервые ставя точки над «и», приказывал генералу: «1) Отводить войска за Енисей, так как устойчивость, видимо, окончательно потеряна, а Минусинский фронт угрожает армии. 2) Все силы употребить на сохранение боеспособности и неразложившиеся части свести в одну сильную группу, чтобы обеспечить отход ее на восток».

Теперь Каппель выполнял эту директиву «верховного»...

Из двухсоттысячной армии способными к продолжению уже бессмысленной борьбы оказались десять-пятнадцать тысяч солдат, офицеров и казаков, которые не могли рассчитывать на прощение рабоче-крестьянской России. Здесь были каратели из отрядов особого назначения, казаки атамана Анненкова, с погонами, на которых красовались накладные изображения черепа и перекрещивающихся костей, красильниковские офицеры (сам Красильников умер от тифа в госпитале накануне сдачи Омска), пулеметчики руководителя монархической организации «Смерть за родину», правой руки «Ваньки-Каина», генерала Волкова, сведенные в полки неполного состава остатки «непобедимых» Ижевской и Воткинской дивизий, сформированных еще в 18-м году из восставших против Советской власти под эсеровскими лозунгами рабочих Ижевского и Воткинского заводов, добровольцы генералов Войцеховского и Вержбицкого, около тысячи солдат и офицеров Третьей егерской и Восьмой Камской дивизий.

Конечной целью Каппеля было вывести группу в Забайкалье, где хозяевами положения пока еще были атаман Семенов и командующий японскими экспедиционными войсками генерал Оой. Для этого предстояло

пешком в тридцатиградусный мороз преодолеть тысячеверстный путь по старому Сибирскому тракту.

В приказе Каппеля говорилось: «На западе нас ждут плен и жестокая расправа, на востоке — свобода. Многие из нас погибнут в походе, но это будет солдатская смерть...»

И колонны двинулись через тайгу на восток.

Во главе одной из них шел сам Каппель. На этот раз командующий был без стека... В полушубке, стоптанных валенках, с переброшенным за плечо японским карабином, Каппель ничем не отличался от других участников похода, который позднее белогвардейскими историками назван был «ледовым».

Рано или поздно группа Каппеля должна была оказаться под Иркутском. По приблизительным подсчетам, это могло произойти в конце января...

Обыватели с нескрываемым злорадством подхватывали каждый слух о продвижении каппелевцев. Иркутское белогвардейское подполье готовилось к встрече. На заводах, в железнодорожном депо, в казармах гарнизона и в партизанских отрядах митинговали. А в Русско-Азиатском банке, где заседал Политцентр, обсуждали три выхода из создавшегося положения:

1. Оборона Иркутска. («Авантюра: Политцентр не располагает способной к сопротивлению вооруженной силой».)

2. Временная эвакуация «Народной власти» из города до прохождения каппелевцев. («Легко сказать: эвакуация. А куда?»)

3. Соглашение с Каппелем. («Выступая против большевиков, генерал всегда симпатизировал социал-революционерам и храбро сражался под знаменем Комуча. Между тем союз с каппелевцами не только позволит избежать ненужного кровопролития, но и расширит базу демократии в Иркутске и укрепит позиции Политцентра, который получит в свое распоряжение армию и сможет дать отпор притязаниям большевиков на Восточную Сибирь».)

Обычно на заседаниях Политцентра присутствовали представители Сибирского и Иркутского большевистских комитетов. Но теперь их по вполне понятным причинам приглашать «забывали»... Выступления ораторов не предназначались для посторонних ушей. Тем не менее большевики знали о происходящих дебатах больше, чем могли предполагать руководители иркутских эсеров.

Располагали они сведениями и о том, что Политцентр собирается направить к генералу Каппелю своего посланца для переговоров... Поэтому связной Сиббюро ЦК Стрижак-Васильев и встретился в ту ночь в одном из номеров гостиницы «Модерн» с пухлым низкорослым человеком, одетым в бархатную визитку и мягкие замшевые ботинки. Так обычно одевались незадолго до войны провинциальные актеры и поэты-декаденты, писавшие стихи о лиловой грусти и голубом теле. Но собеседник Стрижак-Васильева не был ни актером, ни поэтом. У него были длинные засаленные волосы, веселые глазки и округлые, нарочито ленивые жесты. Он напоминал дебелую, преждевременно разжиревшую купчиху, которая, несмотря на сонную одурь тягостно-однообразной жизни, еще не успела позабыть, что была некогда озорной и проказливой девицей. Люди такого рода своим появлением вносят оживление в любую компанию, становясь мишенью для беззлобных шуток и никогда на них не обижаясь. Но Стрижак-Васильев достаточно знал старейшего работника боевой организации ЦК эсеров Сергея Малова для того, чтобы ошибиться на его счет. С виду благодушный толстяк, известный в подполье под кличками «Монах» и «Андрюша», являлся участником и организатором нескольких десятков эксов и террористических актов. В отличие от Бориса Савинкова или бомбиста Гершуни [18] он никогда не афишировал свою достаточно бурную деятельность, но в партийных кругах его имя связывали с покушением Каляева на великого князя Сергея, с убийством губернатора Богдановича и другими не менее громкими делами. После Октябрьской революции «Монах» тоже не остался в стороне от событий. Только теперь его энергия была направлена против коммунистов. До переезда Совета Народных Комиссаров в Москву он подвизался в Петрограде, а к середине 18-го года находился в белогвардейском подполье в Перми, внося свою лепту в подрыв тыла Третьей советской армии. Колчаковский переворот застал его в Екатеринбурге, где обосновался председатель разогнанного большевиками Учредительного собрания Виктор Чернов. К «Шурику», то есть Александру Колчаку (Малов любил уменьшительные имена), «Монах» относился лояльно. Малов считал Директорию сборищем политических импотентов, а «Шурика» той самой дубиной, которая в умелых руках «эсеров дела» — его и ему подоб-

ных — «сможет проломить голову большевизму». Но когда Колчак, включив в состав своего «правительства» нескольких прирученных эсеров, одновременно нанес удар по слишком строптивому Центральному Комитету и посадил в тюрьму эсеров — членов Учредительного собрания, «Монах», опасаясь ареста, поспешно ушел в подполье. «Шурик» не оправдал его надежд — тем хуже для «Шурика»...

И Малов, предоставляя Красной Армии сражаться с Колчаком на фронте, а подпольным большевистским организациям — в тылу, приступает к формированию тайных эсеровских дружин. Этим дружинам предстоит осуществить захват власти, когда белые и красные будут настолько истощены взаимным истреблением, что уже не смогут оказать сопротивления «третьей силе»...

Нет, эсеровский боевик никогда не отличался благодушием и вполне годился для иллюстрации старой истины, что внешность обманчива.

С Маловым Стрижак-Васильев познакомился в эмиграции в Америке летом 1916 года, когда под лозунгом «готовься к обороне» начались знаменитые военные демонстрации.

Америка собиралась вступать в войну, и по Бродвею с утра до вечера неутомимо шагали под звуки двухсот оркестров банковские служащие Уолл-стрита и нью-йоркское духовенство в полном церковном облачении, а в Вашингтоне впереди многотысячной колонны государственных служащих, официантов и железнодорожников, размахивая звездным флагом, маршировал благообразный и седовласый автор пятитомной «Истории Американского народа», 28-й президент США Вудро Вильсон, о котором злые языки говорили, что он любит человечество, но не переносит людей...

В Чикаго, куда с начала года перебрался Стрижак-Васильев, патриотический угар не так ощущался, но расставленные на площадях и улицах города репродукторы захлебывались от избытка восторга и жажды крови. За время эмиграции Стрижак-Васильев вынужден был перепробовать не одну специальность. Он был чернорабочим, докером, матросом на рыболовецком судне, служащим Чикагской публичной библиотеки и репортером в маленькой газетке. Выполняя различные поручения Лиги социалистической пропаганды американской социалистической партии, Стрижак-Васильев не без успеха продолжал заниматься журналистикой. Его серия

статей об автомобильном короле Форде привлекла внимание читателей и не только обеспечила ему сносное существование, но и дала возможность пополнить партийную кассу.

Тогда-то Малов, собиравший материалы о Форде, и заинтересовался Васильевым. Их познакомил Арнольд Нейбут, по совету и при поддержке которого Стрижак-Васильев обосновался в Чикаго.

Представляя Малова, Арнольд то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

— Тоже репортер. На этот раз эсер. Поклонник Генри Форда, милитарист, бомбист и вообще убийца по призванию...

Такая характеристика способна была покоробить хоть кого, но толстяка она не обидела и, кажется, в чем-то ему даже польстила. Он залился веселым смехом и, не переставая смеяться, сказал:

— Наш общий друг («Почему друг?» — спросил Нейбут), как и все эсдеки, страдает некоторым догматизмом. Но я люблю догматиков — из них получается прочный строительный материал... А ваши статьи о Генри я читал. Недурственно, совсем недурственно... А то место, где вы описываете, как он две недели не пользовался парадной дверью, чтобы не потревожить свивших там гнездышко коноплянок, сделано даже с блеском... Вы профессиональный литератор?

— Нет, морской офицер.

— Как, как? Морской офицер? — Малов снова залился смехом. На этот раз он даже тихо повизгивал.— Узнаю матушку-Русь. Такая уж страна. Русские всегда занимались не своим делом: фабриканты — революцией, публичные девки — философией, философы — проституцией, а революционеры — коммерцией.

— Но вы-то занимаетесь своим делом?

— Это с бомбочками-то? — уточнил Малов.— Своим. С младых ногтей имел склонность к пиротехнике и фейерверкам. Люблю красочные зрелища: возвышают и глаз радуют...— И без всякого перехода заговорил о Форде.— А насчет Генри при всем своем уважении к вам должен заметить, что заблуждаетесь. Генри — не в птичках и не в эксплуатации ваших пролетариев. Генри, смею заметить, философ и великий первооткрыватель, который установил прямую связь между долларом и нравственностью. Гениальный техник приспособил к коляске пролетарской нравственности финансовый

мотор: участие в прибылях при условии соблюдения моральных и этических норм, установленных хозяином. Трезвенник, набожный, хороший семьянин, чтишь отца своего? Получай дополнительные двадцать пять или пятьдесят долларов в неделю. Нет? И денег нет... Он впервые в истории человечества сделал нравственность выгодной. Чем не американский Христос? Твердая такса в твердой валюте на мораль. Религиозность — 5 долларов, скромность — 4, человеколюбие — 3 доллара восемь центов, самоотверженность — 2 доллара, умеренность — один... Куда и вам и нам до него!

Малов говорил так, что трудно было понять, над кем он издевается: над Фордом, собеседниками, американцами или над самим собой... Как Стрижак-Васильев вскоре убедился, это была его обычная манера.

Затем разговор перебросился на вступление Америки в ближайшие месяцы в войну и положение в России.

— Гарью попахивает на Руси, а? — заметил Малов, когда Нейбут заговорил о перспективах революции.— Грядет кудесница, грядет... Глядишь, скоро где-нибудь на Невском и встретимся... Попьем чайку в трактире из настоящего русского самовара, вспомянем американское житье-бытье, поговорим, поспорим... Так? — И сам себе возразил: — А может, и не так... Спор-то на Руси дракой кончается, стародавний обычай... Поспорим, поспорим — да и за чубы... А там и стрелять друг в друга начнем... Пиф-паф! — Он засмеялся, изобразил указательным пальцем, как нажимает на спусковой крючок, и, целясь, прищурил левый глаз.— Не исключено, а?

— Не исключено,— подтвердил Нейбут.

— Вот и я говорю, что не исключено. А что ж тогда будет?

— Наверно, покойники будут,— предположил Нейбут.

— Верно, покойники... Но какие? Стреляем-то мы лучше, а?

— Вот это еще неизвестно. Кто лучше стреляет, покажет будущее...

Этим, тогда еще туманным будущим стали Октябрьская революция, колчаковщина и гражданская война. Оказалось, что большевики стреляют лучше, но Нейбут все-таки погиб... А теперь «будущее» отправило за решетку убийцу Нейбута и снова свело Стрижак-Васильева

с чикагским репортером и русским террористом Маловым. Гостиница «Модерн»... Поэт-символист обыграл бы это название, но Малов, к сожалению, не был поэтом, а Стрижак-Васильев увлекался стихами лишь в далеком детстве, да и то дальше стихотворения, где рифмовались козочка и розочка, он не пошел...

Вне зависимости от того, чем закончится зондаж, Иркутская большевистская организация все равно собиралась брать власть в свои руки. Как сказал Ширямов, если у эсеров три варианта, в том числе соглашение с Каппелем, то у большевиков только один — оборона города до последней капли крови. Но распылять свои силы на борьбу с эсерами в то время, как на город надвигались белогвардейские банды, было крайне нежелательно. Поэтому и в Сибирском партийном комитете, и в Иркутском переговорам Стрижак-Васильева с «Монахом» придавали большое значение. Малов не являлся членом Политцентра, но входил в состав «теневого кабинета» чем-то вроде министра внутренних и иностранных дел. В руках Малова были и боевики. Одного этого было достаточно для того, чтобы мнение «Монаха» стало решающим для руководителей Политцентра.

Когда Стрижак-Васильев договаривался о встрече, он не говорил о ее цели, но «Монах», конечно, все знал и так. И теперь они, разминаясь, как два цирковых борца перед началом решительной схватки, делали ложные движения и зорко следили друг за другом. Ничья исключалась: чьи-то лопатки обязательно должны коснуться пола...

Малов с безмятежным видом расспрашивал о подробностях задержания «Шурика» в Нижнеудинске, о том, как вел себя «Шурик» в поезде и как организована его охрана в тюрьме. После того как эта благодатная тема истощилась, он предался воспоминаниям, затем, как забавный казус, рассказал о забастовке полицейских в Бостоне...

— Вот и полагайся после этого на кого-нибудь... Я теперь больше ни на кого не надеюсь,— шутливо заметил он.

— Даже на своего посланника?

«Монах» сделал удивленное лицо, и Стрижак-Васильев должен был признать, что это у него получилось удачно.

— Ты о чем, Лешенька?

— О связном, которого ты направил к Каппелю.

— О связном?! — Редкие куцые брови «Монаха» поползли вверх и застыли под самой кромкой зачесанных назад волос.

— Хорошо сыграно,— одобрил Стрижак-Васильев.

— Это удивление в смысле? Натуральное, Леша.— Он укоризненно покачал головой.— Ах, Лешенька, Лешенька. Русскую революцию всегда разъедала ржавчина недоверия... Какой связной? Неужто ты мог предположить, что твой старый друг, социалист-революционер с эмигрантским стажем пойдет на соглашение с контрреволюцией?

— Ну, министр Колчака Старынкевич, если не ошибаюсь, тоже эсер...

— Бывший, Лешенька, бывший... Он исключен из партии. Но дело не в нем, я говорю не вообще об эсерах, а о себе. Обидел ты меня, Лешенька...

— Извини, если так. Но тут не моя вина, а этого «деятеля»...

— Кого?

— Балясного,— сказал Стрижак-Васильев и с удовлетворением отметил, что лицо «Монаха» поскучнело.— Когда наши сняли его в Черемхове, он заявил, что послан к Каппелю лично тобой...

— Врет,— мрачно сказал «Монах».

Пилюля была настолько горькой, что при всем самообладании он не смог даже хихикнуть. «Монах» не ожидал, что его человек так опростоволосится. Но это было лишь началом. Сейчас ему предстояло проглотить новую пилюлю, еще более горькую...

— Кстати, в Черемхове был митинг по этому поводу...

— Митинг?

— Да. Не слышал?

— Нет, Лешенька...

— Черемховцы собрались было даже отряд сюда посылать, требовать от Политцентра объяснений...

— Ишь ты... А все горячка. В горячке про все забудешь... даже про чехов. Ведь чехи отряд бы не пропустили...

— Так в том-то и дело, что они чешского коменданта уговорили. Он им даже вагоны выделил,— сокрушенно и весело сказал Стрижак-Васильев.— Пришлось

нам вмешиваться: просили до выяснения никаких шагов не предпринимать.

Смысл сказанного был достаточно ясен: симпатии союзников к Политцентру успели остыть, и в случае вооруженного столкновения рабоче-крестьянских дружин и партизан с войсками Политцентра чехи займут нейтральную позицию.

Сам Стрижак-Васильев, несмотря на прогнозы приехавшего в Иркутск после совещания у Сырового Коржичка, не был в этом до конца уверен. Коржичек слишком хотел, чтобы союзники перестали поддерживать Политцентр, и вполне мог принять желаемое за действительное. Но чешская железнодорожная комендатура после соответствующего нажима Черемховского ревкома действительно обещала вагоны и паровоз. И если «Монах» сделает из этого факта далеко идущие выводы — а он их сделает,— то Политцентр сдастся без боя, ибо союзники — единственная его надежда.

Малов, как и предполагал Стрижак-Васильев, воспринял сказанное весьма настороженно.

— Три дня назад,— сказал он,— Сыровой заверил Косминского, что чешское командование не изменит своих позиций. У нас нет оснований сомневаться в этом заявлении.

— А три недели назад он в том же заверял Колчака. И у «Шурика» тоже не было никаких оснований сомневаться в этом заявлении...

Сказав это, Стрижак-Васильев понял, что лопатки его противника уже коснулись ковра...

«Монах» ласково погладил себя по животу, так же ласково взглянул на собеседника и сказал:

— Ржавчина недоверия, а? На Иркутск надвигается опасность, а мы словно малые дети: спорим, ссоримся... А зачем? Надо учитывать уроки 18-го года...— Он выжидательно посмотрел на Стрижак-Васильева, но тот будто в рот воды набрал.— Мне думается, Лешенька, что наша главная задача — забыть все разногласия...

— Все?

— Все.

— А затем?

— А затем всем истинным социалистам нужно объединиться.

— Ну, истинные социалисты, положим, уже давно объединились,— сказал Стрижак-Васильев и уточнил: — В большевистскую организацию.

— Нас, следовательно, к истинным не причисляешь?
— Не причисляю.
— Чистые и нечистые?
— Что-то в этом роде.
— Тяжело с тобой говорить, Лешенька...
— А это потому, что разговор у нас не конкретен.
— Давай тогда уточним: мы вам предлагали и предлагаем разделить с нами власть...
— Одна половина белая, а другая красная? Власть не яблоко.
— Все или ничего?
— Ну, «или», пожалуй, ни к чему,— рассудительно сказал Стрижак-Васильев.— Просто — все.
— А не много ли будет, не подавитесь?
— Нет, не много, в самый раз. И выхода у вас иного нет. Хочешь — не хочешь, а отдавать придется. Настроение масс тебе известно не хуже, чем мне: массы за Советскую власть. А когда мы опубликуем «вранье» Балясного, то тяга к Советам еще более усилится... Настроение гарнизона тебе тоже известно, а о численности рабоче-крестьянских дружин и партизанских отрядов я могу тебе, если хочешь, рассказать... По секрету, конечно.
— Таким образом, насколько я понял, мы должны отдать вам власть и ничего не получить взамен?
— Почему же ничего? — усмехнулся Стрижак-Васильев, вспомнив рассуждения Малова о Форде.— Во сколько Форд оценивает, по твоим подсчетам, благоразумие? Кажется, всего в два доллара? Большевики щедрей. Учитывая заслуги эсеров перед революцией во время этого переворота в Иркутске, мы их благоразумие оплатим по самой высокой таксе...
— По какой же, разреши полюбопытствовать?
— Мы вам гарантируем личную безопасность и возможность покинуть Иркутск...
Глазки Малова превратились в две узкие щели.
— Как это называется, Лешенька, на языке большевиков?
— Диктатурой пролетариата, Сережа.
— Понятно.
— Это самое главное — чтобы все было понятно.
Малов играл брелоком на золотой цепочке часов. Спросил:
— Когда же вы хотите получить ответ?
— От тебя сейчас, а от Политцентра — завтра днем.

— Торопитесь...

— Каппель тоже.

— Сейчас наша делегация ведет переговоры с Реввоенсоветом Пятой армии...

— Знаю, но мы не имеем возможности дожидаться окончания переговоров. Кроме того, учти, что награждается лишь своевременное благоразумие. Через день гарантия аннулируется... Итак?

— Если кто-либо из членов Политцентра захочет эмигрировать из России, он сможет это осуществить?

— Да. Во всяком случае, мы препятствовать этому не будем.

Малов оттянул бант галстука.

— Я всегда считал, Лешенька, что при наличии доброй воли с обеих сторон можно обо всем договориться...

— Итак?

— Меня лично ты уже убедил, а я постараюсь убедить товарищей...

Когда Стрижак-Васильев уходил, Малов проводил его до конца коридора и, пожелав приятных сновидений, попросил передать привет «Шурику».

Стрижак-Васильев усмехнулся: кажется, за время их беседы «Монах» проникся к Колчаку симпатией... Что ж, в этом была своя логика...

На следующий день утром Политцентр обсуждал вопрос об отказе от власти, а вечером Стрижак-Васильев положил на стол Ширямова проект «Декларации советских организаций». В нем говорилось, что «Политический центр не имеет опоры в массах и состоит из представителей таких партийных группировок, программные требования которых не отвечают классовым интересам пролетариата и трудового крестьянства. ...Политический центр, лишенный поддержки низов, не желающих идти под лозунгом Учредительного собрания, не способен к решительной борьбе с реакцией, идущей как с востока, так и с запада в виде семеновских и каппелевских банд...

Только Советская власть: 1) способна организовать вооруженный отпор союзнической интервенции; 2) бороться с решимостью и до конца против господства буржуазии и за полное господство пролетариата и трудового крестьянства...

Требования Советской власти как в городе, так и в деревне настолько сильны, что препятствовать осуще-

ствлению этих совершенно законных требований было бы актом политической близорукости».

20 января этот проект, принятый на объединенном заседании советских организаций Иркутска, стал уже декларацией. Политцентр никакого сопротивления не оказал. Обессиленный дебатами и загипнотизированный надвигающейся опасностью, он безропотно сложил бремя власти.

И на афишных тумбах города манифест Политцентра сменил приказ Иркутского военно-революционного комитета:

«Всем, всем, всем.

С сего числа вся полнота власти в городе Иркутске перешла по соглашению с Политическим центром к образованному советскими партиями Военно-революционному комитету (Ревкому)...

1. Оповестить население района о восстановлении власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

2. Арестовать лиц, контрреволюционная деятельность которых угрожает революционному порядку, и вообще принять меры к обеспечению этого порядка.

3. Приступить к вооружению населения и сформированию добровольческих дружин для защиты Советской власти.

4. Принять все меры к ликвидации двигающихся с запада остатков колчаковских банд и скорейшему продвижению советских войск к Иркутску.

. . . .

8. Твердо установить принцип невмешательства чеховойск и чехокомандования во внутреннюю жизнь населения и все действия ревкомов по концентрации сил, вооружению населения и пр.»

ТЕЛЕГРАММА
НАЧАЛЬНИКА 30-й ДИВИЗИИ ПЯТОЙ АРМИИ А. Я. ЛАПИНА, КОТОРОМУ В ЯНВАРЕ 1920 ГОДА БЫЛИ ПОДЧИНЕНЫ ВСЕ ПАРТИЗАНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ, ИРКУТСКОМУ РЕВКОМУ

«Революционный совет 5-й армии приказал адмирала Колчака содержать под арестом с принятием исключительных мер стражи и сохранения его жизни и передачи его командованию советских красных войск, применив расстрел лишь в случае невозможности удержать Колчака в своих руках для передачи Советской власти Российской республики».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВА

«Вчера допрашивали Колчака. Выбраться на допрос не сумел, но протоколы прочел...

Гёте утверждал, что «каждый человек — это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает». Мысль верная, но незавершенная. Действительно, каждый человек — мир. Но мир миру рознь. В одном случае это мир революционера-преобразователя, в другом — лабазника-черносотенца, а в третьем — обывателя... Мир «верховного» — это мир мичмана, дослужившегося до адмирала.

Судя по протоколу, он мало в чем изменился со времен Порт-Артура. Те же идеалы офицерской кают-компании, безмерное тщеславие, замешенное на честолюбии, самовлюбленность и кастовая ограниченность. «Верховный», как всегда, до потери памяти влюблен в адмирала Колчака, гордится им и его карьерой. Кажется, допрос для него — последняя попытка создать о себе легенду и отвоевать хотя бы маленькое место на страницах истории. Но вместо желаемой легенды получается нечто совсем иное, что-то вроде памятки гардемарину — «Что нужно сделать для того, чтобы стать адмиралом?».

Малов на допросе присутствовал (страница мемуаров бывшего революционера!). Разочарован, ожидал большего. Сказал, что показания «верховного» напомнили ему некогда популярную песенку: «Прежде был я дворником, звали меня Володей, а теперь я прапорщик, ваше благородие...»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОЙ ГУБЧЕКА К. ПОПОВА

«Как держался он на допросах?

Держался, как военнопленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства. Там была, за редким исключением, трусость, желание представить себя невольным участником кем-то другим затеянной грязной истории, даже изобразить себя чуть не борцами против этих других, превращение из вчерашних властителей в сегодняшних холопов перед победившим врагом. Ничего этого в поведении Колчака не было.

Но в одном он близко подходит к своим гражданским соратникам, разделявшим с ним пребывание в одиночном корпусе иркутской тюрьмы. Все они, как на подбор, были совершеннейшими политическими ничтожествами. Ничтожеством в политическом отношении был и их глава — Колчак...»

— ВЫ АДМИРАЛ КОЛЧАК?
— ДА, Я АДМИРАЛ КОЛЧАК

В Томске шли переговоры между делегацией Политцентра и Реввоенсоветом Пятой армии.

Пятая армия была обескровлена многомесячными боями и громадными потерями от тифа. Спекулируя на возможности столкновения в районе Иркутска с чехами и японцами, делегация добивалась прекращения дальнейшего наступления советских войск и признания власти Политцентра на территории Восточной Сибири, еще не освобожденной красными дивизиями.

В ЦК правых эсеров готовилось восторженное послание иркутским собратьям. «ЦК горячо приветствует товарищей, сумевших выполнить долг чести партии по отношению к Сибири и к правительству Колчака, предательски задушившему (а точнее — не оправдавшему возлагаемых на него эсерами надежд) в Поволжье, Урале и Сибири дело Учредительного собрания...— писалось в нем.— ЦК отдает себе полный отчет в крайней трудности и сложности положения наших партийных товарищей на Дальнем Востоке (имелась в виду Восточная Сибирь), угрожаемого с запада наступлением большевистских войск, в тылу — смутой, вносимой остатками колчаковских банд...» И так далее и тому подобное...

Но сообщение о ходе переговоров с Реввоенсоветом Пятой армии и письмо ЦК правых эсеров попали в Иркутск уже тогда, когда адресат бесследно исчез.

Политцентр, заявивший о себе широковещательными декларациями, просуществовал меньше месяца...

Первый допрос Колчака был произведен как раз накануне передачи власти Иркутскому военно-революционному комитету. Но этого не ощущается ни в бесстрастных вопросах членов комиссии, ни в обстоятельных ответах допрашиваемого.

Читая составленные по всем правилам юриспруденции протоколы, трудно себе представить, что, когда шел допрос, в бывшем штабе военного округа на Медведниковской улице уже записывались в боевые дружины рабочие, а где-то там, в занесенной колючим снегом избушке, больной, с обмороженными ногами Каппель прерывистым шепотом диктовал адъютанту обращение к сибирским крестьянам, к тем самым крестьянам, которые, на собственном опыте узнав, что такое колчаков-

ская диктатура, при подходе каппелевцев покидали свои заимки и с берданками в руках уходили к повстанцам...

«Где утвердится Советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают бога...» — писал адъютант и, поглядывая на опаленное морозом, черное лицо командующего, думал, что генерал, несмотря на старания врачей, вряд ли протянет больше недели, что его могло бы спасти только тепло, что яму для могилы придется взрывать динамитом, что некому будет читать это обращение и что адмиралу, может быть, больше повезло, чем им всем, по крайней мере, ему не придется погибнуть смертью бездомной собаки в этой бесконечной тайге, где мороз страшнее большевистских пуль... Что бы ни произошло с «верховным», он сейчас в тепле...

И действительно, в комнате, где шел допрос, было жарко натоплено. О морозе лишь напоминали закованные в ледяное серебро окна. Потрескивали в раскаленной чугунной печке сырые дрова.

Бывший «верховный правитель» кивком поблагодарил за предложенный конвоиром стул, сел, расстегнул верхнюю пуговицу кителя.

— Вы присутствуете перед следственной комиссией в составе ее председателя Попова, заместителя председателя Денике, членов комиссии Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу вашего задержания,— сказал Попов.

Колчак обвел глазами четверых сидящих за столом. Стол стоял у стены. Над ним темнел прямоугольник невыцветших обоев. Видно, обои здесь защищал от лучей солнца портрет. Когда-то это был портрет императора, потом князя Львова, затем Керенского и наконец его, адмирала Колчака. Нового портрета не повесили. Это свидетельствовало о безвременье...

В углу комнаты стоял еще стол, маленький, скромный, судя по всему, принесенный сюда из другого помещения. На нем были стопка бумаги, бронзовая чернильница с позолоченной короной и несколько ручек. За этим неказистым столом сидели двое, наверно секретари.

В глубине комнаты, на клеенчатом диване — еще четверо, один из них полный, с добродушным лицом и веселыми глазками, сугубо штатский... Стрижак-Ва-

сильева здесь не было. Тем лучше. Ему не хотелось видеть этого человека.

Колчак до последней минуты верил и не верил в предстоящий допрос. Теперь он испытывал чувство облегчения: ему предоставлялась возможность высказаться. Нет, не перед комиссией выдуманного эсерами Политцентра. Люди, сидящие за столом, его не интересовали. Показания предназначались для оставшихся в живых членов императорской фамилии, для Франции, Англии, Японии, для президента Американских Соединенных Штатов Вильсона, на приеме у которого он был два с половиной года назад,— для истории.

Рассчитывая на эту минуту, он и не застрелился тогда в поезде.

— Вы адмирал Колчак? [19]

— Да, я адмирал Колчак.

— Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, допрашиваемому Чрезвычайной комиссией, не давать ответы на те или иные вопросы и вообще не давать ответы.

Нет, Колчак не собирался пользоваться этим правом.

— Вам сколько лет? — спросил председатель.

— Я родился в 1873 году,— ответил Колчак.— Мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде, на Обуховском заводе.

— Вы являлись Верховным правителем?

— Я был Верховным правителем Российского правительства в Омске. Его называли «Всероссийским», но я лично этого термина не употреблял.

Председатель комиссии сделал паузу, давая возможность секретарю записать вопросы и ответы, и спросил:

— Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам?

Вопрос был неприятным. Председатель комиссии вопросительно посмотрел на допрашиваемого.

— Она моя давнишняя хорошая знакомая...— сказал Колчак и, помедлив, добавил: — Она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда... Она хотела разделить участь со мною.

Толстяк с благодушным лицом улыбнулся и что-то сказал своему соседу.

Ответ был неубедительным, и адмирал лучше, чем кто бы то ни было, понимал это. Но для его отношений с Тимиревой не было места в той биографии рыцаря без страха и упрека, которая сейчас им создавалась. Блюститель офицерской нравственности должен быть сам образцом.

— Скажите, адмирал, она не являлась вашей гражданской женой? Мы не имеем права зафиксировать этого?

— Нет.

Председатель комиссии пожал плечами: в конце концов, вопрос был не из существенных, а среди прав, предоставленных законом обвиняемому, существует и право на ложь. Он не собирался лишать бывшего «верховного правителя» этого права...

— Скажите нам фамилию вашей жены.

— Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена — уроженка Каменец-Подольской губернии.— И, не дожидаясь следующего вопроса, адмирал сказал: — Мой отец, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Когда он ушел в отставку в чине генерал-майора, он остался на Обуховском заводе в качестве инженера или горного техника. Там я и родился. Мать моя — Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Вся семья моего отца содержалась исключительно на его заработки...

Губы председателя комиссии дрогнули в едва заметной улыбке. Накануне Стрижак-Васильев рассказывал ему о выступлении Колчака в середине семнадцатого года на матросском митинге в Севастополе. Убеждая собравшихся в необходимости войны до победного конца, говоря о проливах, которые нужно во что бы то ни стало вырвать из рук врага, командующий Черноморским флотом подчеркивал, что он заинтересован в этом только как русский патриот и никаких меркантильных соображений у него нет и не может быть.

Вот и сейчас Колчак не без умысла упомянул об Обуховском заводе и о материальном положении родителей. Это должно было свидетельствовать о его близости к простому народу и о том, что, сражаясь с крас-

ными, он отнюдь не защищал власть капитала, как это утверждали большевистские листовки и воззвания. Нет, он только отстаивал священное право частной собственности, порядок и исторически сложившиеся формы государственного устройства России.

— ...Свое образование,— продолжал Колчак,— я начал в 6-й петроградской классической гимназии, где пробыл до третьего класса. Затем в 1888 году я поступил в Морской корпус и окончил в нем свое воспитание в 1894 году...

Колчак говорил настолько быстро, что секретари не поспевали за ним. Теперь слова сами приходили к нему. Он уже не видел обшарпанных стен, зеленого в чернильных пятнах стола, не слышал раздражающего скрипа перьев. Все это растворилось в воспоминаниях, которые, перескочив через барьер последних месяцев, перенесли его в далекое петербургское прошлое. Тогда, 5 октября 1894 года, корабельный гардемарин Александр Колчак стоял вторым на почетном правом фланге ста восьмидесяти гардемаринов, которым предстояло через десять, нет, через пять минут стать офицерами русского флота.

Блестел паркет громадного зала и ордена на мундирах, сверкали золото эполет и медь оркестра.

А затем, когда смолк оркестр, прозвучали долгожданные слова, торжественные и в то же время будничные:

— Поздравляю вас офицерами, господа! Всегда и во всем храните честь славного андреевского флага, который развевается над русским флотом!

Одинаковая форменная одежда, одинаковые прически, казалось, одинаковые мысли. Одинаковым должно было быть и их будущее. В мирное время — муштровка нижних чинов, ученья, парады, беседы в кают-компании (обо всем, кроме политики), покер, бильярд, производство в очередной чин, книжка офицерского заемного капитала, звуки рэг-тайма, тустепа и танго. В военное — походы, грохот канонады, мелодии горнов, золото букв на черном мраморе корпусной церкви, венки с георгиевскими лентами, победоносные бои на шпринге, мертвых якорях, до полного истребления противника, и, само собой разумеется, чины и ордена, среди которых самый желанный — орден святого Георгия Победоносца. «Кто в бою, получив ранение, останется на вахте до конца боя... Кто удачным выстрелом потопит неприятельский

корабль... Кто с небрежением собственной жизни потушит пожар на корабле...»

И каждый из гардемаринов мечтал, получив ранение, остаться на вахте до конца боя, потопить неприятельский корабль и «с небрежением собственной жизни» тушить пожар. Мечтал об этом мичман выпуска 1894 года Александр Колчак, получивший «Георгия» в 1914 году, и мичман выпуска 1903 года Стрижак-Васильев, ставший георгиевским кавалером в 1904-м за предотвращение взрыва на подожженном японцами крейсере... Но они не были похожи друг на друга, точно так же как не были между собой схожи и другие питомцы корпуса. Стрижак-Васильев понял это в 1903-м, Колчак — много позднее...

Нет, Морской корпус не являлся штамповочной мастерской Его императорского величества. Выпускники выбирали разные жизненные пути. Еще в 1884 году во время процесса над военной организацией партии «Народная воля» на скамье подсудимых рядом с Верой Фигнер сидели лейтенант флота барон Шромберг и мичман Ювачев. Махровые реакционеры, выискивающие крамолу в матросских письмах и сундучках, и лейтенант Шмидт, офицеры-большевики, участники Свеаборгского восстания, волнений на крейсере «Рюрик» и линкоре «Гангут». И те и другие учились в стенах Морского корпуса...

По-разному была воспринята выпускниками корпуса и Октябрьская революция. Вице-адмирал Колчак возглавил белогвардейщину, контр-адмирал Альтфатер стал первым командующим большевистским военно-морским флотом, а капитан первого ранга Беренс — начальником генерального морского штаба Советской Республики.

Они по-разному относились к России, к ее будущему и к русскому народу. И в то время как Колчак рассказывал следственной комиссии о своем прошлом, начальник белогвардейского отряда судов особого назначения капитан первого ранга Китицын подписывал во Владивостоке приказ, который был своеобразной заявкой на будущее...

«...Считаю долгом высказать свой взгляд и думаю, что его разделит большинство на отряде,— писал он.— Я не мыслю существования своего ни в составе части, ни как отдельной личности вне России, под властью каких бы партий она ни находилась. Если будет божья

воля и историческая судьба на то, чтобы это были те партии, против которых мы до сих пор честно боролись, борьба кончена и бесполезна, наш долг повелевает нам все-таки и с ними продолжать нашу работу по воссозданию русского флота».

Колчак провел ладонью по лбу, перевел дыхание.

«Поздравляю вас офицерами, господа! Всегда и во всем храните честь славного андреевского флага, который развевается над русским флотом».

Это было днем, 5 октября 1894 года. А вечером, в новеньком, с иголочки, офицерском мундире, вожделенном и еще непривычном, он вместе с другими только что произведенными мичманами обмывал погоны в уставленном цветами интимном зале «Отеля де Франс» на Большой Морской. Пили за здоровье царствующего дома, за императорский флот, за «трех орлов», которые когда-нибудь опустятся на их плечи... Впрочем, за орлов пили для порядка, по сложившейся традиции. Стать полным адмиралом никто не мечтал. А тем не менее к одному из них, к мичману Колчаку, они все-таки опустились... Это произошло вдали от кораблей и от моря, в Омске, в 1918 году, когда вице-адмирал Колчак стал диктатором...

А потом, после ресторана, когда голова слегка кружилась от шампанского, мичман Колчак в одиночестве бродил по улицам Санкт-Петербурга.

Он всегда любил этот город, но не таким, каким он его застал в 1917 году, а чинным и подтянутым, как сверхсрочник. Санкт-Петербург, втиснутый в форменку гранита, обутый в тщательно вычищенную брусчатку мостовых, с вонзенным в небо штыком Адмиралтейства и памятником Славы на Измайловском проспекте — бронзовым ангелом, который, подобно вахтенному, нес свою почетную службу на мостике Российской империи, воздвигнутом из трофейных турецких пушек.

Этот Петербург был ему дорог и понятен.

И если для бывшего начальника иркутской губернской тюрьмы, одного из бесчисленных винтиков сложной машины империи, символом устойчивости, могущества и порядка была тюрьма, то для Колчака этим символом являлся Санкт-Петербург его юности, Петербург с чистыми, как корабельная палуба после приборки, набережными, Царской пристанью, шеренгами газовых фонарей,

грот-мачтой Александровской колонны, с напоминающими городовых памятниками и смахивающими на памятники городовыми... Гардемарину Колчаку был дорог и другой Петербург, город его еще пока далекой мечты, тот Петербург, который съезжался на балы в Зимний дворец (к подъезду, что на Дворцовой площади,— дамы и придворные, остальные со стороны Невы, с Крещенского).

Этот Петербург танцевал полонез и контрдансы, проигрывал в карты целые состояния, снимал в Мариинке ложи, рассматривал в бинокли ножки балерин, выписывал зимой из Ниццы гвоздику и сирень, кутил на Большой Конюшенной в «Медведе», хвалясь своими чистокровными рысаками и шелестя дутиками, проносился по Невскому и чопорно раскланивался во время прогулок на Елагином острове...

Петербург «высшего света»... Отпрыск захудалой дворянской фамилии был здесь чужим. Колчак это знал. Но он знал и другое — что рано или поздно придет время, когда он, подобно «белому генералу» Скобелеву или Куропаткину, завоюет право чувствовать себя равным среди равных в этом городе своей мечты.

И время пришло в июле 1916 года, когда начальник штаба главковерха генерал Алексеев представил императору в Могилеве нового командующего Черноморским флотом — вице-адмирала Колчака. Тогда предполагалась высадка русского десанта на Босфор, и офицером, который мог осуществить этот замысел, по мнению ставки, был он, Александр Колчак.

А в 1894-м он начинал со скромной должности помощника вахтенного начальника на броненосном крейсере «Рюрик». Затем было плавание в Тихом океане, углубление знаний по гидрологии и океанографии, знакомство с адмиралом Макаровым, участие в Северной полярной экспедиции Академии наук и организация розысков пропавшего без вести на острове Беннетта барона Толля.

Колчак подробно описывал свое плавание по Северному океану на шлюпке от мыса Медвежьего до Земли Беннетта. Члены комиссии его не перебивали, их обязанностью было слушать, так же как обязанностью секретарей было записывать все, что говорит бывший «верховный правитель»...

На следующий день после своего возвращения из экспедиции в Якутск Колчак узнал о нападении японцев на русскую эскадру в Порт-Артуре, и из Якутска

в Академию наук поступила телеграмма: руководитель экспедиции Александр Васильевич Колчак нижайше просил академию вернуть его в морское ведомство для использования на Дальнем Востоке в Тихоокеанской эскадре. Он полагал, что в эти дни все офицеры обязаны долгом и присягой отдать свою жизнь во славу России, обожаемого монарха и православия.

Земля Беннетта, Новосибирские острова, Устьяновск, Верхоянск, Якутск, Иркутск — все это позади. И вот перед ним забитая воинскими эшелонами, пропахшая потом и карболкой пограничная станция Маньчжурия. Отсюда поезд уже идет по непривычно голой рыжей равнине. На полустанках — солдаты, китайцы в синей одежде, повсюду наклеенные на скорую руку лубочные картинки, изображающие грозного забайкальского казака с пикой и хилого японца: «Эй, микадо, будет худо, разобьем твою посуду, разнесем дотла. Тебе с нами драться трудно, что ни день, то гибнет судно — славные дела!»

Повсюду шум, гомон, неразбериха. Среди бесчисленных маньчжурских папах с трудом можно разглядеть синие куртки железнодорожников, тужурки инженеров путей сообщения с золотыми контрпогончиками на плечах, красные погоны вездесущих интендантов и зеленые фуражки пограничников.

Гудят паровозы, свистят кондукторы, звенят колокола.

Война!

Харбин — Мукден — Порт-Артур... Эта дорога вела к разгрому русской армии, к революции 1905 года. Но для морского офицера, который ехал в вагоне второго класса, это была дорога к славе, продолжение блестяще начатой карьеры.

Колчак получает назначение на крейсер «Аскольд», потом становится командиром миноносца «Сердитый».

И вот на минной банке, поставленной миноносцем на подступах к Порт-Артуру, взрывается крейсер «Такосадо»... Это не только одна из немногих побед русского флота в японской войне, но и победа Колчака. Фамилия командира миноносца замелькала на страницах газет.

Газеты Колчак читал в госпитале, где он оказался из-за обострения приобретенного им на севере суставного ревматизма. И эти корреспонденции оказали на его болезнь более благотворное влияние, чем лекарства и уход...

Затем японский плен...

Победители великодушны. Японский адмирал предлагает ему на выбор: лечение в Японии на водах или возвращение без всяких условий в Россию.

Колчак выбрал Россию. Через Америку он возвращается в Петербург...

Здесь он организует офицерский морской кружок, цель которого — возрождение военного флота России «на научных началах». Он один из авторов рассчитанной на десять лет судостроительной программы, которая должна обеспечить блистательную победу в грядущей войне. Он с нетерпением ждал эту войну — новую ступень в своей карьере, как великий праздник, и в одном из писем писал: «Война ведь выше справедливости, выше личного счастья, выше самой жизни».

Даже сейчас, на допросе, вспоминая о 1914 годе, он, не замечая иронического взгляда Попова, говорит: «На «Рюрике», в штабе нашего флота, был громадный подъем, и известие о войне было встречено с громадным энтузиазмом и радостью. Офицеры и команда все с восторгом работали, и вообще начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей службы».

Член комиссии, сидевший рядом с Поповым, сказал:

— Мы подошли к той части вашей деятельности, которая носит не только профессиональный и технический характер, но и политический. В связи с этим комиссия считает необходимым поставить вам вопрос о ваших политических взглядах в молодости, в зрелом возрасте и теперь, а также о политических взглядах вашей семьи.

Колчак задумывается, обводит взглядом сидящих за столом.

— Моя семья была чисто военного характера и военного направления...— медленно говорит он.— Большинство знакомых, с которыми я встречался, были люди военные... О вопросах политического и социального порядка, сколько я припоминаю, у меня вообще никаких воспоминаний не осталось. В моей семье этими вопросами никто не интересовался и не занимался...

Новый вопрос. Его задает член комиссии, правый эсер Алексеевский. Вопрос относится к числу тех, которые в юриспруденции именуются «наводящими». Задавать такие вопросы не рекомендуется, и юрист Алексеевский это знает. Но Алексеевский не может примириться с тем, что бывший военный и морской министр эсеровской Директории, который вел легионы против узурпато-

ров власти — большевиков, столь откровенно признается в отсутствии всякой политической платформы.

— Скажите, адмирал,— говорит Алексеевский,— в 1904—1905 годах, когда вы участвовали в русско-японской войне, вы, как человек, хорошо знающий морское дело, изучивший в деталях и на практике постановку его в России, не могли не видеть, что наши морские неудачи определялись политическими обстоятельствами... Вы тогда не пришли к выводу, что необходимы политические перемены во что бы то ни стало, хотя бы даже и путем борьбы?

— Я считал необходимым уничтожение должности генерал-адмирала, и это совершилось как результат войны. Я считал это безусловно необходимым,— говорит Колчак,— но главную причину я видел в постановке военного дела у нас во флоте... Если бы это дело было поставлено как следует, то при каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно, и она могла бы действовать.

— Каково было ваше отношение, адмирал, к революции 1905 года?

Колчак. Мне не пришлось с ней почти сталкиваться... Я как раз в этот период не был в соприкосновении с событиями революции 1905 года и в политической деятельности участия не принимал.

Председатель. Каково было ваше идейное отношение к этому делу?

Колчак. Я этому делу не придавал большого значения...

Алексеевский. Таким образом, вы из неудач войны с Японией не делали никаких политических выводов?

Колчак. Нет. Вспышку 1905—1906 годов я приписывал исключительно народному негодованию, оскорбленному национальному чувству за проигранную войну...

1906—1913 годы. Для Стрижак-Васильева это были годы революционного спада, столыпинской реакции, массовых арестов, борьбы против отзовистов и ликвидаторов, сплочения пролетариата и крестьянства в преддверии новой революции. Тюрьма, ссылка, эмиграция и первые признаки надвигающихся событий. Для Колчака это были годы подготовки к войне, которая должна была выдвинуть его в первые ряды офицеров Российского императорского флота.

И вот долгожданная война...

Колчак, как он не преминул подчеркнуть на допросе, лично руководит минным заграждением Данцигской бухты, где базируется значительная часть германского флота, и высадкой морского десанта на Рижском побережье в тылу у немцев. Обе операции проходят успешно. Он получает наконец Георгиевский крест, производится в капитаны первого ранга, назначается командиром минной дивизии. А вскоре он уже вице-адмирал и командующий Черноморским флотом.

Имя нового командующего было связано с разговорами о готовящемся десанте, который решит исход войны и покроет Черноморский флот неувядаемой славой. Десант на Босфор, удар по Константинополю, полный разгром Турции... Это не могло не волновать воображения мичманов и лейтенантов, стосковавшихся по настоящей войне, которой сопутствуют слава, чины и ордена.

Что же касается матросов, то в 1916 году их мнением о войне и новом командующем Черноморским флотом никто из офицеров не интересовался. Как-то само собой подразумевалось, что у нижних чинов не может быть никакого мнения. Матросы — это матросы. Одетые в одинаковые робы, они различались офицерами только по фамилиям и тем функциям, которые выполняли на корабле. Вестовые и сигнальщики, гальванеры и «трюмные духи», дальномерщики и наводчики — все они были не людьми, а винтиками сложного судового механизма. Предполагалось, что эти винтики ни к чему не стремятся и ничего не думают, тем более что служба действительно не оставляла им времени на размышления. Правда, до офицеров доходили странные и непонятные сообщения о восстаниях в Средней Азии, о стачках в Петрограде и Москве, о братании на фронте, об отказе солдат сражаться. Но все это было вдали от Черноморского флота, жизнь которого шла прежним чередом. В отличие от Балтики здесь нижние чины хорошо знали свое место. Так думало большинство офицеров. Так думал и адмирал Колчак...

— Мы бы хотели знать в самых общих чертах ваши политические взгляды во время революции,— сказал один из членов комиссии.

Что ж, адмирал мог, почти не кривя душой, исчерпывающе ответить на этот вопрос. Нет, несмотря на свои монархические убеждения, он не был врагом Февральской революции. Это лекарство при определенных

обстоятельствах могло бы принести пользу. При определенных обстоятельствах... Например, если бы лечащими врачами были не Львов, Милюков и Керенский, а генерал Корнилов или он, Александр Колчак.

— Когда последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет...— сказал Колчак.— Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти...

— Как вы относились к самому существу вопроса свержения монархии и какова была ваша точка зрения на этот вопрос?

— Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца и должна быть какая-то другая форма правления, которая может закончить эту войну.

Алексеевский не удержался от иронии.

— Не смотрели ли вы слишком профессионально на этот вопрос? — сказал он и с любопытством спросил: — Какие недостатки и достоинства вы видели во Временном правительстве?

Председатель комиссии Попов, сидевший до сего времени с отсутствующим выражением лица, заметно оживился. Ситуация была пикантной: эсер интересуется мнением монархиста о правительстве трудовика Керенского. Формально, конечно, у бывших царских генералов и адмиралов не могло быть претензий к Керенскому. «Александр IV» не оставлял их вниманием и проповедовал войну до победного конца... Но с другой стороны... Да, ситуация пикантная, ничего не скажешь! Ну что ж, послушаем мнение бывшего «верховного правителя» о бывшем министре-председателе...

Тщательно подбирая слова, Колчак сказал:

— За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных («Допустим»,— сказал про себя Попов), желающих принести возможную помощь родине («С точки зрения адмирала»). Никого из них я не мог заподозрить в том, что они преследовали личные или корыстные цели. Они искренне хотели спасти положение, но... («Вот это уже поинтересней! Итак, в чем же заключается ваше «но», господин адмирал?») Но при этом они опирались на очень шаткую почву — на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска.— И, сделав паузу, Колчак неожиданно не только для Алексеевского, но и

для Попова закончил: — Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно...

Это высказывание, несмотря на лестную преамбулу, не было похоже на комплимент. Еще менее приятным был для Алексеевского отзыв об Учредительном собрании, состоявшем в основном из эсеров. Говоря о нем, Колчак даже не пытался позолотить пилюлю. «Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон,— сказал адмирал,— то разгон этого Учредительного собрания является их заслугой, что это надо им поставить в плюс».

Нет, у Колчака не было ненависти к тем, кто оказался в начале 1917 года в министерских креслах. В конце концов, их планы немногим отличались от планов адмирала: они отстаивали его Россию, Россию воинской дисциплины и твердого порядка. Они хотели продолжать войну, его войну, в которую адмирал вложил все свое честолюбие. Этим они заслуживали его поддержку. Но эти люди оказались тряпками, болтунами.

Колчак говорил о разложении армии, об отказе солдат и матросов выполнять приказания офицеров, об отсутствии дисциплины, об апрельской демонстрации по поводу ноты Милюкова и предложении генерала Корнилова вооруженной силой подавить эту демонстрацию.

— Что вы думали тогда и впоследствии о предложении Корнилова, сделанном на квартире Гучкова, что он обладает достаточной силой, чтобы поставить барьер этому движению, ведшему к прекращению войны? Действительно ли он обладал достаточными силами? — спросил один из членов комиссии.

— Да, я считаю, что он обладал достаточными силами...

— Если бы были даны известные директивы ответственными руководителями, чтобы поставить барьер этому движению физическими репрессиями, считаете ли вы, что это было бы возможно у вас, на Черном море?

— Да, я считаю, что в то время это было возможно и у меня. В то время у правительства было достаточно дисциплинированных сил, чтобы подавить это движение.

«В то время у правительства было достаточно дисциплинированных сил...» Так ли?

Его ответ для комиссии уже был занесен в протокол допроса, который когда-нибудь прочтет Керенский. Но ответить на этот вопрос самому себе Колчак,

пожалуй, не смог бы. Нет, не смог... Хотя... Может быть, ответом было то, что произошло в один из солнечных дней в Севастополе на вздыбленной митингом площади?

Возможно...

Колчак не любил и не умел выступать на митингах. Но тогда он был в ударе, и его речь, судя по всему, понравилась, ему много аплодировали. А затем командующего флотом сменил на трибуне чернявый матросик с жестким прищуром темных, как взбаламученное море, глаз.

— Граждане свободные матросы свободной России! — крикнул он неожиданно зычным для своей щуплой фигурки голосом.— Здесь господин адмирал по-ученому разъяснял вам, что России позарез требуется победа, и вы ему шлепали своими мозолистыми ладонями. И верно делали, что шлепали, потому что ежели по совести разобраться, то Россия для нас, черноморских братишек, революционных матросов, дороже матери родной. И никакой революционный матрос, будь он шкурой или гадом, к примеру, не захотит, чтобы на лике его матери родной кровь от иноземного мордобоя была. Только ведь вот в чем закавыка, ежели опять же разобраться, для какой России тот мордобой страшен? Для той, что с сошкой, или для той, что с ложкой? Прозвание-то тут одно, а сердцевины, глянь, две: матросская и адмиральская. Одна Россия для вас, матросов, мать, а другая — хуже мачехи, вроде боцмана, все в рыло норовит вдарить, да с полной выкладкой под ружье, а то офицерские гальюны наряжает чистить. Вон она какая, та Россия... Вот тут некоторые неосознанные элементы глотку дерут: одна Россия! Ан врете, не одна. Вот я, к примеру, на побывку в деревню ездил, с мужиками калякал. Ну, мужицкий разговор известный... Спрашиваю: «Как после революции и необъятной свободы жизнь крестьянская?» «Худо»,— говорят. «А почему худо? — спрашиваю.— Николашку повалили, Гучкова-империалиста скинули, Александра Федоровича поставили, обходительный такой гражданин, культурный, речи говорит... Свободы — хоть подавись... Чего не хватает-то? Ежели Босфора и Дарданеллов, то нам это при нашем моряцком геройстве раз плюнуть и два растереть, все одно, что с ярмарки рушник или другой какой гостинец привезть. Потому,— говорю,— что у нас на море на Черном командир такой геройский, Колчаком адмиралом прозывается, с ним нам воевать, что баб

щупать,— удовольствие, да и только». Так и сказал. А мужики на мою посулу и отвечают: «А на кой ляд,— говорят,— нам твой Босфор вместе с твоим геройским адмиралом? Босфор не распашешь, а твоего адмирала заместо коня не приспособишь. И господин гражданин Керенский нам по хозяйству без надобности, и свободой брюхо не набьешь. Нам бы заместо всего землицу у своего господина помещика Субоцкого оттяпать, а ежели тот Субоцкий отступного захочет, его воля воевать: пусть себе на том Босфоре новую усадьбу справляет». Вон ведь как мозгами раскидывают. Не германец и турок им мешает, а тот же православный, что на мужицком загривке с ложкой сидит да свой зад с земли сдвинуть не желает. И с мастеровыми я разговоры вел, в смысле с пролетариями. И им опять же не Босфор, а фабрики да заводы, политые их же трудовым потом, нужны. И им православный заводчик, а не германцы жизнь делать мешают. Не-е, не единая Россия... Ведь что получается? Бедной России одно надоть, богатой — другое. У адмиральской России — счастье в кармане, а у матросской — вошь на аркане...

Колчак, окруженный офицерами штаба, бледный, закусив нижнюю губу, внимательно наблюдал за реакцией запрудившей площадь матросской массы, почти физически ощущая, как меняется ее настроение. Некоторые возгласами подбадривали оратора, другие сочувственно ухмылялись, третьи слушали с безразличным выражением лица. Но никто из тех, кто только что аплодировал командующему, не осуждал чернявого, который растаптывал все — офицерскую честь, патриотизм, прошлое и будущее России. И если бы он, адмирал Колчак, приказал сейчас арестовать чернявого, приказ бы наверняка остался невыполненным. Матрос в отличие от него был здесь своим, как они выражались, братишкой, и то, что он говорил, тоже было своим, кровным для многотысячного скопища крестьян и рабочих, еще недавно называвшихся нижними чинами императорского флота.

— Нам, братишки черноморские революционные моряки, бойня с германцем ни к чему. А вот ежели нам не дадут господа и граждане министры землю и фабрики, вот тогда мы, братишки, черноморские революционные моряки, вместе с нашими братишками по классу — германскими мужиками и мастеровыми — обрушим свой революционный гнев на империалистов.

А потребуется — и не единый гнев, а и пули из ружей наших обратим на них, снаряды из орудий...

Корявые и тяжелые, как вывороченные из мостовой во время апрельской демонстрации булыжники, слова матроса с грохотом падали на замершую площадь, заставляя офицеров медленно отступать от трибуны. И в отзвуке этого грохота Колчак узнавал мысли, высказанные давно, еще тринадцать лет назад, его соседом по палате Георгиевской общины Красного Креста, офицером и дворянином Стрижак-Васильевым. Тогда эти мысли вызывали иронию, теперь — страх. Им нельзя было противопоставить слова — только выстрелы.

Стрижак-Васильев, большевик, осужденный к смерти военно-полевым судом в Омске...

Еще в Морском корпусе Колчак привык делить всех гардемаринов и офицеров на несколько твердо очерченных категорий. В самую многочисленную входили те, кого он называл «тротуарными ослами» или «мышиными жеребчиками». Постоянные посетители публичных домов, неизменные участники всех пьянок, покорители «горняшек» и паркетные шаркуны, они воспринимали службу во флоте как неизбежную, но скучную обязанность, предоставляющую возможность «рвать цветы жизни». Были службисты-строевики, требовательные и исполнительные, с тяжелой рукой, пустой головой и хорошими манерами — «полированные гвозди». Были и такие, которых Колчак причислял к категории «серьезных офицеров». Энтузиасты, хорошо знающие свое дело, они, по его мнению, представляли будущее Российского флота. Молодой же офицер, оказавшийся соседом по палате, не подпадал ни под одно из этих определений. И это раздражало старшего лейтенанта, любившего всегда и во всем ясность. Стрижак-Васильев относился к какой-то странной и непонятной для него разновидности. Что скрывается за молчаливостью мичмана, которому уже здесь, в госпитале, была вручена коробочка с офицерским Георгием? Стрижак-Васильева не интересовали ни полненькая, кокетливая медицинская сестра — applegir [20].— скрашивающая офицерам скучные вечера в госпитале, ни обычные разговоры о бездарности Куропаткина, ни слухи о предложении Вильгельма, которое он якобы сделал Николаю II,— снять с русской западной границы всю артиллерию и перебросить ее на Дальний Восток («Я сам беру на себя охрану нашей общей границы»), ни дебаты о тактике Порт-Артурской

эскадры, во время которых каждый мичман чувствовал себя адмиралом.

Стрижак-Васильев держался как-то в стороне от всего того, чем жили офицеры. И тем непонятней было его участие в споре, который, по мнению Колчака, был не только бессмысленным и глупым, но и нетактичным по отношению к царствующей фамилии. Речь шла о государственном устройстве. Нужен ли России парламент? Вот тогда-то Стрижак-Васильев и высказал в несколько эзоповской манере мысли, которые так поразили Колчака. Впрочем, его не столько поразили сами мысли, сколько то, что они могли появиться у потомственного дворянина, офицера флота. И Колчак склонялся к тому, что непонятный для него офицер всего-навсего позер, а его наивно-крамольные высказывания — лишь юношеская бравада, жалкая попытка соригинальничать, утвердить путем шокинга свое «я». Поэтому он позволил себе снисходительность по отношению к зеленому мичману, который, наверно, уже тогда был одним из тех, кто привел Россию к гибели...

Спор в палате Колчак попытался завершить шуткой. «Поверьте мне, мичман, флот больше подходит для карьеры, чем революция,— сказал он.— Я, правда, никогда не занимался политикой, но знаю, что революционеры в России никогда выше эшафота не поднимались»... Спорящие, оценив вовремя сказанное бонмо, заулыбались. Но Стрижак-Васильев не принял шутку и спросил: «А вам не кажется, Александр Васильевич, что флот и революция когда-нибудь соединятся?»

И вот это произошло во дворе Черноморского экипажа...

— Братишки революционные матросы! — кричал оратор, размахивая руками.— Не поддавайтесь гадам офицерам, прислужникам империалистов! Пущай они сдают оружие! А мозги нам пущай не задуривают, не затемняют нашу революционную бдительность! Верьте только большевикам, потому что большевики говорят святую революционную истинность. Кончай войну со своим трудовым братом — германским мужиком и рабочим!

...Да, к тому времени у правительства уже не было дисциплинированных частей, которые бы могли искоренить эту заразу... Не было.

Через день после митинга началось разоружение офицеров. Затем решение делегатского собрания матросов

об отстранении его, адмирала Колчака, от командования флотом. Мало того, в судовых и полковых комитетах начались дебаты о его аресте. И его бы арестовали, если бы не поспешный отъезд в Петроград. Наверняка бы арестовали...

Когда в апреле 1917 года он был у Плеханова [21], тот говорил ему, «что все идет не так, как мы хотели или предполагали, события принимают стихийный характер».

Нет, отныне едва избежавший ареста Колчак не верил в стихийность. Он теперь не сомневался, что за всем происходящим стоят ненавистные ему большевики, одним из которых и был тот странный мичман. Именно они инспирировали приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов, именно они организовали апрельскую демонстрацию, именно их слова повторял матрос на митинге, который окончательно разрушил его флот...

Обо всем этом Колчак говорил в своем докладе на заседании «правительства», которое проходило в Мариинском дворце. Доклад ничего не мог изменить, но адмирал должен был высказать этим политическим болтунам все, что он о них думает...

Затем встреча с американским адмиралом Гленноном. В Америке обсуждался план морского десанта на Босфор и разрабатывались новые эффективные методы борьбы с немецкими подводными лодками. Гленнон предложил Колчаку посетить Америку. Ну что ж, если Россия в его услугах больше не нуждается, он счастлив быть полезен как специалист ее союзникам...

Во главе группы русских офицеров Колчак вместе с адмиралом Гленноном выезжает в Берген, оттуда в Лондон, а затем в Галифакс. Здесь Колчака ждут почет и признание, которых его лишила революция.

Накануне отъезда из Сан-Франциско на родину Колчак впервые услышал о свержении Временного правительства. Правда, американским газетам трудно верить.. Однако, прибыв в Иокогаму, он узнал, что на этот раз газеты не солгали: да, в России большевистское правительство, оно ведет с немцами переговоры о заключении мира... «Мир без аннексий и контрибуций!» Этот лозунг был ему хорошо знаком. Итак, болтуны из Зимнего дворца пожинали то, что посеяли... Этого следовало ожидать...

Колчак обращается к английскому правительству с просьбой зачислить его в армию его величества короля Великобритании и направить на Месопотамский

фронт. Что ж, правительство Англии готово пойти навстречу безработному адмиралу. Но почему именно Месопотамский фронт? И в Сингапуре английский генерал вручает Колчаку телеграмму: в силу изменившейся ситуации на Месопотамском фронте и просьбы русского посланника в Китае князя Кудашева правительство его величества считает полезным для общего дела, чтобы офицер британской службы, русский адмирал Колчак вернулся на свою бывшую родину, где ему рекомендуется ехать на Дальний Восток...

И вскоре в городах «восточной окраины» Российской империи появилось воззвание: «Я, адмирал Колчак, в Харбине готовлю вооруженные отряды для борьбы с предателями России — большевиками...»

Так русский адмирал и офицер британской службы сделал свой выбор, восстав против воли народа и революции...

ОБРАЩЕНИЯ

К рабочим и крестьянам:

«Голодные, полузамерзшие банды остатков колчаковских войск, собирая последние силы, стремятся к Иркутску...

Красный Иркутск будет ими разграблен и обильно полит рабоче-крестьянской кровью, если мы не сумеем его защитить.

Рабочие и крестьяне! Все, как один, вставайте на защиту нашего красного Иркутска... Запись рабочих в боевые дружины производится в Военном комиссариате (бывш. штаб округа на Медведниковской улице)».

К членам партий:

«Военно-революционный комитет объявляет, что все члены партий, стоящих на платформе Советской власти, не имеют права покидать пределы города Иркутска без особого на то разрешения партийных комитетов... Все партийные товарищи немедленно же должны зарегистрироваться у секретарей партий с обозначением, где бы они могли работать...

Виновные в нарушении сего постановления будут привлекаться к строгой ответственности. Ревком».

К населению:

«В городе распространяются слухи об якобы готовящейся эвакуации города, о возможности занятия города каппелевцами и т. д. Слухи эти, нервируя население, создают то напряженное, тревожное настроение, которым так любят пользоваться наши враги для разных провокационных действий, для создания ни на чем не основанной паники и т. д.

...Ревком призывает всех к соблюдению революционного порядка, к борьбе с провокационными слухами, откуда бы они ни исходили, к революционному творчеству по созданию фронта против всех врагов народа...

Красный Иркутск охраняется красными войсками и никому не сдаст своих позиций.

Военно-революционный комитет».

К врагам:

«Иркутский военно-революционный комитет, опираясь на волю масс и ту огромную силу Советской России, которая оказалась способной внести разложение в ряды врага даже через штыки колчаковской армии, вступив в управление краем, не счел необходимым красным террором неумолимо расправиться с врагами народа... Однако имеются безумцы... работа которых может заставить Революционный комитет пересмотреть свое отношение к моменту и сдавшейся буржуазии и реакционным элементам города.

Военно-революционный комитет, ответственный перед массами за сохранение революционного порядка, заявляет, что он будет беспощаден и не остановится ни перед какими мерами, если сдавшийся враг сделает попытку хотя бы на час возвратить ненавистную кровавую тиранию старой власти.

Иркутский военно-революционный комитет».

СОЛДАТ С ПЛАКАТА

С первого взгляда могло показаться, что в большой полутемной комнате, где продолжала работу после перехода власти к ревкому бывшая комиссия Политцентра, ничего не изменилось. Но это было не так, и, если бы Колчак не знал от бывшего начальника тюрьмы о происшедших событиях, он без труда догадался бы о них.

Прежде всего за столом комиссии появился пятый — Самуил Чудновский, председатель только что созданной Иркутской ЧК.

Правда, занятый вылавливанием иркутских белогвардейцев, он бывал на заседаниях сравнительно редко. Но о его существовании, а следовательно, и о существовании ревкома постоянно напоминали пустующий стул и висящий на стене плакат. Этот плакат появился в сусально-золотые времена Февральской революции, когда дисциплинированные генералы, привычно выполняя команду, целовались с рядовыми, а прекрасные, словно восходящая заря свободы, дамы, уставшие от флирта, балов и прочих тягостных повинностей, возложенных на них кровавым самодержавием, осыпали цветами рабочие демонстрации. Да и сам художник, ссыльный студент-медик, был только умеренным либералом, считавшим, что русский народ еще не дозрел до полной демократии.

Эта концепция и нашла свое отражение в рисунке. У изображенного на плакате солдата с красной лентой через папаху было усталое, недоуменное лицо. Он явно не мог решить, то ли ему спать, то ли продолжать делать революцию. И винтовка, на которую он тяжело опирался, производила не столько впечатление инструмента борьбы, сколько традиционного посоха странника, кочующего по необъятной России в поисках хлеба и правды.

Но солдат находился тут и в других учреждениях по указанию ревкома. Это заставляло усомниться и в наглядно изображенных художником чертах его характера, и в его мыслях.

И когда «Монах» зашел в кабинет к Стрижак-Васильеву, он долго, точно так же, как Колчак во время допросов, разглядывал этот старый плакат. Солдат на плакате смотрел куда-то мимо эсеровского боевика. Видимо, Малов его не интересовал. Солдату предстояло

уничтожить один из последних оплотов контрреволюции в Сибири — каппелевцев. А Колчак и эсеры — они были вчерашним днем...

— Серьезный мужчина,— улыбнулся Малов, но его блеснувшие металлическим блеском глазки не улыбнулись.— Мужичок с ружьем... Лубок времен русской революции.

Он никогда не симпатизировал этому солдату, хотя и заискивал перед ним, перед сиволапым представителем сермяжной Руси, который некогда превратил эсеров в самую массовую партию в стране. «Некогда»... Если бы «Шурик» был поумней и лучше разбирался в политграмоте, «эсеры дела» помогли бы ему скрутить и этого мужичка с ружьем, и тех, кто теперь направлял его руку,— большевиков. «Шурик» бы упивался своим величием, а они осуществляли политику. И все были бы довольны. Но «Шурик», как истый солдафон, привык не столько размышлять, сколько действовать. Административный восторг... Адмирал расстреливал не только большевиков, за что ему, разумеется, нижайший поклон, но и земцев, меньшевиков и даже эсеров. Это свидетельствовало о политической недальновидности «верховного правителя» так же, как и чрезмерное увлечение шомполами, тюрьмами, сжиганием деревень и селений. Шомпол, конечно, важный аргумент в диалоге с народом, и пренебрегать им не следует. Он так же нужен народу, как хлеб, земля, просвещение и свободы. Но перешомполовать все 150 миллионов нельзя. Это мечта. А мечту, даже если она адмиральская, всегда следует соизмерять с реальными возможностями. Между тем «первый гражданин возрождающейся России» был, как выяснилось, пустым мечтателем, пытавшимся вопреки поучениям Козьмы Пруткова объять необъятное. И вот результат: вместо Учредительного собрания в белокаменной Москве, которое создало бы всероссийское эсеровское правительство,— пшик. Адмирал-мечтатель в тюрьме, и упечь его туда помогли большевикам эсеры. Красная Армия очищает Сибирь от остатков войск адмирала, а ревком очищает от эсеров Иркутск. И здесь, в одной из комнат Политцентра, где несколько дней назад обсуждались грандиозные планы создания Сибирской эсеровско-меньшевистской республики, сидит теперь за столом большевик, представитель Сиббюро ЦК РКП(б) Стрижак-Васильев. И он, как мальчишку, требует к себе его — Сергея Малова, одно имя которого

вызывало трепет у жандармов и нервную судорогу у контрразведчиков Колчака...

Зазвонил телефон. Стрижак-Васильев снял с рычага трубку.

— Сколько винтовок системы Лебеля?.. Не слышу. Громче... Триста пятьдесят? Очень хорошо... Да, военного специалиста, который знает эту винтовку, я подобрал... Поручик Сотник... Беспартийный, с проэсеровскими симпатиями... Ну, это не мешает ему быть хорошим военспецом, а винтовка, как известно, в РКП(б) тоже не состоит. Обещает обучить за три дня...

Новый звонок.

— Телеграмма Зиминскому ревкому отправлена. Транспорт с оружием в Черемхово чехи пока задерживают, но к вечеру, видимо, добьюсь. Часа через полтора буду у Благожа...

Телефон трещит не переставая. В коридоре гулко ухают тяжелые шаги дружинников. Поминутно открывается и закрывается дверь кабинета. Принес телеграфную ленту дежурный. Его сменила пишбарышня с текстом листовки. Затем — бородатый солдат (точь-в-точь как на плакате). Он сопровождал двух офицеров-политцентровцев, которые изъявили желание сотрудничать с Советской властью. Заглянул коренастый чех из штаба интернационалистов: интернационалисты просили помочь с валенками и махоркой. Явился с жалобой крестьянин: хотел записаться в отряд Каландаришвили, но Нестор без оружия не принимает, говорит: «Кто нэ сумэл сам достат аружие, тот недостоин им пользоваться».

Снова дежурный и снова звонок...

— Тяжеловато бремя власти, Лешенька?

— Ничего... Я же предварительно тренировался...

— Где?

— В ссылке, в тюрьме, в эмиграции.

— Пустое... Я там тоже был... Что слышно о Каппеле?

— По-прежнему отступает.

— То есть отступает перед красными на западе и наступает на красных на востоке?

— У тебя, Сережа, еще в Америке проявлялись задатки комментатора.

— У меня много задатков, Лешенька.

— Потому-то тебе и была противопоказана власть.

— Именно поэтому,— согласился «Монах».— Кстати, говорят, что Каппель не стреляет, а вешает...

— Говорят.
— Видно, у него все-таки консервативное мышление.
— Как и у каждого, кто служил Комучу и эсеровской Директории...
— Я лично радикал.
— И поэтому бежишь из Иркутска?
— Поэтому. Только не бегу, а эвакуируюсь. Моя комплекция для бега не подходит. Да и слово какое-то вульгарное. Ты все-таки вульгарен, Леша. По тебе нетрудно заметить, что русское дворянство вырождается.
— Остаться желания нет? — поддразнил Стрижак-Васильев.
— Нет, Лешенька. Если Каппель возьмет Иркутск, он может в спешке не разобраться и повесить меня рядом с тобой. А ежели его разобьют, то вы меня поставите к стенке рядом с ним.
— Куда же держишь путь?
— Во Владивосток. Почти Япония, и медузы разноцветные. Я что-то устал от однообразия цветов: здесь повсюду только красный и белый...
— А ведь мы будем, Сережа, и во Владивостоке. Скоро будем. Что тогда?
— Я шесть лет жил за границей... Поживу еще немного. Отдохну, закончу свое исследование о Форде...
— А потом?
— А потом, когда вот этот мужичок,— «Монах» кивнул в сторону плаката,— снова по старой памяти за винтовкой потянется, вернусь... С этим мужичком у вас дружба ненадолго, Алеша. И он нас еще позовет... Вот так, Лешенька! — «Монах» хихикнул.— Прочесть твои мысли?
— Прочти.
— Думаешь ты, Лешенька, о том, что хорошо бы поставить меня к стеночке, и скорбишь, что нельзя. Ты ведь, Леша, мечтатель... вроде «Шурика». Угадал?
— Нет, Сережа. Мы же не любим фейерверков и к стенке ставим только тогда, когда иного выхода нет. А ты... Ты уже все зубы порастерял. Какой вред от тебя? Живи.
— Спасибо, Лешенька. Для того и вызывал?
— Нет, не для того. И думал я вот о чем: зачем тебе теперь склад оружия? Во Владивосток ты его с собой не повезешь, в Америку тем более... А если ты когда-либо и вернешься в Россию, то оружие к тому

времени и устареет и проржавеет. Одну услугу большевикам ты оказал, окажи другую...

— О каком складе ты говоришь? — удивился «Монах».

— О тайном складе оружия для твоих боевиков.

— А ты уверен, что он существует?

— Уверен, Сережа. Даже знаю, что он находится на Китайской улице. Не знаю только дома...

— Там, Лешенька, лишь револьверы и бомбы-македонки...

— Хозяйство у нас большое, в нем все пригодится... Какой номер дома?

— Не помню, Лешенька.

— А ты припомни... Когда у тебя поезд отходит?

— Часа через три-четыре.

— Вот видишь. Надо торопиться. А то долго припоминать будешь и на поезд опоздаешь...

— Арест, Лешенька?

— Нет.

— А что же?

— Вечер воспоминаний.

«Монах» усмехнулся.

— А вы кое-чему научились, Лешенька...

— Научились, Сережа... Ну как, припомнил?

— Будто бы...

— Ну-ну.

— Если не изменяет память, бывший дом полковника Рачкова, в подвале, под кухней. Там студент Глебов, он знает...

— Покажет и шуметь не будет?

— Мы свое пока отшумели...

Стрижак-Васильев вызвал дежурного и приказал направить наряд в дом Рачкова.

— Пусть мне оттуда позвонят.

— Будем прощаться, Лешенька? — спросил «Монах», когда дежурный вышел из кабинета.

— Не терпится медузами полюбоваться? Посиди еще немножко, сделай милость. Бог знает, когда в следующий раз свидимся...

Через полчаса старший наряда сообщил Стрижак-Васильеву, что в подвале обнаружены два ящика с браунингами и один ящик с бомбами.

— Вот теперь все вопросы решены.

— Кроме одного,— сказал «Монах», поднимаясь с кресла.

— Какого же?

— Стреляет Каппель или вешает?

— Ах вон что! Извини. Постараюсь уточнить. Сообщу тебе во Владивосток.

— Буду весьма признателен,— сказал «Монах».

— Пустое! Долг платежом красен.

— Обниматься на прощанье не будем?

— Пожалуй, не стоит.

— Я тоже так думаю,— сказал «Монах» и вышел из кабинета. И как только дверь за ним закрылась. Стрижак-Васильев забыл о его существовании.

Снова трещал телефон. Снова входили и выходили люди: дружинники, офицеры, партизаны, солдаты, рабочие...

В Иркутске было тогда всего несколько сот коммунистов. На каждом из них лежала ответственность за судьбу города и революции. Одним из этих нескольких сот был связной Сиббюро Стрижак-Васильев...

* * *

Плотные глянцевые листы бумаги. О том, что они пролежали в архиве более полувека, свидетельствуют лишь легкая желтизна да едва ощутимый запах пыли. Листы скреплены и пронумерованы. На обороте верхнего вычурным, с завитушками почерком какого-то судейского написано: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Его Святым Евангелием, что я объявляю сущую истину и все, что знаю, не скрывая ничего, без всякого подлога и вымысла о делах моих, недвижимом и движимом имении, о долгах, на мне состоящих, равно и долгах моих на других лицах и местах, подвергая себя за противное ответу по законам в временной и Всевидящему Творцу в будущей жизни.

К сему присяжному листу Иркутский 1-й гильдии купец Иван Ермолаев сын Андреев руку приложил».

На полях листа, словно орнамент, сделанные рукой Стрижак-Васильева, торопливые, малоразборчивые пометки: «Направить агитаторов в Листвянку — мастерские Байкальского округа путей сообщения, на деревообделочную фаб. Иванова и кожзавод Соловьева, в депо станций Иркутск и Иннокентьевская... Доклад о текущем моменте+запись добровольцев», «Инструктаж и обуч. рабочих дружин». «Лозунг: «Пусть сибирский снег будет саваном погибающей буржуазии!», «Парт-

ячейка отряда Каландаришвили. Листовки!», «Центральный штаб рабоче-крестьянских дружин интернационалистов. Чехи, поляки, мадьяры, румыны. Тезисы: сегодня крепость международного пролетариата — Иркутск, завтра — Прага, Будапешт, Варшава, Бухарест. Красная Армия — ядро всемирной революц. армии пролетариата», «Использ. для пропаганды среди каппелевцев архивы колчаковской контрразведки».

Весь текст — присяга купца и пометки Стрижак-Васильева — крест-накрест перечеркнут. На другой стороне листа — начало письма. Даты нет, но, судя по содержанию, оно написано между 27 и 29 января 1920 года.

«Здравствуй, Андрей!

Получено сообщение от ревкома станции Зима о приближении каппелевцев. Иркутск, Иннокентьевская и Батарейная объявлены на военном положении. Днями по согласованию с Лапиным к Зиме будет направлен заградительный отряд, который предполагается усилить за счет партизанских соединений в Черемхове. Помощь от Лапина постоянная. Но, к сожалению, полки его дивизии еще слишком далеко от нас. Между нами — сотни и сотни верст. Если бы вы сейчас сделали рывок, каппелевцы бы оказались в мешке, а Иркутск вне опасности. После разговора по прямому проводу с Лапиным понимаю нереальность подобной перспективы, а от надежды все-таки отказаться не могу. Иркутск даже временно отдавать нельзя. В августе 18-го года, когда мы оставляли Читу, мы выбросили лозунг: «Советы в Чите гибнут! Да здравствуют Советы во всем мире!» В листовках тогда было написано: «Святые красные знамена социалистической революции выпадут из наших рук ненадолго: их подхватят другие руки... Советская революция и власть в Чите гибнут. Да здравствует великая мировая социалистическая революция!»[22]

Бесспорно, такая постановка вопроса правильна и с политической и с исторической точек зрения (как видишь, те уроки, которые ты преподал в 1906-м, пошли мне на пользу). В любой войне неизбежны отдельные поражения, а русская революция только часть целого, борьба с Деникиным, Колчаком и Юденичем займет в истории всемирной гражданской войны в лучшем случае страницу, а Чите и Иркутску будет посвящено одно слово. И все же пусть этим словом будет «победа».

Как бы то ни было, а сейчас на иркутский пролетариат, в той же мере, что и на 5-ю армию, возложена революцией ответственность за ликвидацию очага белогвардейщины в Сибири. И здесь все, начиная от председателя ревкома и кончая рабочими-дружинниками, хорошо понимают всю меру этой ответственности. Иркутск будет сражаться до последнего патрона.

Все члены губкома партии и президиума Совета закреплены за предприятиями и воинскими частями. По рекомендации Лапина Центральный штаб рабоче-крестьянских дружин преобразован ревкомом в штаб Восточносибирской советской регулярной армии. Командующим армией назначен Зверев [23].

В Восточносибирскую армию, как тебе, видимо, уже известно от Лапина, влиты рабоче-крестьянские дружины, дружины интернационалистов, партизанские соединения и бывшие части Политцентра, то есть солдаты, участвовавшие в восстании. Пехотинцы сведены в пять дивизий, из конных — преимущественно партизан — сформирована кавалерийская дивизия (около трех тысяч сабель). Основные трудности связаны с обучением бойцов и нехваткой оружия. В некоторых ротах, где я успел побывать, бойцы вынуждены довольствоваться берданками и вилами. Не хватает пулеметов и артиллерии. На всю армию приходится всего 10 пушек (6 легких и 4 тяжелых). Как видишь, не густо. Правда, подпольная большевистская организация чехов передала нам через Коржичка изъятые с центрального склада кавалерийского полка имени Яна Гуса 215 карабинов с патронами, но это капля в море.

Учитывая знание языков, Ширямов поручил мне штаб интернационалистов. Но приходится заниматься и массой других дел: вести переговоры с белочехами, которые пока довольно добросовестно соблюдают нейтралитет, доставать фураж, писать листовки, подбирать военных инструкторов и конечно же выступать на митингах (интересно, во время предстоящей гражданской войны в Англии или во Франции так же будут митинговать, как в России, или это только специфика русской революции?).

Несмотря на то что стала напоминать о себе рана в ноге (побег из омской тюрьмы сопровождался всеми романтическими атрибутами, в том числе и стрельбой), чувствую себя удовлетворительно, а главное — все успеваю, что больше всего удивляет меня самого.

Помнится, ты как-то шутил, что пребывание в эмиграции в Америке если и не вытравливает из русского Обломова, то, по крайней мере, учит его это скрывать. Судя по мне, ты прав. Кстати об Америке... Здесь находился «Монах». После отстранения Политцентра он отбыл во Владивосток. Еще более циничен, чем раньше, озлоблен против большевиков и соответственно против русского народа, который его не понял, а главное — не оценил. Фиглярничает, но в душе пустота. Бывший революционер, а это одна из худших разновидностей белогвардейщины. Такое ощущение, что разлагается заживо. В штабе интернационалистов встретил еще одного «американца», на этот раз большевика. Латыш, эмигрировал года на два раньше меня. Как выяснилось, хорошо знал Нейбута, работал с ним в «Циняс-Биедрисе», в союзе «Индустриальные рабочие мира». Узнав, что я тоже «американец» и находился в омском подполье, расспрашивал о восстании[24] и судьбе Нейбута, следы которого потерял в начале 1918-го. Рассказал ему об аресте Арнольда, о его речи на суде. А на следующий день я узнал, что латыши решили присвоить своему батальону имя Нейбута... Так что Арнольд будет сражаться в рядах революции и после своей смерти...

Что касается Колчака, то могу тебе сообщить следующее. После передачи власти большевикам ревком решил, что целесообразней всего, чтобы допросы продолжала комиссия прежнего состава. Председатель следственной комиссии Политцентра Попов теперь заместитель председателя Иркутской губчека, председателем которой назначен известный тебе Самуил Чудновский. Допросы ведутся в той же последовательности: от Колчака как личности — к колчаковщине как явлению. Думаю, такая схема правильна: суд получит обширный и достаточно разносторонний следственный материал. Местные товарищи интересуются, где предполагается проводить судебный процесс — в Омске, Новониколаевске, Москве или Петрограде? Какова точка зрения по этому вопросу в ЦК и Совнаркоме республики? Если будешь в штабе 30-й дивизии у Лапина, сообщи: золотой поезд находится под надежной охраной дружины железнодорожных рабочих. Сразу после прибытия его загнали в тупик, окружили колючей проволокой и разобрали железнодорожную стрелку. Все подшипники из колес вынуты. Даже в случае падения Иркутска (а это не произойдет) золотой запас респуб-

лики будет вывезен специальо выделенным для этого отрядом.

Несмотря на большую загруженность делами по обороне, был вместе с Ширямовым на допросах Колчака и Пепеляева. Пепеляев, которого в окружении Колчака считали сильной личностью и преемником «верховного», ведет себя как последний трус. Принципы, антибольшевистские концепции — все растворилось в животном страхе смерти. Довольно наивно пытается выдать себя за идейного противника адмирала, за либерала, демократа и чуть ли не тайного большевика. Когда вспоминаешь это бабье, мокрое от пота лицо, невольно испытываешь чувство гадливости.

Колчак пытается держаться, как любили говорить у нас в Морском корпусе, «в рамках респектабельности». Правда, моря в Иркутске нет и саблю бросать некуда [25], но по уставу отбывающему с корабля адмиралу вызывают наверх караул и оркестр. И «верховный» стремится покинуть несуществующую палубу так, как положено по не существующему уже уставу...

Но оценить это может лишь бывший мичман Стрижак-Васильев. Члены комиссии о российском флоте, а тем более о его традициях имеют смутное представление.

И все же, несмотря на старания соблюсти декорум, адмирал теперь не столько похож на офицера, который в свое время наставлял меня на путь истины, говоря о единстве русского народа и исторической миссии дворянства, сколько на обычного преступника, пытающегося хоть чем-то оправдать себя. Еще меньше он похож на вождя белого движения.

Я написал «вождь белого движения». Но понятие «вождь» к Колчаку применимо лишь с большой натяжкой, а сам термин «белое движение» весьма неопределенен и не отражает сути русской контрреволюции, явления, не только дурно пахнущего, но и достаточно разностороннего. Как ни странно, но наиболее меткую характеристику и «белого движения», и Колчака мне довелось услышать в иркутской контрразведке от некоего полковника Гриничева (между прочим, пытался выяснить его судьбу, но неудачно; он уехал из города до переворота). Знакомство наше, как нетрудно догадаться, состоялось не по моей инициативе, а в результате глупого провала, впрочем, умных провалов, видимо, не бывает.

Гриничев располагал исчерпывающими сведениями о моем участии в подпольной работе и декабрьском восстании. Моя молчаливость не могла оказать никакого влияния на ход дела и не задевала его профессионального самолюбия. Поэтому он сразу же поставил точки над «i».

— Чтобы вы превратно не истолковали мое бескорыстное стремление к общению, попрошу вас прежде всего ознакомиться с этими документами,— предложил он и положил передо мной досье.

Я ознакомился.

— А теперь, когда вы убедились, что мне как офицеру контрразведки ничего от вас не нужно, давайте побеседуем. Учтите, что я интеллигент, а в прошлом в некотором отношении революционер... Так что у нас найдется немало интересных тем.— И тут же спросил: — Если не ошибаюсь, флирт с революцией у вас начался в 1905-м? Хотя нет...— Он заглянул в досье.— В 1903-м, сразу же после производства в мичманы. Вы же еще в Порт-Артуре пытались просвещать солдат и матросов.— И, играя нагловатыми глазами, сказал: — А я стал поклонником этой своенравной дамы на год раньше вас, студентом. Правда, располагая умеренным достатком, я не имел возможности дарить ей такие дорогие подарки, как, допустим, Савва Морозов, но в остальном я старался быть не хуже других: демонстрации, протесты, чтение эсдековской литературы, призывы к «младшему брату», чтобы он наконец «проснулся, исполненный сил»,— все было...

— Но, видимо, недолго?

— Недолго. Как видите, счастливый брак между мной и революцией все же не состоялся: в последнюю минуту я сбежал из-под венца... И произошло это после 1905 года, когда прекрасная дама дала наконец возможность заглянуть себе под вуаль, а заодно продемонстрировала мне «проснувшуюся» физиономию «моего младшего брата»...

— Испугались? — поинтересовался я.

— Да как вам сказать? Слегка испугался, слегка призадумался... Я ведь эстет, а согласитесь, что лик «проснувшегося» совсем не походил на тот, о котором нам нашептывала прекрасная незнакомка. И еще один немаловажный момент. «Меньшой брат» слишком быстро научился стрелять, но никак не мог освоить технику прицеливания... А к чему подоб-

ное несоответствие ведет, вам, офицеру, объяснять не надо...

— И тогда вы начали стрелять в своего «младшего брата»?

— Не угадали. Я никогда в него не стрелял, я только отстреливался... Меня к этому вынудили. Я вам скажу больше, я продолжал опекать своего «младшего брата». И даже сейчас я ратую за то, чтобы он был сыт, обут, образован и в меру пьян. Я искренне готов во всех этих направлениях продолжать свою благотворительную деятельность. При этом на будущее я ставлю только одно условие: между мной и моим «младшим братом», на тот случай, если он вновь «проснется, исполненный сил», должен находиться полицейский участок. Вот мое кредо.

— Довольно тривиальное.

— Но, по крайней мере, логичное,— сказал он.— А вот в вашем кредо я логики не вижу. Если вы мне поможете разглядеть, буду благодарен...

Так началось наше знакомство, которое продолжалось до тех пор, пока меня не истребовала омская контрразведка. Гриничев жаждал общения. Меня к нему обычно привозили из тюрьмы под вечер, а увозили глубокой ночью. Все это время мы «обменивались мыслями». И должен сказать, что беседы с ним дали мне не меньше, чем посещение в 1903 году кружка, которым ты руководил...

Гриничев относился к разряду тех обывателей, которые, столкнувшись с событиями 1905—1906 годов, к 1917 году уже достаточно четко и бескомпромиссно определили свои классовые позиции и социалистическую революцию — или, пользуясь их терминологией, «послеоктябрьскую пугачевщину» — встретили во всеоружии. Таких мне приходилось встречать и раньше. Гриничев от них отличался умом, не прикрытым никакими лозунгами, цинизмом, напоминающим, кстати, цинизм «Монаха», и до сих пор непонятным мне стремлением понять через призму своих представлений о человеке («рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше»), почему значительная часть русской интеллигенции оказалась в рядах революции.

— Рабочие борются за фабрики и заводы,— говорил он.— Это логично. Крестьяне — за землю. Тоже логично. А вот за что сражается интеллигенция? За право быть перевешанной после революции мозолистыми руками своего «меньшого брата»?

Ответы мои его не удовлетворяли. Он считал их слишком романтическими для того, чтобы объяснить это странное, по его мнению, явление.

— Совесть, справедливость, всемирное братство — это для гимназистов,— говорил он.— Идет борьба за существование. А кто сражается против нас? Те, кто связан с нами кровными узами: генерал и сын генерала Брусилов, офицер Тухачевский. Где тут логика классовой борьбы, которую проповедует тот же Ульянов?

И однажды, когда разговор в очередной раз зашел в тупик, Гриничев сказал:

— Ну ладно, оставим высокие материи. Допустим, что русский человек по натуре бунтарь, даже во вред себе. Тут нет и не может быть логики. Будем исходить из того, что в нарушение законов, установленных Дарвином, русскому интеллигенту, единственному среди всех тварей, населяющих землю, не свойственно чувство самосохранения и поэтому он обречен эволюцией на вымирание. Туда ему и дорога. Пусть его кости вместе с костями мамонта через триста или пятьсот лет изучают археологи. Не жалко. Но, по крайней мере, объясните мне другое. Если уж интеллигенция помогает рыть нам и себе могилу рядом с «меньшим братом», то она, видимо, должна делать это разумно: рационально расходовать силы, использовать в полную меру свой опыт, знания... Согласны? — Я кивнул головой.— Тогда объясните мне смысл омского восстания,— сказал Гриничев.— Насколько мне известно, в Омский большевистский комитет входили такие фигуры, как Нейбут, который поддерживал связь со Свердловым — учтите, я вас не спрашиваю, а перечисляю установленные факты,— бывший студент петербургского университета Александр Масленников, Михаил Рабинович и другие. Им нельзя отказать ни в уме, ни в опыте, и тем более непонятно их решение о восстании. Я внимательно изучал ваши планы. Вы хотели захватить ставку, «совет министров», штаб Степного корпуса, артсклады, телеграф и радиостанцию, а затем провести мобилизацию рабочих и начать наступление в сторону Новониколаевска. Ну, вам не повезло. Восстание было задавлено в зародыше. Всего предусмотреть нельзя — это понятно. Но предположим, что вам удалось осуществить задуманное. Используя внезапность, вы захватываете Омск и направляете отряды на восток... А дальше? Рассчитывали на помощь Красной Армии, кото-

рая увязла в районе Уфы и собиралась сдавать Пермь?

— Нет.

— На всесибирское восстание «младшего брата»?

— Нет. Условия для такого восстания тогда еще не созрели.

— Значит, вы понимали, что разгром неминуем, что он, в лучшем случае, произойдет через пять — десять дней?

— Разумеется.

— Тогда зачем вы шли на восстание, которое заранее было обречено?

На этот вопрос, как тебе известно, ответил еще в ноябре 1918-го Саша Масленников. Выступая тогда на заседании комитета, он, отвечая на возражения товарищей, предлагавших отложить вооруженное выступление, говорил: «Пролетарской революции угрожает величайшая опасность, и она нуждается в нашей помощи сейчас, а не потом. Наша задача — помочь Советской России в самый трудный для нее момент. И если даже мы продержимся в Омске только три дня, то и в этом случае восстание будет оправдано».

Приблизительно так я и объяснил Гриничеву наше решение, добавив, что по законам его излюбленной логики, когда человеку угрожает смерть, он для спасения головы может пожертвовать рукой.

— То есть вы хотите сказать, что сознательно шли на самоуничтожение для того, чтобы помочь всероссийскому большевизму?

— Если вам угодно, можно сформулировать и так. Хотя это не совсем точно.

Насколько я понял, Гриничева такая концепция поразила: она никак не укладывалась в рамки его представлений о человеческой природе и пружинах, которые руководят людскими поступками. И через день, когда меня должны были этапировать в Омск, он, вернувшись к этому разговору, сказал:

— Знаете, Стрижак-Васильев, в психологии обольшевиченной интеллигенции вы мне разобраться не помогли. Для меня это по-прежнему загадка. Но зато вы мне помогли в другом...

— В чем же?

— Я, кажется, понял, чего не хватает нам... Нам нужны объединяющая идея и ваш фанатизм. Только такой клей может склеить все группы и группочки в

единое... А до тех пор, пока это не произойдет, все белое движение — фикция, что-то вроде патрона без капсюля... Наша беда в том, что каждый сражается только за себя и за свое... Волков — за монархию, Пепеляев — за Учредительное собрание, которое после победы над большевизмом повесит всех монархистов, в том числе и Волкова, Красильников борется за казачьи вольности, князь Голицын — за дворянство, а я — за благотворительность под охраной полицейского пристава...

— А за что сражается Колчак?

— «Верховный»? — усмехнулся Гриничев.— Офицер английской службы Колчак сражается за право чувствовать себя исторической личностью и героем... К сожалению, этого слишком мало даже для того, чтобы быть вождем несуществующего движения.

Этот разговор невольно мне вспомнился на допросе Колчака. Кажется, Гриничев не ошибся. Когда «верховный правитель» рассказывал о своем участии в империалистической войне, создавалось впечатление, что она для него являлась лишь зеркалом, в котором он имел возможность любоваться поступками и жестами своего излюбленного героя — адмирала Колчака. Революция лишила его такой возможности, и этого он не может ей простить до сих пор...

Но время позднее, пора спать, день завтра предстоит тяжелый.

Привет тебе от иркутских товарищей, тебя здесь помнят. Написал, как всегда, много и неумело, а суть умещается в нескольких словах: Иркутск будет стоять до конца.

Жму твою руку.

Алексей.

P. S.

Чехи рассказывали о выступлении Черчилля, который якобы заявил, что «этот год Деникин и Колчак сдерживали большевиков. Если теперь Южная и Сибирская армии будут уничтожены, большевики проникнут не только в Индию, но и взбудоражат всю Азию, а потому следует признать, что не мы руководили битвами Колчака или Деникина, а они сражались за нас». Более цинично и откровенно не скажешь. Думаю, что целесообразно использовать это высказывание в листовках Пятой армии, предназначенных для колчаковских солдат: пусть знают, за что лилась русская кровь.

А здорово они нас боятся! Кстати, Каландаришвили уже готовится «будоражить Азию»... Сегодня он выступал на митинге. Говорил о предстоящих боях с каппелевцами, об «умирающей под железной пятой пролетариата буржуазии, которая при последнем издыхании хочет заразить нас своим трупным ядом», о «мировой коммуне и III красном Интернационале»... После митинга, когда он подошел ко мне, я похвалил его речь. «Это нэ я говорыл, это рэволюция говорыла.— И спросил: — Скажи мнэ, говорат, ындусский язык похож на грузынский... Вэрно?» Я сказал, что нет, но это, кажется, его не разочаровало. «Нычево, язык революции вэздэ понимают,— утешил он сам себя.— Когда я говору о рэволюции, меня каждый партызан понымает...» Колоритная фигура, яркая. Говорят, если борьба, то герои с двух сторон. Чушь. Таких, как Нейбут, Саша Масленников, Каландаришвили, я у Колчака не встречал... Таких может создать только революция.

Еще раз всего тебе доброго.

Алексей».

ГОЛОСА С АРХИВНЫХ ПОЛОК

Бывший царский адмирал А. В. Колчак:

«Керенский, как и всегда, как-то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти два-три месяца всем надоело... Я доказывал ему, что военная дисциплина есть только одна, что волей-неволей к ней придется вернуться и ему; что так называемой революционной дисциплины не существует, и та партийная дисциплина, которую он проводит, это — дело совершенно другое.. это есть дисциплина, которая создается не каким-нибудь регламентом, а воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств известных по отношению к родине, и эта дисциплина может быть у меня, может быть у него, может быть у отдельных лиц,— но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя».

(Протокол допроса Колчака
от 26 января 1920 года)

Бывший царский генерал А. А. Брусилов:

«Однажды мне келейно был задан вопрос: буду ли я поддерживать Керенского, в случае если он найдет необходимым возглавить революцию своей диктатурой? Я решительно ответил: «Нет, ни в коем случае, ибо считаю в принципе, что диктатура возможна лишь тогда, когда подавляющее большинство ее желает». А я знал, что, кроме кучки буржуазии, ее в то время никто не хотел... Тогда мне был предложен вопрос: не соглашусь ли я сам взять на себя роль диктатора? На это я также ответил решительным отказом, мотивируя это простой логикой: кто же станет строить дамбу во время разлива реки — ведь ее снесут неминуемо прибывающие революционные волны».

(А. А. Брусилов. Мои воспоминания)

Бывший царский адмирал А. В. Колчак:

«Всероссийское временное правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности: главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка...

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак.
18 ноября 1918 года».

ПЕРЕКРЕСТОК

В гражданской войне, начавшейся в 1918 году, участвовали только живые. Теперь живые вовлекли в нее и мертвых. Именами погибших в колчаковских застенках революционеров были названы роты и батальоны Иркутского ревкома, а во главе двигавшихся на восток колонн каппелевцев везли гробы, в которых продолжали свой поход руководители белой гвардии. Им предоставлялось право вместе с войсками вступить в Иркутск.

Право это было даровано генералам и полковникам. Умирая от ран, мороза или вшей, они могли быть уверены, что их трупы не будут удобрять землю Совдепии, а если будет на то божья воля, их доставят после разгрома Иркутска на территорию, занятую войсками атамана Семенова, и только здесь захоронят со всеми соответствующими чину и должности почестями.

Таков был приказ командующего. Каппель издал его во время своей болезни, когда врачи пришли к выводу о безнадежности его состояния. И все офицеры понимали, что, подписывая этот приказ, обреченный на смерть командующий думает о себе...

Походное кладбище насчитывало шесть гробов. В Нижнеудинске, где был арестован Колчак, к шести полковникам и генералам присоединился седьмой — Владимир Оскарович Каппель...

Гроб для командующего был сделан местным гробовщиком. Большой и добротный, он оказался несколько великоват для ссохшегося тела. Но все же генерал в парадном мундире, строгий и бледный, выглядел в нем эффектно. У Каппеля было сосредоточенное и задумчивое лицо. Казалось, что и после смерти его не оставляют мысли о походе, и он, если понадобится, готов вновь повести в бой офицерские роты.

При отпевании покойного в церкви, где только вчера красильниковцы закололи штыками красных пулеметчиков, присутствовал новый командующий — генерал Войцеховский. Затем Войцеховский произнес краткую речь и распорядился произвести ружейный салют.

Через час салют был повторен. Но на этот раз стреляли уже не в воздух... Это уничтожали арестованных членов Нижнеудинского ревкома, местных большевиков, пленных партизан и красногвардейцев — всего сто человек. Впрочем, первоначально было 97, но к ним для ровного счета прибавили еще троих, в том числе и гро-

бовщика, записавшегося в нижнеудинский красногвардейский отряд за несколько дней до захвата города белыми. Взяли его вместе с женой, но она, как выяснилось, была 101-й, поэтому ее отпустили, а мужа увели. Он был единственным, кого с учетом невольно оказанной услуги разрешили похоронить родственникам сразу же после казни...

Для исполнения приговора военно-полевого суда, как пышно именовалось указание о массовом расстреле, в распоряжение адъютанта Каппеля, поручика Дербентьева выделили 8-й Камский полк, наличный состав которого к тому времени состоял из 25 рядовых. Из-за малочисленности команды приговоренных расстреливали небольшими партиями, а уставшие и промерзшие до костей солдаты целились плохо. Поэтому после каждого залпа Дербентьев вместе с двумя унтер-офицерами добивал раненых. Это было утомительно, но поручик старался добросовестно исполнить свой долг перед Россией и покойным главнокомандующим. Однако солдаты стреляли плохо, из рук вон плохо! После первого залпа ему пришлось пристрелить легко раненного в ногу рыжебородого и круглолицего, а затем еще нескольких, среди которых была и женщина, длинная, худая, с глазами, подернутыми пленкой ненависти... Впрочем, поручик и видел и не видел тех, в кого стрелял. Для него они все были одинаковы, на одно лицо.

В книге Мережковского «Грядущий хам», которую некогда прочел хрупкий, похожий на миловидную барышню гимназист Дербентьев, имелась красочная иллюстрация — громадный, смахивающий на скифа мужик, пытающийся разрушить храм Василия Блаженного. И с 1918 года студент консерватории Дербентьев, освобожденный от воинской повинности в связи с плоскостопием, в рядах белоофицерского партизанского отряда непримиримо сражался с этим мужиком, превратившимся в победителя. Он, этот сиволапый мужик, мог принимать различные обличья — подростка-рабочего, интеллигента в традиционном пенсне, розовощекого пейзанина в красноармейской шинели. Но это была лишь оболочка, за которой Дербентьев видел — или стремился видеть — ненавистные ему черты.

Этот мужик преследовал по пятам, не давая передышки, группу генерала Каппеля. Он же, объединившись в беспощадные партизанские отряды, преграждал ей путь на восток, в Читу, к атаману Семенову. С ним

Дербентьеву предстояло встретиться у стен Иркутска, а пока он уничтожал его здесь, в Нижнеудинске, проклятом богом сибирском городке, ставшем роковым для Колчака и Каппеля...

— По предателям и врагам России... пли!

Залп. Минутная пауза. Стоны.

Плохо стреляют солдаты, из рук вон плохо!

И, проваливаясь в глубоком снегу, Дербентьев в сопровождении все тех же унтер-офицеров карабкается на бугор, откуда раздаются проклятия и стоны...

Несколько выстрелов через почти равные промежутки времени. Теперь с этими покончено...

Кто-то из стоявших в ожидании казни запел «Интернационал». Песню подхватило несколько голосов.

Дербентьев махнул рукой. На бугре аккуратно расставили новую партию приговоренных.

Сколько их там? Шестнадцать? Восемнадцать?

— По предателям и врагам России — пли!

...У поручика были ледяные глаза. Вбитые в белые обручи покрытых инеем ресниц, остекленевшие и застывшие, они казались мертвыми. И эти глаза видели только одно — прежнюю Россию, которую уже никто не мог ему вернуть...

— ...Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...

— По предателям и врагам России — пли!

— ...Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем...

Да, они, те, кого в эти минуты убивал бывший студент консерватории Дербентьев, стали всем, до основания разрушив его мир. С ними никто не смог справиться: ни покойный император, ни генерал Корнилов, ни адмирал Колчак, в которого Дербентьев некогда верил, как в бога. Но и бог и адмирал обманули Дербентьева...

«...Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку...»

Это обращение оказалось пустой бумажкой, которую всероссийский хам мог использовать по прямому назначению... Теперь она уже никого не интересует...

Но в последнем Дербентьев ошибался.

В далеком Иркутске, из которого навстречу каппелевцам двигались войска ревкома, следственная комиссия как раз занималась историей этого обращения. Как-никак, а оно знаменовало начало контрреволюционной диктатуры в Сибири.

На этом допросе, помимо членов комиссии, секретарей и солдата на плакате, присутствовал и Стрижак-Васильев. Колчак на этот раз был в подавленном настроении, как выражались корабельные гардемарины, «не при кортике». На вопросы адмирал отвечал вяло и неохотно: его путь к диктатуре не был выигрышной страницей в будущей биографии.

Дрязги с атаманами в Харбине, взаимное подсиживание, мелкая борьба самолюбий и унизительная зависимость от иностранцев — спасителей России. Американцы, французы, японцы и англичане платили деньги. И, как всякие покупатели, они хотели получить за свои деньги добротный, незалежавшийся товар. Этим товаром были казачьи сотни атамана Семенова, отряды Калмыкова, полки Колчака и сами вожди русской Ванден, которых рассматривали, испытывали на прочность, оценивали... Офицер английской службы, русский адмирал Колчак подсознательно понимал это и тогда, в Харбине, и теперь, на допросе в Иркутске. И это уязвляло его самолюбие: адмиралу претило чувствовать себя товаром.

Нет, это была не лучшая страница в биографии «верховного правителя»!

Отвечая на вопросы, он смотрел прямо перед собой, стараясь не замечать Стрижак-Васильева, а когда их взгляды сталкивались, поспешно отводил глаза в сторону.

Помнил он про их спор в госпитале?

Видимо, помнил...

В 1904 году старший лейтенант Колчак сражался с японцами, убеждая Стрижак-Васильева, что перед лицом внешнего врага русские должны забыть все свои разногласия. А в 1918 году адмирал Колчак уже сражался с русскими, убеждая самого себя, что для борьбы с революцией можно пойти и на союз с японцами...

Подобно поручику Дербентьеву, адмирал в 1918 году хотел лишь одного — растоптать во что бы то ни стало «русского хама», заставить его захлебнуться в собственной крови.

Против русских вместе с кем угодно — с теми же японцами, французами, американцами...

В этом было определенное несоответствие. Оно раздражало адмирала. Рассказывая о своей деятельности в Харбине, Колчак старательно обходил все, что имело прямое отношение к интервенции и союзникам.

Брестский мир. Генерал Хорват. Формирование антибольшевистских воинских частей. Атаманы Семенов и Калмыков. Накапливание сил для борьбы с революцией...

И, слушая монотонный голос арестанта «висельной камеры», Стрижак-Васильев вновь переживал события 1917 и 1918 годов.

Их было много, этих событий, может быть, даже слишком много...

И в туманный апрельский день 1917 года, стоя на палубе океанского парохода, который вез из Америки во Владивосток группу политических эмигрантов, Стрижак-Васильев не представлял себе, что его ждет на родине...

Лениво плескались волны. В салоне второго класса сухощавый русский, аккомпанируя себе на рояле, вполголоса пел:

Мы разрушим вконец
Твой роскошный дворец
И оставим лишь пепел от трона...

Ему тихо подпевали. Эта песня, популярная среди молодежи в далекие времена первой русской революции, напоминала о студентах, которые осенью 1905 года тренировались по ночам в стрельбе в подвалах Высшего технического училища на Немецкой улице, о мастерской по изготовлению бомб, заваленной коробками с динамитом, пироксилиновыми шашками, мотками бикфордова шнура, где на столе рядом с гранатами и бомбами-македонками стояли тарелки с бутербродами, стаканы чая и пепельницы с дымящимися папиросами. Эта подпольная мастерская военно-технического бюро размещалась в квартире курсистки Полозовой. Курсистку звали Ниной, и она была невестой Стрижак-Васильева, а в 1908-м стала женой помощника присяжного поверенного Бардина...

Узнал об этом Стрижак-Васильев в Мезени, где он отбывал ссылку, от прибывшего по этапу Парубца. «Собственно говоря, винить ее не в чем,— сказал Парубец.— Жить нашей жизнью может не каждый...» — «Конечно»,— ответил Стрижак-Васильев. И больше он никогда и ни с кем о Нине не говорил... Она исчезла из его жизни так же, как отец, товарищи по Морскому корпусу и многие другие...

И порфиру твою
Мы отнимем в бою
И разрежем ее на знамена...

Транспорты с оружием, конференция в актовом зале училища Фидлера, где принято было решение о вооруженном восстании в Москве, экспроприация оружия в оружейном магазине Биткова, организация «летучей типографии»... Эта «типография» состояла из десяти — пятнадцати наборщиков и нескольких десятков боевиков. Дружинники бесшумно занимали ту или иную типографию города, расставляли посты, а наборщики приступали к работе... Газету печатали и в типографии Сытина, и в типографии Кушнерева...

Бои на баррикадах Пресни. Ярославль. Петербург. Снова Москва. Арест. Одиночная камера в Бутырской тюрьме. Бесконечные допросы. Суд. Снова тюрьма. Затем ссылка. Возвращение в Москву. Опять явки, конспиративные квартиры, пароли...

А затем, после подавления забастовки рабочих завода Нобеля, когда начались аресты руководителей большевистской организации Выборгского района в Петербурге, эмиграция. Он не хотел тогда покидать Россию, но на этом настоял комитет. К тому времени вскрылись некоторые факты его участия в декабрьском вооруженном восстании, и в случае ареста ему угрожала смертная казнь.

— Скоро нам снова потребуются военные специалисты,— сказал ему на прощание председатель комитета.— Мы не можем рисковать своими боевиками.

И в 1917 году боевики потребовались. Речь шла о превращении буржуазно-демократической революции в социалистическую. Корабль вошел в бухту Золотой Рог. Здесь эмигрантов встречали рабочие. Знамена. Митинг на площади городского ипподрома. Выступление Володарского.

Итак, то, чему он посвятил годы жизни, из-за чего порвал со своей средой, начало свершаться...

Вначале он думал из Владивостока вместе с Володарским пробираться в Петроград, но Арнольд Нейбут сказал, что он здесь нужней. И Стрижак-Васильев после некоторых колебаний остался. Первое время он работал во Владивостокском Совете, председателем которого стал Нейбут. Затем весной 1918 года переехал в Иркутск, где обосновалась Центросибирь [26].

Здесь по заданию Сибирского военного комиссариата и Военно-революционного штаба Центросибири он формировал из бывших военнопленных отряды интернационалистов, которые направлялись на Даурский

фронт против действующих с территории Маньчжурии банд атамана Семенова.

Высадка японского десанта во Владивостоке и тревожная телеграмма Ленина: «Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно» [27].

Колчак, Хорват, Семенов, Калмыков, Орлов... Бунт чешского корпуса... Кулацкие и казачьи восстания... Фронт. Памятный бой у станции Мациевской, когда комиссар красногвардейского отряда Стрижак-Васильев трижды поднимал в атаку цепи бойцов, штурмующих «Тавын-Тологой»— пятиголовую сопку — ключ к станции Маньчжурия.

Походы, сражения... Потом сообщение о падении Иркутска, несколько позднее — Нижнеудинска. Эвакуация из Читы...

Теплушка с трехъярусными нарами. Горечь поражения и споры о мировой революции... Собственно, в ней никто не сомневался. Спорили о последовательности международных революционных взрывов. Начальник охраны эшелона, черноволосый красавец, балтийский матрос Федя Куваев, заброшенный в Читу ветром революции, составил там же в теплушке своеобразный график, который погиб потом вместе с ним в олекминской тайге... «Во-первых, революция пролетариев и матросов Германии (никак не позже августа). Во-вторых, в Австро-Венгрии и у турков. В-третьих, в Англии...» Франции Федя отводил весну 1919-го, Америке — осень, а то и зиму: «Заморская страна — отрезанный ломоть...»

Свой график Куваев отстаивал с пеной у рта, а когда не хватало аргументов, потряхивал для убедительности подвешенными к поясу гранатами...

Да, эвакуация из Читы была поражением, но поражением временным, которое не могло и не должно было заслонить ближайшее будущее — светлое и победоносное...

Затем конференция партийных, советских и военных работников Сибири и Забайкалья на станции Урульга...

«1) Борьбу с врагом организованным фронтом ликвидировать.

2) Признать, что форма дальнейшей революционной борьбы должна сообразоваться с создавшейся международной политической обстановкой...»

Мало кто из участников той конференции остался в живых...

Были убиты в олекминской тайге председатель Центросибири Яковлев и его друг, народный комиссар Советского управления Сибири, никогда не унывающий Федя Лыткин, которому шел тогда двадцать второй год. Погиб в тюрьме атамана Семенова председатель Сибирского Совета народных комиссаров Гаврилов. Был сожжен в паровозной топке командующий Забайкальским фронтом Сергей Лазо[28].

Незадолго до конференции, выступая на митинге рабочих станции Зилово, Лазо говорил: «Прежде всего — не падать духом, не поддаваться панике, не терять веру в победу, ни на минуту не забывать о борьбе, готовиться к ней, работать в подполье, вооружаться!»

Никто из участников той конференции не сомневался в конечной победе революции. Не сомневался в ней и Стрижак-Васильев. И все же тогда он не думал, что придет время, когда он по заданию Сиббюро арестует «верховного правителя», а затем будет присутствовать на его допросе...

Колчак, рассказывавший об обстановке в Харбине, внезапно замолк, обвел глазами сидящих за столом.

— Вы что-то хотели, адмирал?

— Если вас не затруднит, папиросу...

Один из членов комиссии протянул ему через стол папиросницу, Колчак достал папиросу, помедлил.

— Возьмите еще.

— Благодарю.

— Продолжайте, адмирал.

Колчак закурил, закашлялся, взглянул на Стрижак-Васильева.

— Итак, Харбин...

Временно победившая в Сибири, на Урале и в Поволжье контрреволюция начала свой путь с того, чем она теперь его заканчивала,— с расстрелов.

На влажной от большевистской крови земле с быстротой поганок появлялись бесчисленные «правительства». В захваченной белочехами Самаре обосновался эсеровский Комуч (Комитет членов Учредительного собрания), в Екатеринбурге — Уральское областное правительство, в Омске, куда после Урульги благополучно добрался Стрижак-Васильев,— Временное Сибирское, во Владивостоке — правительство автономной Сибири эсера Дербера, в Чите царствовал «сын трудового крестьян-

ства» атаман Семенов, в Хабаровске — Калмыков, в Благовещенске — атаман Кузнецов...

Каждое из этих «правительств», опиравшихся на японские, чешские или американские штыки, имело свое знамя, армию (в армии Дербера было 137 рядовых и 105 офицеров) и страстное желание добиться безоговорочной поддержки союзников. Однако зарубежные покупатели пока еще только прицениваліись... Юные французские лейтенанты в роскошных кепи и затянутые в хаки английские капитаны покровительственно похлопывали по плечу «суверенных правителей», «председателей советов министров», «главнокомандующих», угощали их коньяком и сигарами, иногда снабжали оружием... Но и только.

Союзников не устраивали маломощные игрушечные «правительства». Им нужна была единая контрреволюционная власть, достаточно сильная, чтобы раздавить большевизм. Они не хотели зря тратить денег и отстаивать перед оппозицией у себя в стране карликовых правителей, которые одной рукой подписывали широковещательные декларации, а другой складывали чемоданы.

После многочисленных совещаний, закулисных переговоров, угроз и неприкрытого давления первый шаг к созданию единой власти был наконец сделан. Скрепя сердце омское Временное Сибирское правительство протянуло руку дружбы эсеровскому Комучу.

Английский генерал Нокс в своем заявлении генералу Болдыреву писал: «Я сделаю все, что в моей власти, чтобы оказать помощь русскому правительству в деле формирования русской армии на следующих ясных и понятных условиях:

1. Новая русская армия должна быть без комитетов и комиссаров. Ни офицеры, ни солдаты не должны вмешиваться в политику.

. . . .

6. Большое разочарование для союзников, которые стараются помочь России восстановить силу, что русские вожди так долго не могут сговориться относительно состава Временного правительства.

Мы имеем право требовать, чтобы все личные и партийные интересы были устранены и сильное правительство сформировано, которое не препятствовало бы в создании армии для спасения России».

И вскоре на уфимском совещании было провозглашено «Всероссийское Временное правительство» — пре-

емник почившего в бозе правительства Керенского. Оно состояло из Директории, возглавляемой бывшим председателем исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов Авксентьевым, и «совета министров», председателем которого был член той же Директории Вологодский, руководивший до этого «Временным Сибирским правительством».

Местом пребывания Директории решено было избрать Омск.

Новое правительство располагало обширной территорией, внушительной армией и значительной частью золотого запаса России, захваченного чехами в Казани. Но преемники Александра Федоровича Керенского, по мнению сибирских белых офицеров и союзников, слишком походили на него самого...

И когда поезд Директории торжественно прибыл в Омск, атаман Красильников, стоя подбоченясь на перроне в окружении своей свиты, сказал:

— Вот оно, воробьиное правительство,— дунешь и улетит.

Это высказывание обошло Омск. С улыбочкой рассказывали и другое. Когда председателя «совета министров» Вологодского пригласили на заседание Директории, он заявил, что присутствовать, к сожалению, не сможет, так как собирается в баню...

Нет, Директория не была тем правительством, на которое можно было бы положиться. И английский генерал Нокс не зря воздержался от визита к Авксентьеву...

Союзникам, как писала одна из американских газет, нужен был для России Кромвель. Жаждали его и офицеры, и крупная буржуазия. Торгово-промышленный съезд прямо провозгласил: «Необходима твердая единая власть. Такой властью может быть только единоличная военная диктатура».

И пока в Омске Директория и «совет министров» осыпали друг друга обвинениями, а офицеры-монархисты время от времени убивали эсеровских лидеров (эсеровские боевики, среди которых был и знакомец Стрижак-Васильева Сергей Малов, тоже старались не оставаться в долгу), шли лихорадочные розыски «сильной личности». Учитывая неопределенность обстановки, русские генералы не торопились сыграть заглавную роль в написанной союзниками исторической пьесе. Каждый из них опасался, как бы героическая трагедия не обернулась пошлым водевилем. Генерал Болдырев, которому

конфиденциально был задан роковой вопрос, отделался шуткой: «Если бы мне предложили на выбор большевиков, эсеров или военную диктатуру, я бы остановился на Оскаре Уайльде». Сделал непонимающее лицо и генерал Дитерихс. Он считал, что у диктатора должна быть более славянская фамилия [29].

И тогда впервые было упомянуто имя Александра Колчака... Морской офицер, известный в Англии и Америке, еще ничем не успевший себя скомпрометировать, властный, жестокий. Чем не кандидатура? Между тем адмиралу покуда не везло. Он никак не мог установить отношения привычной субординации с «сыном трудового крестьянства» атаманом Семеновым и «сыном трудового казачества» атаманом Калмыковым. Атаманы не признавали власти невесть откуда появившегося адмирала. На вопрос члена следственной комиссии о причине трений Колчак сказал:

— Я думаю, что они лежали в характере русских людей, совершенно утративших в это время всякое понятие о дисциплине. «Никому не желаю подчиняться, кроме самого себя».

Но дело, конечно, было не в этом. Адмирал являлся ставленником англичан, а атаманы — японцев. Помимо этого весьма существенного обстоятельства, которое накладывало отпечаток на все их взаимоотношения, атаманы не желали иметь над собой еще одного господина, который в то время не мог прокормить не только слуг, но и самого себя.

Особенно отношения обострились после того, как Колчак отверг предложение Семенова о милитаризации Китайско-Восточной железной дороги. («Я говорил, что милитаризация в моих глазах будет то же самое, что и социализация, то есть эта дорога перестанет работать»,— сказал Колчак, искоса взглянув поверх головы Попова на солдата, изображенного на плакате.) Дошло до того, что, подзуживаемые японцами, которые не хотели распространения английского влияния, семеновцы стали открыто угрожать адмиралу арестом. В ответ Колчак приказал верным ему частям, в случае если с ним что-либо произойдет, немедленно перестрелять всех обитателей стоявшего в тупике атаманского поезда. Даже сейчас, после того как он произвел читинского самодержца в генерал-лейтенанты и передал ему незадолго до ареста «всю полноту гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины», арестант «висельной

камеры» продолжал сводить счеты со строптивым атаманом.

Обычно крайне осторожный на допросах, когда речь заходила о неблаговидных делах его соратников, Колчак охотно и пространно давал показания о бесчинствах банд Семенова в Харбине, Забайкалье и в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, совершенно забывая в обличительном пылу, что то же самое, только в более крупных масштабах, происходило затем по всей территории, подчиненной власти «верховного правителя» адмирала Колчака. Когда в апреле 1919 года Стрижак-Васильева доставили в особняк к адмиралу, лицо арестованного представляло из себя сплошной кровоподтек. Адмирал поморщился.

— Вы ушиблись?

— Да, о вашу контрразведку.

Этот ответ Колчак тогда пропустил мимо ушей. А теперь он говорил о зверствах атаманов, пытаясь отделить себя от них. Самовольные аресты и расстрелы большевиков («Само понятие «большевик» было до такой степени неопределенным, что под него можно было подвести что угодно»), грабежи, налеты, убийства...

— Когда факты самочинных обысков, арестов и расстрелов устанавливались, принимались ли меры, чтобы привлечь виновных к суду и ответственности? — спросил член комиссии.

— Такие вещи никогда не давали основания для привлечения к ответственности,— объяснил Колчак,— было невозможно доискаться, кто и когда это сделал. Такие вещи никогда не делались открыто. Обычно происходило так: в вагон входило несколько вооруженных лиц, офицеров и солдат арестовывали и увозили. Затем арестованные лица исчезали, и установить, кто и когда это сделал, было невозможно.— Не дожидаясь очередного вопроса, Колчак сказал: — Что же касается того, что делал Калмыков, то это были уже совершенно фантастические истории. Я лично, например, знаю, что там проводились аресты, не имевшие совершенно политического характера, аресты чисто уголовного порядка... Калмыков как-то поймал вблизи Пограничной шведского или датского подданного, представителя Красного Креста, которого он признал за какого-то большевистского агента. Он повесил его, отобрав у него все деньги, большую сумму в несколько сот тысяч. Требование Хорвата прислать арестованного в Харбин, меры,

принятые консулом, ничему не помогли... Такие явления на линии железной дороги существовали, и бороться с ними было почти невозможно...

Отношения с японцами у Колчака все более обострялись. Глава японской военной миссии в Харбине, истинный хозяин Семенова и Калмыкова, генерал Накашима после нескольких попыток прибрать к рукам русско-английского адмирала принял меры к его изоляции. Колчак решил посетить Токио и устранить на месте все, что мешает взаимопониманию. Но было уже поздно... «Знаете, вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение относительно Японии, и они поняли это,— сказал ему русский посланник в Токио Крупненский.— Вы позволяете себе разговаривать слишком независимо и императивным тоном, это было с вашей стороны ошибкой. Вы должны были это смягчить».

После продолжительной и любезной беседы в Токио с начальником генерального штаба Японии генералом Ихарой (десять раз улыбался Ихара, и почти столько же адмирал) Колчак понял, что на Дальнем Востоке, где прочнее всех обосновались японцы, ему больше делать нечего: офицер английской службы японцев не устраивал. Что же дальше? Жена и сын Колчака оставались в Севастополе. Возникла мысль о юге России, где обосновались Алексеев и Корнилов. Может быть, его звезде суждено взойти именно там?

Адмирал отправляется во Владивосток.

— Владивосток произвел на меня впечатление чрезвычайно тяжелое — я не мог забыть, что я там бывал во время империи. Тогда мы были хозяевами. Это был наш порт, наш город. Теперь же там распоряжался кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко унизительно, глубоко печально. Я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим русским городом.

Алексеевский. Каково было ваше принципиальное отношение к интервенции раньше, чем вы ее увидели во Владивостоке?

Колчак (неохотно). В принципе я был против нее. (Пауза.) Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, закончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. В Японии я убедился в этом. (Пауза.) Затем я не мог относиться сочувственно к этой интервенции ввиду позорного отношения

к нашим войскам и унизительного положения всех русских людей и властей, которые там были. (Пауза.) Меня это оскорбляло. (Длинная пауза.) Я не мог относиться к этому доброжелательно.

Но продавец, если не хочет остаться в убытке, должен быть любезен с покупателями, предельно любезен... Неудачи в Харбине многому научили адмирала. Без поддержки японцев, французов, американцев и чехов провал неминуем. На одних англичан ориентироваться нельзя...

Колчак рассматривал иностранцев как средство очистить Россию от большевиков. А союзники, в свою очередь, отводили честолюбивому адмиралу скромную роль белой пешки в разыгрываемой ими партии. Пешке предстояло превратиться в ферзя. Но и после этого чудесного превращения ее по-прежнему должны были передвигать те же руки...

На следующий день после приезда во Владивосток Колчак наносит визит временно обосновавшемуся в городе чешскому генералу Гайде, еще одной пешке в предстоящей партии...

«Брат-генерал», длинноголовый и длинноносый блондин с золотыми зубами («Уж не из русского ли золота?»), встречает его доброжелательно и с некоторой долей почтительности. Это объясняется теми сведениями, которые он успел получить за время пребывания во Владивостоке. Кто знает, может быть, красавцу адмиралу придется в недалеком будущем возглавить русскую Вандею? А если это случится, то почему бы ему, Гайде, не попытаться стать его правой рукой?

И снедаемый честолюбием двадцатисемилетний Гайда, еще недавно фармацевт-косметолог, а ныне «народный герой и освободитель Сибири», блестя зубами («Определенно из русского золота!»), обстоятельно докладывает Колчаку сложившуюся в Сибири ситуацию. Вся Сибирская магистраль очищена от большевиков. Над Омском развеваются два братских знамени: трехцветное России и красно-белое доблестных «войяков».

Развязный, с дурными манерами парвеню вызывает у адмирала то же чувство брезгливости, что и харбинские атаманы. Но когда тонущего вытаскивают на берег, он не присматривается, достаточно ли чисты руки у его спасителя. А контрреволюция тонет. И если богу угодно, чтобы в ее спасении, помимо порядочных людей, приняли участие и подобные типы, то он, видимо,

не будет возражать и против того, чтобы после победы над большевиками их отправили туда, откуда они появились.

— Как вы расцениваете возможности Директории, генерал?

Гайда разводит руками. Руки у него маленькие, женские, с холеной кожей. Они совершенно не соответствуют долговязой фигуре «народного героя».

— Скромно, весьма скромно...— говорит Гайда, и Колчак впервые замечает чешский акцент.— Но... это совершенно нежизненное образование при определенных условиях может стать жизненным...

— Что вы имеете в виду?

— Военную диктатуру.

— Чешский генерал во главе России? — усмехнулся Колчак.

— Нет, русский. И не обязательно генерал...

Чех явно намекал. Но осторожно, слишком осторожно...

Собственно, то, о чем говорил этот парвеню, не было для адмирала откровением. Впервые с ним о диктатуре говорил не кто иной, как начальник морского генерального штаба Англии генерал Холл, с которым Колчак встретился по пути в Америку в Лондоне в 1917 году.

«Что же делать, революция и война — вещи несовместимые,— сказал тогда Холл,— но я верю, что Россия переживет этот кризис. Вас может спасти только военная диктатура...»

Позднее этот вопрос обсуждался в русских посольствах в Японии и в Китае. Нечто похожее на мысли генерала высказывал ему и японский полковник Хизахиде, настоящий самурай, имевший почетную привилегию носить родовой герб у ворота кимоно.

Так же как и Колчак, Хизахиде считал, что революция в России — следствие ослабления государственного аппарата. «Государственный деятель должен быть военным по духу и направлению,— говорил он.— Что такое демократия? Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам. Известно, что решение двух людей всегда хуже одного, трех — хуже двух и так далее. Наконец, уже двадцать-тридцать человек не могут вынести никаких решений, кроме глупости».

Колчак улыбнулся и спросил:

— Сколько членов в Директории?

— Пятеро,— недоуменно ответил Гайда.

— Да, для борьбы с большевиками это, пожалуй, многовато...

В конце разговора Гайда спросил:

— Что бы вы предприняли, если бы вам предложили стать диктатором?

— Прежде всего подумал бы,— ответил Колчак.

Но адмирал лгал: свое решение он принял давно, в 1917 году, когда окончательно убедился, что Временное правительство ни на что не способно. А Директория, судя по всему, если и не сейчас, то несколько позже будет теми воротами, через которые большевики вновь вернутся в Сибирь. Пока это не произошло, Директорию должна заменить твердая, бескомпромиссная власть. И его обязанность — сделать все, чтобы это произошло как можно скорей. Адмирал Колчак — спаситель монархии, дворянства и порядка. Адмирал Колчак — во главе России. От одной мысли кружилась голова и вырастали невидимые крылья. Мог ли он об этом когда-либо мечтать? Стопятидесятимиллионная Россия, повинующаяся мановению руки сурового, но благородного властителя... Однако Гайда был только посредником, а посреднику слишком много знать не полагается. Кроме того, адмирал совсем не хотел афишировать свою заинтересованность. Пришло наконец его время, но его должны упросить взять власть...

После беседы с Гайдой Колчак встречается с приехавшим во Владивосток председателем «совета министров» «Всероссийского Временного правительства» Вологодским, с генералом Ноксом и полковником Уордом, а затем покидает оккупированный союзниками город. Но путь его лежит уже не в Севастополь, а в Омск, где ему должны предложить пост военного и морского министра.

— Это, как говорят русские, для почина,— объясняет недурно освоивший русский язык генерал Нокс, весьма довольный своим приобретением (для Англии, конечно, адмирал оказался бы несколько мелковат, но в России сойдет. Судя по Корнилову, русские не избалованы...).

Поездка занимает 17 дней, но скучать ему не приходится: генерал Нокс — ненавязчивый спутник и очаровательный собеседник. Это настоящий англичанин: он привык везде чувствовать себя как дома, особенно в России...

Глава британской военной миссии — друг русского народа, а следовательно, сторонник военной диктатуры. Уже после провала корниловского заговора он доверительно говорил полковнику Робинсу: «Быть может, эта попытка была преждевременна, но я не заинтересован в правительстве Керенского. Оно слишком слабо; необходима военная диктатура, необходимы казаки. Этот народ нуждается в кнуте! Диктатура — это как раз то, что нужно». Теперь Нокс держал столь необходимый России кнут в своих руках и вез его в Омск...

Как Колчак смог убедиться, мысли генерала в главном совпадали с его... Впрочем, в пути они меньше всего говорили о политике. Джентльмены о политике не говорят, они политику делают.

В Омск адмирал прибыл в качестве частного лица. Об этом свидетельствовало все, в том числе и партикулярная одежда. Но посетившие его в вагоне представители Добровольческой армии Антона Ивановича Деникина — генералы Лебедев, Сахаров и Романовский — ничуть не скрывали, что рассматривают Колчака не только как одного из трехсот адмиралов несуществующего флота... И за завтраком картинно-красивый Романовский, подняв рюмку («После 17-го я избегаю всего красного, в том числе и вина»), многозначительно сказал: «За будущее России и Александра Васильевича Колчака, господа!»

Генералы молча выпили. «Кажется, в России говорят, что молчание — знак согласия»,— подумал Нокс.

Это было в Омске, осенью 1918 года. Тогда там столкнулись три силы: эсеровская Директория, выдвинутый англичанами с согласия других союзников адмирал Колчак и ушедшие в подполье большевики. Директория просуществовала несколько десятков дней, диктатура Колчака — год...

Тогда осенью 1918 года вновь скрестились пути двух русских офицеров, познакомившихся в Порт-Артуре. Один из них служил теперь пролетариату России, другой — своему честолюбию, белому движению и интервентам. Одному предстояла победа — другому поражение, арест и эта комната, где он держит ответ перед Россией...

К окнам комнаты, где шел допрос, подступили ранние, зимние сумерки, и лица сидящих за столом потеряли четкость очертаний, стали расплывчатыми,

плоскими и серыми. Электростанция, для которой не успели завезти топлива, не работала. Попов приказал секретарю распорядиться насчет керосиновых ламп. Лампы принес рабочий из боевой дружины. Бесшумно расставил их, вышел. Одна из ламп коптила. Колчак остановился на полуслове, аккуратно подкрутив фитиль, уменьшил пламя. На безымянном пальце «верховного правителя» тускло блеснуло золотое обручальное кольцо.

— Так будет лучше,— сказал Колчак. Ему никто не ответил.

Стрижак-Васильев, скрипнув стулом, вытянул занемевшие ноги. Рана напоминала о себе тупой, тягучей болью. «Русский патриот»,— иронически подумал он, наблюдая, как подследственный тщательно вытирает носовым платком запачканные в керосине пальцы.

Русский патриот...

В штабе Пятой армии Стрижак-Васильеву показывали обнаруженное в архивах личной канцелярии «верховного» письмо Колчака генералу Розанову, командовавшему в Енисейской губернии карательными войсками. «Покончить с енисейским восстанием,— писал Колчак,— не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их. В этом отношении существует пример японцев в Амурской области».

В документе самым характерным была ссылка на пример японцев. «Русский патриот» предлагал русскому генералу использовать опыт японцев по усмирению русских крестьян и рабочих в интересах России... Что и говорить, не самая удачная страница в биографии «первого гражданина возрождающейся России», стремившегося «освободить истерзанную страну от немецких агентов — большевиков»...

Допрос затянулся. Было уже девять вечера. Попов взглянул на часы и сказал:

— Пожалуй, на сегодня хватит.

Члены комиссии заскрипели стульями, зашаркали ногами. В дверь просунулась голова конвойного. Колчак встал, строгий, сухощавый, с характерным для всех заключенных бледно-желтым лицом — первый признак нехватки кислорода. В пальцах он по-прежнему вертел папиросу, видимо, так и не решив: выкурить ее сейчас или оставить на потом.

Пропуская секретаря, Стрижак-Васильев отошел в сторону и теперь стоял рядом с Колчаком. Адмирал поднял от папиросы глаза и едва заметно кивнул. Это можно было воспринять и как приветствие, и как случайное, непроизвольное движение.

— Оказывается, арестом я обязан вам...

— Прежде всего себе,— сказал Стрижак-Васильев.

— В некотором роде...

Стрижак-Васильев спросил, в какую камеру его поместили.

— В пятую,— ответил Колчак.

— В «висельную»?

— Да, кажется, так ее называют. Очень странное название...

— Ну, к вашему будущему оно отношения не имеет... Это история. Правда, не столь уж древняя...

— Надзиратель утверждает, что в одиночном корпусе она самая комфортабельная...

— Могу подтвердить.

— Вы ее видели?

— Я в ней сидел.

— Вон как?

— Перед отправкой в Омск. Меня ведь тогда задержали в Иркутске...

— Да, я помню... Мне об этом докладывали. Любопытное совпадение...

— Пожалуй.

Колчак продолжал вертеть в пальцах папиросу. От неосторожного движения папиросная бумага лопнула, и крошки табака посыпались на стол. Он с досадой смял мундштук, бросил бумажный комочек на пол.

— У вас нет папирос?

— К сожалению.

Стрижак-Васильев протянул ему пачку папирос «Атаман».

— Вам завтра передадут сорок пачек.

Колчак поблагодарил. Словно выполняя опостылевшую ему обязанность, равнодушно спросил о Пепеляеве и директоре своей личной канцелярии генерале Мартьянове, но тут же махнул рукой.

— Впрочем, это несущественно.

— А что же существенно?

— Сейчас? Наверно, только папиросы,— сказал он и в сопровождении конвойного вышел из комнаты.

18 ноября 1918 года

МНЕНИЯ...

Контрреволюционеров

Американский представитель Гаррис: «...я могу только приветствовать, что вы взяли в свои руки власть...»

Английский представитель, полковник Уорд: «...это единственная форма власти, которая должна быть...»

(Из бесед с Колчаком после переворота, протокол допроса Колчака от 4 февраля 1920 года)

Бывших либералов

«Свергнув демократическую коалиционную власть и вступив на путь реакции, правительство Колчака, хотело оно того или не хотело, в величайшей степени укрепило позиции большевиков в России, так как после такого переворота никто не посмеет возразить большевикам, что в лице правительства Колчака они борются не с контрреволюционерами».

(В. Зензинов. Из жизни революционера. Париж, 1919)

Революционеров

«Все крестьяне должны знать, что в случае ареста никакое сознание и раскаяние арестованного не облегчит его участи, он все равно будет убит... Тем более нельзя надеяться на пощаду победителя уже во время открытых военных действий. Красные партизаны — это красные батальоны смертников. Они должны сражаться с врагами народа до последнего патрона, до последнего вздоха. Они должны победить или умереть».

Из «Инструкции по организации деревенских комитетов, крестьянских штабов и отрядов», утвержденной 3-й Всесибирской подпольной конференцией большевиков

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

К вечеру резкий, стискивающий грудь и сжимающий ледяной пятерней горло мороз спал. Пошел снег, казалось, ему не будет конца. Снежная кисея окутывала редких прохожих, патрульные броневики с липкими от смазки стволами пулеметов, заборы, дома, деревья, уличные фонари. Пушистый снег ложился толстым слоем на бугристый лед Ангары, Ушаковки и Иркута, кружил вокруг дымящихся прорубей, подбрасываемый ветром, сыпался за ворот, набивался в валенки. Идти по обледеневшим, обснеженным тротуарам было тяжело и неловко: ноги то скользили, то проваливались в неравномерном по плотности снежном насте. Раненая нога, отекшая за время многочасового сидения на стуле, слушалась плохо. Боль, с утра сосредоточившаяся в стопе, столбиком ртути в градуснике медленно поднималась к колену, а затем, миновав его, останавливалась где-то в бедре. Но Стрижак-Васильев не жалел, что отказался от предложения Попова завезти его на машине домой (так именовалась комнатка, где он ночевал).

Он с детства любил снег. Не зиму, а именно кружащийся в вечернем воздухе снег, который по неизведанным законам человеческой психологии настраивал его всегда на «элегический», по его определению, лад. Времени же для «элегий» у него было до обидного мало...

Ему нужно было побыть немного наедине с вечером и снегом. Час, может быть, два, а еще лучше — три. Боль в ноге, которая усиливалась с каждым шагом, не только не отвлекала, но даже помогала сосредоточиться, объединить мелькающие, словно снежинки в свете фонаря, мысли вокруг некоего стержня. Этим стержнем была камера омской тюрьмы, в которой Стрижак-Васильев находился после вынесения приговора. Предстоящий расстрел и разговор с Колчаком...

1919 год. Месяц апрель. Это было в разгар наступления белых армий. Тогда уже пали Уфа, Бугульма, Ижевск, Бирск, Воткинск, а начальник контрразведки при ставке докладывал Колчаку об уничтожении большевистского подполья.

Сибирская контрреволюция праздновала победу. Еще бы! Месяц-другой, и Россия будет очищена от «красной заразы». Под колокольный звон в Москве обнимутся и по старому русскому обычаю облобызаются двое — Александр Васильевич Колчак и Антон Иванович Деникин...

Колчак тогда в этом не сомневался, как и в том, что осужденный военно-полевым судом бывший офицер Стрижак-Васильев будет расстрелян в Загородной роще. Загородная роща... Она была известна всему Омску как излюбленное место пикников и расстрелов. Впрочем, в 1919-м, как правило, расстреливали в тюрьме. Организовывать беспрерывные расстрелы в Загородной роще было хлопотно. Такие казни обременяли казну (расходы на бензин: приговоренных приходилось вывозить на машине), доставляли излишнее беспокойство начальству и возмущали обленившихся солдат комендантского взвода. Но, несмотря на резонные возражения тюремного начальства и Управления государственной охраны, чиновники из департамента милиции и министерства юстиции по-прежнему гнули свою линию. И время от времени в тюрьму поступало специальное предписание, требующее «неукоснительного соблюдения соответствующих параграфов временной инструкции об исполнении приговоров судов, как военных, так и гражданских». И начальник команды штабс-капитан Ишурин, страдавший радикулитом, хроническим насморком и ревматизмом, получая подобное предписание, ругал «тайных большевиков», пробравшихся в министерство, и грозился отставкой. Пожилой штабс-капитан, примерный семьянин с круглым брюшком и многочисленным потомством, не любил лишней работы, которая на всю ночь отрывала его от супружеской постели и семейного очага. Расстрел за городом... Кому он был нужен? Возрождающейся в Омске новой России? Ее первому гражданину, «верховному правителю» и «верховному главнокомандующему» Александру Колчаку? Приговоренным? Солдатам? Конечно, нет. И возрождающуюся Россию, и ее «первого гражданина», и приговоренных вполне бы устроило исполнение приговора без всякой помпы, по-домашнему, здесь, в тюрьме. И штабс-капитан клеймил происки вездесущих большевиков и закосневших в предрассудках бюрократов из министерства, которые, сидя в своих кабинетах, от нечего делать придумывают, как бы осложнить ему, штабс-капитану, и без того несладкую жизнь. То ли дело обычная казнь в подвале тюрьмы. Вместо шести — десяти солдат только Туесеков. Никаких машин, поездок и сквозняков (от одних воспоминаний ломило поясницу!). Заключенных по одному со связанными назад руками приводят в подвал. Здесь Туесеков с помощью надзирателей связывает пригово-

ренному ноги, чтобы не брыкался, затыкает кляпом рот (Ишурин не любил криков; они его нервировали) и аккуратно укладывает спеленатого лицом на чурбан (он необходим для того, чтобы не было рикошета). Если тот извивается, пытается скатиться с чурбана, надзиратели верхом садятся на него, а Туесеков своей мускулистой рукой прижимает его шею. Затем выстрел в затылок. С трупа снимают веревки (дефицит!), вытаскивают в коридор и накрывают брезентом. На каждого приговоренного — пять — десять минут. Вся операция проходит четко, слаженно, а главное, в тепле («Хоть в дерьме, а в тепле», — шутил Туесеков).

И вот, пожалуйста, очередное предписание министерства... Начальник тюрьмы считал, что оно имеет непосредственную связь со странным капризом «верховного правителя», к которому ночью возили одного из заключенных. Дескать, этот заключенный бывший офицер, дворянин и все такое и его поэтому должны расстрелять по всем правилам...

А почему, собственно, дворяне должны пользоваться какой-то привилегией? И в душе штабс-капитана поднимал свою лохматую, нечесаную голову нигилист, либерал и чуть ли не бунтарь.

Штабс-капитан Ишурин...

Когда он зашел в одиночку, у него было обиженное лицо избалованного ребенка, которого заставляют заниматься, по его глубокому убеждению, никчемным и вздорным делом — мыть с мылом руки, пользоваться за обедом ножом или надевать перед приходом гостей свежую рубашку... Да и пришел он, кажется, лишь для того, чтобы укорить Стрижак-Васильева, пробудить его дремлющую совесть, пожаловаться на свою беспокойную жизнь.

Снежная пелена, разорванная воспоминаниями, разошлась, и из нее выглянуло лицо палача омской тюрьмы штабс-капитана Ишурина — усталое, благообразное, со слезящимися глазами и длинным унылым носом, на конце которого застыла мутная капля.

— Вы хоть бы встали, заключенный... Меня не уважаете, так погоны мои уважьте... Эх, люди, люди, хуже зверья какого... Фамилия-то ваша Стрижак-Василевский?

— Стрижак-Васильев.

— Алексей Георгиевич?

— Да.

— Приговор-то вам объявляли?

— Объявляли.

— Вот и чудненько... Хотя ежели поразмыслить, то что тут чудненького? Ничего чудненького и нет... Небось жалеете теперь, что набедокурили,— ан поздно. А еще дворянин, извините... Нехорошо, ах как нехорошо! Ну, стыд не дым, глаза не ест. Это верно сказано...

Ишурин вытащил из кармана большой носовой платок, на котором был вышит, судя по всему, детской рукой, зайчик, грызущий морковку, высморкался в угол платка — так, чтобы не замочить зайчика, и, держась рукой за поясницу, осторожно сел на краешек койки.

— А расстреливать я вас буду, Алексей Георгиевич... Не собственноручно, а командовать в смысле. Ишурин моя фамилия.

— Счастлив познакомиться,— сказал Стрижак-Васильев.

— Да уж счастливы — не счастливы, а познакомились...— Ласково поглаживая ладонью поясницу, он посмотрел на Стрижак-Васильева слезящимися глазами.— А ведь я вас знаю, Алексей Георгиевич... Ей-богу, знаю! В прошлом году, в декабрьский бунт, ведь вы всех заключенных из тюрьмы-то повыпустили... Политических, понятно. Уголовные-то вам без интереса были... Ох, навели вы тогда на нас страху! И вот опять свиделись...

— Так это не вас ли я случайно оглушил, когда охрану разоружали? — полюбопытствовал Стрижак-Васильев.

— Меня, Алексей Георгиевич, меня...

— Вдвойне приятно встретиться.

— Только напрасно то было. Пошумели, пошумели, страху навели, а тюрьма-то снова полнехонька. И вы в ней...

— Ну, я лично, судя по вашему визиту, ненадолго...

— Вы-то? Ненадолго, Алексей Георгиевич...

— Сегодня?

— Как можно! Сегодня последний день пасхи. Вот завтра фомина неделя начнется. Завтра и повезу вас ночью в Загородную рощу... Вот оно как, Алексей Георгиевич! А у меня, между прочим, радикулит, Алексей Георгиевич, и сквозняки да тряска в машине мне ни к чему, а придется... А все по вашей милости, Алексей Георгиевич!

— Чем я вас тогда ударил? — с интересом спросил Стрижак-Васильев.— Кулаком, кажется?

— Кулаком...

Стрижак-Васильев протянул руку к табуретке.

— А если этим попробовать?

— Привинчена...

Стрижак-Васильев приподнял табуретку.

— У вас старые сведения...

Ишурин вскочил, отпрыгнул к двери, отстегнул клапан кобуры.

— Но-но, потише... А то ведь я могу и того, при попытке к бегству...

— Какое уж тут, к чертовой матери, бегство в камере,— сказал Стрижак-Васильев, опуская на пол табуретку.

Ишурин обиженно сопел. Не отходя от двери камеры, укоризненно сказал:

— Нет в вас человечности, Алексей Георгиевич. Все о себе да о себе. А о людях не думаете и о душе не думаете... А ведь скоро пред очи всевышнего предстанете, ответ держать будете за все свои злодеяния. И за меня держать ответ будете...

...Во время побега Стрижак-Васильева Ишурину повезло: предназначавшийся ему удар штыком попал в сидевшего рядом солдата. Ишурин успел увернуться. Но возмездия он все-таки не избежал. Его расстреляли в Омске по приговору трибунала. Расстреливали его в той же Загородной роще. Начальник особого отдела 27-й дивизии говорил, что, когда Ишурину зачитали приговор, он ругал красных антихристами, безбожниками и злодеями. Себя он, разумеется, к таковым не причислял. Он всегда верил в бога, человечность, медицину, незыблемые устои семьи и в «верховного правителя»...

В то же верил и сам «верховный». Впрочем, Колчак верил еще и в историю...

Повернувшись спиной к ветру, Стрижак-Васильев стряхнул рукавицей налипший на полушубок снег, поднял воротник. Мокрые завитки бараньего меха приятно щекотали шею. После нескольких неудачных попыток он зажег наконец спичку, пряча огонек в ковшике ладоней, закурил.

Кстати, надо будет не забыть передать в камеру папиросы...

Из белой мглы выглянуло и вновь потонуло в пляшущем снегу чеканное лицо адмирала...

Оно действительно подходило для чеканки и словно просилось на серебряный рубль или золотую десятку

Российской державы. Но звонкие монеты с изображением гардемарина Морского корпуса выпуска 1894 года так и не появились в обращении. И поэтому на них ни раньше, ни потом нельзя было приобрести ни хлеба, ни масла, ни славы... Они не стали достоянием подданных «всероссийского правительства» и нумизматических коллекций — тихой гавани исторических эпох, социальных катаклизмов, почивших в бозе императоров, правительств, заговоров, переворотов, честолюбий, надежд и разочарований.

Да иначе не могло быть. Инфляции непоявившихся денег предшествовала инфляция политических идеалов «верховного правителя», катастрофическое обесценивание его лозунгов, стремлений и концепций...

«Вам вынес приговор военный суд, а вашим руководителям его вынесет история».

Беседа между ними проходила наедине. Но эти заключительные слова были сказаны Колчаком в присутствии дежурного адъютанта и чиновника управления государственной охраны. Такие же чеканные, как его профиль, и такие же звонкие, как непоявившиеся монеты, они должны были облететь белое воинство, вдохновляя его на ратные подвиги. Способный морской офицер и бездарный правитель — они оба без меры любили театральные эффекты. Колчак всегда был позером. Что же касается истории...

Для «Монаха» история была дорогой кокоткой, с которой можно весело провести время, пофлиртовать, а затем, немножко поторговавшись (зачем переплачивать?), купить ее благосклонность — ненадолго, на ночь. Контрразведчик Гриничев воспринимал ее как пьяного мужика, который, побуянив и протрезвев в участке, чешет себе в затылке и вновь берется за деревянную соху.

Для Ишурина и история, и вся его жизнь представлялись длинной цепочкой унылых убийств. Убивать было обязанностью его и истории. А обязанность следует исполнять добросовестно, по возможности избегая радикулита, простуды и других неприятных вещей, осложняющих жизнь и доставляющих лишние хлопоты заботливой жене и многочисленным детишкам...

А Колчак?..

Стрижак-Васильев улыбнулся. Ему пришла в голову мысль, что в представлении адмирала история была чем-то вроде хорошо объезженной лошади... Нет, скорей, вымуштрованного солдата, который только и делает,

что тщательно выполняет команды коронованных и некоронованных повелителей. «Смирно! Равнение направо... Кругом! Шагом марш!..» И, повинуясь властному голосу адмирала, история России должна повернуться на 180 градусов и двинуться в противоположном направлении — от 1918 года к 1916-му, а еще лучше — к 1914-му...

Мышление капрала, которому император вручил воинский устав, а господь бог — палку.

Нет, историю можно было уподобить чему угодно, но только не солдату. Она никогда не подчинялась палочной дисциплине, была себе на уме и достаточно своенравна. Кроме того, в отличие от адмирала она обладала чувством юмора. И с ним она сыграла достаточно злую шутку...

Еще будучи гимназистом, Стрижак-Васильев в шестом классе увлекся историей Франции XVIII века. В книгах, которые он тогда читал, было много поучительного и неожиданного. Но самым поразительным казалось полное несоответствие — и не такое уж редкое — между стремлениями людей, их поступками и последствиями этих поступков.

Подобными парадоксами была богата и история других стран, в том числе и России. Впрочем, то, что он тогда называл парадоксами, были не парадоксы, а характерные закономерности — диалектика истории...

Если бы Колчаку кто-либо сказал, что, став у кормила власти, он тем самым приблизит торжество революции, адмирал бы рассмеялся: уж кто-кто, а он делал все, чтобы выкорчевать в Сибири, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке корни и корешки большевизма. Но в том-то и заключался юмор истории, что действия адмирала привели к совершенно неожиданным для него результатам...

Стрижак-Васильеву вспомнилась статья в одном из номеров газеты политотдела Пятой армии. В ней цитировалась речь Ленина перед слушателями Свердловского университета. «Все, что могло бы парализовать революцию, все пришло на помощь Колчаку,— говорил Ленин.— И все это рухнуло, потому что крестьяне, сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются влиянию коммунизма, потому что менее всего его наблюдают, получили такой урок от Колчака, такое *практическое* сравнение (а крестьяне любят сравнения практические), что мы можем сказать: Колчак дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых отдаленных от про-

мышленных центров районах, где нам трудно было бы их завоевать»[30].

Белый диктатор в роли вербовщика сторонников Советской власти... Как видите, господин адмирал, история умеет шутить. И, уничтожая политических противников, вы тем самым готовили себе место в «висельной камере» иркутской тюрьмы...

Такова диалектика истории.

Вы слышали про большевика Арнольда Нейбута? Это был мой друг, рабочий, человек воли и убежденности. В Омске, когда вы стали диктатором и, не подозревая об ожидающей вас камере, обосновались в роскошном особняке, он возглавлял подпольные большевистские комитеты Сибири. Кстати, он вместе с другими моими товарищами руководил и декабрьским восстанием, которое доставило вам столько неприятностей. Ведь тогда мы захватили тюрьму, помещения телеграфа, железнодорожной станции, разоружили чехословацкий отряд... Это восстание напомнило вам, что у вас нет тыла. И вы это учли. С того времени на фронте находилась лишь треть ваших войск, а остальные охраняли Омск и другие города, подавляли восстания, сражались с партизанами... Красная Армия, действующая в тылу, сковала две трети полков «всероссийского правительства» — и в этом была немалая заслуга Арнольда Нейбута. Сейчас Нейбута среди нас нет. Он погиб в феврале 1919 года. Его выдал провокатор. Арест, а затем расстрел. В докладе особого отдела департамента милиции, который вы изволили просматривать, указывалось: «Интеллигент-рабочий Петр, по кличке «Большой», по фамилии Байков,— член Коммунистической партии, дипломатический представитель от Советской власти на Дальнем Востоке». Контрразведка так и не узнала ни его настоящей фамилии, ни того, кем был «Петр Большой». Но теперь это уже не тайна...

Так вот, Арнольд Нейбут был не только блестящим организатором и мужественным человеком, но и образованным марксистом. Он хорошо понимал диалектику истории. Это помогало и ему и нам чувствовать будущее...

Стрижак-Васильев снова встретился с Нейбутом осенью 1918 года, на следующий день после своего приезда в Омск.

Встреча состоялась днем, в маленьком кафе, пристроившемся рядом с модным и шикарным синематографом «Лира»,

По замыслу владельца, новое кафе должно было привлечь коммерсантов, влюбленных и вообще всех тех, кто предпочитает разговор вдали от любопытных глаз. С этой целью в нем и были оборудованы интимные кабинеты, располагающие к откровенности и уюту. Пользовались ли они популярностью у влюбленных, Стрижак-Васильев так никогда и не узнал. Но омские большевики, особенно первое время, часто к ним прибегали. Кафе находилось в центре города, на Атаманской улице, поэтому не привлекало внимания ни департамента милиции, ни контрразведки...

Стрижак-Васильева по узкому коридору провели в «голубой кабинет», который имел два выхода (тоже немалое преимущество). Его там ждал Нейбут. На нем был элегантный, тщательно выглаженный костюм. Такой костюм мог принадлежать лишь человеку, которого при любом строе волнует только один вопрос — его внешность. Нейбута можно было принять за кого угодно, но не за революционера. «Петр», «Микус», «Большой Петр», которых безуспешно разыскивала полиция Риги, Баку, Тифлиса, Чикаго и Нью-Йорка, исчезли. Перед Васильевым стоял самоуверенный и лощеный прожигатель жизни.

Они не виделись почти год, но на лице Арнольда ничего нельзя было прочесть: ни радости, ни обычного человеческого интереса. И если бы в кабинете присутствовал посторонний, он бы не поверил, что их связывает не только совместная работа, но и многолетняя дружба.

И это объяснялось не сухостью Нейбута, а его умением сдерживать себя всегда и во всем, отделять незримым барьером личные отношения от партийных. Сейчас встречались не друзья, а подпольщики. Времени у них было мало, дел много... И естественно, что все время должно было быть посвящено только делам.

Стрижак-Васильев хорошо знал Нейбута. И все же он ждал привычных вопросов, которые всегда сопутствуют встрече друзей. Но Арнольд обошелся без них.

— Итак, на готовенькое? — сказал он.

Он действительно был убежден, что после августовской конференции [31] все вновь прибывшие «являются на готовенькое». Таким образом, «внеделовая» часть встречи исчерпалась тремя словами. После этого Нейбут перешел непосредственно к делу. Арнольд охарактеризовал положение в Омске и познакомил его с решениями конференции по тактике. Они сводились к трем основным пунктам:

«1) Задача рабочих Сибири — это вооруженная борьба за восстановление в Сибири Советской власти. 2) Эта борьба в своем процессе должна иметь три этапа своего развития. Первый этап — накопление и организация сил рабочего класса во главе с партией коммунистов, второй — организация широких масс для борьбы с реакцией и третий этап — вооруженная борьба для: 3) прорыва белогвардейского фронта, свержения белогвардейской власти в Сибири и восстановления связи с Советской Россией».

— Сейчас первый этап,— сказал Нейбут,— накопление и организация сил рабочего класса. Партийные ячейки в крупных городах уже восстановлены, они строятся по принципу замкнутых «десяток» и «пятерок». Все наши организации объявлены на военном положении. Главные практические вопросы: пропаганда, связь, оружие и информация. Вас (Нейбут даже с очень близкими людьми всегда был на «вы») предполагается использовать для разведки преимущественно политического характера. Это важнейший участок нелегальной работы. И мы, и Реввоенсовет Восточного фронта, и ЦК РКП(б) должны знать не только все, что происходит в стане сибирской контрреволюции, но и то, что может произойти там в ближайшее время...

Так военком Стрижак-Васильев вновь стал подпольщиком. И совершилось это в «голубом кабинете» кафе «Уют».

В том же кабинете через месяц он докладывал Нейбуту сведения, полученные им от денщика атамана Красильникова. Денщик Красильникова, молодой оренбургский казак, сочувствовавший большевикам, поддерживал со Стрижак-Васильевым постоянную связь вплоть до ареста и был одним из самых ценных информаторов подпольного центра. На этот раз он сообщил о любопытном разговоре, который состоялся на квартире Красильникова между атаманом, комендантом Омска Волковым и «Ванькой-Каином». Речь шла о свержении Директории и установлении военной диктатуры, причем в качестве диктатора назывался Колчак, только что назначенный военным министром. То, что Васильев узнал от денщика, косвенно подтверждалось также данными, поступившими из штаба Степного корпуса и французской военной миссии.

— Ваше мнение, переворот реален? — спросил Нейбут.

— Вполне. Чехи под нажимом французов займут нейтральную позицию, а в самом Омске Директория не располагает никакой реальной силой, если не считать нескольких сот эсеровских боевиков.

— Дата известна?

— Пока нет. Предположительно вторая половина ноября — первая декабря.

Нейбут помолчал, что-то обдумывая, а потом сказал:

— Если переворот произойдет, то это будет началом конца... Конца сибирской контрреволюции.

— ...Или началом полного истребления большевистского подполья,— возразил Стрижак-Васильев.

Нейбут упрямо покачал головой.

— Диктатура неизбежно сработает на большевиков.

А когда Стрижак-Васильев заговорил об усилении репрессий и подавлении всякой оппозиции, Нейбут сказал:

— Колчак набьет бочку порохом. Нам лишь останется поднести к ней зажженный фитиль. Крестьяне уже сейчас недовольны. А ведь это только начало... Что же касается репрессий, то казни — паллиатив. Они не помогли удержаться Николаю II, не помогут и Колчаку. Кто бы из нас ни оказался в тюрьме или в могиле, это не изменит хода событий. Решающий фактор истории — массы, а не единицы...

И сразу же после переворота, когда в приемной «верховного правителя» и «верховного главнокомандующего» томились в ожидании прибывшие с поздравлениями депутации золотопромышленников, маслоделов, зажиточных старожильческих крестьян и земцев, в маленьком домике Карклина, где в это время жил Нейбут, собрались руководители Омской партийной организации. Они обсуждали задачи большевиков в связи с переворотом. Нейбут, кажется, выступал вторым, после Масленникова. Он говорил о новых перспективах революционной борьбы в городе и деревне. Не все были согласны с его оценкой переворота. Некоторые, так же как и Стрижак-Васильев, считали, что репрессии, неизбежные при диктатуре, замедлят темп революционной борьбы. Но Нейбут всегда умел обосновывать свою точку зрения. И он оказался прав. Вскоре после совещания в домике Карклина поступили сведения о крестьянском восстании в Степном Баджее и Пировском, которое, перекинувшись в другие места, уже в декабре 1918 года охватило многие волости Канского уезда. Восстания крестьян в Алтайской губернии, мощная волна рабочих забастовок...

И в информационном докладе подпольного Сибирского партийного центра ЦК РКП(б) указывалось: «В настоящий момент весь рабочий класс Сибири вполне ясно понимает неизбежность и необходимость восстания пролетариата и беднейшего крестьянства за свержение буржуазной диктатуры... Земля от крестьян в Сибири отобрана... Начались взыскания царских недоимок за 1914—1918 годы... По деревням рыскают белогвардейские карательные отряды... Дороговизна растет. Эти факты также окончательно рассеяли иллюзии «относительно демократии» приспешников буржуазии среди сибирского крестьянства и резко толкают мелкую буржуазию Сибири к пролетариату, в сторону Советской власти...»

Отрицание отрицания... Призванный сплотить силы контрреволюции и задушить большевизм, Колчак помимо своей воли раздробил эти силы и, гася пламя революции, разжег пожар, в котором сгорели все замыслы реакции. Разве не символично, что в сентябре 1919 года, когда решался исход боев за Тобол, а следовательно, за Омск, в Красную Армию влилось 24 тысячи новых бойцов-крестьян, а Колчак в это же самое время вынужден был бросить 24 тысячи солдат на подавление у себя в тылу крестьянских восстаний?

Нет, не Колчак управлял историей, а история управляла Колчаком. Словно издеваясь над ним, она заставила его служить своим так и не познанным им законам. И то, что это произойдет именно так, а не иначе, первым понял Нейбут, который умел сочетать страстность революционера с объективностью исследователя. Нейбут всегда оказывался прав. Но все же ошибся как-то и он. Это произошло, когда Арнольд закончил свое письмо Свердлову фразой: «Поклон всем вам и до скорого свидания». Скорого свидания не получилось. И вообще они больше никогда не встретились... После неудавшегося самоубийства его поместили в тюремную больницу, вылечили, поставили на ноги и расстреляли... Эта весть облетела все камеры омской тюрьмы. Была объявлена голодовка. В ней участвовали не только большевики, но и члены других партий...

«Решающий фактор истории — массы, а не единицы». Правильно. И все же, потеряв такую «единицу», как Нейбут, революция потеряла многое. Он, Александр Масленников, Михаил Рабинович и другие большевики, погибшие в Омске в начале девятнадцатого года, были

теми черточками, из которых складывалось лицо революции — жесткое и одухотворенное, лицо человека, убежденного в своем праве и обязанности изменить мир, сделать его лучше, чище, прекрасней... Бывший либерал, испугавшийся собственного либерализма и ставший в результате испуга офицером контрразведки, Гриничев считал это фанатизмом. Но фанатизм слеп, он основывается только на вере. Большевики же знают, что их борьба — это долг перед народом и историей. Революция закономерна. Зиму сменяет весна. А весну не остановишь ни пулями, ни нагайками, ни тюрьмами.

«Вам вынес приговор военный суд, а вашим руководителям его вынесет история...»

Очередная ошибка, господин адмирал. Вы часто ошибались. То, что произошло, не случайность. Вы просто не хотите смотреть правде в глаза. Случайность — смерть Нейбута, мой побег, ваш арест, но не крушение контрреволюции. Оно было неизбежно, с самого начала, потому что старое никогда не возвращается, а народ, который осознал свою силу и свою правду, не сломишь. Подумайте над этим. Постарайтесь быть до конца честным хотя бы с собой. Вы можете лгать следственной комиссии, своей любовнице, но стоит ли скрывать истину от самого себя? Ведь это обычная трусость, господин адмирал...

Папироса давно погасла. Стрижак-Васильев бросил окурок в снег. Сдвинул на затылок ушанку, вытер рукавом полушубка мокрый и горячий от пота лоб. Не достаточно ли «элегий»? Все-таки утомительно всегда и везде тащить за собой воз воспоминаний, который с каждым годом становится тяжелей. Но без воспоминаний тоже нельзя. Воспоминания так же тренируют мышление, как гири мускулы. Они дают упругость, силу. Но во всем следует соблюдать меру. Во всем...

Ногу, словно долотом, упорно долбила боль. Попрежнему шел снег, густой, липкий. Сквозь снежную пелену угадывались очертания «белого дома». Изящные и невесомые тянулись к молочному сибирскому небу колонны коринфского ордера. Построенный в XVIII веке, «белый дом» был достопримечательностью Иркутска. Когда 16 лет назад по пути в Порт-Артур Стрижак-Васильев проезжал через Иркутск, его товарищ по выпуску, иркутянин мичман Гришин, знаток архитектуры и патриот города, битый час продержал его возле «белого дома». За это время Стрижак-Васильев успел не

только промерзнуть до костей, но и узнать всю историю «белого дома», а заодно и легенду о первой коринфской капители, которая была создана в Коринфе золотых дел мастером Каллимахом, творцом знаменитой золотой лампы, освещавшей святилище бессмертной Минервы.

Эллада, Древний Рим и заснеженная столица Восточной Сибири — Иркутск...

Впрочем, «белый дом» не столько напоминал о древней цивилизации, сколько о декабрьских событиях 1917 года. Тогда здесь помещались Центросибирь и Военно-революционный комитет. И все шесть колонн дома, подвергшиеся пулеметному обстрелу восставших офицеров и юнкеров, хранили памятные отметины декабрьских боев. Особенно пострадала тогда крайняя колонна слева: рядом с ней разорвалось несколько лимонок...

Золотых дел мастер Каллимах, создавая свое хрупкое детище, разумеется, не мог предугадать будущее. Он не знал, что ветер веков забросит когда-либо чеканные листья аканфа с теплых берегов Эгейского моря в холодную таежную Сибирь. Еще меньше ему могло прийти в голову, что прочность коринфской капители будет здесь испытываться дьявольским изобретением цивилизованного человечества — огнестрельным оружием...

Стрижак-Васильев обогнул «белый дом», прошел до конца улицы, где вытянулось потемневшее от времени двухэтажное деревянное строение. Остановился. На дощатой стене, справа от крыльца, отсвечивал под фонарем квадратный лист жести. На нем крупными буквами, напоминающими своими очертаниями готические, было написано: «ШТАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО БАТАЛЬОНА ИМЕНИ АРНОЛЬДА НЕЙБУТА».

Стрижак-Васильев подошел, протер рукавом полушубка присыпанную снегом надпись. Отступил на шаг, снял шапку, наклонил голову.

Затем снова надел шапку, вздрогнул, прислушался... Может быть, в это мгновение он услышал гимн революции, который пели в Нижнеудинске осужденные на расстрел коммунисты, или команду поручика Дербентьева: «По предателям и врагам России — пли!»? Может быть... А может быть, он услышал стук собственного сердца, которое, подобно часам, отбивало время жизни, смерти и сражений...

ЗАПИСКА ИЗ ОМСКОЙ ТЮРЬМЫ
от 24 апреля 1919 года

«Мнение товарищей из 12-й камеры: новая система охраны полностью исключает успех вооруженного нападения.

Мнение товарищей из 16-й камеры: шансы на освобождение смертников незначительны, но долг товарищей на воле — сделать все, чтобы освободить приговоренных к смерти.

Наше мнение: нападение на тюрьму — ничем не оправданная авантюра и преступление перед революцией.

1. После урона, которое понесло омское подполье в результате последних арестов, рисковать жизнью оставшихся на свободе малочисленных боевиков — ядра очередного вооруженного восстания — комитет не имеет ни политического, ни морального права.

2. Учитывая многочисленность охраны и систему ее дислокации, нападение обречено на провал.

3. Оно не оправдано даже в случае успеха. Освобожденные смертники, по вполне понятным соображениям, длительное время не смогут играть существенной роли в подпольной работе. Таким образом, понесенные при налете неизбежные жертвы ничем компенсированы не будут, что пагубно отразится на дальнейшей деятельности подполья.

По поручению смертников «Американец».

ЗАПИСКА ИЗ ОМСКОЙ ТЮРЬМЫ
от 26 апреля 1919 года

«Учитывая специфику ситуации, наш отказ нельзя рассматривать как нарушение партийной дисциплины, тем более что мнение смертников разделяется сейчас и товарищами из 16-й камеры. Единственно возможный компромисс:

1) побег осуществляется лишь в том случае, если казнь будет производиться вне тюрьмы.

2) побег осуществляется смертниками самостоятельно по пути следования к месту расстрела (в этом случае побег может быть прикрыт огнем боевиков).

По поручению смертников «Американец».

ЗАПИСКА В ОМСКУЮ ТЮРЬМУ
от 27 апреля 1919 года

«Компромисс приемлем. Детали сообщит «Володя». Мужайтесь».

ИЗ ДОКЛАДНОЙ НАЧАЛЬНИКА КОМАНДЫ ШТАБС-КАПИТАНА ИШУРИНА
от 30 апреля 1919 года

«...Двое были застрелены при попытке к побегу. Третьему — заключенному Стрижак-Васильеву, несмотря на все принятые меры, при осуществлении коих отличился рядовой Хвощ (рапорт от апреля 29 дня), удалось скрыться в неизвестном направлении. Со стороны конвоя ранен посредством штыкового ранения в область груди рядовой Брусницын...»

ИЗ РАЗГОВОРА СВЯЗНОГО СИББЮРО ЦК РКП(б) А. Г. СТРИЖАК-ВАСИЛЬЕВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИРКУТСКОГО РЕВКОМА А. А. ШИРЯМОВЫМ

Ширямов. У меня в отношении тебя были другие планы.
Стрижак-Васильев. Что поделаешь...
Ширямов. Здесь тоже фронт.
Стрижак-Васильев. Не спорю. Но в последний раз я держал в руках винтовку 29 апреля. Тогда мне не удалось сделать из нее ни одного выстрела...
Ширямов. А ты хочешь стрелять?
Стрижак-Васильев. Должен.

ЧАС ИСПЫТАНИЙ

В архивах хранятся личные и официальные письма (последние именуются почему-то отношениями), протоколы совещаний, стенограммы докладов и выступлений, отчеты, описи, анкеты, газетные вырезки и фотографии. Но там нет картотеки записей снов. И дотошный историк, посвятивший свою жизнь документам, никогда не установит, что снилось в ночь на 31 января 1920 года бывшему студенту консерватории поручику Дербентьеву, генералу Войцеховскому, председателю Иркутского ревкома Александру Александровичу Ширямову, заместителю начальника политотдела Пятой армии Андрею Парубцу, заключенному из «висельной камеры» Александру Колчаку или связному Сиббюро Стрижак-Васильеву.

Но автор не историк. Поэтому ему не нужна картотека. Он и без нее знает сны, которые снились в ту ночь разным людям.

С 30 на 31 января 1919 года Стрижак-Васильев спал всего два часа. Потом его разбудили, и он отправился на совещание, которое было созвано в Иркутском ревкоме. И эти два часа ему снились знамена всемирной революции над Прагой, Будапештом, Берлином, небоскребы Америки, заслоняющие закопченное, словно медный таз, солнце, лист жести с именем Нейбута, черные снежные сугробы на улицах освобожденного Омска, винтовка, из которой он не выстрелил, и подпрыгивающий борт грузовика. В этом грузовике штабс-капитан Ишурин, сморкаясь и вытирая платком слезящиеся глаза, вез в Загородную рощу смертников. Из этого грузовика на ходу соскочили трое. Все трое избежали казни. Но в живых остался лишь один. Остальные были убиты при попытке к побегу...

...«Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок»,— пели тоненькие детские голоса. И в такт песенке весело и неудержимо скакал и прыгал на колдобинах старый грузовичок. В кузове десять человек: шестеро с винтовками (шесть ниточек штыков), один — с наганом и трое с надеждой. Одна надежда на троих...

Кто-то из солдат скрутил козью ножку, раскурил ее и сунул в рот Стрижак-Васильеву (руки у смертников связаны). Махорочный дым горек и кисловат. Козья ножка чертит в воздухе огненные узоры. Летят

и гаснут на ветру искорки. Одна из них прилипает к груди ватника. Солдат прижимает ладонью золотистое пятнышко, и оно исчезает. Наверно, теперь там небольшое отверстие с черными подпалинами по краям. Какое? Может, круглое, может, овальное... Солдату жаль ватника. Вещи казненных — собственность палачей. Таков обычай. Ватник не бог знает что, но на омской барахолке за него дадут шматок сала, а к скудному солдатскому пайку и это прибыток. Поэтому перед расстрелом все трое снимут с себя одежду и обувь. Одежда нужна живым — трупы не мерзнут. Трупы морозоустойчивы. Им нипочем и тридцать градусов, и сорок. Трупы не боятся мороза. Труп — только труп...

Звенят детские голоса: «Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок... Прыг-скок, прыг-скок...» Скок. Скок. Скок...

Стрижак-Васильев выплевывает изо рта козью ножку. Ее подхватывает ветер. Козья ножка летит, искрится, падает...

Последний фейерверк...

Последний?

Прыгает перед глазами, будто брошенный на пол резиновый мяч, борт грузовика. Но при чем тут грузовик? Мяч, обычный мяч... Обычный? Нет, не обычный. Странный мяч, непонятный. И он прыгал все выше и выше. Вот он уже перепрыгнул Эйфелеву башню, небоскребы Манхэттена, ударился о край луны. Еще минута — и он больше не вернется, исчезнет в провале черного неба. Тогда все будет кончено — треск выстрелов и кислый, как махорочный дым, запах пороха. Впрочем, этого запаха они уже не почувствуют.

Смерть...

Чтобы она их не настигла, необходимо схватить мяч, прижать его к груди, крепко прижать, чтобы скрипнули ребра, навалиться на него всей тяжестью тела и не выпускать, не дать ему вырваться и совершить свой последний смертный прыжок.

Но руки Стрижак-Васильева крепко связаны. Их связали перед тем, как посадить в машину. В конторке тюрьмы. Их развяжут только тогда, когда приговоренные будут снимать с себя одежду. Правда, надзиратель Борщевский, брат рабочего железнодорожных мастерских боевика Борщевского, успел надрезать веревки. Но теперь веревки снова срослись, стали

крепче, чем раньше. Их можно было разорвать, лишь собрав воедино, в кулак все силы. Но штабс-капитан Ишурин кашлял, а пока он кашлял, этого нельзя было сделать. Кашель дробил силы, как молот камень, превращал их в щебень, пыль...

Между тем мяч, снова превратившись в деревянный борт грузовика, прыгал все выше и выше...

«Прыг-скок, прыг-скок, обвалился потолок...»

Раз. Другой. Третий. Где он? Ага, вот...

Тишина. Ишурин перестал кашлять. Тишина...

Ну?

Рывок. Веревки лопаются.

Стрижак-Васильев шевелит занемевшими пальцами. Он затаился, но ему смешно. Ведь только он один среди всех понимает, что скоро грузовик повезет их не к смерти, а к жизни, что впереди их ждут не пули, а лес красных знамен. Эти знамена реют уже над всем миром. Кумачовый земной шар. Кумачовые полюса, кумачовые тропинки, кумачовый экватор... Всемирная революция. Пролетарии всех стран соединились. Раскатисто хохочет Андрей Парубец. Улыбаются Арнольд Нейбут, Саша Масленников... Оказывается, они живы.

Будьте счастливы, люди, отныне и во веки веков. Это для вас вертится кумачовый шар и сверкают звезды.

Знамена, знамена, знамена...

Для того чтобы их увидеть, надо лишь одно — не упустить мяч. И он его не упустит.

Стрижак-Васильев улыбается, но глаза его прикованы к отвесно падающему мячу. Мускулы напряжены. Мускулы — стальные пружины. И вот он прыгает. Мяч бьется в руках, пытается вырваться, сдирает с рук кожу. Руки в крови. Но это хорошо: кровь — клей. Мяч прилипает к рукам. Все... Отпрыгался...

Но... Что произошло? В руках у него не мяч, а собственная голова... Ишурин хихикает. Потом укоризненно говорит:

— Ах, Алексей Георгиевич, Алексей Георгиевич! Человечности — вот вам чего не хватает. Сами себя сказнили, а я для чего, спрашивается, понапрасну ездил, простужался? Сказали бы мне по-доброму, по-хорошему, что сами приговор над собой исполнять будете, я бы не затруднял себя. У меня, Алексей Георгиевич, детишки. А детишкам внимание требуется, забота... Анечку-то я вышивать сам научил... Мастерица!

Ишурин вытаскивает из кармана платок. На нем веселый зайчик грызет морковку. Стрижак-Васильев слышит, как зайчик хрумкает, видит, как подергивается его носик...

Носовой платок становится все больше и больше. Он заслоняет все: солдат, товарищей, дорогу. Это плохо. Очень плохо. Из-за платка с зайчиком можно не заметить поворота, где за пригорком в кустах залегли боевики. Они должны огнем прикрыть побег троих смертников: его, Стрижак-Васильева, руководителя рабочей дружины Капитона Столярова и связного Омского комитета Толи Басова.

Треск. Это трещит разорванный выстрелом носовой платок. В прореху врывается пламя. Зайчик на платке перестает грызть морковку. Он цепенеет. Он понимает, что это сигнал. Но сигнал к чему? Какой сигнал? Заяц этого не знает, но Стрижак-Васильев знает. Это единственное, что он сейчас знает...

Сигнал к побегу.

Побег!

Стрижак-Васильев вырывает у солдата винтовку, бьет ногой в живот вскочившего Ишурина. Короткий выпад... Коли! Он видит, но не чувствует, как штык вонзается в тело — нет, не Ишурина — солдата. Ишурин бессмертен. Ишурина защищает от штыка вышитый детской рукой платок...

Толя Басов, пригнувшись, бежит по черному, в белых проплешинах полю. Молодец Толя! Но бежать надо зигзагами, я же тебя этому учил, Толя. Ты слышишь? Зигзагами... Где Капитон?

Капитона он не видит. Может быть, зайчик его грызет вместо морковки?

Где Капитон?

Грузовик резко тормозит. Сидящие в кузове налетают друг на друга. Куча из людей и винтовок. Ругань, крики. Кто-то хватает сзади Стрижак-Васильева за шею, пытается опрокинуть, подмять. Над ухом тяжелое, хриплое дыхание, запах махорки, пота, самогона.

Где Столяров?

Стрижак-Васильев выламывает сжимающую горло руку, вырывается, бьет наотмашь прикладом, перебрасывает через борт свое невесомое тело.

Бежит.

Гудит под ногами мерзлая земля. Вспышки выстрелов. Вспышки за ним и впереди него. Теперь он не ви-

дит не только Столярова, но и Басова. Убиты? Ранены? В руке у него винтовка. Как им объясняли в корпусе, лучшая винтовка в мире, принятая на вооружение русской армии 16 апреля 1891 года. Система капитана Мосина под патроны полковника Роговцева. Боевая скорострельность десять выстрелов в минуту. Простота в обращении, безотказность в работе и постоянная готовность к действию... Десять выстрелов в минуту!

Но он не может сделать десять выстрелов в минуту. Он не может сделать ни одного выстрела. Винтовка бесполезна. Он должен не стрелять, а бежать. И он бежит, бросая себя то вправо, то влево, пригибая голову и вгрызаясь в жесткий и колючий воздух... Воздух хрустит под зубами, забивает крошкой рот, не дает дышать. Но ведь дышат воздухом, как воздух может не давать дышать?

Рр-ах! Рр-ах! Рр-ах! — частят выстрелы. Это стреляют из винтовок системы капитана Мосина патронами полковника Роговцева.

Каждый выстрел — это пуля, вылетающая из ствола со скоростью 865 метров в секунду. А с какой скоростью бежит он, георгиевский кавалер и офицер Российского флота?

Рр-ах, рр-ах, рр-ах...

Тоненько посвистывают пролетающие где-то рядом пули. Винтовка — ненужный груз. Но он не может заставить себя бросить ее, лучшую в мире. Он никогда не бросал винтовки. Детище неизвестного ему капитана Мосина еще пригодится революции. А может, не пригодится?

Снова выстрелы... Кто стреляет? Свои? Чужие? Сейчас главное не это. Сейчас главное — бежать. Бежать изо всех сил, так, как он никогда не бегал.

Впереди свобода. Он догоняет свободу. Сзади — пули. Они догоняют его...

Живы или нет Толя Басов и Капитон?

Бешено колотится сердце. Ему тесно. Сейчас оно разобьет грудь и выскочит наружу. Выскочит, упадет со звоном на землю и покатится колобком по степи, живое, теплое, красное... Хлюпает кровь в валенке. Последний прыжок...

Стрижак-Васильев спотыкается, падает. Над ним небо и чьи-то глаза.

Все? Все...

— Ранены, Алексей Георгиевич?

— В ногу... Пустое...
— Кость цела?
— Цела. Если смог бежать, значит цела...
— Оно верно, конечно...
— Где Басов и Столяров?
Молчание...
Ему перевязывают ногу, затягивают поверх раны жгут. Пятном темнеет вдали грузовик. Вспышки выстрелов. Но это солдаты стреляют так, для очистки совести и от злости. Но счет все-таки в их пользу: два — один.
— Пора уходить.
— Пора.
Опираясь на винтовку, словно на костыль, Стрижак-Васильев ковыляет к овражку, где их дожидаются лошади. Рабочий-боевик придерживает его за плечи.
— Вот так, Алексей Георгиевич... Смертная казнь отменяется...
Было все это или не было? Было... Не так страшно, как во сне, но было. Во сне почему-то все и всегда страшней. Почему?
...Посыльный из ревкома только вышел, а Стрижак-Васильев уже одет.
На часах без десяти минут три.
— Вот так, Алексей Георгиевич... Смертная казнь отменяется...
Ночное совещание... Что-то случилось. Но что? Посыльный не знал. Посыльному было лет шестнадцать. Он еще ничего не знал...
На улице было пустынно и неуютно. По-прежнему валил снег. Ветер шарил холодными проворными пальцами по груди и плечам. Где-то протяжно выла собака, а может быть, и не собака, а ветер.
Иркутск...
Календарь свидетельствовал, что сейчас 31 января 1920 года. Но люди не всегда живут по календарю. Они то отстают от него, то опережают. Всякое бывает. И Стрижак-Васильев еще находился в апреле 1919 за сотни верст отсюда — в Омске.
Написанное письмо можно разорвать, а сон не разорвешь, его можно лишь забыть, вернее — засунуть куда-то в дальний ящик памяти, где он будет находиться до поры до времени.
И все-таки сон — только сон, а действительность — это действительность. И действительность напомнила о себе, вытолкнув на тротуар человека.

Бородатый, неуклюжий, с заиндевевшими бровями и ресницами, он напоминал омского снеговика. Только вместо гильзы от винтовочного патрона у него был настоящий порозовевший на ветру нос, а вместо метлы он держал взятую наперевес винтовку. Широкий плоский штык покачивался на уровне груди.

Человек был не из прошлого и не из будущего. Он был из настоящего. Человек образца 31 января 1920 года. И конечно же его внимание привлек прохожий в офицерском полушубке. Черный полушубок возбуждал подозрения красноармейцев в Омске и вызывал те же чувства здесь, в Иркутске... Что ж, естественно. У патрульного свои обязанности, он их должен выполнять.

После того как Иркутск объявили на военном положении, его улицы круглосуточно патрулировались бойцами комендантского батальона, партизанами, еще не покинувшими город японцами и чешскими броневиками. Впрочем, японцев после перехода власти к ревкому осталось мало и, опасаясь стычек с партизанами, они последние дни вынуждены были отказаться от патрулирования. «Снеговик», судя по всему, был из какого-то партизанского отряда.

— Пропуск давай,— буркнул он и передернул затвор.

Стрижак-Васильев достал из бокового кармана френча мандат ревкома и пропуск, разрешавший ему выходить в город после комендантского часа. Не опуская винтовки, человек долго рассматривал при свете фонаря квадрат картона, потом подозрительно спросил:

— А печать?

Стрижак-Васильев ткнул пальцем в круглый лиловый оттиск.

— Это не печать...

— Вот подпись коменданта, прочти...

— Ишь ты! — ухмыльнулся бородатый.— «Прочти»! — и резонно объяснил: — Как же я читать буду, коли неграмотный? Давай топай к старшому, там разберемся и с печатью, и с подписью...— И предупредил: — Ежели побежишь — приколю.

Но идти к «старшому» не пришлось. Из снежной мглы вынырнула фигура второго. Он не торопясь приблизился, вгляделся.

— Товарищ комиссар?

Стрижак-Васильев узнал мадьяра Франца из Черемховского интернационального отряда, узнал не столь-

ко по лицу, сколько по голосу. Франц шепелявил: в поезде смерти, из которого он чудом вырвался, ему выбили передние зубы.

«Снеговик» опустил винтовку. Возвращая пропуск, сказал:

— Выходит, свой?

— Свой,— подтвердил Франц.— Совсем свой.

— А полушубок-то офицерский,— недовольно буркнул «снеговик».— Добрый полушубок...

— Очень добрый,— согласился Франц.— Будешь метко стрелять в Каппеля, и у тебя будет добрый полушубок...— И улыбаясь беззубым ртом, сказал: — Скоро будем драться с Каппелем...

— А мы и так с ним не целуемся.

— Нет, здесь драться,— сказал Франц.— Плохой бой был у станции Зима... Каппель на Иркутск идет. Войска разбиты. Нестеров в плену...

...Подробности происшедшего Стрижак-Васильев узнал уже в ревкоме.

Группа Нестерова, которой предназначалось встретить каппелевцев на дальних подступах к Иркутску, была с согласия чехов, заявивших о своем нейтралитете, переброшена по железной дороге к станции Зима. Она насчитывала 1200 бойцов. Накануне передовой отряд Войцеховского вошел в Куйтун и повел наступление вдоль железнодорожной линии по Московскому тракту.

Рассчитывавшие на быструю победу каппелевцы были озадачены: войска ревкома и поддерживавшие их подразделения 1-й Балаганской партизанской дивизии оказывали упорное сопротивление. Все атаки были отбиты ружейным и пулеметным огнем. Ничего не изменилось и после того, как генерал ввел в бой 25-й егерский полк горных стрелков имени адмирала Колчака.

Сражение длилось четыре часа, а затем красные перешли в контрнаступление и начали теснить каппелевцев. Но в этот момент стоявшие на станции чешские бронепоезда неожиданно обрушили на нестеровцев огонь своих орудий и пулеметов. Одновременно по левому флангу ударила покинувшая эшелоны пехота, а чешская кавалерия смяла тыл и захватила штаб. Остатки группы под прикрытием 5-го Зиминского кавалерийского полка отступили к Балаганску, расчистив белым путь на Иркутск.

Вероломное нападение было неожиданностью не только для Нестерова, но и для ревкома. Ширямов,

получив сообщение, немедленно пригласил для объяснения политического представителя республики доктора Благожа, командующего арьергардом чеховойск, командира 2-й дивизии полковника Крейчина и начальника его штаба подполковника Бирулю. Все трое заверили Ширямова, что нападение было совершено вопреки приказу командования и пленные немедленно будут возвращены ревкому.

— Печальный эксцесс, вызванный отсутствием дисциплины,— сказал доктор Благож.— Впрочем, бедных войяков можно понять: они озлоблены, и не без оснований... Нападение совершили части, накануне разгромленные Пятой армией под Нижнеудинском. Мы там потеряли четыре бронепоезда и несколько сот наших храбрых гошей... Но командование примет все меры, чтобы исключить возможность подобных инцидентов в дальнейшем. У нас одна задача — эвакуация. Пусть русские сами решают свои дела.

Доктору Благожу можно было поверить: действительно, в январе 1920 года деятельность чешского командования сводилась к быстрейшему выводу войск на восток. Обманутые в 1918 году антисоветской пропагандой солдаты корпуса теперь в подавляющем большинстве своем требовали немедленного возвращения на родину. Но как бы то ни было, а именно вмешательство чехов привело к поражению у станции Зима и поставило в опасное положение город. Кроме того, где гарантия, что в дальнейшем подобные «инциденты» будут исключены, тем более, что Пятая армия продолжает наступление, а ее бойцы настроены отнюдь не миролюбиво к отступающим интервентам.

И когда Стрижак-Васильев вошел в кабинет Ширямова, где находились военные, партийные и советские работники, Нестор Александрович Каландаришвили с жаром доказывал, что ревком должен немедленно начать военные действия против чехов. Но большинство участников совещания считало, что это только раздробит силы ревкома и даст каппелевцам дополнительные шансы на успех. Такого же мнения придерживался и начальник наступающей на западе 30-й дивизии Пятой армии, которому были подчинены партизанские соединения.

— Положение у нас достаточно тяжелое, усугублять его мы не имеем права,— сказал Ширямов.— Так считаю не только я, но и Реввоенсовет Пятой.

— А эсли чехи ударат в спыну здэс, в городэ? — вскочил с места Каландаришвили, и его длинные, наполовину седые волосы пушистой волной взлетели вокруг головы.

— Исключено.

— Пачэму исклучено?

— Ревком предъявил полковнику Крейчину ультиматум о немедленном выводе войск из Иркутска за Ангару. Завтра в городе не останется ни одного чешского солдата.

— А в гостинице «Националь» вместо чешского штаба будут размещены штаб нашего гарнизона и комендатура,— дополнил комендант Иркутска Бурсак.

— Совершенно верно,— сдержанно улыбнулся Ширямов.— Таким образом, если нам и будет угрожать опасность в самом городе, то только со стороны контрреволюционного подполья...

— И такая опасность уже существует,— вставил Чудновский.

— Поконкретней, товарищ Чудновский,— предложил Зверев.

— Можно и поконкретней. ЧК обнаружила тайные склады оружия на Почтамтской улице в доме Хорохорина, на Мыльниковской и в одном из домов на Набережной. Винтовки, револьверы и три пулемета. Арестовано тридцать семь человек. Сейчас наши товарищи их допрашивают.

— Какие приняты меры?

— ЧК взяла на учет всех офицеров и интернировала юнкерское училище, арестованы оставшиеся в Иркутске крупные колчаковские чиновники. Но все же мы не можем гарантировать, что не будет попыток к восстанию: Иркутск наводнен контрреволюционерами...

— Ревком учитывает эту возможность? — спросил кто-то.

Вместо ответа Ширямов прочел проект постановления Военно-революционного комитета:

— «Чрезвычайная следственная комиссия наделяется судебными функциями с применением высшей меры наказания — смертной казни. Свои судебные функции комиссия осуществляет в периоды контрреволюционного вооруженного восстания. Все приговоры представляются на конфирмацию Военно-революционного комитета... В случае, если Военно-революционный комитет

не сможет осуществить свои функции, ввиду препятствия к этому со стороны контрреволюционного восстания,— приговоры Чрезвычайной следственной комиссии приводят в исполнение без конфирмации Военно-революционного комитета».

— А что предполагается в отношении Колчака, Пепеляева и других контрреволюционеров, находящихся в тюрьме?

— Все будет зависеть от обстановки на фронте и в самом Иркутске,— сказал Ширямов.— Главное для нас сейчас фронт. Он определяет все. Части Пятой армии уже вошли в Тайшет и не сегодня завтра возьмут Нижнеудинск, так что генералу Войцеховскому времени отпущено мало. Если он в ближайшие десять дней не захватит Иркутск, город спасен...

Ширямов говорил тихо, спокойно. В отличие от латыша Нейбута у него был монгольский тип лица: узкие под прямой линией бровей глаза, тяжелый подбородок, крупный рот, верхнюю губу прикрывала треугольная щеточка усов. Казалось, трудно сыскать двух более непохожих людей. И все же в эти минуты Ширямов чем-то напоминал погибшего в феврале 1919 года руководителя сибирских большевиков: то ли сдержанными, исполненными внутренней силы жестами, то ли чем-то еще, явным и в то же время не поддающимся определению. И порой Стрижак-Васильеву казалось, что перед ним сидит Арнольд.

Для доклада об обороне Иркутска Ширямов предоставил слово члену ревкома Сноскареву.

Сноскарев предложил основную часть войск сконцентрировать у села Пономарево. Если каппелевцев здесь остановить не удастся, войска отходят к городу, где уже будут подготовлены окопы. 1-й Балаганской дивизии, в которую влились остатки частей, участвовавших в боях под Зимой (1-й Советский полк, 3-й Илимский, 1-й Ангарский, две роты 17-го охранного батальона и 1-й Иркутский добровольческий революционный батальон), предписывалось нанести белым удар с левого фланга и тыла.

В самом Иркутске Сноскарев предложил заминировать на Ангаре против Московских ворот выход на Старый Московский тракт, сосредоточить во всех домах первой линии на берегу Ангары дружинников и соорудить на улицах завалы и баррикады из камня и льда. В случае возможных уличных боев несколько десятков

домов в различных районах Иркутска превращались в оборонительные опорные пункты.

Предложенный ревкомом и предварительно согласованный с начальником 30-й дивизии план серьезных возражений не вызвал. И все же совещание затянулось. Когда Стрижак-Васильев, которому Сноскарев поручил организацию работ по минированию подступов к Иркутску, подъехал на санях вместе с двумя специалистами минного дела к Московским воротам, было уже 6 часов утра. На минирование отводилось два дня, 2 февраля военный комиссар интернационалистов Стрижак-Васильев должен был выехать на фронт.

По улицам города, пофыркивая, словно норовистые лошади, буксуя в глубоком снегу, шли броневики. Это чехи, выполняя предъявленный ревкомом ультиматум, оттягивали войска за Ангару, в район вокзала. Прошла колонна чешских солдат. Проехали артиллерийские фуры. Почесываясь и кряхтя, с трудом вытаскивая из снега ноги, проковылял старик — расклейщик афиш. Он нес толстую пачку листов — воззвание ревкома к защитникам города:

«Час испытания нашей преданности делу трудящихся настал. Враг подходит к городу... Он идет в город, чтобы разграбить его... надругаться над женами и детьми... Мы должны отстоять город... Мы должны и будем биться на улицах, за баррикадами, в домах, но не допустим врага к сердцу Сибири... Да здравствует последний решительный бой! Да здравствует победа! Да здравствует власть трудящихся — Советская власть!»

Где-то хрипло прокричал чудом переживший голодный 19-й год петух. Его крик предвещал утро. И оно наступало. Морозное и солнечное утро 31 января 1920 года.

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ДОКТОРА БЛАГОЖА, ВЗЯВШЕГО НА СЕБЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ, С КОМАНДОВАНИЕМ КАППЕЛЕВЦЕВ

«Ввиду нездоровья генерала Войцеховского уполномоченный им генерал Щепихин передает следующее:

«Противобольшевистские армии могут отказаться от прохождения через Иркутск при выполнении иркутским гарнизоном следующих условий:

1) Беспрепятственный пропуск армий за Байкал по всем путям в обход Иркутска.

2) Немедленный категорический приказ Иркутского ревкома всем властям, всем советским регулярным и нерегулярным войскам на пути армий прекратить враждебные действия против нас. Копия этого пункта одновременно с его рассылкой должна быть сообщена мне.

3) Временное до прохода армии за Байкал прекращение пропаганды... с обвинением армий в зверствах над населением.

4) Снабжение армий деньгами, имеющими широкое хождение на Дальнем Востоке, в сумме 200 миллионов рублей, в том числе на 50 миллионов рублей звонкой монетой...

6) Освобождение адмирала Колчака и арестованных с ним лиц, снабжение их документами на право выезда их в качестве частных лиц за границу. Просьба к представителям иностранных государств взять названных лиц под свое покровительство и гарантировать им свободный проезд за границу.

7) Приказ ревкома городским и сельским властям на путях следования наших армий заготовлять продукты и фураж, перевязочные средства, считаясь с численностью армий в круглых цифрах 50 000 человек и 30 000 лошадей.

8) Как гарантия бескровного обхода Иркутска, все советские регулярные и нерегулярные войска должны быть выведены немедленно из района на запад от Иркутска до Черемхова включительно, на север из 150-верстной полосы и на юг из 100-верстной полосы. Точное выполнение этого условия необходимо также и потому, что наши части при встрече с советскими частями неизбежно будут их разоружать и возможно боевое столкновение.

9) После прохода наших армий меридиана города Иркутска в течение недели не производить никаких продвижений советских войск восточнее Иркутска.

10) Для наблюдения за выполнением изложенных условий с нашей стороны Иркутский ревком должен командировать в мой штаб трех своих представителей. Наблюдение за выполнением тех же условий противной стороной просьба принять на себя представителей иностранных государств.

11) Независимо от хода настоящих переговоров я продолжаю движение на Иркутск.

Ввиду движения штаба на восток за ответом к прямому проводу можем быть здесь на станции Зима 2 февраля 1920 года. В дальнейшем же продвижении на остановках будем запрашивать вас ежедневно между 20 и 22 часами иркутского времени, если вам угодно, с ближайших нашему ночлегу телеграфных станций. Другим способом переговоры по прямому проводу невозможны ввиду секретности нашего маршрута».

Доктор Благож:

«До принятия ваших условий здесь по телеграфу дошла до представителя Чехословацкой республики следующая нота советского командарма Зверева в Иркутске:

«Предлагаю вам во избежание напрасных человеческих жертв и в интересах беспрепятственного продвижения чеховойск на восток немедленно предложить генералу Войцеховскому сложить оружие и передать его в распоряжение Восточносибирской советской армии. Войскам, добровольно сложившим оружие, дается полная гарантия неприкосновенности личности.

Зверев».

(«Известия Иркутского ревкома» № 9
от 3 февраля 1920 года)

ПОСЛЕДНИЙ ДОПРОС

Как и следовало ожидать, каппелевцы отказались сложить оружие, и 2 февраля войска ревкома заняли позиции у села Пономарево. Туда же выехало большинство участников совещания, созванного Иркутским военно-революционным комитетом в ночь с 30 на 31 января 1920 года. По-разному сложилась их судьба...

Александр Александрович Ширямов остался в живых. Он прожил большую и длинную жизнь, избирался делегатом X съезда партии, IX Всероссийского и II Всесоюзного съезда Советов. После гражданской войны работал заместителем Надежды Константиновны Крупской в Главполитпросвете, заведовал издательством в Высшем коммунистическом институте просвещения, был членом Центральной шефской комиссии при ЦК ВКП(б).

Умер он в июне 1955 года.

Уроженец села Квирикета Озургетского уезда Кутаисской губернии, один из популярнейших героев гражданской войны в Сибири Нестор Александрович Каландаришвили, голова которого была оценена белыми в 40 тысяч рублей золотом, закончил свой жизненный путь много раньше.

Он погиб 6 марта 1922 года, когда по заданию Реввоенсовета Пятой армии подавлял в Якутии белогвардейский мятеж. В 33 верстах от Якутска его штаб попал в засаду в протоке реки Лены, между деревнями Тек-Тюри и Табаге. В завязавшейся перестрелке Каландаришвили и работники штаба были убиты.

По просьбе трудящихся Иркутска тело партизанского вождя было привезено в Иркутск и здесь 17 сентября 1922 года торжественно захоронено. Его именем названа одна из улиц города. В этих разных судьбах было одно общее. Ширямов, Каландаришвили, Стрижак-Васильев и другие сибирские большевики, готовившиеся к бою с каппелевцами, до конца верили в победу дела, которому отдали свою жизнь. А у вождя сибирской контрреволюции Колчака такой уверенности в победе белого движения уже не было... Он больше не был участником происходящего. Из «верховного правителя и верховного главнокомандующего» он превратился в арестанта; арестант, находившийся наедине с самим собой, имел достаточно времени для размышлений... Колчак понимал: дни сибирской контрреволюции сочтены.

И когда бывший начальник тюрьмы передал ему записку Тимиревой, в которой она спрашивала, как он оценивает ультиматум генерала Войцеховского, он ответил, что «смотрит на него скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка».

Нет, адмирал больше не верил в торжество контрреволюции. Не верил он и в то, что следствие даст ему возможность оправдаться перед историей. В ноябре 1919 года он проиграл битву за Омск, в феврале 1920 он проигрывал другую, может быть, не менее важную для него битву — битву за свое имя. От допроса к допросу биография Колчака неуклонно превращалась в обвинение против «верховного правителя».

И снова перед глазами Колчака полутемный салон идущего в Иркутск поезда и лицо расстрелянного в Омске большевика...

— Вы живы?.. Не думал, что мы с вами встретимся еще раз...

— Я тоже. Но, как видите, встретились. И мое «последнее желание» осуществилось. На это потребовалось не больше полугода... Но не будем отвлекаться...

— Генерал Жанен знает о случившемся?

— Разумеется.

— Вы хотите сказать, что Жанен санкционировал арест?

— Совершенно верно. Но слишком строго судить его не стоит. Он был поставлен перед выбором...

— Но, помимо всего, существует честь.

— Что касается чести вождей белого движения, то тут я пас. Но позволю себе заметить, что, судя по тому, во что вы превратили Сибирь, лично ваши представления о чести и совести были достаточно емкими...

— Я сейчас пленник и лишен возможности дискутировать с вами...

— Вы, как всегда, любите звонкие слова, адмирал... Наш спор, который начался в девятьсот четвертом, закончен. И вы не пленник, а преступник. И, как у каждого преступника, у вас впереди следствие, суд и приговор. Что касается дискуссии, то вам теперь остается дискутировать только с самим собой. Такая возможность осталась. Можете ею воспользоваться...

И адмирал пытается дискутировать сам с собой...

События, разговоры, лица.

— Граждане свободные матросы свободной России!..

Это матрос, тот чернявый, из Севастополя... Он выступает на митинге после него, Колчака. Что он говорит?

— Нам, братишки, черноморские революционные моряки, бойня с германцем ни к чему. А вот ежели нам не дадут господа и граждане министры землю и фабрики, вот тогда мы, братишки, черноморские революционные моряки, вместе с нашими братишками по классу — германскими мужиками и мастеровыми — обрушим свой революционный гнев на империалистов. А потребуется — и не единый гнев, а и пули из ружей наших обратим на них, снаряды из орудий...

Матроса сменяет генерал Болдырев. Он в штатском. В Японии все русские генералы носят партикулярную одежду...

— Вот вы и познакомились с тюрьмой, Александр Васильевич...

— Я сражался за Россию.

— Чью Россию, Александр Васильевич? Ваньки-Каина? Атамана Красильникова? Рябушинского? Мужичок-то тоже за Россию сражался — только Россию Ленина... Россия Ленина-то ему больше по нутру, а?

Нет, это не Болдырев. Это опять чернявый матрос. Или Стрижак-Васильев?

— За Россию против русских, Александр Васильевич? С англичанами, с японцами, с французами против русских?

Стрижак-Васильев, безымянный матрос, Болдырев и, наконец, генерал Жанен.

Жанен...

В ноябре прошлого года, когда фронт неудержимой лавиной откатывался на восток, начальник контрразведки, никогда не оставлявший своим вниманием союзников, только ему известными путями раздобыл копию с дневника генерала Жанена. Улыбчивый француз, жаждущий повести русские войска на Москву и превративший свой поезд в склад царских реликвий, всегда вызывал у адмирала чувство настороженности. И все же некоторые записи его потрясли.

Оказалось, что 6 июля 1919 года, в тот самый день, когда Жанен на банкете у Вологодского рассыпал комплименты по поводу мужества и благородства «первого гражданина возрождающейся России», он в своем дневнике написал: «Я послал на восток длинную телеграмму. Вот ее содержание: «Один английский консул сказал

мне 25 февраля, повторяя слова одного из своих коллег на Урале, что в Сибири называют большевиками всех тех, кто в большей или меньшей степени не разделяет правительственных взглядов. Таких, которые их разделяют, немного». Это бесконечно близко к правде... Я уже говорил об адмирале и о том, что думают о нем в стране. Его самостоятельная работа довольно слаба; фактически им руководят и отводят глаза. Его среда в настоящий момент подозрительна... Итак, я резюмирую то, что сказал: давление оказывает на правительство группа министров во главе с Михайловым, Гинсом, Тельбергом. Эта группа служит ширмой для синдиката спекулянтов и финансистов... Итогом всего этого является общее положение. Административные расправы, произвол и зверства полиции вызывают в стране большое озлобление...»

А на странице, помеченной 8—12 ноября, адмирал прочел: «Сибирь погибла теперь. Какие только попытки мы не предприняли для того, чтобы удержаться, но все они рухнули. У англичан действительно несчастливая рука: это сказалось на Колчаке, которого они поставили у власти... Несмотря на то что в своих действиях я руководствовался полученными мною инструкциями, все же чувствую угрызение совести за то, что даже косвенно поддерживал это правительство. Я видел его ошибки и преступления, я предвидел падение и тем не менее избегал мысли о его свержении, а это можно было бы сделать...» [32]

Больше всего Колчака оскорбило не двуличие предавшего его два месяца спустя генерала, предназначавшего свой дневник для печати, не упоминание о жестокости установленного им режима (он брал власть не для того, чтобы миндальничать с большевиками), а рассуждения о произволе, беззаконии и та характеристика, которую Жанен дал правительству и ему, адмиралу Колчаку.

Колчак всегда представлялся себе волевым, жестким, но действующим в рамках законности диктатором, который в интересах восстановления порядка в России и идя навстречу пожеланиям русского общества, прибег в своей борьбе против предателей России — большевиков к помощи иностранцев. Между тем в дневнике Жанена он выглядел жалкой марионеткой англичан и «синдиката спекулянтов и финансистов». Установленный им порядок французский генерал называл «преступлениями»,

его окружение «подозрительным», а его руководство страной характеризовал как «довольно слабое» — «фактически им руководят и отводят глаза». «Административные расправы, произвол и зверства полиции...»

Несколькими фразами Жанен перечеркивал все. Тогда Колчак считал это клеветой. Теперь же, отвечая на вопросы следственной комиссии, он чувствовал, что зачастую вынужден признавать факты, которые обосновывают высказывания француза и то, что ему сказал в поезде Стрижак-Васильев. Колчак изобличал Колчака и колчаковщину...

Да, единоличной власти адмирала не было. Была лишь ширма... Вначале благопристойная и относительно добропорядочная, а затем ненавистная подавляющему большинству населения Сибири. Но только ширма, за которой бесконтрольно и безнаказанно грабили, убивали и спекулировали товарами и идеями атаманы Семенов, Калмыков, Анненков, генералы Волков и Розанов, министры Пепеляев, Гинс и Михайлов, прозванный в Сибири «Ванькой-Каином»...

Произвол командиров карательных отрядов и интервентов, самовольные расстрелы, расправы...

Это подтверждали свидетели, среди которых не последнее место занимал «бывший верховный правитель и верховный главнокомандующий» Александр Колчак...

Но примириться с происходящим адмирал не мог. И, сознавая неизбежность поражения, он продолжал борьбу за свое имя. Эту борьбу он вел и на допросе, который состоялся 6 февраля 1920 года...

Допрос происходил в той же комнате. На нем присутствовали председатель Иркутской ЧК Чудновский и нарисованный на плакате солдат. Речь шла о подавлении большевистского вооруженного восстания в Омске, которое началось в ночь на 22 декабря 1918 года, через месяц после прихода Колчака к власти.

В этом восстании принимал участие и Стрижак-Васильев. Насколько Колчак помнил, Стрижак-Васильев руководил отрядом, который освободил из тюрьмы политических заключенных. Это был главный пункт обвинения, которое ему предъявила прокуратура. Декабрьское восстание — первое напоминание о шаткости диктатуры «верховного правителя и верховного главнокомандующего»...

В то время адмирал болел воспалением легких и лежал в постели. Председатель следственной комиссии

по делу Колчака Попов тогда тоже был болен и лежал на полу в тифозном бараке омской тюрьмы. Ни тот ни другой не имели возможности принять участие в развернувшихся событиях, но каждый из них в меру своих возможностей был осведомлен о них...

Накануне восстания контрразведкой в доме № 98 по Плотниковской улице было арестовано 38 человек, а затем еще 43 в домике Соничева на Красноярской. Это было руководящее ядро восстания во Втором районе[33].

Решив, что контрразведке все известно, Центральный военно-революционный штаб дал указание об отмене выступления. Но в районы об этом было сообщено с опозданием, и восстание началось... В самом городе была разоружена охрана тюрьмы и выпущено на свободу 215 политических заключенных, захвачен авторемонтный завод. Но не получив поддержки, рабочие и солдаты вынуждены были сложить оружие. В Куломзине об этом не знали. Восставшие рабочие станции принудили железнодорожную охрану и чешский батальон сдать оружие. К утру власть в Куломзине почти полностью перешла к большевикам.

Между тем, подавив сопротивление разрозненных групп в самом Омске, белогвардейцы направили в Куломзино отряд контрразведчиков под командованием бывшего полицмейстера Вены полковника Зайчека, казачью сотню, несколько рот пехоты и артиллерию. Восстание в Куломзине, так же как и в Омске, было подавлено. На станцию прибыли вице-директор департамента милиции Траутман и начальник управления государственной охраны Руссианов.

Началась кровавая и жестокая расправа...

Сразу же после нападения на тюрьму колчаковцы объявили, что те политические заключенные, которые добровольно вернутся обратно и зарегистрируются в тюремной конторе, могут рассчитывать на снисхождение властей...

Первыми и, кажется, единственными вернулись в тюрьму арестованные на всякий случай после переворота эсеры — члены Учредительного собрания. Они же первыми и были расстреляны.

Их трупы обнаружили 22 декабря на берегу Иртыша. Восемь исколотых штыками трупов...

Колчак, который после ареста «лояльных учредиловцев» ставил перед министром юстиции вопрос об их освобождении, узнал о расстреле от председателя «совета

министров» Вологодского. Адмирал в тот же день поручил своему главному военному прокурору полковнику Кузнецову расследовать происшедшее и привлечь виновных к ответственности.

— Я помню короткий разговор и помню, какое впечатление на меня произвело это событие...— говорил Колчак, тщательно избегая изучающего взгляда Попова, которому слишком памятны были те дни, когда он только чудом избежал расстрела [34].— Я говорил, что этот акт направлен персонально против меня с целью дискредитировать мою власть в глазах иностранцев... От Кузнецова через некоторое время я узнал фамилию офицера Бартошевского [35], который привел их (то есть учредиловцев) в полевой суд. Когда в полевом суде их отказались судить и было приказано конвоировать обратно, на этом обратном пути они были расстреляны. Будто бы Бартошевский мотивировал этот расстрел их попыткой бежать, но я отлично знал, что всегда выставляется эта причина. (Попов кивнул головой: «по крайней мере, честно»). На вопрос, арестованы ли эти офицеры, он сказал, что Бартошевский уехал с частью конвоя и что только один или два солдата этого конвоя были задержаны и опрошены.

Алексеевский. К чему пришло военно-судебное следствие?

Колчак. Кузнецову так и не удалось выяснить. Он выяснил факт и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была поставлена эта задача, установить, от кого исходило это распоряжение, не удалось...

Попов. Упоминали ли вам фамилию Рубцова?

Колчак. Я знаю, что Рубцов принимал какое-то участие в исполнении приговоров суда...

Попов. Это по документам. Он не исполнял приговора, потому что приговора тогда не было. Он явился (в тюрьму) с определенным требованием нескольких лиц: Девятова, Кириенко, меня и других. Девятов и Кириенко были присоединены к партии в сорок пять рабочих, и все они в Загородной роще были расстреляны, а Бартошевский увел других.

Колчак. Против Рубцова обвинения в расстреле не было, а было обвинение в отношении Бартошевского.

Попов. Что касается Бартошевского, то после того, как Кириенко и Девятов были уведены, он выбрал

восемь человек, не подлежащих военно-полевому суду, и тут же, по данным дознания Кузнецова, были выданы еще пять человек, осужденных к бессрочной каторге,— и они все были расстреляны на берегу Иртыша... Бартошевский был почему-то освобожден, как благонадежный человек, под надзор Красильникова...

Колчак. Мне это неизвестно...

Попов. Знаете ли вы, что Рубцов и Бартошевский ссылались на личное ваше распоряжение?

Колчак. Да, Кузнецов мне об этом докладывал.

Попов (любезно и иронически). Разрешите мне занести в протокол, что вам это было известно от Кузнецова.

Колчак (поспешно). Я, конечно, таких распоряжений не мог давать.

Попов. О роли Рубцова вы ничего не знали?

. . . .

Колчак. Нет, я считал, что это дело Бартошевского и что Рубцов в этом расстреле не участвовал. Потом я узнал, что и Рубцов и Бартошевский фигурируют в этом деле.

Денике. Но вы сейчас изволили сказать, что вы о Рубцове ничего не знали.

Колчак. Я докладывал хронологически, как это дело мне представлялось, а следственный материал мне известен, как и вам...

Алексеевский. Раз вы назначили главного военного прокурора для расследования, вы видели в этом преступление. Но это преступление должно было в известной степени бросать подозрение и на прямых начальников этих двух лиц. Не возникло ли у вас сомнений по отношению к начальникам этих двух офицеров?

Колчак. У меня была высокая температура, я был болен и еле дышал, и мне в это время входить в такие тонкости и разговаривать было трудно. Я тогда говорить не мог и только выслушивал доклады...

Денике (настойчиво). Может быть, у вас в конце концов сложилось впечатление, почему это дело осталось не раскрытым до конца и истинные виновники не понесли никакой кары. Чем вы это объясняли?

Колчак. Я объяснял это всем тем судебным аппаратом, который у меня был в распоряжении и от которого по массе аналогичных дел, поручавшихся мною для расследования... я никогда не мог добиться каких-нибудь определенных результатов. Это была одна из тяжелых

сторон управления, потому что наладить судебный аппарат было совершенно невозможно. Раз я становился на точку зрения юридическую, призывал юристов и поручал им это дело вести,— оно не давало результатов.

Попов. Известно ли вам, что при этом убийстве членов Учредительного собрания были убиты ряд других лиц таким же порядком, не являвшихся членами Учредительного собрания?

Колчак. Я знал этот список, который был мне представлен...

Работник Чрезвычайной следственной комиссии передал Чудновскому записку. В ней было всего несколько слов, но Чудновский долго изучал ее, затем протянул Попову. Записка обошла всех членов следственной комиссии и вернулась к Чудновскому, который тщательно разорвал ее на клочки.

Прерванный было допрос возобновился...

Попов. Расстрелы в Куломзине производились по чьей инициативе?

Колчак. Полевым судом, который был назначен после занятия станции.

Попов. Обстановка этого суда вам известна?

Колчак. Я знал, что это полевой суд, который назначался начальником по подавлению восстания.

Попов. Полевой суд тоже требует формального производства... Вы как верховный правитель должны были знать, что на самом деле никаких судов не происходило. Сидели два-три офицера, приводилось по пятьдесят человек, и их расстреливали. Конечно, этих сведений у вас не было?

Колчак. Таких сведений у меня не было...

Попов. Делопроизводство, существует ли оно, сохранилось ли оно где-нибудь?

Колчак. Я его не спрашивал.

Попов. Вы не интересовались?

Колчак. В первый период я не мог интересоваться.

Попов. А сколько человек было расстреляно в Куломзине?

Колчак. Человек семьдесят или восемьдесят [36].

Денике. А не было ли вам известно, что в Куломзине практиковалась массовая порка?

Колчак (с достоинством). Про порку я ничего не знал, и вообще я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания. Следовательно, я не мог даже

подразумевать, что порка могла где-нибудь существовать. А там, где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, то есть действовал карательным образом.

Попов. Известно ли вам, что лица, которые арестовывались в связи с восстанием в декабре, впоследствии подвергались истязаниям и какой характер носили эти истязания?

Колчак (с достоинством). Мне никто этого не докладывал, и я считаю, что их не было.

Попов. Я сам видел людей, отправленных в александровскую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны шомполами...

Колчак. Нет, мне никогда не докладывали...

Попов. Известно ли вам, что это делалось при ставке верховного главнокомандующего адмирала Колчака?

Колчак. Нет, я не мог этого знать, потому что ставка не могла этого делать.

Попов. Это производилось при контрразведке в ставке.

Колчак (рассудительно). Очевидно, люди, которые совершали это, не могли мне докладывать, потому что они знали, что я все время стоял на законной почве. Если делались такие преступления, я не мог о них знать. Вы говорите, что при ставке это делалось?

Попов. Я говорю: в контрразведке при ставке. Возвращаюсь к вопросу о производстве военно-полевого суда в Куломзине.

Колчак. Я считаю, что было производство такое, какое полагается в военно-полевом суде.

Попов. В Куломзине фактически было расстреляно около пятисот человек, расстреливали целыми группами по пятьдесят — шестьдесят человек.

Денике. А относительно того, что полевого суда никакого не было, а протоколы суда составлялись уже после расстрела, нам показал не кто иной, как Сыромятников [37].

Колчак (после длинной паузы). Сыромятников у меня не бывал с докладами... У меня бывал только один Висковатов, который мне говорил, что часть приговоров не куломзинского, а омского полевого суда была сделана заочно...

Попов. Вам была известна деятельность Розанова в Красноярске в качестве вашего уполномоченного?

Колчак. Мне известен один прием, который я ему запретил,— это расстреливание заложников за убийство на линии кого-либо из чинов охраны. Он брал этих людей из тюрьмы... Я считал, что ответственность лиц, не причастных к делу, недопустима... Ему было отправлено распоряжение заложников не расстреливать [38].

Чудновский. В каком месяце это было?

Колчак. Я думаю, в апреле или марте.

Чудновский. Разрешите напомнить, что в мае и июне расстреливали целыми партиями.

Попов. В омскую тюрьму в начале июня прибыл из красноярской тюрьмы Василенко. Он говорил нам, что ни один вновь арестованный не доводился до тюрьмы. Арестованных расстреливали по дороге в тюрьму. Это во-первых. А во-вторых, когда он был в тюрьме, то до самого последнего дня заложники расстреливались пачками по восемь — десять человек...

Известно ли вам, что Розанов давал распоряжение о сжигании сел и деревень в интересах подавления якобы восстания, при обнаружении в них оружия и тому подобное? [39]

Колчак (неуверенно). Я не думаю, чтобы Розанов такие распоряжения давал, потому что по этому поводу есть телеграммы, которые я посылал Артемьеву и Розанову... У вас, вероятно, есть данные, что Розанов давал такие приказания?

Попов. Да, показания Сыромятникова.

. . . .

Этот допрос Колчака был одним из многочисленных сражений, которыми ознаменовался тот день.

Утром наступающие с запада передовые части Пятой армии с боем овладели станцией Шерагульской, а в Иркутск прибыли иннокентьевские боевые дружины, занявшие в Знаменском предместье линию обороны от женского монастыря до пимокатного завода. Бесконечной черной лентой двигался по Московскому тракту направленный Войцеховским к деревне Суховской четырехтысячный отряд каппелевцев. Горели подожженные белыми деревни и села...

Под Олонками гремел бой. Захлебываясь в бессильной ярости, строчили раскаленные пулеметы. Шли в атаки и откатывались назад, оставляя на грязном снегу убитых и раненых, офицеры-красильниковцы. Пленных не брала ни та, ни другая сторона... Занявшая позицию

на околице Олонок, батарея трехдюймовых орудий накрыла обоз белых. Взлетели в воздух куски конского мяса, щепки от разбитых вдребезги фур и саней. Взрывной волной опрокинуло кошеву с гробом Каппеля, труп швырнуло в воронку.

Генерал Войцеховский без шапки, с кровоточащей ссадиной через всю щеку стоял в окружении угрюмых красильниковцев.

— Позор, господа офицеры, позор! Еще одно усилие — и мы в Иркутске. Победа, господа, в ваших собственных руках. Не упускайте ее!

А в большой неуютной комнате, находившейся всего в нескольких десятках верст от отрядов Войцеховского, бывший начальник генерала, «главнокомандующий белыми армиями России» адмирал Колчак держал ответ перед революцией...

Склонившись над своим столом, вели стенограмму секретари. Вопросы и ответы. Десятки вопросов. Вежливых и иронических, уличающих и сдержанных. И каждый из них был пощечиной, оставляющей несмываемый след на лице Колчака.

Незаконные расстрелы политических противников, безнаказанность офицеров-убийц и офицеров-садистов, безвластие и беспредельная власть на местах атаманов и уполномоченных. Взяточничество, спекуляции, грабежи, пытки, спаленные дотла крестьянские избы, истязания, насилия...

Комиссия оперировала фактами. Их можно было отрицать, но нельзя было опровергнуть. «Об этом ему не докладывали, против того он всегда выступал»... И только.

Допрос в отличие от предыдущих продолжался всего пять часов. Но Колчаку казалось, что он длится вечность...

Когда его доставили обратно в камеру, дверь которой бесшумно за ним закрылась (бывший начальник тюрьмы собственноручно смазал проржавевшие дверные петли машинным маслом), Колчак чувствовал себя опустошенным.

Было шесть часов вечера, и под потолком горела вполнакала электрическая лампочка. Так же, как и окно камеры, она была защищена металлической сеткой, только не массивной, а совсем тонкой, напоминающей паутину.

Колчак лег на койку и укрылся шубой (под утро в камере бывало холодно, и ему в дополнение к другим

вольностям была разрешена и эта). Его лихорадило. Руки и ноги казались налитыми свинцом, и каждое движение требовало усилий. Во рту было сухо и горько, хотелось курить. Во время допроса он в перерыве выкурил лишь одну папиросу... На столике лежали аккуратно сложенные пачки, присланные в тюрьму Стрижак-Васильевым, но он не мог заставить себя встать и взять одну из них... «А что существенно?» — «Папиросы»... По крайней мере, сейчас они были для него действительно самым существенным... За дверью камеры по коридору прогрохотали шаги. Видимо, это вели с прогулки Пепеляева. Из арестованных в поезде только он, Колчак, Тимирева и, кажется, Сыромятников содержались в камерах первого этажа. Остальных — «министров», генералов и членов «верховного совещания» — разместили на втором.

После ареста Колчак никого из них не видел. Следственная комиссия очные ставки считала ненужными. Наверно, в них действительно не было необходимости. Но как бы то ни было, а адмирал испытывал в связи с этим определенное чувство удовлетворения. Ему не хотелось, чтобы генерал Матковский, директор канцелярии Мартьянов или министр иностранных дел Червен-Водали стали свидетелями его унижения. Еще меньше его устраивала встреча с Пепеляевым. На предыдущем допросе Попов зачитал членам комиссии запись разговора по прямому проводу между адмиралом и Пепеляевым накануне назначения того председателем «совета министров».

«**Пепеляев.** Благодарю вас за столь полное доверие и пожелания,— читал Попов.— Мои силы и даже жизнь в вашем распоряжении во имя России. Я прошу лишь, когда нужны будут более крупные люди, обеспечить меня возможностью стать в ряды ваших войск простым солдатом. Да хранит вас господь».

Учитывая показания Пепеляева на следствии, все эти громкие фразы воспринимались как неуместная шутка.

Фанфарон и ничтожество. Из него не получился ни председатель «совета министров», ни солдат...

Нет, адмирал не хотел встречи с Пепеляевым. Впрочем, сейчас ему вообще никто не был нужен, даже Тимирева, ежедневные свидания с которой оставляли горький осадок и зачастую вызывали раздражение. Самоотверженность, самоотреченность, беззаветность... Все это, само собой понятно, заслуживало глубокой при-

знательности. И все же, если бы ее не было рядом, он бы себя намного лучше чувствовал. Лишний человек — лишний свидетель его поражения. И еще... Колчак подсознательно чувствовал, что в ее заявлении о желании разделить его участь было нечто театральное, а он всегда признавал лишь театр одного актера — адмирала Колчака. Все это было искусственным и ненужным. И не только ему, но и ей. Их отношения сложились давно. В них было все: некоторая недосказанность, которая придает терпкий привкус романтики даже банальной интрижке, короткие встречи и длинные разлуки, и ее преклонение перед ним — мужественным исследователем севера и защитником России. В отличие от того севастопольского матроса для нее существовала только одна Россия, у которой был лишь один защитник — Александр Колчак... Но... Всему наступает конец, и точка никогда не превращается в многоточие...

Итак, самое существенное сейчас лично для него — это папиросы. И они на столе. Несколько десятков пачек — подарок или, если угодно, подачка его соседа по палате, офицера и большевика Стрижак-Васильева... От койки до столика ровно два шага. Это совсем немного...

Колчак сбросил с себя шубу, встал, закурил. После первой же затяжки легко и приятно закружилась голова. Прикурив от первой папиросы, он выкурил вторую. Папиросы назывались «Атаман». На них был изображен атаман Семенов. Штабные запасались ими в Новониколаевске. Ими было забито все купе адъютанта. Видимо, Стрижак-Васильев взял эти папиросы в поезде.

Опять Стрижак-Васильев...

У него была не часто встречающаяся фамилия, пожалуй, даже редкая. И, просматривая в апреле 1919 года список приговоренных к расстрелу, представленный ему главным военным прокурором, Колчак подчеркнул эту фамилию красным карандашом. Желание адмирала побеседовать с осужденным показалось полковнику Кузнецову более чем странным, но в Омске уже успели привыкнуть к взбалмошности верховного правителя, и ночью Стрижак-Васильев был доставлен в особняк...

Зачем ему это понадобилось? Любопытство? Желание насладиться видом поверженного противника, одного из тех офицеров, кто, забыв присягу, пытался разрушить Россию? Попытка понять психологию врага, его кредо?

Нет, тут было что-то другое... Но что именно, Колчак не знал ни тогда, ни сейчас. Он только чувствовал, что эта встреча ему необходима, и ради нее он отказал в приеме директору департамента министерства путей сообщений...

Враг России и адмирала Колчака, но враг — этого нельзя было не признать — мужественный, который никогда не встанет на колени перед победителем.

Приказывая доставить к себе Стрижак-Васильева, Колчак ожидал просьб осужденного, раскаяния, пусть даже неискреннего, вынужденного, но раскаяния... И в глубине души он уже готов был проявить великодушие и пойти навстречу этому человеку, который в силу каких-то непонятных обстоятельств сбился с единственно правильного для русского офицера пути. И если бы Стрижак-Васильев хоть как-то дал понять, что сожалеет о происшедшем, адмирал смягчил бы его участь. Но приговоренный ни в чем не собирался каяться. Колчак это понял сразу, как только Стрижак-Васильева ввели в его кабинет... И это, разрушив уже сложившуюся в воображении схему разговора («Я не отменяю приговора, я лишь откладываю его исполнение и тем самым предоставляю вам возможность кровью искупить свою вину перед Россией...»), больше всего поразило адмирала. Это и то, что во время краткой и странной беседы Стрижак-Васильев почти дословно повторил то, что ему сказал после переворота генерал Болдырев: «Вы подписали чужой вексель...»

А что если подписанный им 18 ноября вексель действительно был чужим?

Нет, это был его вексель. Вексель адмирала Колчака...

Колчак не слышал шагов. Звук открываемого замка и сухое щелканье засова заставили его вздрогнуть. На пороге камеры стоял бывший начальник тюрьмы...

Старик часто навещал его. И Колчак догадывался, что им движет не столько долг службы, сколько чувства, не предусмотренные ни одной из статей тюремной инструкции.

За годы беспорочной службы в тюремном ведомстве бывший начальник тюрьмы освоил многое, но навсегда потерял одно — способность формулировать свои мысли. А они у него были — смутные и тоскливые. И как сбегающие с холма ручейки, они стекались в одно место — «висельную камеру», где, словно в насмешку

над всеми установлениями Российской империи, находился не враг государя императора, не бунтарь, потрясающий основы империи, а ее верный слуга, полный адмирал... Правда, верховный правитель мало интересовался нуждами тюремного ведомства — основы порядка и благоденствия всех русских подданных,— но все же он был неотъемлемой частью гибнущего государства, особой второго класса. Адмирал находился на вершине иерархической пирамиды, фундамент которой составляли такие чиновники, как бывший начальник тюрьмы. А кому нужен фундамент разрушенного здания?

Обычно старик обращался к арестанту «висельной камеры» со словами «господин адмирал». Но в тот вечер он в первый и последний раз употребил более привычное для него обращение...

— Если вашему высокопревосходительству угодно,— сказал он,— ваше высокопревосходительство может получить свидание с Анной Васильевной Тимиревой.

— Вторичное свидание?!

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

Бывший начальник тюрьмы стоял посреди камеры, держа руки по швам и наклонив голову с тщательно приглаженными седыми волосами. В его водянистых глазах была скорбь. И адмирал все понял...

— Какие будут приказания, ваше высокопревосходительство?

Колчак колебался. Нет, встреча с Тимиревой ни к чему. Все, что можно было сказать, они уже друг другу сказали.

— Пожалуй... Пожалуй, не нужно.

— Как будет угодно вашему высокопревосходительству.

Бывший начальник тюрьмы почтительно и неловко поклонился, направился к двери. Колчак остановил его, протянул золотой портсигар.

— Возьмите.

Старик отрицательно покачал головой.

— Не надо, ваше высокопревосходительство...

— Возьмите,— настойчиво сказал Колчак.— На память... Он мне больше не потребуется...

Бывший начальник тюрьмы трясущимися руками засунул портсигар в карман брюк, перекрестил заключенного «висельной камеры».

— Покорно благодарю... Да благословит вас бог, ваше высокопревосходительство...

Провожая его глазами до двери, адмирал подумал, что этот чудаковатый старик — один из тех немногих, кто искренне пожалеет об адмирале Колчаке...

Теперь Колчак был не нужен ни белому движению, ни союзникам, ни самому себе... Битая карта... Такая карта в игре больше не участвует.

Он достал из надорванной пачки очередную папиросу и с удовлетворением отметил, что пальцы не дрожат.

То, чего он ожидал эти две недели, пришло...

Чей же вексель он подписал 18 ноября 1918 года? Но как бы то ни было, а под векселем стояла его подпись, а джентльмен, как уверяют англичане, всегда платит долги...

РЕЧЬ, КОТОРОЙ, ВОЗМОЖНО, И НЕ БЫЛО...

Товарищи интернационалисты!

Я не умею произносить речей. Я солдат, и сейчас война. Мы сражаемся с белой сволочью. А во время войны солдаты стреляют, вместо них говорят их ружья. Но я все-таки скажу, потому что должен сказать.

Сегодня в бою с каппелевцами погиб наш комиссар, русский большевик Стрижак-Васильев. Он умер так, как умирают большевики,— не выпуская из рук винтовки.

Он был настоящим человеком. Он был нашим комиссаром и нашим другом. Но мы не можем поставить ему памятника из камня или металла. Поэтому пусть памятником для него будет наша победа над Каппелем. Пусть памятником будет революция, которую мы — латыши, мадьяры, чехи, поляки, немцы — принесем на своих штыках, закаленных в России, к себе на родину. Красные знамена в Риге, Будапеште, Праге, Варшаве и Берлине всегда будут нам напоминать о нем. Я видел много памятников. Но я думаю и он думал, что лучшего памятника не сможет создать ни один скульптор.

Мировая революция — вот памятник погибшим за свободу и счастье пролетариата.

Смерть мировой буржуазии! Жизнь мировому пролетариату!

Предложение товарища Франца я поддерживаю. Но, учитывая трудности с боеприпасами, предлагаю залп в честь погибшего произвести не в воздух, а по врагу. Пусть каждый из нас убьет одного врага. Пусть белый снег Сибири станет саваном для умирающей буржуазии! Смерть цепному псу Антанты — адмиралу Колчаку!

Я все сказал, товарищи интернационалисты. Место живых — в окопах революции. Займите свои места в окопах, товарищи интернационалисты...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИРКУТСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА № 27, от 6 февраля 1920 года

Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных лент и пр. и таинственное передви-

жение по городу этих предметов боевого снаряжения. По городу разбрасываются портреты Колчака и т. д.

С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение сдать оружие, в одном из пунктов своего ответа упоминает о выдаче ему Колчака и его штаба.

Все эти данные заставляют признать, что в городе существует тайная организация, ставящая своею целью освобождение одного из тягчайших преступников против трудящихся — Колчака и его сподвижников. Восстание его безусловно обречено на полный неуспех, тем не менее может повлечь за собою еще ряд невинных жертв и вызвать стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не пожелающих допустить повторение такой попытки.

Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить город до ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных следственного материала и постановлений Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Республики, объявившего Колчака и его правительство вне закона, Иркутский военно-революционный комитет постановил:

1) бывшего верховного правителя адмирала Колчака и

2) бывшего председателя совета министров Пепеляева расстрелять.

Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв.

Председатель Иркутского
военно-революционного комитета
Ширямов.
Члены: А. Сноскарев, М. Левенсон.
Управляющий делами Н. Оборин.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И КОММЕНТАРИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА А. ШИРЯМОВА, ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА ИРКУТСКА И. БУРСАКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ С. ЧУДНОВСКОГО[40]

А. Ширямов. Колчак содержался под особо надежной охраной в иркутской тюрьме. Ежедневно один из членов ревкома проверял порядок его содержания. Особых стеснений в его личном обиходе ему не было сделано, он много гулял, ему доставлялись газеты, книги. Вместе с ним была арестована и помещена в тюрьму по ее личной просьбе гражданская жена Колчака княгиня Тимирева. Им разрешали видеться. Образованная еще Политцентром следственная комиссия вела допрос Колчака. В первые дни приготовления к обороне города предложений о расстреле Колчака не возникало, но после неудачного боя с каппелевцами под Зимой и совместного с ними нападения на наши части чехов в городе стало накапливаться тревожное настроение.

В ревком было доставлено несколько прокламаций из разбросанных по городу, в которых население призывалось к выступлению против Советской власти, за освобождение Колчака... Полной уверенности в том, что в момент боя под городом в нем не возникнет попытки контрреволюционного восстания, не было. Город был полон бежавшей сюда буржуазией, массой белого чиновничества, офицеров и так далее. При обысках часто обнаруживалось оружие.

И. Бурсак. Осевшие в Иркутске белогвардейцы предприняли попытку, правда неудачную, освободить Колчака.

3 февраля Чрезвычайная следственная комиссия представила ревкому список на восемнадцать человек из числа содержавшихся в тюрьме. В этом списке значились: А. Колчак, председатель «совета министров» колчаковского правительства В. Пепеляев и другие наиболее отличившиеся в зверствах против рабочих и крестьян главари белогвардейщины. На заседании 6 февраля Чудновский и я, учитывая, что генерал Войцеховский отказался сложить оружие и требует

выдачи Колчака и его окружения, а также то, что, по данным, имеющимся в Чрезвычайной следственной комиссии и следственном отделе управления коменданта города, в Иркутске действует белогвардейская организация, ставящая целью освободить Колчака и его помощников, настаивали на расстреле всех 18 человек.

А. Ширямов. Рассмотрев этот список, ревком выделил из него только двух человек — Колчака и председателя «совета министров» Пепеляева, в отношении которых утвердил представление комиссии. Такое же решение принял и комитет партии. Однако приведение в исполнение приговора было поставлено в зависимость от переговоров с председателем Реввоенсовета Пятой армии И. Н. Смирновым. Передовые части Пятой армии в это время находились еще довольно далеко от Иркутска, но, по условию с чехами, ревком имел возможность снослться по телеграфу со своей делегацией, которая тогда находилась в расположении Пятой армии.

Эти переговоры вел я. Вызвав одного из членов делегации, Сурнова, я передал ему для выяснения со Смирновым ряд вопросов, касающихся Колчака, и через день получил ответ, что, если по создавшейся обстановке местные организации констатируют возможность попытки к освобождению Колчака, они могут утвердить приговор под своей ответственностью.

И. Бурсак. Вечером 6 февраля я был вызван в ревком, там уже находился предгубчека Чудновский. Ширямов вручил нам постановление о расстреле Колчака и Пепеляева. Мы вышли и договорились с Чудновским, что я подготовлю специальную команду из коммунистов. Коменданта тюрьмы предупредил о предстоящем расстреле и приказал ему не отлучаться, а весь караул держать в боевой готовности. Во втором часу ночи я с командой прибыл в тюрьму. Через некоторое время туда подъехал и Чудновский.

Мы вошли в камеру к Колчаку и застали его одетым — в шубе и шапке. Было такое впечатление, что он чего-то ожидал. Чудновский зачитал ему постановление ревкома. Колчак воскликнул:

— Как! Без суда?

Чудновский ответил:

— Да, адмирал, так же как вы и ваши подручные расстреливали тысячи наших товарищей.

Поднявшись на второй этаж, мы вошли в камеру к Пепеляеву. Этот тоже был одет. Когда Чудновский зачитал ему постановление ревкома, Пепеляев упал на колени и, валяясь в ногах, умолял, чтобы его не расстреливали. Он уверял, что вместе со своим братом генералом Пепеляевым давно решил восстать против Колчака и перейти на сторону Красной Армии. Я приказал ему встать и сказал:

— Умереть достойно не можете...

Снова спустились в камеру Колчака, забрали его и пошли в контору. Формальности закончены.

К четырем часам утра мы прибыли на берег реки Ушаковки, притока Ангары. Колчак все время вел себя спокойно, а Пепеляев — эта огромная туша — как в лихорадке.

С. Чудновский. Мороз тридцать два — тридцать пять градусов. Ночь светлая. Тишина мертвая. Только изредка со стороны Иннокентьевской раздаются отзвуки отдельных орудийных и ружейных выстрелов. Разделенный на две части конвой образует круги, в середине которых находятся: впереди Колчак, а сзади Пепеляев, нарушающий тишину молитвами... Выстрелы со стороны Иннокентьевской слышатся все яснее, все ближе. Порой кажется, что перестрелка происходит совсем недалеко... На небе полная луна, светло как днем. Мы стоим у высокой горы, к подножию которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев. Колчак — высокий, худощавый, типа англичанина, его голова немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи, лицо бледное, глаза почти закрыты: мертвец да и только.

И. Бурсак. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне:

— Пора.

Я даю команду:

— Взвод, по врагам революции — пли!

Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь...

Возвращаемся в тюрьму... На обороте подлинника постановления ревкома о расстреле Колчака и Пепеляева пишу от руки чернилами:

«Постановление Военно-революционного комитета от 6 февраля 1920 года за № 27 приведено в исполнение 7 февраля в 5 часов утра в присутствии председателя

Чрезвычайной следственной комиссии, коменданта города Иркутска и коменданта иркутской губернской тюрьмы, что и свидетельствуется нижеподписавшимися:

Председатель
Чрезвычайной следственной комиссии
С. Чудновский
Комендант города Иркутска
И. Бурсак».

История — разноцветная книга. В ней есть черные, белые, красные, золотые и позолоченные страницы. Нет только голубых.

Некоторые из страниц засыпаны пылью пройденных дорог, прахом погибших, замараны кровью или сладким сиропом. Другие вырваны, забыты или написаны впопыхах таким неразборчивым почерком, что каждый их читает по-своему, мешают и кляксы. Иногда они результат небрежности, чаще — залпов, взрывов бомб, гранат и пулеметных очередей. Когда падают убитые, не удерживаются на кончике пера и чернила. В истории много клякс...

В главе «Гражданская война в Сибири», как и в остальных, не все можно прочесть, о том или ином событии приходится догадываться, дописывать недописанное, домысливать и досочинять оборванные на полуслове фразы. Чаще всего это относится к участникам событий. Многие имена заляпаны кляксами, искажены помарками, биографии скомканы, в них не соблюдены пропорции. В частности, смерти Колчака уделено больше места, чем гибели Стрижак-Васильева. Но мне не хочется подправлять историю и воссоздавать картину смерти своего героя. В этом нет необходимости, тем более что в указанном пробеле есть определенный смысл. Ведь история, не гнушаясь случайностями, все же ориентируется на закономерности. А исходя из этого, легко понять, что смерть главы сибирской контрреволюции более характерна, чем его жизнь. Поэтому она более подробно освещена и на страницах истории.

Колчак закончил свой кровавый путь по воле революции, ревком лишь сформулировал это. А Стрижак-Васильев погиб по воле случая. Для одного закономерна смерть. Для другого — жизнь.

В феврале 1920 года «верховный правитель» не был уже нужен ни разгромленной белой гвардии, ни интер-

вентам, ни самому себе. А Стрижак-Васильеву предстояло еще многое: разгром Врангеля и белополяков, восстановление разрушенного гражданской войной народного хозяйства молодой республики, строительство Шатурской электростанции и Волховской ГЭС, ликвидация неграмотности, Магнитка, ХТЗ...

Ему суждено было жить. Однако он погиб...

Но погиб ли?

В нем жили расстрелянные колчаковцами в 1919-м Нейбут, Масленников, Рабинович, Вавилов и тысячи других коммунистов, а сейчас он сам живет в большевиках, пришедших ему на смену.

Ведь в феврале 1920-го рядом со станцией Иннокентьевской был похоронен не Стрижак-Васильев, а лишь его тело. Сам же он продолжает свою жизнь большевика, без остатка отданную революции.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ВОСТОЧНОСИБИРСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

10 февраля. 10 часов утра. Наши части перешли в наступление и заняли Военный городок. Взяты пленные и много подвод. Наступление на Иннокентьевскую и Батарейную продолжается.

10 февраля. 12 часов дня. Ст. Иннокентьевская занята нашими частями... Захвачено много пленных, винтовок, патронов, лошадей, фуража...

Преследование и дальнейшее очищение района от каппелевцев продолжается.

На путях отхода противника начальником боевых сил высланы кавалерийские отряды, которые беспрерывно тревожат противника, не давая ему ни минуты покоя.

Забайкальские дружинники и партизаны, формируемые тов. Калашниковым, готовы встретить отступающих каппелевцев.

ПРИКАЗ ИРКУТСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА № 26

от 10 февраля 1920 года

1. Ввиду минования для г. Иркутска непосредственной опасности со стороны каппелевских банд осадное положение с момента опубликования сего приказа снимается, с оставлением города на военном положении...

Председатель ревкома Ширямов.
Члены: Левенсон, Снoскарев.
Управляющий делами Оборин.

ТО, ЧТО ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ЭПИЛОГОМ...

Войцеховский не смог взять Иркутск. После ожесточенных и кровопролитных боев каппелевцы были разбиты наголову. Стремясь прорваться в Забайкалье к атаману Семенову, одна группа белых двинулась на север, а другая, перейдя линию железной дороги у станции Иннокентьевской, обогнула Иркутск с юга.

Многие каппелевцы сдались в плен, многие погибли в боях с партизанскими отрядами. И только кучка добралась до Читы.

Иркутск готовился к торжественной встрече Красной Армии. И 7 марта 1920 года через сделанную изо льда триумфальную арку в город первыми вступили бойцы 262-го Красноуфимского стрелкового полка Пятой советской армии.

Но неотправленные письма Стрижак-Васильева, обнаруженные вместе с другими его документами у взятого в плен поручика Дербентьева, нашли своего адресата только в конце марта...

Старый большевик, помогший гардемарину Стрижак-Васильеву стать профессиональным революционером, Андрей Парубец, прочел их в Красноярске.

Помимо писем, в полевой сумке Стрижак-Васильева были мандаты Сибревкома, Реввоенсовета Пятой армии и Иркутского военно-революционного комитета. В той же сумке заместитель начальника политотдела армии обнаружил и почти новую, в кожаном переплете записную книжку убитого.

Он осторожно раскрыл ее желтыми от махорки пальцами. На первой странице торопливым почерком Стрижак-Васильева было написано: «Перед отъездом из Иркутска на фронт беседовал с мадьярами. Бойцам раздали анкеты. Франц сказал: «Зачем? В революцию каждый должен суметь ответить только на три вопроса: зачем родился, для чего живешь и во имя чего будешь умирать?» Эти три вопроса действительно охватывают все. Но почему только в революцию?»

Другая страница: «Персей, Геракл, Сизиф, Тесей... А об Атланте, брате Прометея,— всего несколько слов... Между тем без него не было бы земли и всех ее героев. Он держал на своих плечах небо — подвиг, непосильный даже Гераклу. Большевики — атланты двадцатого века, и они понимают: чтобы поддерживать небесный свод,

следует твердо стоять ногами на земле, а для этого ее нужно прежде очистить от слизи и грязи...»

Парубец, сгорбившись, сидел за столом, по нескольку раз перечитывая каждую строчку.

В комнату вошел адъютант, именовавшийся в те времена порученцем. Адъютант был молод, и его звали Михаилом. Может быть, поэтому он и старался во всем подражать своему прославленному тезке, бывшему командарму Пятой — двадцатисемилетнему Михаилу Тухачевскому. Так же, как и у Тухачевского, на нем были желтые сапоги со шпорами, малиновые галифе, красная гимнастерка и зеленый шлем.

— Хотел, Андрей Аристархович, в штаб полка к друзьям съездить...

— Поезжай...

— Я через полчаса возвернусь...

Адъютант вернулся через два часа. Но когда он вошел в комнату, то застал Парубца в той же позе.

— Может, насчет самоварчика распорядиться, Андрей Аристархович?

— Распорядись, Миша...

Но адъютант не уходил. Мотнув головой в сторону стола, он спросил:

— А документы его прикажете семье переслать?

— У него не было семьи...

— Ну, другу...

— А друзей у него было очень много, Миша,— все большевики... Так что не перешлешь... Уж пусть эти бумаги у нас с тобой останутся...

Парубец тяжело, по-стариковски встал, подошел к окну.

— Весна идет, Миша.

Адъютант посмотрел на покрытое толстым слоем изморози стекло, зябко передернул широкими плечами — не меньше тридцати градусов! Чудачит старик! И с радостной готовностью подтвердил:

— Весна, Андрей Аристархович!

Парубец улыбнулся.

— Ну что ж, давай пить чай, Атлант...

Он аккуратно собрал со стола бумаги погибшего друга, положил их в железный шкаф, дважды повернул ключ. Снова подошел к окну, для чего-то поскреб ногтем иней, вздохнул.

— Весна...

ЦЕНТРАРХИВ

ДОПРОС КОЛЧАКА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
К. А. ПОПОВА

ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ
И СНАБЖЕН ПРИМЕЧАНИЯМИ
М. М. КОНСТАНТИНОВЫМ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1925

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне пришлось участвовать в допросах Колчака, производившихся Чрезвычайной Следственной Комиссией в Иркутске. Созданная эс-эро-меньшевистским «Политическим Центром», комиссия эта затем, с переходом власти к Ревкому, была реорганизована в Губернскую Чрезвычайную Комиссию; состав же Комиссии, допрашивавшей Колчака, оставался неизменным до самого последнего дня допроса. Ревком совершенно сознательно сохранил его, несмотря на то, что в этом составе был меньшевиствовавший Денике и два правых эс-эра,— Лукьянчиков и Алексеевский. Все эти лица были полезны для допроса уже тем, что близко знакомы были с работой колчаковского правительства и к тому же прямо или косвенно участвовали в подготовке иркутского выступления против него, в нанесении ему последнего удара, результаты которого были уже предрешены вступлением в Сибирь Красной армии и взятием ею колчаковской столицы — Омска. При наличности этих лиц в Следственной Комиссии больше развязывался язык у Колчака: он не видел в них своих решительных и последовательных врагов. Самый допрос Колчака, арестованного или, вернее, переданного «Политическому Центру» из рук в руки чехо-словаками — если не ошибаюсь — 17 января 1920 года, начался накануне передачи власти «Политическим Центром» Ревкому, и, следовательно, все допросы, считая со второго, производились уже от имени Советской, а не эс-эро-меньшевистской власти.

Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем этого допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях ее верховного главы, но и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контр-революционного наступления на молодую Советскую республику. Замысел был правильный, но его выполнение доведено

до конца не было. События на еще не ликвидированном фронте гражданской войны, висевшая несколько дней над Иркутском угроза временного захвата города подоспевшими остатками колчаковских банд вынудили Ревком расстрелять Колчака в ночь с 6 на 7 февраля вместо предполагавшейся его отправки после следствия на суд в Москву. Допрос поэтому оборвался там, где начиналась его самая существенная часть — колчаковщина в собственном смысле, период диктатуры Колчака, как «верховного правителя». Таким образом, обстоятельства сложились так, что историко-биографический характер допроса в силу случайных обстоятельств привел к отрицательным результатам. Допрос, несомненно, дал недурной автопортрет Колчака, дал авто-историю возникновения колчаковской диктатуры, дал ряд характернейших черт колчаковщины, но не дал полной, исчерпывающей истории и картины самой колчаковщины.

Последний допрос производился 6 февраля, днем, когда расстрел Колчака, по существу говоря, был уже решен, хотя окончательного приговора вынесено еще не было. О том, что остатки его банд стоят под Иркутском, Колчак знал. О том, что командным составом этих банд предъявлен Иркутску ультиматум выдать его, Колчака, и его премьер-министра Пепеляева [1], Колчак тоже знал, а неизбежные для него последствия этого ультиматума он предвидел. Как-раз в эти дни при обыске в тюрьме была захвачена его записка к сидевшей там же, в одном с ним одиночном корпусе, его жене Тимиревой. В ответ на вопрос Тимиревой, как он, Колчак, относится к ультиматуму своих генералов, Колчак отвечал в своей записке, что он «смотрит на этот ультиматум скептически и думает, что этим лишь ускорится неизбежная развязка». Таким образом, Колчак предвидел возможность своего расстрела. Это отразилось на последнем допросе. Колчак был настроен нервно, обычные спокойствие и выдержка, которыми отличалось его поведение на допросах, его покинули. Несколько нервничали и сами допрашивавшие. Нервничали и спешили. Нужно было, с одной стороны, закончить определенный период истории колчаковщины, установление колчаковской диктатуры, а с другой — дать несколько зафиксированных допросом ярких проявлений этой диктатуры в ее борьбе со своими врагами не только революционного, но и право-социалистического лагеря — лагеря тех, кто эту диктатуру подготовил. Это, значительно забегая вперед от данной стадии

вопроса, сделать удалось, но удалось в очень скомканном виде.

На этом последнем допросе Колчак, очень нервничая, все-таки проявил большую осторожность в показаниях; он остерегался и малейшей возможности дать материал для обвинения отдельных лиц, которые уже попали или могли еще попасть в руки восстановленной Советской власти, и — малейшей возможности обнаружить, что его власть, направленная на борьбу с исчадием ада — большевиками, дышащими только насилием и произволом, сама могла действовать вне всякого закона, боялся, как бы его допрос не помог сдернуть с этой власти покров, которым он старался ее прикрыть в течение всех своих показаний,— покров неуклонного стремления к законности и порядку.

В. И. Ленин в своей речи об обмане народа лозунгами свободы и равенства говорил: «Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он насильничал против рабочих и даже порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам. Это вульгарная защита демократии, это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми способами, которые он находит».

Комиссия, выясняя некоторые яркие факты из области насилий, производившихся Колчаком и колчаковской военщиной, несомненно, до некоторой степени, впала в тон такого «довольно неумного порицания Колчака». Но слишком живо чувствовались тогда в Сибири это насильничание и преследования, чтобы можно было говорить о них с Колчаком, сохраняя то отношение к нему, которое рекомендует нам В. И. Ленин. Важна, однако, не эта черта допросов, а важно то отношение, которое проявляет сам носитель военной, типично-фашистской контр-революционной диктатуры к актам насильничания. Если комиссия была склонна и «довольно неумно порицать за них Колчака», то сам Колчак все время обнаруживает стремление либо замазать эти акты, либо свалить их на бесчинства отдельных лиц и групп вопреки воле диктатора и его правительства, либо найти им законное оправдание. Совершенно откровенно, рисуя себя безоговорочным сторонником и проводником идеи противопоставления белогвардейской военной диктатуры диктатуре большевиков, он не хочет, не имеет мужества принять на себя всю ответственность за все последствия этой диктатуры, за те способы ее осуществления, которые были для нее и неизбежны, и единственно возможны,

Белогвардейская военная диктатура (это отчетливо видно из показаний Колчака) из диктатуры централизованной превратилась в диктатуру отдельных генералов и казачьих атаманов, из насилия, твердо руководимого из единого центра,— в насильничание над Сибирью отдельных шаек, ускользнувших от подчинения «верховному правителю» и его правительству. Но она все-таки была единой диктатурой, сверху донизу, строящейся по одному и тому же образцу, действующей одними и теми же методами. И разница между верхом и низами этой диктатуры была только одна: верх стремился стыдливо прикрыть в глазах своих руководителей — империалистических держав Антанты — то, что совершенно свободно, открыто, без всякого намека на стыдливость, развертывали в своей «работе» низы с их контр-разведками и караульными отрядами, с их Волковыми, Красильниковыми и Анненковыми.

Эта разница сказалась в показаниях Колчака. Он давал их не столько для допрашивавшей его власти, сколько для буржуазного мира. Он знал, что его ожидает. Ему не было нужды что-либо скрывать для своего спасения. Спасения он не ждал, ждать не мог и не делал ради него попытки хвататься за какие бы то ни было соломинки. Но ему нужно было перед лицом буржуазного мира показать себя действовавшим против врагов этого мира, против пролетарской революции, твердо, решительно, но в то же время в рамках буржуазной легальности. Он плохо знал тот буржуазный мир, на защиту которого был выдвинут англо-французскими империалистами. Он не знал, что та диктатура, которую он возглавлял в Сибири и которую так неудачливо стремился распространить на всю страну,—образец и подобие западно-европейского фашизма, диктатуры фашистской, выдвигаемой самим буржуазным миром, перед которым он хочет показать себя носителем законности и порядка, сам «довольно неумно порицая» Семеновых, Калмыковых и проч., и проч., за то, что они без всякой законности и без всякого порядка насильничали над рабочими, расстреливали, пороли и т. д.

Та же неумная стыдливость перед буржуазным миром заставляет Колчака скромничать и в другом отношении: он никак, даже в отношении далекого прошлого, не хочет признать себя монархистом. И свой монархизм, монархические цели всей своей борьбы с большевизмом он прикрывает флером устремлений демократических,—

опять ради буржуазного мира и благодаря плохому пониманию этого мира.

Если исключить эти характерные черты показаний Колчака и помнить уже отмеченную нами боязнь его дать материал для обвинения своих сотрудников, помощников и слуг, то следует признать, что показания Колчака, в общем и целом, в достаточной мере откровенны.

Как держался он на допросах? Держался, как военнопленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства. Там была, за редким исключением, трусость, желание представить себя невольными участниками кем-то другими затеянной грязной истории, даже изобразить себя чуть не борцами против этих других, превращение из вчерашних властителей в сегодняшних холопов перед победившим врагом. Ничего этого в поведении Колчака не было.

Но в одном он близко подходит к своим гражданским соратникам, разделявшим с ним пребывание в одиночном корпусе иркутской тюрьмы. Все они, как на подбор, были совершеннейшими политическими ничтожествами. Ничтожеством в политическом отношении был и их глава — Колчак. Его показания обнаруживают и это с достаточною ясностью. Он — политически безличная фигура. Он — простая игрушка в руках держав Антанты. У него, с его голой идеей военной диктатуры и скрытой мыслью восстановления монархии, нет никакой политики, кроме той которая диктуется ему противоречивыми влияниями и этих держав, и окружающих его групп и группочек военщины и торгово-промышленных кругов, с их сомнительного качества политическими руководителями. В этих противоречивых влияниях он безнадежно путается и запутывается тем больше, чем сильнее становится напор наступающей Красной армии, пока, наконец, не предается своими же вчерашними союзниками — чехо-словаками, конечно, с ведома тех же держав Антанты, поставивших его во главе контр-революции.

Ограничиваюсь этими краткими замечаниями.

Как бы ни расценивать постановку допроса Колчака и его показания, опубликование их, несомненно, даст не мало ценного для всякого, желающего изучить историю контр-революции, а уж, конечно, для всякого историка ее.

К. Попов.

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемые Центрархивом протоколы заседаний Чрезвычайной Следственной Комиссии по делу Колчака воспроизводятся по стенографической записи, заверенной заместителем председателя Следственной Комиссии, К. А. Поповым, и хранящейся в Архиве Октябрьской Революции (Фонд LXXV, арх. № 51). Некоторые места стенограммы и отдельные слова, не поддававшиеся прочтению, в подлиннике пропущены и на их месте поставлены многоточия. Таких пропусков немного, и они не имеют сколько-нибудь существенного значения. Протоколы воспроизводятся нами со всеми особенностями подлинника, и только некоторые грамматические неточности, мешавшие пониманию смысла излагаемого, нами исправлены.

В печати до сих пор появлялись лишь очень неполные отрывки из показаний Колчака,— полного же и выверенного по стенограмме текста напечатано не было. Опубликованный в № 10 «Архива Русской Революции», издаваемого Гессеном в Берлине, текст допроса Колчака носит на себе следы крайне небрежного обращения с историческим документом. Сверка опубликованного текста показаний в «Архиве Русской Революции» с хранящимся в Арх. Окт. Революции оригиналом дешифровки убеждает нас в том, что редакция «Архива Русской Революции» имела в своих руках небрежно перепечатанную копию допроса. Опубликованный текст пестрит бесчисленным количеством грубейших ошибок и опечаток, извращающих смысл показаний Колчака.

Многие из этих ошибок можно отнести за счет невнимательности лиц, переписывавших протоколы допроса. То и дело встречаются то пропуски, то грубейшие извращения имен и фамилий; так, например: мыс Дежнев неоднократно именуется Лежневым; в одном месте пропущена фамилия генерала Андогского, игравшего видную роль; вместо Железнякова фигурирует Орлов (стр. 187);

остров «Котельный» везде переименован в «Котельников»; Василенко переделан в Васильева; В. Чернов в одном месте превращен в Чернышева и пр.

Кроме таких ошибок и опечаток, имеются явные извращения текста в целом ряде важных мест. Приведем несколько примеров: так, на стр. 186 напечатано: «принять должность во второй магнитовой экспедиции» — следует читать: «принять должность второго магнитолога экспедиции»; на стр. 94 напечатано: «Воеводский, предшественник Дикова», следует: «Воеводский. Предшественник его Диков относился к этому довольно безразлично и не противодействовал этой работе». Тут, кроме извращения, имеется пропуск. На стр. 295 напечатана следующая фраза Колчака, обращенная к участнику переворота Лебедеву: «Вы должны мне сообщить фамилии тех лиц, которые в этом участвовали...», тогда как в тексте следовало: «Вы *не* должны мне сообщать фамилии» и т. д. Правильность именно этой фразы с отрицанием *не* подтверждается дальнейшим контекстом. В одном месте, на стр. 228, извращение текста вызвало даже удивление самой редакции, сопроводившей фразу вопросительным и восклицательным знаком. Вот эта фраза: «по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы для прокормления (?!) Черноморского флота». В сверенном тексте следует: «по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы для того, чтобы эти кожи выделывались. Это кожи со скота, который убивался для прокормления Черноморского флота». На стр. 223 каким-то образом Колчак подставляет на место генерала Маниковского себя...

Отметим еще часто встречающиеся пропуски,— их так много, в крупных и малых размерах, что перечислить все нет никакой возможности, приведем лишь несколько примеров.

На стр. 242 пропущен диалог: «**Алексеевский.** Если бы правительство дало приказ о вашем возвращении, вы вернулись бы? (Речь идет об отношении Колчака к приказу правительства Керенского вернуться к командованию Черноморским флотом после известных событий там.) **Колчак.** Несомненно».

На стр. 319 пропущены слова: «**Попов.**— Я говорю,— в контр-разведке при ставке. Возвращаюсь к вопросу о производстве военно-полевого суда в Куломзине».

В сообщении о требовании чехов по поводу состава правительства пропущено: «Михайлова и еще нескольких

лиц, я точно не помню кого, и что они настаивают, чтобы эти лица не были включены в состав Сибирского правительства. Для меня, как для человека нового, вопрос о кандидатуре Михайлова или кого-либо другого стоял совершенно открытым».

Выпущена очень важная деталь в поведении Болдырева перед колчаковским переворотом: «Этот вопрос его чрезвычайно тревожил, и поэтому он выехал, не дожидаясь моего прибытия».

Многочисленные пропуски, извращения текста, замены фраз и прочее совершенно обесценивают напечатанный текст. Попытки редакции корректировать в отдельных случаях явные бессмыслицы путем вставок предполагаемых слов, заключая их в скобки, не только не улучшили положения, а внесли еще бо́льшую путаницу. Вот яркий пример: в том месте, где речь идет о мобилизации в пятиверстной полосе железной дороги, машинистка сделала опечатку «5 вер(с)т»; редакция же «Архива Русской Революции» расшифровала это так: «5 возрастов». И таких случаев не мало. Напечатанный в «Архиве Русской Революции» текст не снабжен никакими примечаниями.

Таким образом, публикуемый нами текст показаний является единственно точным и достоверным воспроизведением подлинных протоколов допроса Колчака.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛУ КОЛЧАКА

(Стенографический отчет)

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

21-го января 1920 г.

Попов. Вы присутствуете перед Следственной Комиссией, в составе ее председателя К. А. Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Н. А. Алексеевского, для допроса по поводу вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Колчак. Да, я адмирал Колчак.

Попов. Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайной Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Колчак. Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде, на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.

Попов. Вы являлись Верховным Правителем?

Колчак. Я был Верховным Правителем Российского Правительства в Омске,— его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Попов. Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам?

Колчак. Она — моя давнишняя хорошая знакомая; она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был

задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Попов. Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не имеем право зафиксировать этого?

Колчак. Нет.

Алексеевский. Скажите нам фамилию вашей жены.

Колчак. Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена — уроженка Каменец-Подольской губ. Отец ее был судебным следователем или членом каменец-подольского суда. Он умер давно; я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном Институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после этого он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он остался на этом заводе в качестве инженера или горного техника. Там я и родился. Мать моя — Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губ. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена женился, а затем служил в артиллерии и в Горном Институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный; до времени поступления в школу получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра — Екатерина; была еще одна маленькая сестра — Любовь, но она умерла еще в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России; где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й петроградской классической гимназии, где пробыл до 3-го класса; затем в 1888 году я поступил в морской корпус и окончил в нем свое воспитание в 1894 году. В морской корпус я перевелся и по собственному желанию, и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в корпус. Из корпуса вышел вторым и получил

премию адмирала Рикорда. Мне было тогда 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для первых пяти или шести первых выходящих, и они получались по старшинству.

По выходе из корпуса в 1894 году я поступил в петроградский 7-й флотский экипаж; пробыл там несколько месяцев, до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на другой крейсер «Крейсер», в качестве вахтенного начальника, в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1899 года, когда этот крейсер вернулся обратно в Кронштадт. Это было первое мое большое плаванье. В 1900 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южно-полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время; писал записки, изучал южно-полярные страны. У меня была мечта найти южный полюс; но я так и не попал в плавание на южном океане.

Алексеевский. Как протекала ваша служба по возвращении? Вы поступили в Академию?

Колчак. Нет, это мне не удалось сделать. Когда я вернулся в мае 1899 года в Петроград, я затем в декабре ушел опять на восток, уже на линейном корабле, на броненосце «Петропавловск». Лето я проплавал в морском кадетском корпусе на крейсере «Князь Пожарский» и ушел на Дальний Восток.

Когда я в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с адмиралом Макаровым, который ходил на «Ермаке» в свою первую полярную экспедицию. Я просил взять меня с собой, но по служебным обстоятельствам он не мог этого сделать, и «Ермак» ушел без меня. Тогда я решил снова итти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, мне удастся попасть в какую-нибудь экспедицию,— меня очень интересовала северная часть Тихого океана в гидрологическом отношении. Я хотел попасть на какое-нибудь судно, которое уходит для охраны котикового промысла на Командорские острова,

к Беринговому морю, на Камчатку. С адмиралом Макаровым я очень близко познакомился в эти дни, так как он сам много работал по океанографии.

Но тут произошли большие изменения в моих планах. В сентябре месяце я ушел на «Петропавловске» в Средиземное море, чтобы через Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля[2] принять участие в организуемой Академией Наук под его командованием северной полярной экспедиции, в качестве гидролога этой экспедиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя внимание барона Толля. Ему нужно было трех морских офицеров, и из морских офицеров он выбрал меня. Я получил предложение через Академию Наук участвовать в этой экспедиции. Предложение это я принял немедленно, так как оно отвечало моим желаниям, и в декабре месяце морское министерство меня откомандировало в распоряжение Академии Наук.

Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Петроград и в январе явился к барону Толлю и поступил в его распоряжение. Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще должность второго магнитолога экспедиции. Там был специалист по магнитологии — Зееберг, и мне было предложено в качестве его помощника заняться и этим. Для того, чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я три месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Это было в 1900 году. С самого начала я работал на петроградской физической обсерватории, а детально я работал в Павловске. Наконец, экспедиция была снаряжена и вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания строителем «Фрама». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании у Нансена, который был другом барона Толля. Он научил меня работать по новым методам.

Алексеевский. Вы не можете ли сказать, кто из состава этой экспедиции в настоящее время жив и находится с вами в сношениях?

Колчак. Теперь все сношения со всеми у меня порвались. Барон Толль погиб вместе с Зеебергом, д-р Вальтер умер, с зоологом Бируля я до войны постоянно под-

держивал связь; где теперь Бируля,— я не знаю. Затем был еще один большой приятель, товарищ по экспедиции, Волосович[3], который потом стал геологом; где он находится теперь,— я тоже не знаю. Из офицеров там был Коломийцев, он, кажется, здесь, в Иркутске. Виделся я с ним, когда в 1917 г. он опять уходил к устью Лены.

Экспедиция ушла в 1900 году и пробыла до 1902 года. Я все время был в этой экспедиции. Зимовали мы на Таймыре, две зимовки на Ново-Сибирских островах, на острове Котельном; затем, на 3-й год, барон Толль, видя, что нам все не удается пробраться на север от Ново-Сибирских островов, предпринял эту экспедицию. Вместе с Зеебергом и двумя каюрами он отправился на север Сибирских островов. У него были свои предположения о большом материке, который он хотел найти, но в этом году состояние льда было таково, что мы могли проникнуть только к земле Беннетта. Тогда он решил, что на судне туда не пробраться, и ушел. Ввиду того, что у нас кончались запасы, он приказал нам пробраться к земле Беннетта и обследовать ее, а если это не удастся, то итти к устью Лены и вернуться через Сибирь в Петроград, привезти все коллекции и начать работать по новой экспедиции. Сам он рассчитывал самостоятельно вернуться на Ново-Сибирские острова, где мы ему оставили склады. В 1902 году, весною, барон Толль ушел от нас с Зеебергом с тем, чтобы потом больше не возвращаться: он погиб во время перехода обратно с земли Беннетта. Лето мы использовали на попытку пробраться на север к земле Беннетта, но это нам не удалось. Состояние льда было еще хуже. Когда мы проходили северную параллель Сибирских островов, нам встречались большие льды, которые не давали проникнуть дальше. С окончанием навигации мы пришли к устью Лены, и тогда к нам вышел старый пароход «Лена» и снял всю экспедицию с устья Тиксти. Коллекции были перегружены на «Лену», и мы вернулись в Якутск, затем в Иркутск и в декабре месяце 1902 года прибыли в Петроград. На заседании Академии Наук было доложено общее положение работ экспедиции и о положении барона Толля. Его участь чрезвычайно встревожила Академию. Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное. Шансов было очень мало, но барон Толль был человеком, верившим в свою звезду, и в то, что ему все сойдет, и пошел на это предприятие. Академия была чрезвычайно встревожена, и тогда я на заседании поднял вопрос о том, что надо сейчас, немед-

ленно, не откладывая ни одного дня, снаряжать новую экспедицию на землю Беннетта для оказания помощи барону Толлю и его спутникам, и так как на «Заре» это сделать было невозможно (был декабрь, а весною надо было быть на Ново-Сибирских островах, чтобы использовать лето),— «Заря» была вся разбита,— то нужно было оказать быструю и решительную помощь. Тогда я, подумавши и взвесивши все, что можно было сделать, предложил пробраться на землю Беннетта и, если нужно, даже на поиски барона Толля на шлюпках. Предприятие это было такого же порядка, как и предприятие барона Толля, но другого выхода не было, по моему убеждению. Когда я предложил этот план, мои спутники отнеслись к нему чрезвычайно скептически и говорили, что это такое же безумие, как и шаг барона Толля. Но когда я предложил самому взяться за выполнение этого предприятия, то Академия Наук дала мне средства и согласилась предоставить мне возможность выполнить этот план так, как я нахожу нужным. Академия дала мне полную свободу и обеспечила меня средствами и возможностью это выполнить. Тогда я в январе месяце уехал в Архангельск, где выбрал себе четырех спутников из мезенских тюлене-промышленников. Со мною согласились итти еще двое из моих матросов из экспедиции — Беличев и Железняков. Когда я приехал на съезд тюлене-промышленников, они заинтересовались этим делом, выбрали мне четырех охотников, привыкших к плаванию во льду, и я с ними, с двумя матросами и четырьмя тюлене-промышленниками в декабре выехали обратно в Иркутск, чтобы здесь подготовить на севере все необходимое для того, чтобы немедленно уехать на Ново-Сибирские острова, которые я избрал как базу.

Я обратился по телеграфу в Якутск к одному политическому ссыльному, П. В. Оленину[4], с которым я познакомился. Он занимался изучением Якутского края. Я обратился к нему, чтоб он за время моего отсутствия проехал на север подготовить вещи и собак для перехода на Ново-Сибирские острова. Он на это согласился и все выполнил. Затем из Иркутска я поехал в Якутск, не теряя нигде ни одного дня. Как можно скорее из Якутска поехал в Верхоянск, затем в Устьянск, где меня ожидал Оленин, который закупил собак; затем на собаках я поехал к устью Тиксти, взял с «Зари» один из хороших китобойных вельботов, на собаках протащил обратно в Устьянск и в начале мая вместе со своими шестью спут-

никами, Олениным и партией местных якутов и тунгусов, которые были как каюры, с транспортом 160 собак, вышел из Устьянска на остров Котельный. Я перебрался на Ново-Сибирские острова, вышел у мыса Медвежьего, около острова Котельного. Этот переход на Ново-Сибирские острова я делал в мае месяце. Там началась уже таль, разлив рек, и затем я остался ожидать вскрытия моря. Я оставил запас провизии; больше не мог взять с собою, взял на три месяца, мне надо было прокормить людей, собак и приберегать на обратный путь. Тогда мы разделились,— Оленин с туземцами остались летовать на островах и заниматься охотой для того, чтобы приготовить мяса. Часть собак пришлось убить, часть этой партии с собаками осталась на летовку на Ново-Сибирских островах, а я с шестью спутниками остался на мысе Медвежьем ожидать вскрытия моря и занимался главным образом охотой, чтобы прокормить себя. Затем, в июле месяце, море вскрылось, и я на вельботе, который был там подготовлен, с шестью спутниками, в тот же день, как только лед тронулся от берега, пошел вдоль южного берега Сибирских островов и вдоль Котельного, направился в Благовещенский пролив, между островами Новой Сибири. Затем, пробираясь через этот пролив, я вышел на северо-западную часть Новой Сибири,— это был ближайший пункт, с которого надо было итти в открытый океан на землю Беннетта. Затем, передохнув на Новой Сибири, мы отправились дальше на север. В противоположность предшествующему 1902 году, когда все море в этом месте было забито льдами, я встретил совершенно открытое море; не было даже льда достаточно большого, чтобы можно было вылезть на него и отдохнуть. Приходилось сидеть все время в шлюпках, а все время был свежий ветер. Наконец, мы добрались до земли Беннетта 5-го августа, на Преображенье,— этот мыс я назвал мысом Преображенским,— и высадился на остров Беннетта. Ближайшее же обследование этого берега очень скоро дало нам признаки пребывания там партии барона Толля. Мы нашли груду камней, в которой находилась бутылка с запиской со схематическим планом острова, с указанием, что там находятся документы. Руководствуясь этим, мы очень скоро, в ближайшие дни, пробрались к тому месту, где барон Толль со своей партией находились на этом острове. Там мы нашли коллекции, геологические инструменты, научные, которые были с бароном Толлем, а затем тот краткий документ, который дал последние

сведения о судьбе барона Толля. Он говорил, что барон Толль прибыл в 1902 году летом на остров Беннетта, где он, в конце концов, решился сначала зимовать, так как уже было поздно, а главное, что их чрезвычайно задержало там,— это попытка охоты. Они старались там охотиться, чтобы пополнить свои запасы, но сделать это им не удалось. Поэтому барон Толль сначала решил перезимовать, надеясь на весеннюю охоту, и продолжать уже дальнейшее движение весною, с наступлением светлого времени, так как в августе уже становится темно. Охота эта была неудачна, и в октябре месяце выяснилось, что партия перезимовать не может, что ей придется умереть там с голоду. Тогда, в конце ноября 1902 года, барон Толль решился на отчаянный шаг — итти на юг в то время, когда уже наступили полярные ночи, когда температура понижается до 40°, когда море, в сущности говоря, даже в открытых местах не имеет воды, а покрыто льдом, так что двигаться совершенно почти невозможно ни на собаках, ни на шлюпках, ни пешком. В такой обстановке, в полярную ночь, он двинулся со своими спутниками на юг. Документ его кончается такими словами: «Сегодня отправились на юг; все здоровы, провизии на 14 дней». Партия, конечно, вся погибла. Тогда я увидал, что моя задача разрешена, что Толль ушел на юг, значит, оставалось сделать последний переход на Сибирские острова и осмотреть все склады, которые были там заложены, чтобы узнать, не оставался ли где-нибудь барон Толль. Эту задачу частью выполнял Оленин. Затем я в августе отправился обратно, на Ново-Сибирские острова. Осмотрел по дороге склады, которые были заложены. Все было цело, никаких признаков возвращения барона Толля не было. Факт его гибели остался почти несомненным. Через 42 дня плавания на этой шлюпке я вернулся снова к своему первому исходному пункту около мыса Медвежьего острова Котельного. Был конец августа и начало сентября. Там я оставался до замерзания моря, а в октябре я перешел обратно на материк, в Устьянск. Все спутники мои остались живы. Оленин выполнил свою задачу, сохранил собак без крайних лишений. Мы вернулись все, не потерявши ни одного человека. Оттуда мы обычным путем поехали в Верхоянск, а затем в Якутск. Это было уже в 1903 году. В декабре месяце я ушел из Устьянска, в январе был в Верхоянске, а затем в конце января прибыл в Якутск, как раз накануне объявления русско-японской войны. С тех пор я с Олениным не видался до прош-

лого года в Харбине; он потом работал на Амуре в золотопромышленной компании.

Алексеевский. Он был политический ссыльный или уголовный?

Колчак. Он был политический ссыльный. Он студент Московского университета. У него была склонность к изысканиям, я бы сказал,— к научному авантюризму. Его интересовал край, и, когда он получил амнистию за свою экспедицию, он вернулся обратно из Петрограда в Якутск.

Алексеевский. А с другими ссыльными вы в Якутской области не входили в сношения?

Колчак. Я встречался с ними в Верхоянске и в Усть-янске, но не завязывал сношений, потому что я бывал временно; близко я ни с кем не знакомился, потому что я везде бывал по несколько дней. Когда я в Якутске получил извещение о том, что случилось нападение на наши корабли в Порт-Артуре и вслед за тем известие о том, что адмирал Макаров назначается командующим флотом в Тихом океане, я по телеграфу обратился в Академию Наук с просьбой вернуть меня в морское ведомство и обратился в морское ведомство с просьбой послать меня на Дальний Восток, в тихоокеанскую эскадру, для участия в войне. Затем, так как Оленин был в курсе всех дел экспедиции, я ему смог сдать все дела, людей, заботы о них, затем ценности, многие научные коллекции, которые он главным образом составил, и со всем этим поручить ему ехать в Петроград для доклада в Академию Наук. А сам я из Иркутска поехал на Дальний Восток. Меня не хотели отпустить, но, в конце концов, после некоторых колебаний, президент Академии, в. кн. Константин Константинович, к которому я непосредственно обратился, устроил так, что меня Академия отчислила и передала в ведомство, а тут я получил приказание поехать в Порт-Артур. Тогда я выехал в Иркутск. В Иркутск приехали меня повидать мой отец и моя теперешняя жена. Я ушел женихом — должен был жениться после первой экспедиции, но вторая экспедиция помешала; затем наступила война, и я решил, что надо жениться. Здесь, в Иркутске, я обвенчался, после чего, пробывши несколько дней, я уехал вместе со своим другом Беличевым, сказавшим, что он пойдет со мною дальше. Поморы же вернулись назад. Я прибыл в Порт-Артур, примерно, в марте месяце или в начале апреля. Макаров тогда еще был жив, Прибывши в Порт-Артур, я явился к адмиралу

Макарову, которого просил о назначении меня на более активную деятельность. Он меня назначил на крейсер «Аскольд», так как, по его мнению, мне нужно было немного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке на большом судне. Я просил назначить меня на миноносец; он упорно не хотел назначить меня на минные суда. На этом «Аскольде» я пробыл до гибели адмирала Макарова, которая произошла на моих глазах 31 марта. После гибели адмирала Макарова я был назначен на очень короткое время на минный заградитель «Амур», а затем на миноносец «Сердитый», в качестве командира. На этом миноносце, после того как я вступил в командование, я не рассчитал своих сил, которые уже за все это время были подорваны,— я получил очень тяжелое воспаление легких, которое меня заставило слечь в госпиталь. Там я провел около месяца; затем, в июле, оправившись от воспаления легких, я снова продолжал командовать миноносцем до осени. К осени у меня снова начали сказываться последствия моего пребывания на крайнем севере, а именно — появились признаки суставного ревматизма.

Алексеевский. Значит, вы в выходе эскадры в июле не участвовали?

Колчак. Нет, в выходе эскадры я участвовал. Я был уже на миноносце, но в боях наш миноносец не участвовал,— шел другой отряд. Мы только проводили выход эскадры, а затем вернулись, так как мой миноносец должен был оставаться в Порт-Артуре. Затем я осенью видел, что мне становится на миноносце все хуже и хуже. После того как был июльский неудачный бой и прорыв во Владивосток и началась систематическая планомерная осада крепости, центр тяжести всей борьбы перенесся на сухопутный фронт. Здесь последнее время мы уже занимались постановкой, главным образом, мин и заграждений около Порт-Артура, и мне удалось, в конце концов, поставить минную банку на подходах к Порт-Артуру, на которой взорвался японский крейсер «Такосадо». Результат пребывания на севере — ревматизм и общее положение дел, при котором центр тяжести войны переносился на сухопутный фронт, заставили меня в сентябре просить назначения на сухопутный фронт. Все время я принимал участие в мелких столкновениях и боях во время выходов. Осенью я перешел на сухопутный фронт. Я вступил в крепость, командовал там батареей морских орудий на северо-восточном фронте крепости и на этой батарее я оставался до сдачи Порт-Артура, до

последнего дня, и едва даже не нарушил мира, потому что мне не было дано знать, что мир заключен. Я жил в Порт-Артуре до 20-х чисел декабря, когда крепость пала. Когда была сдача крепости, я уже еле-еле ходил, но держался еще, и когда было падение Порт-Артура, мне пришлось лечь в госпиталь, так как у меня развился в очень тяжелой форме суставной ревматизм. Я был ранен, но легко, так что это меня почти не беспокоило, а ревматизм меня совершенно свалил с ног. Эвакуировали всех, кроме тяжелораненых и больных, я же остался лежать в госпитале в Порт-Артуре. В плену японском я пробыл до апреля месяца, когда я начал уже несколько оправляться. Оттуда нас отправили в Дальний, а затем в Нагасаки.

В Нагасаки партия наших больных и раненых получила очень великодушное предложение японского правительства, переданное французским консулом, о том, что правительство Японии предоставляет нам возможность пользоваться, где мы захотим, водами и лечебными учреждениями Японии, или же, если мы не желаем оставаться в Японии, вернуться на родину без всяких условий. Мы все предпочли вернуться домой. И я вместе с группой больных и раненых офицеров через Америку отправился в Россию. Это было в конце апреля 1905 года. Все мы через Америку вернулись в Петроград. В Петрограде меня сначала освидетельствовала комиссия врачей, которая признала меня совершенным инвалидом, дала мне четырехмесячный отпуск для лечения на водах, где я пробыл все лето до осени. С осени я продолжал свою службу, при чем на мне лежала еще обязанность перед Академией Наук дать прежде всего отчет, привести в порядок наблюдения и разработку предшествующей экспедиции, которая была мною брошена. Все мои труды по гидрологии и магнитологии, съемки были брошены, так что я опять поступил в распоряжение Академии Наук и осенью 1905 года занимался в Академии Наук, но уже занимался трудом кабинетным, работал в физической обсерватории и приводил в порядок свои работы. Это относится к периоду моей большой связи с Академией и с Географическим обществом. Затем в Географическом обществе я получил научную высшую награду за свои последние экспедиции — большую Константиновскую золотую медаль.

Эта работа продолжалась до января 1906 года. Я привел до известной степени в порядок и передал в перера-

ботку специалистам свои научные труды по этой экспедиции.

В 1906 году, в январе месяце, произошли такого рода обстоятельства. После того, как наш флот был уничтожен и совершенно потерял все свое могущество во время несчастной войны, группа офицеров, в числе которых был и я, решили заняться самостоятельной работой, чтобы снова подвинуть дело воссоздания флота и, в конце концов, тем или иным путем как-нибудь стараться в будущем загладить тот наш грех, который выпал на долю флота в этом году, возродить флот на началах более научных, более систематизированных, чем это было до сих пор. В сущности, единственным светлым деятелем флота был адмирал Макаров, а до этого времени флот был совершенно не подготовлен к войне, и вся деятельность его была не военная и не серьезная. Нашей задачей явилась идея возрождения нашего флота и морского могущества.

Группа этих морских офицеров, с разрешения морского министра, образовала военно-морской кружок, полуофициальный. Так нам было предоставлено в Морской Академии помещение; средства кое-какие морское министерство дало, так как оно относилось благожелательно к этой работе. Я был в числе основателей этого военно-морского кружка в Петрограде, где мы занялись прежде всего разработкой вопроса, как поставить дело воссоздания флота на соответствующих научных и правильных началах. В результате этого, в конце концов, мною и членами этого кружка была разработана большая записка, которую мы подали министру по поводу создания морского генерального штаба, т. е. такого органа, который бы ведал специальной подготовкой флота к войне, чего раньше не было: был морской штаб, который ведал личным составом флота,— и только. В этот кружок входили Щеглов, Римский-Корсаков, Пилкин; затем к нему присоединились очень многие. Я долгое время был председателем этого кружка. К поданной записке отнеслись очень сочувственно, и весною 1906 года было решено создать морской генеральный штаб. План этот был одобрен, и весною, приблизительно в апреле 1906 года, он был осуществлен созданием морского генерального штаба. В этот штаб вошел и я, в качестве заведующего балтийским театром. Я был в то время капитаном 2-го ранга и явился одним из первых, назначенных в этот штаб. С этого времени и начинается период, обнимающий приблизительно 1906, 1907, 1908 гг.,— период, если можно так выразить-

ся, борьбы за возрождение флота. В основание всего этого дела морским генеральным штабом была выдвинута морская судостроительная программа, которой до сих пор не было. Постройка судов шла без всякого плана, в зависимости от тех кредитов, которые отпускались на этот предмет, при чем доходили до таких абсурдов, что строили не тот корабль, который был нужен, а тот, который отвечал размерам отпущенных на это средств. Благодаря этому получились какие-то фантастические корабли, которые возникали неизвестно зачем.

Таким образом, прежде всего была выдвинута планомерная судостроительная программа. Первая работа, которая была выполнена морским генеральным штабом, заключалась в изучении военно-политической обстановки. Это был именно тот период, когда морской генеральный штаб работал совместно с сухопутным. Во главе нашего штаба стоял адмирал Брусилов [5], а там генерал Палицын [6]. Это был единственный период, который я знаю, когда оба штаба работали совместно и согласованно. Это был период изучения общей политической обстановки, и еще в 1907 году мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. — совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой мы определяли в 1915 году, указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии; знали, что в 1915 году она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать.

После долгого и весьма детального изучения исторического и военно-политического, было решено как морским, так и сухопутным штабами, что мы будем на стороне противников Германии, что союза с Германией заключить будет нельзя, и что эта война должна будет решить, в конце концов, вопрос о славянстве: быть или не быть ему в дальнейшем. Были известные группы, которые резко расходились с этой точкой зрения и указывали на необходимость союза с Германией, но та политическая обстановка, которая была положена в основание, показывала, что война произойдет против союза срединных империй. Я хочу только подчеркнуть, что вся эта война была совершенно предвидена, была совершенно

предусмотрена. Она не была неожиданной, и даже при определении начала ее ошибались только на полгода. Да и то немцы и сами признают, что они начали ее раньше, чем предполагали. Таким образом, в связи с общим политическим положением и была разработана судостроительная программа, долженствовавшая быть законченной к 1915 году. К этому времени относится период чрезвычайно тесных сношений обоих штабов с Государственной Думой, которая принимала в этом деле большое участие. В этот период 1906—1907 гг. различные политические группы, политические организации — все интересовались военными вопросами. Мне приходилось постоянно бывать там в качестве докладчика и эксперта на многих заседаниях. Там часто ставились вопросы о надводном и подводном флоте, и вообще общество чрезвычайно интересовалось этой войной и военным и морским делом. Этот период был чрезвычайно оживленным в этом смысле. К этому периоду относится чрезвычайно близкая связь между обоими штабами и Государственной Думой и ее военными комиссиями. В этих военных комиссиях я был в качестве эксперта и присутствовал на всех решительно обсуждениях вопросов, которые касались флота.

Алексеевский. Были ли среди офицеров флота морского ведомства сторонники союза с Германией, хотя бы по соображениям чисто профессиональным, техническим?

Колчак. Я могу указать на Бернса, который был тогда нашим агентом в Германии и который теперь в Советской России (кажется, после Альтфатера он выполняет обязанности командующего флотом). Он был определенным сторонником союза с Германией, указывая, что разрывать с Германией нельзя, что все вопросы, которые существуют, могут быть разрешены удовлетворительно, и что, наоборот, союз с Англией и Францией не сулит России ничего, кроме дальнейших осложнений. Вы, может быть, помните одну книгу военно-политического содержания, сочинение Вандаля: там проводилась эта точка зрения о необходимости союза с Германией. Это наделало много шума и разделило общество на два лагеря: один — германской ориентации, и другой — союзнической ориентации. Крупными противниками этой точки зрения были адмиралы Эссен и Непенин[7]. Армирал Эссен был определенно против немцев, хотя и был сам немецкого происхождения. Непенин был также их противником и ненавидел немцев. Среди крупных представителей морского ведомства не было представителей германской ори-

ентации. Большинство склонялось к союзнической ориентации, так как всем было видно, что приготовления Германии к войне идут, что она готовится к войне именно с нами, о чем ясно говорили добытые документы. Конечно, могли быть ошибки, конечно, такие вещи легче говорить пост-фактум, но тогда для меня, например, один Трейчке стоил откровения, так как ясно говорил об отношении к нам Германии. Я думаю, если у меня и были минуты колебания, то Трейчке их уничтожил. Ведь Трейчке исходил из изучения всей картины, всей исторической стороны этого дела, всей политики Германии.

Алексеевский. Таким образом, новому морскому генеральному штабу приходилось составлять программу в смысле борьбы с Германией?

Колчак. Для того, чтобы выработать программу, надо было иметь определенного противника и определенный срок. Этот срок был фиксирован 1915 г., главный же противник был определен, как Германия. Новая судостроительная программа была принята и представлена в Государственную Думу, но здесь произошли крупные события. Совершенно неожиданно морским министром был назначен Воеводский. Предшественник его Диков относился к этому довольно безразлично и не противодействовал этой работе. Тогда у морского генерального штаба явилась большая идея: будучи противниками Германии, мы, в сущности говоря, признавали, что германская военная организация является образцовой, и оба генеральные штаба,— и сухопутный, и морской — стремились к созданию положения генеральных штабов, как независимых органов, подчиненных только верховной власти, а не министру. Это вызвало смену Палицына, и ясно было по моменту, что смещен будет и Брусилов. Но он тогда заболел и умер. Вслед за этим явилась реакция против тенденций, бывших в морском генеральном штабе. Министром был назначен Воеводский, который почему-то начал борьбу с Государственной Думой именно на почве этой судостроительной программы. Он старался препятствовать этому и повел борьбу с Государственной Думой в то время, когда дело уже налаживалось. Между тем время шло и не ждало, по нашему убеждению, и программу надо было проводить. В конце концов, Воеводским дело было поставлено так, что программа эта остановилась. На многих, для которых эта программа являлась всем смыслом, целью нашего существования, в том числе и на меня, это произвело ужасное впечатление.

Я был одним из главных составителей программы, большую часть ее я писал и разрабатывал, наконец, с этой целью я ездил в Государственную Думу, к Гучкову и другим членам Государственной Думы. Я старался это сделать возможно быстро, прилагая все усилия, но сделать было ничего нельзя. Тогда я сказал себе, что при таких условиях, когда эта программа морского министерства не могла быть проведена из-за разногласий, которые были для меня непонятны, из-за какой-то борьбы, которую вел морской министр с Государственной Думой,— оставаться в генеральном штабе я не могу. Я видел, что с этим ничего нельзя поделать, и потому решил оставить военную работу и вернуться к прежней научной деятельности. Воеводский, будучи назначен министром, начал изменять и переделывать эту программу, задерживать запросы, которые делались Государственной Думой и которые были необходимы для решения вопросов, и т. д. Почему он это делал, было совершенно неизвестно, но вред этим делу был нанесен ужасный. В конце концов, это отразилось тем, что программу не выполнили к тому сроку, к которому она могла и должна была быть выполнена. Вначале эта программа была тем, что было известно под именем «большой программы», затем она распалась на два проекта — большой и малый. Это было делом Воеводского. На меня это подействовало самым печальным образом, и я решил, что при таких условиях ничего не удастся сделать, и потому решил дальше заниматься академической работой. Я перестал работать над этим делом и начал читать лекции в Морской Академии, которая была тогда образована. Я читал лекции несколько месяцев и решил, что лучше вернуться к научной работе. В это время начальник главного гидрографического управления Вилькицкий (я его хорошо знал, так как он был полярный исследователь, а он меня хорошо знал и сочувствовал всей моей деятельности) предложил мне организовать экспедицию для исследования северо-восточного морского пути из Атлантического океана в Северный океан вдоль берегов Сибири. Встретившись и поговорив с ним, я решил заняться этим делом. Находясь в генеральном штабе, я разработал проект этой экспедиции и подал Вилькицкому. При разработке вопроса, как выполнить эту экспедицию, я, на основании всего предшествующего опыта полярного плавания, на основании опыта плавания здесь на севере, остановился на организации новой экспедиции на стальных судах ледокольного

типа, конечно, не таких, которые могли бы ломать полярный лед, так как опыт «Ермака» показал, что это невыполнимо и что активная борьба с океанским льдом невозможна. Но опыт показал, что конструировать судно, которое выдерживало бы давление льдов, вполне возможно, что это затруднений не вызывает и что, конечно, легко построить стальное судно большой вместимости, которое во всяком случае не будет уступать «Фраму», построенному Нансеном из дерева и только снабженному стальной обшивкой. Я считал необходимым иметь два таких судна, чтобы избежать случайностей, неизбежных в такой экспедиции. В конце концов, в 1908 году главное гидрографическое управление выступило с проектом организации такой экспедиции для изучения вопроса о северном морском пути из Тихого в Атлантический океан кругом северного побережья Сибири. Я, оставаясь пока в штабе, принимал в разработке этого проекта активное участие. Все свободное время я работал над этим проектом, ездил на заводы, разрабатывал с инженерами типы судов. В этом принимал участие и мой бывший спутник Маттисен [8]. Решено было построить два ледокольных стальных суда, которые были названы: «Таймыр» и «Вайгач». Командиром был назначен Маттисен. Когда это было решено, я просил отчислить меня от генерального штаба.

Кружок офицеров продолжал функционировать до последнего времени, и я продолжал работать в качестве председателя этого кружка. Я смотрел на этот кружок, главным образом как на образовательный, имеющий целью поднять уровень военного образования в офицерской среде. Там делались интересные доклады, производились научные работы и т. д. Решив заняться всецело делом экспедиции, я в 1908 году ушел из генерального штаба и всецело посвятил себя наблюдению за постройкой этих судов на невском судостроительном заводе. В 1909 году суда были спущены, и мы осенью ушли на Дальний Восток, с тем, чтобы летом 1910 года пройти через Берингов пролив на северную часть полуострова. Я командовал «Вайгачем», «Таймыром» же командовал сначала Маттисен. Это были суда ледокольного типа. Идея их состояла в том, чтобы лед не ломал и не давил их. Поэтому они обладали чрезвычайно сильным корпусом и сравнительно слабыми машинами, так как главный вопрос в данном случае, это — большой радиус действия, и ледокольного типа суда учитывают эту идею ударов и сжатия льда.

Таким образом во второй половине 1909 года мы ушли на Дальний Восток и через Средиземное море и Индийский океан весной 1910 года прибыли во Владивосток. Так как мы пришли во Владивосток уже поздно, то главным гидрографическим управлением была поставлена нам задача пройти в этом году Берингов пролив и обследовать район этого пролива, имея основным пунктом для съемок и больших астрономических наблюдений мыс Дежнев, и затем вернуться обратно во Владивосток на зимовку, а в следующем году итти дальше. Мы ушли из Владивостока и выполнили эту задачу. Вышли за Берингов пролив по направлению к мысу Дежнева.

Экспедиция была очень хорошо оборудована для этой цели, в особенности «Вайгач», который был оборудован специально для картографических работ. Я главным образом работал по океанографии и гидрологии. Осенью мы вернулись во Владивосток на зимовку и для ремонта, с тем, чтобы летом пораньше двинуться на север и продолжать систематическую работу. По прибытии во Владивосток я получил телеграммы от того же Воеводского, бывшего морским министром, и начальника морского генерального штаба кн. Ливена. Ливен был начальником генерального штаба после Брусилова и, несмотря на свое немецкое происхождение, был страшным противником немцев. В этих телеграммах Ливен и Воеводский просили меня приехать в Петроград и продолжать мою работу в морском генеральном штабе для скорейшего проведения судостроительной программы. Решено было во что бы то ни стало производить эту программу и приступить к постройке новых судов. После некоторого колебания, я дал свое согласие на возвращение.

В 1910 году я оставил экспедицию и вернулся. У меня опять явилась надежда, что, может быть, удастся дело направить. Поэтому я вернулся в морской генеральный штаб и был снова назначен на то же место заведующего балтийским театром. Меня все это время замещал мой помощник, и я принял дело почти в прежнем состоянии, так как за время моего полугодового отсутствия там ничего не делалось. Я прибыл в Петроград зимой 1910 года и оставался там 1911 год до весны 1912 года. В штабе я главным образом работал над деталями судостроительной программы и ее реализацией, установкой нового типа судов и вообще ведал всей подготовкой флота к войне. По этой должности я находился в очень тесной связи с адмиралом Эссеном и штабом командующего Балтий-

ским флотом, так как мне приходилось постоянно ездить туда. Мне приходилось принимать участие в маневрах, рассматривать задания для маневров и т. д. Таким образом, я находился в тесной связи с Балтийским флотом. Та должность, которая в сухопутном ведомстве носит название квартирмейстера, во флоте носит название флаг-капитана по оперативной или хозяйственной части. Таким флаг-капитаном по оперативной части в штабе адмирала Эссена был Альтфатер, с которым я находился постоянно в связи на работе по подготовке флота к войне. В 1912 году адмирал Эссен заявил мне, что он хотел бы, чтобы я поступил в действующий флот. Меня самого очень тяготило пребывание на берегу, я чувствовал себя усталым, и мне хотелось отдохнуть в обычной строевой службе, где все же было легче. Я это откровенно высказал; заявил, что главную задачу я выполнил, что дело сделано и что теперь остается только следить технически, чтобы налаженное дело шло дальше. Последнее, что я сделал, это было участие в разработке деталей нового типа огромных крейсеров — типа «Кимбурн», но они опоздали. В 1912 году я ушел из морского генерального штаба и поступил в минную дивизию командиром эскадренного миноносца «Уссуриец». Я командовал «Уссурийцем» год, затем был в Либаве, где была база минной дивизии. Через год адмирал Эссен пригласил меня быть флаг-капитаном по оперативной части у него в штабе. При адмирале Эссене, который держал свой флаг на броненосном крейсере «Рюрик», состоял в его распоряжении один из лучших эскадренных миноносцев «Пограничник». Он состоял непосредственно в распоряжении адмирала Эссена, который на нем ходил постоянно по Балтийскому морю. Я, будучи флаг-капитаном в штабе Эссена, в то же время был командиром «Пограничника». Адмирал Эссен все это время был то у меня на «Пограничнике», то на «Рюрике». В этой должности командира «Пограничника» я оставался год, в должности же флаг-капитана оставался и на войне.

В этом году все признаки военно-политической атмосферы чрезвычайно сгустились. Для всех была ясна близость войны. Адмирала Эссена чрезвычайно заботила усиленная подготовка со стороны войск. Он всю душу вкладывал для подготовки флота к выполнению программы военных действий, которая существовала на случай разрыва с Германией. На «Пограничнике» я оставался год. Затем чрезвычайно серьезные и грозные признаки,

которые возникли весной 1914 года относительно войны, заставили адмирала Эссена приказать мне сдать «Пограничник» и перейти в его непосредственный штаб на «Рюрик».

Несмотря на то, что с весны до начала войны шла подготовка флота к войне, благодаря деятельности Воеводского мы к войне не были готовы в смысле выполнения намеченной программы. Эта программа, начиная с судостроительной, с которой было связано все остальное, была задержана Воеводским на два года. Что касается других причин задержки в выполнении этой программы, то и помимо людей таких причин было много. Причиной этого была прежде всего самая организация морского министерства и главным образом его технических отделов, с их страшной канцелярщиной и волокитой в сношениях с заводами, с утверждением чертежей, с разрешением всевозможных вопросов, связанных с судостроением. Все это страшно отражалось на деле. Таким образом, одной из причин являлся также бюрократизм, бывший в этих учреждениях. Это было ужасное место, с которым генеральный штаб пытался вести борьбу, но тщетно.

Алексеевский. Помимо этих обстоятельств, лежащих в излишне бюрократическом характере учреждений морского ведомства, и помимо этой деятельности Воеводского, не было ли и намеренного задерживания выполнения этой программы?

Колчак. Конечно, такие разговоры были, но фактически это трудно было доказать. В морской среде это казалось подозрительным, об этом говорили, но фактически доказать это было невозможно. Об этом шли разговоры в кают-компаниях, но официально сказать об этом я затрудняюсь. К тому же надо иметь в виду, что это общее свойство вооруженной силы, в том числе и строевого флота,— обвинять тыл во всех грехах, которые непосредственно отражаются на строевой части. Персонально эти разговоры ни к кому не приурочивались. Таким образом, период 1914 года, с начала весны, в Балтийском флоте прошел в усиленной работе, в скорейшем утверждении программ стрельбы, подготовки минных учений и т. д., так как война казалась все более и более приближающейся. Перед самым началом войны я был на отряде подводного плавания в Балтийском флоте. Будучи флаг-капитаном, я ездил часто инспектировать по своей должности в Балтийском порту. Затем меня совер-

шенно срочно потребовал Эссен в Ревель (это было примерно 16-го июля), где он заявил, что разрыв с Германией и Австрией почти неминуем, и что надо готовиться к выполнению того плана, который мы выработали. Этот план базировался на том, чтобы в наиболее узкой части Финского залива, между Паркалаудом и Наргеном, выставить сильное минное поле, которое защищалось бы наличными силами флота.

Выработанные задания, которые флот имел, заключались в первое время только в одном — обеспечить восточную часть Финского залива от проникновения туда неприятельских судов в период нашей мобилизации, чтобы неприятель не мог помешать этому угрозой высадки в тыл, и т. д. Это была задача, поставленная флоту. В общих чертах план весь сводился к тому, чтобы выставить между Паркалаудом и Наргеном сильное минное поле и защищать, маневрируя наличными силами флота.

Минные же и подводные лодки должны были стараться, если неприятель войдет в Финский залив, пользуясь балтийским плацдармом, производить атаки, нападать на противника и мешать его операциям, так как, конечно, силы Балтийского флота, бывшие тогда, конкурировать с германским флотом не могли.

После этих разговоров нужно было немедленно составить инструкции, составить распоряжения, сигналы, так как, хотя и не было еще окончательного разрыва, все-таки надо было сделать решительно все, чтобы не терять ни одного часа, когда нужно будет выставить минные заграждения, составить особый отряд минных заградителей,— одним словом, привести все в такое состояние, чтобы все могло быть выполнено по первому сигналу. Сведения, получавшиеся нами в следующие часы, все более и более сгущали эту атмосферу открытия военных действий. В частности на «Рюрике», в штабе нашего флота, был громадный подъем, и известие о войне было встречено с громадным энтузиазмом и радостью. Офицеры и команды все с восторгом работали, и вообще начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей службы. Таким образом обстановка складывалась самая серьезная: разрыв с Австрией фактически уже произошел. С Германией, как известно, он произошел позже. Адмирал Эссен волновался и указывал, что все кончится тем, что германский флот прорвется в Финский залив, так как высланные в море крейсера, конечно, не удержат его,

и, не выставив минных заграждений, мы сможем задержать его только на несколько дней. Это обстоятельство его страшно волновало, и в одну из поездок он заговорил об этом со мной. Я сказал ему, что надо принять решение и ставить минное поле, каковы бы ни были последствия, так как разрыв ясен. Надо взять на себя постановку поля, так как фактически всякие сношения уже были прерваны. Адмирал Эссен согласился с этим. Мы прибыли на «Рюрик» и со всем флотом вышли к Наргену. Было решено с рассветом начинать постановку поля, не ожидая приказания из Петрограда. Вся операция состояла в том, что у Паркалауда был сосредоточен отряд заградителей с 6.000 мин. Они были на противоположном берегу Финского залива, а флот, который прикрывал заградителей, сосредоточился у острова Наргена. По плану, флот должен был выйти из Наргена, развернуться, а заградители, выйдя с ним, в два приема должны были поставить 8 линий заграждения, после чего они уходили в шхеры, а флот возвращался в Ревель. Мы решили ставить поле, все равно не ожидая приказания из Петрограда. Но как раз в момент, когда подняли сигнал: «начать постановку заграждений», когда показались дымы заградителей, и флот снялся и вышел в море на их прикрытие, в этот самый момент мы получили радио, условную телеграмму из морского штаба: «Молния» — «Ставьте минные заграждения». Таким образом, это вышло чрезвычайно удачно. Через несколько часов была получена телеграмма с объявлением войны.

Первые два месяца войны я оставался в должности флаг-капитана. Все это время я работал над всевозможными планами и всякими оперативными заданиями, причем старался, где это было возможно, непосредственно участвовать в их выполнении. Поэтому я постоянно переходил на ту или иную часть флота, которая выполняла различные задания, утвержденные, конечно, адмиралом Эссеном, но разработанные мною. Противник оказался, против наших ожиданий, неактивным. Мы считали, что жизни нам осталось немного, что если он придет с достаточными силами, то, несмотря на заграждения, он сумеет прорвать их и уничтожить. И в этом случае положение Балтийского флота было бы чрезвычайно тяжелым. Дредноуты у нас еще не были готовы (они только осенью начали выступать). У нас были только «Рюрик» и «Андрей Первозванный». Все силы заключались в минных судах, так как подводные лодки также еще не были го-

товы, и было только несколько старых, хотя вся программа была в ходу. Подводные лодки вступили в кампанию уже во время войны, и на дредноутах первое время плавало по 300—400 рабочих с Франко-Русского завода.

Все выходы в море, которые делал противник, оказывались, против всяких ожиданий, чрезвычайно пассивными, так как, повидимому, немцы были отвлечены английским флотом в Немецком море и ограничивались только слабым наблюдением за нами. Это давало нам возможность продвинуться дальше, и постепенно мы получили возможность не только защищать Финский залив, но перенести нашу деятельность дальше, до Рижского залива, прикрывать там вход и развить нашу деятельность в Ботническом заливе на Або, среди шхер, которые по первоначальному плану, как бы отдавались немцам. Тут оказалось, что мы имеем возможность продвинуться дальше на запад, что немцы не только не предпринимают ничего, но ведут себя очень пассивно, ограничиваясь стрельбой по маякам и редкими демонстративными действиями крейсеров и миноносцев у берегов. Тогда, с наступлением зимы, мы решили перейти к более активным действиям в смысле выхода в море и нападения на противника в открытом море. Для этой цели в море выходили несколько крейсеров, с ними выходил и сам Эссен. Но это не давало ничего, и обыкновенно мы никого не встречали. И только один раз встретили крейсер, который ушел от нас, будучи более быстроходным.

Тогда мы решили перейти к операциям с минными заграждениями уже в водах самого противника, начать заграждать его выходы в фарватер и этим стеснять его. Эта деятельность началась с постановки целого ряда заграждений у германских берегов, вдоль побережья Балтийского моря. Это было выполнено целым отрядом крейсеров, в числе которых был крейсер «Рюрик», на котором я сам был лично, когда пробрался за Борнгольм и прошел до Карколи, где и поставил заграждения как раз на новый 1915 год. Весной 1915 г. я просил Эссена дать мне возможность выполнить одну самостоятельную операцию — заградить Данцигскую бухту и поставить там у входа минные заграждения. Я взял 4 лучших миноносца типа «Пограничника», временно вступил в командование этим минным отрядом и выполнил задачу. Главной трудностью было чрезвычайно суровое время года,— в январе месяце там бывает масса льда,— но у меня кое-какой

опыт имелся. Надо было вырваться из Ревеля, пробраться через лед в Финском заливе и пробраться к Данцигской бухте. Эта экспедиция увенчалась успехом и дала положительные результаты в смысле подрыва нескольких немецких судов. Таким образом, я продолжал свою деятельность в качестве флаг-капитана, участвуя почти во всех предприятиях. При заграждении Либавы я был на отряде миноносцев и вообще полагал, что, вырабатывая какой-нибудь план, надо присутствовать и при его непосредственном выполнении. Адмирал Эссен разделял мою точку зрения, и поэтому я проводил все время, участвуя в отдельных экспедициях, в отдельных предприятиях, боевых столкновениях, а в промежутках работал на «Рюрике», флагманском корабле, или выходил с Эссеном. Осенью 1915 года адмирал Трухачев, командовавший минной дивизией, которая в это время была выдвинута в Рижский залив и защищала его (только перед этим был поспешно ликвидирован прорыв немцев в этот залив), во время свежей погоды, вывихнув ногу, заболел. Надо было назначить нового командира минной дивизии. Адмирал Эссен предложил мне временно вступить в это командование. Это было в начале сентября.

К этому времени мы сосредоточили в Рижском заливе некоторые суда, так что там образовалась целая отдельная группа с линейным кораблем «Слава»; там были также заградители, подводные лодки, транспорты, всего в общей сложности, кроме миноносцев, до 50 вымпелов. К этому времени немцы произвели высадку на южном берегу Рижского залива и угрожали непосредственными действиями Риге. Их позиции подошли к Рижскому штранду* и были недалеко от Кеммерна. Предполагалась их большая операция на Ригу. В этот момент я был назначен командовать минной дивизией и всеми силами в Рижском заливе на время болезни адмирала Трухачева. Я отправился в Рижский залив и вступил в командование дивизией. В первые же дни я разработал план операции против немцев и их левого фланга, находящегося на южном берегу Рижского залива, под Ригой. Прежде всего, я прошел в Ригу, чтобы повидаться с командующим 12 армией Радко-Дмитриевым, чтобы сговориться относительно общего плана совместных действий на левом фланге немецкой армии. Условившись с ним относительно этого и разработавши детали, я вернулся об-

---

* Штранд — морской берег.

ратно в Ригу, в Моонзунд, где были сосредоточены главные силы минной дивизии. После этого я вышел на юг Рижского залива. В это время началось наступление немцев, которые взяли Кеммерн и потеснили наши части, выставленные против них. Нами была разработана совместная операция флота и армии. Там были выставлены сильные береговые батареи; надо было сбить их и действовать на немецкие войска, занявшие Кеммерн. Эта задача была выполнена, наступление на Ригу остановлено, и немцы были выбиты из Кеммерна с громадными потерями. Батареи же их были приведены в молчание. Этим самым операции немцев были приостановлены. Может быть в будущем они бы их и выполнили, но во всяком случае они были на долгое время задержаны. Во время боев был убит командир «Славы» Вяземский.

После этого мною была произведена другая операция,— я высадил десант на Рижское побережье, в тыл немцам. Правда, его пришлось быстро снять, так как он был незначителен, но во всяком случае он привел немцев в панику, так как они совершенно не ожидали высадки этих сил, при чем этим десантом был разбит немецкий отряд, прикрывавший местность. За эту работу я был представлен Радко-Дмитриевым, которому я подчинялся, как старшему во время операции, к георгиевскому кресту и получил эту высшую боевую награду. В то время я был капитаном первого ранга (в эту должность я был произведен в Либаве в 1915 г.). До ноября месяца — сентябрь и октябрь — я работал в Рижском заливе. К этому времени адмирал Трухачев оправился; ему было снова предложено вступить в командование минной дивизией, и я снова вернулся на «Рюрик». Адмирал Эссен тогда уже перенес свой флаг на «Петропавловск», где помещался их штаб. Я приступил к работам по выполнению программы, а также продолжал нести работу флаг-капитана в штабе Эссена. В конце декабря Эссен решил назначить адмирала Трухачева командующим бригадой крейсеров, а меня — начальником минной дивизии и командующим силами в Рижском заливе.

Около 20-х чисел декабря я вступил в командование минной дивизией в Ревеле, как постоянно командующий этой дивизией. Перед моим вступлением в командование минная дивизия по моему плану выполнила очень удачно минные заграждения Виндавы, на которых погибло несколько немецких миноносцев и немецкий крейсер,

совершенно не ожидавшие, что Виндава может быть заграждена нашими минами. В этом предприятии мне не пришлось участвовать, но, как только я вступил в командование дивизией, я решил, пользуясь тем, что наступают последние дни декабря, после чего будет очень трудно повторить эту операцию, спросив на это разрешение Эссена, выйти на постановку минного заграждения к Либаве и Мемелю и заградить вход туда. 24-го, в сочельник, я вышел из Ревеля с отрядом миноносцев, имея свой флаг на миноносце «Новик», но по выходе из Финского залива попал, повидимому, на неприятельское минное поле. Один из миноносцев взорвался; пришлось его спасать, и таким образом предприятие не удалось. Это — первое предприятие, которое у меня не увенчалось успехом. Пришлось вернуться, таща за собой полузатопленный миноносец. Затем наступила зима 1915—1916 года, чрезвычайно суровая. Была такая масса льда, что о выходе и думать не приходилось. Весною 1916 года, как только состояние льда позволило выйти ледокольным судам через Моонзунд в Рижский залив, я ушел туда из Ревеля, а как только лед вскрылся, я вызвал минную дивизию и стал в Рижском заливе продолжать свою работу по защите его побережья и по борьбе с береговыми укреплениями Рижского залива и защите входа в Рижский залив, при чем уничтожил один дозорный корабль — «Виндаву». Тогда же, получивши сведения о выходе из Стокгольма немецких судов с грузом руды под защитой одного вооруженного, как крейсер, коммерческого судна, я с несколькими лучшими миноносцами типа «Новик», под прикрытием отряда крейсеров, под командой адмирала Трухачева, вышел к шведским берегам, ночью напал на караван, рассеял его и потопил конвоирующий его корабль. Это было моим последним делом в Балтике. Затем, не помню по какому делу, я был внезапно вызван из Моонзунда в Ревель; это было приблизительно в 20-х числах июля. В Ревеле мне совершенно неожиданно была вручена телеграмма из ставки о том, что я назначаюсь командующим Черноморским флотом, с производством в вице-адмиралы.

Заверил:

Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.

К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

23-го января 1920 г.

Алексеевский. В прошлый раз вы закончили тем, что получили в апреле неожиданное производство в вице-адмиралы и телеграмму о назначении вас командующим флотом Черного моря.

Колчак. Получивши это назначение, я вместе с тем получил приказание ехать в ставку для того, чтобы получить секретные инструкции, касающиеся моего назначения и командования в Черном море. Я поехал сперва в Петроград и оттуда в Могилев, где находилась ставка, во главе которой стоял ген. Алексеев, начальник штаба верховного главнокомандующего. Верховным главнокомандующим был бывший государь. По прибытии в Могилев, я явился к ген. Алексееву. Он приблизительно в течение полутора или двух часов подробно инструктировал меня об общем политическом положении на нашем западном фронте. Он детально объяснил мне все политические соглашения чисто военного характера, которые существовали между державами в это время, и затем после этого объяснения сказал, что мне надлежит явиться к государю и получить от него окончательные указания. Указания, сделанные мне Алексеевым, были повторены и государем. Они сводились к следующему: назначение меня в Черное море обусловливалось тем, что весною 1917 г. предполагалось выполнить так называемую босфорскую операцию, т.-е. произвести уже удар на Константинополь. Все это находилось в связи с положением на нашем южном или левом фланге. Это было в начале июля, а осенью, приблизительно в августе, должна была выступить Румыния, и в зависимости от этих действий предполагалось лишь продвижение наших армий вдоль западного берега Черного моря, через пролив на Турцию и на Босфор, или, в зависимости от положения, предполагалось, что флот должен оказывать содействие этим продвижениям, либо выбросить десант непосредственно на Босфор, и флот должен был постараться захватить его. На мой вопрос, почему именно меня вызвали, когда я все время работал в Балтийском флоте, хотя я и занимался вопросом о проливах,— они меня интересовали чисто теоретически,— ген. Алексеев заявил, что общее мнение в ставке было таково, что я лично, по своим

свойствам, могу выполнить эту операцию успешнее, чем кто-либо другой.

Затем, после выяснения всех вопросов, я явился к государю. Он меня принял в саду и очень долго, около часа, меня также инструктировал относительно положения вещей на фронте, главным образом в связи с выступлением Румынии, которая его чрезвычайно заботила, в виду того, что Румыния, повидимому, не вполне готова, чтобы начать военные действия, и ее выступление может не дать благоприятных результатов,— оно заставит только удлинить наш и без того большой фронт левого фланга: нам придется своими войсками занять Румынию и удлинить фронт почти до Дуная. Это явится новой тяжестью, которая ляжет на нашу армию и положительные результаты вряд ли даст. Я спросил относительно босфорской операции. Он сказал, что сейчас говорить об этом трудно, но мы должны приготовляться и разрабатывать два варианта: будущий фронт, наступающий по западному берегу, и самостоятельная операция на Босфоре, перевозка десанта и выброска его на Босфор. Тут еще было прибавлено государем: «Я совершенно не сочувствую при настоящем положении выступлению Румынии: я боюсь, что это будет невыгодное предприятие, которое только удлинит наш фронт, но на этом настаивает французское союзное командование; оно требует, чтобы Румыния во что бы то ни стало выступила. Они послали в Румынию специальную миссию, боевые припасы, и приходится уступать давлению союзного командования».

Получив эти указания, я уехал в Черное море в тот же вечер. Прибывши в Севастополь, я принял Черноморский флот от вице-адмирала Эбергарда, который меня уже подробно, в течение целого дня, посвятил в действительное положение Черного моря.

Положение в Черном море было таково: главнейшие вопросы, которые тогда стояли, были, во-первых, обеспечение безопасности Черноморского побережья от постоянных периодических набегов быстроходных крейсеров «Гебена» и «Бреслау», ставивших в очень опасное положение весь транспорт на Черном море. А транспорт на Черном море и перевозки имели главное значение для кавказской армии, потому что подходы к кавказской армии были чрезвычайно трудны, и нужно было базироваться на море. Первой задачей было, как наилучше обезопасить транспорт и обеспечить побережье и пор-

ты,— главным образом восточной части Черного моря, откуда шел транспорт для снабжения кавказской армии,— от угроз, которые над ними висели в виду постоянных рейсов «Гебена» и «Бреслау». Все это осложнилось еще появлением подводных лодок, которые прошли Босфор. Несколько лодок вошли в Варну — болгарский порт, а другие выходили из Босфора и начали свою работу, выражавшуюся в потоплении транспортов. Меры, которые принимались для этого, были явно недостаточны, т.-е. конвой транспортов при помощи миноносцев страшно задерживал движение, потому что миноносцев было мало, и обеспечить конвоирование этих транспортов было нельзя.

Следующей задачей была подготовка к так называемой босфорской операции, о которой я сказал раньше. Характерно следующее обстоятельство: в полночь я поднял свой флаг, Эбергард спустил, и я вступил в командование в Черном море. Через несколько минут после этого (теперь я могу говорить об этом совершенно открыто, а тогда никто этого не понимал, и думали, что это было исполнено мною случайно, а между тем все это проделывалось совершенно сознательно и определенно) было принято радио, которое было расшифровано, о том, что крейсер «Бреслау» вышел из Босфора в море. Был указан точно час,— кажется, в 11 часов вечера. Я сейчас же призвал соответствующих чинов своего штаба, разобрал на карте вероятное положение, откуда он может итти, где он может быть. Я приказал немедленно выходить своему флагманскому линейному кораблю, поднимать пары на «Императрице Марии»,— другой дредноут, к сожалению, выйти не мог,— я взял еще крейсер «Кагул», пять или шесть миноносцев и с рассветом вышел в море.

Это было с 6-го на 7-е июля. Как раз при выходе, «Бреслау» послал на Севастополь подводную лодку, но эта лодка была замечена с аэроплана, который меня сопровождал; мне удалось увернуться от нее и выйти в открытое море. Это мне подтвердило, что неприятельское судно действительно там находится. В 3 часа дня я заметил на горизонте дым и встретился с «Бреслау». По его положению и курсу я заметил, что он идет на Новороссийск, главную базу, откуда шло питание для нашей кавказской армии. Увидевши меня, он сейчас же повернул обратно на Босфор. Я гнался за ним до позднего вечера, когда наступившая тьма и гроза нас разделили.

Я имел возможность открыть по нем огонь с предельной дистанции, приблизительно 11—12 миль, насколько хватало орудие, но огонь этот действителен не был. Потом я узнал, что на нем было некоторое количество раненных осколками от моих разрывавшихся снарядов.

Я потому подробно останавливаюсь на этом неважном случае, что это был единственный выход крейсеров «Гебен» и «Бреслау» за все время командования мною в Черном море. Потом я принял меры, которые парализовали их выход, и они уже более не появлялись в Черном море. Затем я вернулся обратно в Севастополь и через несколько дней приступил к выполнению уже серьезного заграждения Босфора минами, по известному, выработанному уже плану, как от выхода надводных судов, так и подводных лодок. Эта операция непосредственно над босфорскими укреплениями была выполнена нашими минными судами непосредственно под моим руководством. Я выходил на корабле в это время сам, и Босфор мы заградили настолько прочно, что, в конце концов, установивши еще необходимый контроль из постоянного дежурства и наблюдения миноносца, для того, чтобы эти мины не были уничтожены и вытралены, и для того, чтобы, в случае надобности, укрепить снова эти заграждения, мы, в конце концов, совершенно обеспечили свое море от появления неприятельских военных судов. Правда, туркам и немцам удавалось под берегом очищать море от мин, и они посылали транспорты очищать от мин Загулдак. Они нуждались в угле, мы же эти транспорты ловили и уничтожали, и это всегда благополучно проходило.

Что касается подводных лодок, то с ними борьба была несколько труднее, но и то подводные лодки, которые осмеливались выходить к Севастополю, были замечены только в январе 1917 года. Весь транспорт на Черном море совершался так, как и в мирное время. Минные заграждения, дозорная служба, надлежащим образом организованная и надлежащим образом развитая, радио-связь дали возможность обеспечить нам черноморский бассейн совершенно спокойным от всяких покушений со стороны неприятеля и обеспечить совершенно безопасный транспорт для кавказской армии. Несколько сложнее было с теми лодками, которые пробирались в Варну, и то часть их удалось пробить при помощи заграждений. Затем, в декабре месяце, из Константинополя прорвались несколько больших миноносцев в Варну и

две канонерских лодки. Эти канонерские лодки были обнаружены крейсером «Кагул» и были потоплены недалеко от Босфора, около мыса Карагалу.

Таким образом, в Черном море наступило совершенно спокойное положение, которое дало возможность употребить все силы на подготовку большой босфорской операции. По плану этой босфорской операции, в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная часть, дивизия ударного типа, кадр которой мне был прислан с фронта и командиром ее был назначен один из лучших офицеров генерального штаба — ген. Свечин; начальником штаба был назначен полковник генерального штаба Верховский [9]. Эта дивизия готовилась под моим непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег, для того, чтобы сразу на нем обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, которые должны были итти за ними. Так вся эта подготовка работ шла до наступления государственного переворота в конце февраля месяца.

В Черном море, как и для меня, этот переворот был совершенно неожиданным. Обстоятельства, которые застали меня, были следующие. Работа по подготовке босфорской операции должна была окончиться по плану в марте или апреле месяце, но рядом с этим планом шла подготовка других работ. В августе было выступление Румынии, значит, тогда у меня явилась забота на Дунае: образование флотилий на Дунае. Все это заставило меня принять ряд других военных действий в 1916 году. Босфорская же операция предполагалась весной 1917 года. Ко времени начала 1917 года выяснилось уже окончательно, что из двух планов может быть приведен в исполнение только один, потому что неудачи на румынском фронте мешали возможности босфорской операции, и возможна была только десантная операция.

Алексеевский. А дивизия Свечина была передана вам еще до выяснения возможности первого плана?

Колчак. Да, она тогда только начала серьезно формироваться. Нами предполагалось перебросить туда и часть орудий с севастопольской крепости; там шла подготовка всех материалов и т. д.

Алексеевский. Мы подошли к той части вашей деятельности, которая носит не только профессиональный и технический характер, но и политический. В связи с этим, Комиссия считает необходимым поставить вам вопросы

о ваших политических взглядах в молодости, в зрелом возрасте и теперь, а также о политических взглядах вашей семьи.

Колчак. Моя семья была чисто военного характера и военного направления. Я вырос в чисто военной семье. Братья моего отца были моряками. Один из них служил на Дальнем Востоке, а другой был морской артиллерист и много плавал. Вырос я под влиянием чисто военной обстановки и военной среды. Большинство знакомых, с которыми я встречался, были люди военные. Какими-либо политическими задачами и вопросами я почти не интересовался и не занимался. Как я говорил, когда я поступил в корпус, я начал заниматься исключительно военным делом и затем меня увлекали точные научные знания, т.-е. математические и физические науки. Науками социального и политического характера я занимался очень мало. Был один период у меня, о котором я могу сказать несколько слов, когда меня интересовали эти вопросы,— это был период моего пребывания в корпусе уже в последних, старших, классах, когда я начал работать на Обуховском заводе. Я вырос на этом Обуховском заводе и постоянно на нем бывал. Пребывание на заводе дало мне массу технических знаний: по артиллерийскому делу, по минному делу и т. д. В корпусе мне не нужно было заниматься этими предметами, ибо я был знаком с ними гораздо лучше и более обширно, чем преподавалось в корпусе, потому что самая обстановка и среда давали мне чрезвычайно много по этой части. Затем я увлекался заводским делом. Было даже такое время, когда приезжал ко мне на завод английский заводчик, известный по пушечному делу, Армстронг. Мой отец его знал хорошо, и он предлагал, зная мою работу по техническому делу, взять меня в Англию, чтобы я прошел школу там на его заводах и сделался инженером. Но желание плавать и служить в море превозмогли идею сделаться инженером и техником.

Близость завода и возможность получить огромные знания меня, молодого человека, увлекали, и у меня явилась тогда идея — в свободное время пройти курс заводской техники. Я начал дело с самых первых шагов, т.-е. начал изучать слесарное дело, и работа на этом заводе сблизила меня с рабочими. У меня было много знакомых рабочих, которые меня обучали. Они знали меня и благодаря этому соприкосновению с ними, работе в мастерских, постоянному общению с ними, меня заинтересовали

на некоторое время вопросы политического и социального порядка. Кое-что я читал по этому вопросу, долго занимался, не могу сказать изучением его,— меня тогда интересовал вопрос рабочий, интересовали вопросы заводского хозяйства, вопрос труда и т. д.,— но я повторяю, что я не изучал этого дела; я с ним знакомился, потому что был в такой среде, где об этом говорили, и меня до известной степени это интересовало.

Изучением же этих вопросов я не занимался потому, что у меня не хватало времени. Когда я перешел в последний выпускной класс, где я был занят другим, чисто специальным военно-морским делом, мне пришлось прекратить эти занятия, и я больше не занимался такими вопросами. О вопросах политического и социального порядка, сколько я припоминаю, у меня вообще никаких воспоминаний не осталось. В моей семье этими вопросами никто не интересовался и не занимался. Мой отец, как я говорил, был военный, севастополец: вся среда была военная или техники-специалисты Обуховского завода.

Алексеевский. Скажите, адмирал, в 1904—5 году, когда вы участвовали в русско-японской войне, вы, как человек, хорошо знающий морское дело и изучавший в деталях и на практике постановку его в России, не могли не видеть, что наши морские неудачи определились политическими обстоятельствами и в особенности тем, что во главе этого дела стоял в. кн. Алексей Александрович и что неудачи морские решили и сухопутную кампанию,— вы тогда не пришли, как и большинство интеллигентного русского общества, к выводу, что необходимы политические перемены во что бы то ни стало, хотя бы даже и путем борьбы?

Колчак. Я считал необходимым уничтожение должности генерал-адмирала, и это совершилось как результат войны. Я считал это безусловно необходимым, но главную причину я видел в постановке военного дела у нас во флоте, в отсутствии специальных органов, которые бы занимались подготовкой флота к войне, отсутствием образования. Флот не занимался своим делом,— вот главная причина; и из первого объяснения вы видите мое отношение к этому вопросу. Я считаю, что политический строй играл в этом случае второстепенную роль. Если бы это дело было поставлено как следует, то при каком угодно политическом строе вооруженную силу создать можно, и она могла бы действовать.

Попов. Каково было ваше отношение, адмирал, к революции 1905 года?

Колчак. Мне с нею не пришлось почти сталкиваться. В 1905 г. я был взят в плен, затем я вернулся, был болен и лечился, а остаток этого времени я был в Академии Наук, где до начала 1906 года стал работать по созданию генерального штаба, так что я как раз в этот период не был в соприкосновении с событиями революции 1905 г. и в политической деятельности участия не принимал.

Председатель. Каково было ваше идейное отношение к этому делу?

Колчак. Я этому делу не придавал большого значения. Я считал, что это есть выражение негодования народа за проигранную войну, и считал, что главная задача, военная, заключается в том, чтобы воссоздать вооруженную силу государства. Я считал своей обязанностью и долгом работать над тем, чтобы исправить то, что нас привело к таким позорным последствиям.

Алексеевский. Значит, вы считали, что техническая, профессиональная постановка военно-морского дела была причиной нашего поражения, что самая постановка была ошибочна, т.-е. вы считали ее как бы добросовестной ошибкой, и считали, что она происходила не из условий политического строя, а из условий ошибки?

Колчак. Я приписывал именно этому, потому что я считаю, что политика никакого влияния не могла иметь на морское образование, на военную организацию,— просто у нас настолько не обращалось внимания на живую подготовку во флоте, что это было главной причиной нашего поражения.

Алексеевский. Далее, адмирал, позволителен еще вопрос. Ведь не обращалось внимания потому, что тот, кто должен обращать внимание, не делал этого. Главой всех военных сил был император, и императорская фамилия и династия распределяли между собой все важнейшие роли, а над всеми, как глава военных сил, был император?

Колчак. Тут были общие причины. Я видел здесь, на Востоке, как мы вели боевую подготовку, чем занималось командование, чем занимались командиры. Конечно, общая система была неудовлетворительна.

Алексеевский. У нас есть поговорка, что рыба начинает разлагаться с головы. Не приходили ли вы к убеждению, что именно сверху нет ничего, кроме слов, в отношении ответственности и руководства?

Колчак. Я считал, что вина не сверху, а вина была наша,— мы ничего не делали.

Чудновский. Скажите, пожалуйста, были ли вам указания и зависело ли от вас выполнить определенный план? Я имею в виду командование флота и потому спрашиваю, имели ли вы какие-нибудь указания сверху, что необходимы некоторые перетасовки для того, чтобы восстановить боевую единицу?

Колчак. Я не помню, я был слишком молодой офицер, чтобы иметь эти указания в тот период.

Чудновский. Когда вы говорите, что виновато само командование, то получается впечатление, что командованию была дана определенная задача, которая им не выполнялась. Мне это не понятно, потому что, если верховное командование дает определенные боевые задачи, и эти задачи не выполняются, то оно принимает меры.

Колчак. Я вам на это скажу, что причины лежали, как мне они представлялись, в ином. Возьмите постановку боевых стрельб, как они тогда были поставлены. Никаких научных оснований для этого не было разработано. Стрельбы производились только для отбывания номера. Инструкции, которые давались свыше, требовали с нас выполнения боевой подготовки, но сами выполнители, благодаря своему невежеству и своей неподготовленности, не могли выполнить. Из этого ничего не получалось,— наш флот стрелять не умел. Но, повторяю, конечно, сверху требовали, чтобы флот стрелял, в этом никакого сомнения быть не может, потому что не могли же сверху исходить другие требования. Выполнение же этих требований было никуда негодное благодаря нашему невежеству. Ведь программы, задачи, инструкции составлялись чрезвычайно резонно и логично, и обоснованно, но выполнение их было ужасно благодаря общему невежеству, отсутствию знаний у наших руководителей, отсутствию подготовленных людей для того, чтобы руководить флотом, потому что к этому времени уже флот представлял из себя такую сложную боевую машину, что он требовал других людей, более воспитанных и подготовленных. Я вспоминаю тот период и период последней войны,— ведь ничего похожего не было. Здесь, наконец, после страшного урока у нас был флот, отзывы о котором были самые лучшие. Может быть, он был слаб и мал, но отзывы о нем английские адмиралы давали самые лестные. Я прямо скажу, что постановка артиллерийского дела у нас в последнюю войну была великолепно

разработана, и мы прекрасно стреляли. Минное дело стояло у нас, быть может, выше, чем где бы то ни было. К нам приезжали учиться. Меня американцы после посещения Черноморского флота вызвали к себе для того, чтобы я мог им дать данные о постановке нашего минного дела. Это дело меня больше всего заботило. Я думаю, что я прав, потому что когда после японской войны группы офицеров взялись честно за свое дело, когда они прежде всего смотрели на то, на что им нужно было смотреть, т.-е. на создание органа, который бы занялся подготовкой к войне,— когда у этого маленького кружка явился подъем знаний и известное добросовестное отношение к своим обязанностям, которое явилось как известный результат событий, тогда мы создали флот, независимо от того, какой был политический строй. Так что я повторяю,— вооруженная сила может быть создана при каком угодно строе, если методы работы и отношение служащих к своему делу будут порядочные. Наоборот, при каком угодно строе, если такого отношения не будет, вы вооруженной силы не создадите.

Алексеевский. А не было ли у вас мысли о том, что удаление в. кн. Алексея Александровича и устранение от руководства, от постановки боевого дела во флоте и адмиралтействе старых адмиралов было делом не столько группы молодых, энергичных офицеров, которые образовали кружок и содействовали образованию генерального штаба, сколько делом общего политического настроения и тех политических перемен, которые создались наличием хотя бы такого учреждения, как Гос. Дума, и наличием общественного контроля?

Колчак. Несомненно.

Алексеевский. Считали ли вы, адмирал, что переменившиеся политические обстоятельства в значительной степени дали этому возможность?

Колчак. Конечно, да; хотя, повторяю, при оценке роли генерал-адмирала, какой она тогда была, она всегда представлялась для меня совершенной фикцией, которая не оказывала почти никакого влияния. Алексей Александрович решительно ни во что не входил; я его никогда не видел, и ни в какие дела он в сущности не вмешивался. Он имел настолько малое влияние, что, по-моему, это была чистая синекура. Фактического влияния Алексея Александровича на флот я, находясь во флоте, не чувствовал.

Алексеевский. Но, может быть, вы смешиваете влияние положительное и отрицательное? Положительного, творческого влияния не было, отрицательное же влияние было все время, потому что через него проходили все назначения. Он представлял, рекомендовал, поддерживал, он создавал органы во флоте, он персонально подбирал лиц, которые благодаря участию некоторых специалистов могли составить инструкцию. Но о том, как вести практическую стрельбу и проверить, исполняется ли все, что необходимо, или нет,— они понятия не имели, и старые адмиралы не были способны даже это оценить.

Колчак. Несомненно, могли быть и эти влияния. То управление флотом, которое было тогда, несомненно, имело в этом смысле влияние.

Алексеевский. В частности, могли ли быть отправлены эскадры Рождественского и Небогатова [10], если бы существовал генеральный штаб или какое-нибудь руководство флотом?

Колчак. Трудно теперь сказать,— но думаю, что они не были бы отправлены.

Алексеевский. Таким образом, вы из неудач войны с Японией не делали никаких политических выводов?

Колчак. Нет. Вспышку 1905—6 года я приписываю исключительно народному негодованию, оскорбленному национальному чувству за проигранную войну. Но повторяю, что я, например, приветствовал такое явление, как Государственная Дума, которая внесла значительное облегчение во всей последующей работе по воссозданию флота и армии. Я сам лично был в очень тесном соприкосновении с Государственной Думой, работал там все время в комиссиях и знаю, насколько положительные результаты дала эта работа.

Алексеевский. Таким образом, в вас неудачи японской войны не вызвали никаких сомнений в отношении политического строя, и вы остались попрежнему монархистом?

Колчак. Я остался попрежнему.

Алексеевский. И, в частности, никаких сомнений в династии это не вызвало?

Колчак. Нет, я откровенно должен сказать, что ни в отношении династии, ни в отношении личности императора это у меня никаких вопросов не вызвало.

Алексеевский. Я думаю, что для Комиссии было бы очень интересно, чтобы вы, раньше, чем перейдете к рассказу о вашей деятельности, которая приняла оттенок

политический, рассказали бы нам о ваших личных отношениях к некоторым наиболее видным деятелям прошлого режима: к императору Николаю, к тем великим князьям, с которыми вы имели отношения, к некоторым вдохновителям старого режима последнего царствования — Победоносцеву, Плеве, к некоторым министрам, например, к тому министру, который оставался все время при императоре, — барону Фредериксу.

Попов. Нам было бы интересно узнать, мирились ли вы с существованием монархии, являлись ли вы сторонником ее сохранения, или если не японская война, то революция 1905—6 года внесла изменения в ваши политические взгляды?

Колчак. Моя точка зрения была просто точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга того требовала. Я относился к монархии, как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя. Я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И, сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Алексеевский. Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и в частности с семьей бывшего императора, события последних лет перед революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и в частности к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли вас эти настроения и в какой степени?

Колчак. Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду, и меня и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плавал на «Уссурийце»,— верно это или нет,— прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место

стоянки императорской яхты, в шхеры, и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле такого факта и не было, никого из нас не звали и никакого Распутина мы не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались. Никто толком не знал,— была только масса слухов и разговоров.

Денике. Мы как будто бы остановились на том, как сложились ваши воззрения к концу 1906 года. Что же, в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г., ко времени революции, происходили ли изменения ваших политических воззрений и принимали ли вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

Колчак. Нет. Я не принимал участия; я в это время был занят чисто-технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

Алексеевский. Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: вы сначала нам скажите, имели ли вы личные отношения с бывшим императором и с выдающимися членами и деятелями династии и в частности имели ли вы хоть одно свидание с Распутиным?

Попов. Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 г.?

Колчак. Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о государе. Нужно сказать, что до войны,— меня выдвинула война,— я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в генеральном штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно ни с кем не мог сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в ставке. Перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры во флот.

При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел государя и царскую фамилию, когда она стояла на рейде (на яхте) «Штандарт», в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничником». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины. Но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был итти рядом с ними. На мой миноносец прибыл государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей — «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда государь был у меня на миноносце. Но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем, после окончания постановки мин, я прошел на «Штандарт».

Попов. Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли вы тогда монархистом или нет?

Колчак. Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «Каковы у вас политические взгляды?» никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия, это — единственная форма, которую я признаю. Я считал себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такового не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте»; затем я второй раз видел императора в Ревеле, когда он прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте; он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте»,— во время завтрака. Из великих князей до 1917 г. я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также великих князей, когда были смотры.

Алексеевский. С Распутиным вы ни разу не повидались?

Колчак. Нет, ни разу не видал.

Алексеевский. В числе вещей у вас есть икона — золотой складень. Там как будто есть надпись, что она вам дана от императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

Колчак. У меня есть благословение епископа омского Сильвестра, которое я от него получил. Это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему; он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

Алексеевский. Мы бы хотели, чтоб вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота,— изменились ли ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

Попов. Какова была ваша общая политическая позиция во время революции?

Алексеевский. Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений вы не имели.

Чудновский. Мы бы хотели знать в самых общих чертах ваши политические взгляды во время революции, о подробностях вашего участия вы нам расскажете на следующих допросах.

Колчак. Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы,— Протопопов и т. д.,— не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы, как высшей правительственной власти.

Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Государственной Думы, знал, как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был морской министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал, и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения государя, ясно было, что уже монархия наша пала, и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему временному правительству. Присягу

я принял по совести, считая это правительство, как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда,— что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти.

Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел,— для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота,— что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым, и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствовал революцию, как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм,— как это и было у меня в Черноморском флоте вначале,— в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего,— и образа правления, и политических соображений.

Попов. Как вы относились к самому существу вопроса свержения монархии и какова была ваша точка зрения на этот вопрос?

Колчак. Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца, и должна быть какая-то другая форма правления, которая может закончить эту войну.

Алексеевский. Не смотрели ли вы слишком профессионально на этот вопрос?

Колчак. Я не могу сказать, чтобы я винил монархию и самый строй, создавший такой порядок. Я откровенно не могу сказать, чтобы причиной была монархия, ибо я думаю, что и монархия могла вести войну. При том же положении дела, какое существовало, я видел, что какая-либо перемена должна быть, и переворот этот я главным образом приветствовал, как средство довести войну до счастливого конца.

Алексеевский. Но перед вами должен был встать вопрос о дальнейшем,— какая форма государственной вла-

сти должна существовать после того, как это будет доведено до конца?

Колчак. Да, я считал, что этот вопрос должен быть решен каким-то представительным учредительным органом, который должен установить форму правления, и что этому органу каждый из нас должен будет подчиниться и принять ту форму государственного правления, которую этот орган установит.

Попов. На какой орган, по вашему мнению, могла бы быть возложена эта задача?

Колчак. Я считаю, что это должна быть воля Учредительного Собрания или Земского Собора. Мне казалось, что это неизбежно должно быть, так как правительство должно было носить временный характер, как оно заявляло.

Попов. Какой образ правления представлялся вам лично для вас наиболее желательным?

Колчак. Я затрудняюсь сказать, потому что я тогда об этом не мог еще думать. Я первый признал временное правительство, считал, что, как временная форма, оно является при данных условиях желательным; его надо поддержать всеми силами; что всякое противодействие ему вызвало бы развал в стране, и думал, что сам народ должен установить в учредительном органе форму правления, и какую бы форму он ни выбрал, я бы подчинился. Я считал, что монархия будет, вероятно, совершенно уничтожена. Для меня было ясно, что восстановить прежнюю монархию невозможно, а новую династию в наше время уже не выбирают. Я считал, что с этим вопросом уже покончено, и думал, что, вероятно, будет установлен какой-нибудь республиканский образ правления, и этот республиканский образ правления я считал отвечающим потребностям страны.

Алексеевский. Не возникала ли у вас лично и вообще в офицерской среде мысль, что отречение Николая II произошло не совсем в тех формах, которые бы позволили военным людям считать себя совершенно свободными от обязательств по отношению к монархии? Я предлагаю этот вопрос потому, что император Вильгельм, когда отрекался, специальным актом освободил военных от верности присяге, данной ему. Не возникала ли у вас мысль о том, что такого рода акт должен был сделать и император Николай?

Колчак. Нет, об этом никогда не поднимался вопрос. Я считаю, что раз император отрекся, то этим самым он

освобождает от всех обязательств, которые существовали по отношению к нему, и когда последовало отречение Михаила Александровича, то тогда было ясно, что с монархией дело покончено. Я считал необходимым поддерживать временное правительство совершенно независимо от того, какое оно было, так как было время войны, нужно было, чтобы власть существовала, и как военный, я считал нужным поддерживать ее всеми силами.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

24-го января 1920 г.

Колчак. Прошлый раз, когда я говорил о Черном море, я упустил одно событие, которое, может быть, представляет некоторый интерес. Затем, когда вы спросили, с кем из великих князей я виделся, я упустил из виду одну подробность. Одно из событий,— это был взрыв, происшедший 7-го ноября на дредноуте «Мария». Что касается свидания с великими князьями, я упустил из виду, что виделся с Николаем Николаевичем, который был тогда главнокомандующим, в Барановичах, куда я ездил из Балтийского моря. Затем я виделся с ним перед революцией в Батуме.

Алексеевский. Что касается взрыва, то было бы важно, чтобы вы сказали, чему вы после расследования приписывали взрыв и последовавшую гибель броненосца.

Колчак. Насколько следствие могло выяснить, насколько это было ясно из всей обстановки, я считал, что злого умысла здесь не было. Подобных взрывов произошел целый ряд и за границей во время войны — в Италии, Германии, Англии. Я приписывал это тем совершенно непредусмотренным процессам в массах новых порохов, которые заготовлялись во время войны. В мирное время эти пороха изготовлялись не в таких количествах, поэтому была более тщательная выделка их на заводах. Во время войны, во время усиленной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества пороха, не было достаточного технического контроля, и в нем появлялись процессы саморазложения, которые могли вызвать взрыв.

Другой причиной могла явиться какая-нибудь неосторожность, которой, впрочем, не предполагаю. Во всяком случае, никаких данных, что это был злой умысел, не было.

Алексеевский. Как относились вы к Николаю Николаевичу, как главнокомандующему? Считали ли вы замену его, как главнокомандующего, бывшим императором полезным для войны событием или вредным?

Колчак. У Николая Николаевича я был в первый раз в 1915 году, во второй год войны, когда я был послан адмиралом Эссеном для доклада ему о положении дел в Балтийском море и о возможности совместных действий с армией на берегах этого моря. Ставка была тогда в Барановичах, и я ездил туда. В Барановичах я пробыл двое-трое суток. С Николаем Николаевичем я говорил очень мало и работал главным образом по этим вопросам в его штабе. Второй раз я виделся с ним в Батуме. Как раз первое известие о революции в Петрограде я получил в Батуме. Николай Николаевич в это время был командующим кавказской армией, и я был вызван туда для решения вопроса об устройстве портов побережья, устройства трапезундского порта, где была главная база снабжения кавказской армии, и вопросов перевозки по Черному морю. Я тогда, как и раньше, считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии, поэтому считал, что раз уже назначение состоялось из императорской фамилии, то он является единственным лицом, которое действительно могло нести обязанности главнокомандующего армией, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много работавший в этой области.

Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич являлся единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и везде. Что касается до его смены, то я всегда очень высоко ценил личность ген. Алексеева и считал его, хотя до войны мало встречался с ним, самым выдающимся из наших генералов, самым образованным, самым умным, наиболее подготовленным к широким военным задачам. Поэтому я крайне приветствовал смену Николая Николаевича и вступление государя на путь верховного командования, зная, что начальником штаба будет генерал Алексеев [11]. Это для меня являлось гарантией успеха в ведении войны, ибо фактически начальник штаба верховного командования является главным руководителем всех операций. Поэтому я смотрел на назначение государя, который

слишком мало занимался военным делом, чтобы руководить им, только как на известное знамя, в том смысле, что верховный глава становится вождем армии. Конечно, он находился в центре управления, но фактически всем управлял Алексеев. Я считал Алексеева в этом случае выше стоящим и более полезным, чем Николай Николаевич. Насколько я помню, Алексеев последнее время был начальником штаба у Николая Николаевича.

Возвращаясь к рассказу о перевороте, должен сказать, что первые сведения о перевороте, происходящем в Петрограде, я получил, находясь в Батуме с двумя минными судами, куда пришел по вызову главнокомандующего кавказским фронтом Николая Николаевича для решения вопросов о снабжении кавказской армии морем и, в частности, вопроса об устройстве трапезундского порта, которое мы должны были принять на себя, устройства молов и т. д. С этой целью я прибыл в конце февраля в Батум, пройдя под Анатолийским побережьем и Трапезундом. Главнокомандующий кавказской армией прибыл в Батум к этому времени с своим поездом.

В течение первого же дня он познакомил меня со своими требованиями и пожеланиями. Мы затем обсуждали вопрос, в какой мере и в какой срок мы в состоянии выполнить это. Вечером, на второй день, насколько помню, я получил шифрованную телеграмму из Севастополя от адмирала Григоровича, что в Петрограде происходит восстание войск, что существующая власть дезорганизована, и что комитет Государственной Думы взял на себя функции правительства. Вот содержание этой телеграммы. Насколько помню, последние слова этой телеграммы были успокоительного характера,— «в настоящее время волнение утихает». Это была первая телеграмма, которую я получил о событиях в Петрограде. Тогда я обратился к начальнику штаба Николая Николаевича ген. Янушкевичу и спросил его, имеет ли он какие-нибудь сведения о событиях. Он сказал, что пока у него нет никаких сведений. Тогда я сказал ему: «Прошу доложить великому князю, что я должен итти в Севастополь, что я прошу меня больше не задерживать». Янушкевич доложил великому князю, который вызвал меня и спросил телеграмму. Я показал ему телеграмму; он прочел ее, пожал плечами и сказал, что ему ничего неизвестно, но что мне известны его основные пожелания и поэтому он меня не задерживает.

Вечером в тот же день я вышел из Батума в Севастополь. По дороге я принял открытое немецкое радио из Константинополя, где была мощная радио-станция; радио рисовало потрясающую картину событий в Петрограде, говорило, что в Петрограде происходит революция, идут страшные бои и кровопролитие. Словом, все эти сведения были сгущены и утрированы, как оказалось впоследствии. Суть, конечно, была справедлива, но форма и тон, которым излагалось все это, не соответствовали действительности. Радио было немецкое, на испорченном русском языке, с болгарскими оборотами,— очевидно, его передавал какой-нибудь болгарин специально по-русски, с тем, чтобы его приняли все станции. Когда я пришел в Севастополь, то первым вопросом, который я задал моему начальнику штаба, был вопрос: имеются ли у него какие-нибудь сведения о происходящих событиях. Он ответил мне, что никаких сведений у него нет и что он знает только, что в Петрограде происходит какое-то восстание войск, что больше ничего он не знает и никаких данных относительно этого не имеет.

Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной Думы, и что он просит меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что все идет к благу родины, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым, и что он просит меня принять меры, чтобы не было никаких осложнений и эксцессов. Вот приблизительное содержание. Вслед за этим был получен целый ряд радио из Константинополя, которые сообщали, что на фронте и в армии происходят бунты, что немцы победоносно подвигаются вперед, и что в Балтийском флоте происходит полное восстание и избиение офицеров. Я лично сразу же отнесся к этому константинопольскому радио, как к совершенно определенной провокации, но препятствовать передаче было совершенно невозможно, так как все радио принимаются на судах дежурными телеграфистами.

Тогда я издал приказ, в котором упомянул, что такие радио даются нашим врагом, очевидно, не для того, чтобы сделать для нас что-нибудь полезное, и поэтому я обращаюсь ко всем командам с требованием верить только мне, моим сообщениям, и что, со своей стороны, обещаю немедленно оповещать их о том, что будет мне известно, и прошу их не придавать никакого значения слухам, и что если команды будут обращаться в случае каких-либо

сомнений ко мне, то я буду давать соответствующие разъяснения. Этот мой приказ сыграл большую роль,— команды не верили циркулирующим в то время слухам, оказав мне полное в этом смысле доверие. Я, со своей стороны, сделал так, как обещал: все, что я ни получал, все дальнейшие подробности о происходящих событиях, я немедленно выпускал из штаба, широко распространяя для сведения команд в городе. Таким образом, все вздорные сообщения, которые тем или иным путем получались и через неприятельское радио, и изнутри, никакого впечатления не производили, так как считались только с теми данными, которые я сообщал командам.

Затем совершенно неожиданно я получил телеграмму от Алексеева, в которой он сообщал текст телеграммы за подписью главнокомандующего и командующих армиями. Под этой телеграммой подписался Николай Николаевич, ген. Рузский, Эверт, сам Алексеев и, кажется, генерал Щербачев, бывший на юго-западном фронте. В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре и это недоразумение разъяснилось, когда пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Получивши эту телеграмму, я сейчас же разослал ее по всем судам, и так как я не мог объехать все суда, то собрал команды на моем флагманском судне «Георгий Победоносец». Когда они собрались, я прочел манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, повидимому, кончила свое существование и наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведем войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени.

Затем я указал, что в такое время, как то, в котором мы находимся, правительству будет чрезвычайно тяжело, и потому я считаю необходимым оказать ему всемерную

поддержку. Первый стою за это правительство и считаю необходимым в ближайшие дни присягнуть ему на службу. Вот та речь, с которой я обратился к командам. Она произвела, повидимому, чрезвычайно благоприятное и успокоительное впечатление. Среди команд в это время, в силу предоставленных правительством прав, возникли комитеты, стали устраиваться митинги. Я бывал несколько раз на этих собраниях и разъяснял командам то, что происходит, делился с ними своими соображениями относительно того, что будет дальше, но везде неизменно указывал на одно: «Покуда война не закончена, я требую, чтобы вы выполняли свою боевую работу так же, как выполняли раньше, чтобы в этом отношении всеми, начиная с командного состава и кончая самым младшим матросом, мне была бы оказана помощь, чтобы у меня была уверенность, что каждое мое приказание, относящееся до боевых действий флота, будет немедленно выполнено». Мне это обещали; я в этом отношении не могу сделать никаких упреков никому из команды.

Алексеевский. Я хотел бы задать вопрос о вашем отношении к приказу № 1 [12].

Колчак. Приказ № 1 был сообщен царскосельской радио-станцией за подписью Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Когда на одном из митингов, на котором собралось огромное число свободных от службы команд, меня спросили, как относиться к этому приказу, я сказал, что для меня этот приказ, отданный Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, не является ни законом, ни актом, который следовало бы выполнять, пока он не будет санкционирован правительством, так как, в силу настоящего положения, Советы Рабочих и Солдатских Депутатов могут собираться в любом месте, в любом городе, и почему в таком случае приказ Петроградского Совета является обязательным, а необязателен приказ Совета в Одессе или в другом месте? Во всяком случае, я считаю, что этот приказ не имеет для меня никакой силы, и я буду выполнять только те приказы, которые буду получать или от правительства, или от ставки. Команды к этому отнеслись совершенно спокойно и никаких вопросов мне не задавали. Когда пришло от Гучкова известное распоряжение [13], то оно было проведено в жизнь без возражений с моей стороны.

Алексеевский. Был ли образован обще-флотский комитет Совета матросских депутатов для всего Черноморского флота?

Колчак. Комитеты были образованы в Севастополе и Одессе и других портах согласно предложению правительства. Первое время отношения между мной и комитетами были таковы, что все постановления комитета были легализованы. Моим приказом было назначено время выборов лиц в эти комитеты, в состав которых входили офицеры и команда. Первое время отношения были самые нормальные. Я считал, что в переживаемый момент необходимы такие учреждения, через которые я мог бы сноситься с командами. Больше того,— я скажу даже, что вначале эти учреждения вносили известное спокойствие и порядок. Дело было поставлено таким образом, чтобы все постановления комитета мне докладывались. Ко мне являлись периодически, несколько раз в неделю, либо председатель комитета, либо его заместитель, приносили постановления комитета и спрашивали меня, с какими я согласен или какие я считаю неприменимыми в силу известных обстоятельств. Некоторое время такой порядок и существовал. С некоторыми постановлениями я соглашался, некоторые предлагал снова пересмотреть, а некоторые считал невозможными для осуществления. Таким образом, в этом отношении работа не вызывала никаких трений. Так продолжался первый месяц.

Затем произошло явление такого рода. Рабочие порта также образовали у себя Совет Рабочих Депутатов, но этот Совет не сливался с флотским комитетом и существовал независимо; слияние произошло позже, примерно в мае месяце. Нужно сказать, что рабочие севастопольского порта прямо заявили мне, что они будут поддерживать меня во всех военных работах, что они будут выполнять свои работы так же, как раньше; даже вначале заявили мне, что они не признают 8-часового рабочего дня и будут работать столько, сколько потребуется для военных надобностей флота. Такое заявление установило самое лучшее отношение с рабочими севастопольского порта; во всех тех постановлениях, которые касались известных экономических вопросов, которые я мог своею властью разрешить, я всегда шел им навстречу.

Обычно ко мне являлся Васильев, председатель Совета Рабочих Депутатов севастопольского порта, и мы с ним очень долго обсуждали эти вопросы. Некоторые я удовлетворял, другие направлял в дальнейшую инстанцию — ставку — и сообщал правительству.

Я был чрезвычайно обеспокоен тем обстоятельством, что в связи со всеми этими радио неприятель, предпо-

лагая, что у нас во флоте наступил полный развал, может войти в море неожиданно. Поэтому в ближайшие дни, разъяснив командам, почему я это делаю, и указав на то, что я боюсь, что на нас совершенно неожиданно будет произведено нападение, я сделал демонстрацию и вышел с флотом в море. Я показался по обе стороны Босфора в виду берегов, чтобы противник знал, что революция — революцией, а если он попробует явиться в Черное море, то встретит там наш флот. Это имело, повидимому, положительные результаты, потому что в связи с этим неприятель никаких активных действий не проявлял,— все оставалось так, как раньше. Так продолжалось приблизительно с неделю. Я не скрою, что в этом отношении много способствовал известному порядку и лойяльности, которую проявляли Советы Депутатов в отношении меня и командования, начальник штаба ударной дивизии десанта, который готовился у меня,— Верховский, который впоследствии был вызван Керенским в Москву и был затем военным министром. Он был товарищем или заместителем председателя в Совете и внес много успокоения, много порядка во всю эту работу.

Так продолжалось недели 2—3, затем начали проявляться тенденции несколько худшего порядка. Начались, прежде всего, просьбы об увольнении в отпуск. В отпуск стали проситься целыми массами, так что я не знал, что делать с этим стихийным движением,— приходилось чуть ли не выводить некоторые суда из строя. Затем начались различные несогласия с офицерами. Первое заявление мне было сделано по поводу некоторых офицеров с немецкими фамилиями, что немцев надо изъять всех полностью. На это я ответил, что у нас, в России, существует масса людей с немецкими фамилиями, которые так же, и может быть даже больше, работали для блага родины, чем люди, носящие русские фамилии, что у нас, в России, фамилия решительно ничего не значит, и удалить офицера только потому, что он носит немецкую фамилию, нет решительно никаких резонов. Я сказал, что если они имеют какие-нибудь конкретные факты, определенные поступки, то пусть доложат мне, и мы разберемся, но выгонять людей только за то, что они носят немецкую фамилию, нет решительно никаких оснований. Я указал им на того же адмирала Эссена, Ливена и др. С этим вопросом было быстро покончено, и он больше не поднимался.

Но вслед за тем начались всевозможные беспорядки с офицерами: требование об удалении их, перемещении и т. д. Может быть, некоторые резонные причины здесь и скрывались в известных столкновениях между офицерами и матросами, но бо́льшая часть была лишена решительно всякого основания. Я делал в этом отношении что возможно, что возможно старался улаживать. Боевая деятельность флота в это время совершенно не прерывалась,— все шло, как шло раньше. Я был настолько убежден в этом, что, разрешая какой-нибудь митинг, знал, что стоит только поднять сигнал, как все, кто нужен на судах, бросят этот митинг и явятся на корабли и пойдут куда угодно. Поэтому у меня была полная уверенность, и с этой стороны я считал себя совершенно спокойным.

Так шло все первые несколько недель, пока к нам никто извне не являлся и пока мы оставались сами с собой. Затем начался приезд всевозможных депутаций из Балтийского флота. Вместе с этим к нам хлынула масса самых подозрительных и неопределенных типов, началось ведение совершенно определенной пропаганды, направленной к развалу флота, начали обвинять офицеров в империализме, в обслуживании интересов буржуазии. Был, кажется, праздник подводного плавания; подводниками в числе других надписей на знаменах было выставлено требование Босфора и Дарданелл. Вокруг этого была страшная полемика,— говорили, что Босфор и Дарданеллы нужны только буржуазии. Вообще выставлялись те мотивы, которые выставлялись обычно при борьбе с первым правительством. Тогда уж начали появляться первые признаки развала, который быстро пошел среди команд. Меньше это сказывалось на рабочих.

Нужно сказать, что рабочие Черноморского флота стояли, если можно так выразиться, выше команд в смысле дисциплины, порядка и организованности. Я прямо докладывал правительству и приписывал улаживание конфликтов спокойствию, внесенному со стороны рабочих и их органов. Когда, под влиянием пропаганды, Совет Матросских Депутатов поднимал вопрос о том, что надо требовать ликвидации войны и т. д., рабочие приходили, успокаивали их и вносили известное успокоение своим трезвым, спокойным отношением ко всем событиям. В половине апреля мне стало ясно, что если дело пойдет таким образом, то, несомненно, оно кончится тем же, чем и в Балтийском флоте, т.-е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну. В половине

апреля в Одессу приезжал Гучков, который вызвал меня. В апреле месяце, приблизительно 12—15 числа, я прибыл в Одессу, где Гучкова с большим подъемом демонстративно принимали, как нового военного министра. Гучков был болен. Встретившись со мной, он обратился ко мне с вопросом, как у меня дела.

Надо сказать, что в Одессе я был на судах, которые там стояли, и на них был сравнительный порядок. На вопрос Гучкова я сказал, что меня чрезвычайно заботит то направление, тот путь, по которому пошел Черноморский флот под влиянием измен, под влиянием пропаганды и появления неизвестных лиц, бороться с которыми я не могу, так как теперь под видом свободы слова эта агитация может проходить совершенно свободно, может говорить кто угодно и что угодно. Гучков на это ответил: «Я надеюсь, что вам удастся с этим справиться. У вас до сих пор все шло настолько хорошо, что правительство выражает твердую уверенность, что вам удастся справиться с этим направлением». Я ответил, что до сих пор, для того, чтобы справиться с этим, у меня оставалось только одно средство — мое личное влияние, уважение ко мне, мои личные отношения к командам и рабочим, которые, я знаю, доверяют мне и верят. Но это средство является таким, которое сегодня есть, а завтра рухнет,— и тогда у меня уже не будет никаких средств, так как я постановлением правительства в сущности лишен возможности влиять и бороться с этим, если бы я считал необходимым вступить в борьбу. Вот на чем держится пока Черноморский флот, но я считаю почву настолько шаткой, что завтра я, может быть, точки опоры и не буду иметь, и тогда я уже не в состоянии буду что-либо сделать. До этого времени мне доносили подробно о всех происходящих митингах, о ходе пропаганды, которая шла во флоте так же, как и в армии, но я должен отметить, что за весь этот период времени это меня не касалось и личности моей никто не задевал и не затрагивал.

Так как Гучков в это время был болен, то переговорить обо всем он со мной не мог и сказал мне, что в ближайшие дни вызовет меня в Петроград. Около 20-х чисел апреля я был в Петрограде по вызову князя Львова[14] для доклада о положении вещей. Кроме того, меня вызвал и генерал Алексеев, который приехал в Петроград для обсуждения общего положения, для чего вызывались все командующие армиями. Перед уходом из Севастополя я собрал все команды, сообщил им о своем отъезде

и спросил их, имеются ли у них какие-либо настоятельные нужды и требования, чтобы я мог передать их правительству. Заявлений никаких не было сделано, и я уехал.

Алексеевский. Я бы хотел поставить следующий вопрос: ведь за это время во флоте произошли большие события, в том числе большое возмущение матросов в Кронштадте, в результате которого погибло несколько сот офицеров, в том числе и адмирал Непенин. Какое впечатление произвели эти события на флот?

Колчак. Эти события были в начале марта. Непенин был убит в первые дни революции. В Черноморском флоте известия об этих событиях не произвели особого впечатления, может быть, потому, что мы получили сведения о них с большим запозданием. Сначала об этом был только ряд слухов, официально же нам об этом никто не сообщал. Я узнал только через неделю. До этого передавалось, как слух, что в Балтийском флоте беспорядки, что убит Непенин, убиты офицеры. Может быть, благодаря этому известия об этом и не произвели особого впечатления. Насколько было лойяльно в начале настроение флота, можно видеть из того, что у меня весь флот принял присягу. Для этого все офицеры и судовые команды, свободные от службы, были собраны в одно место. Я произнес торжественную присягу на верность новому правительству, которую повторил весь наличный состав.

Таким образом, около 20-х чисел апреля я приезжал в Петроград. Прежде всего я явился к Гучкову, военному и морскому министру, который все еще продолжал болеть и не выходил из своей квартиры на Мойке и даже принимал меня первый день, лежа в постели. В это время настроение в Балтийском флоте опять сгустилось, так как этот момент совпал с моментом отмены погон и перемены формы. Настроение в Балтийском флоте было таково, что, когда при свидании с офицерами я спросил их о положении вещей, они ответили мне, что ожидают на-днях повторения того, что было, т.-е. нового избиения офицеров. Большую роль в этом играл адмирал Максимов, деятельность которого носила почти преступный характер. Он чрезвычайно быстро перекрасился, усвоив какую-то скверную демагогическую окраску, и на этом все время вел игру, по существу не представляя собой ничего подобного раньше и будучи, наоборот, убежденным милитаристом, который говорил только о войне. В тот же момент он вел себя совершенно в демагогическом направлении,

В связи со всеми этими событиями, Максимов не был даже принят Гучковым, и вместо него представителем Балтийского флота был начальник штаба, капитан 1-го ранга Чернявский. Максимов должен был приехать, как командующий Балтийским флотом, с докладом к Гучкову, но в виду того, что в Гельсингфорсе сгустилась атмосфера, в чем виноват был Максимов, Гучков заявил, что он не желает видеть Максимова, и тогда с докладом к нему явился начальник штаба Чернявский. Гучков сообщил мне о создавшемся положении и сказал, что в Балтийском флоте назревают новые беспорядки, что с Кронштадтом ничего нельзя сделать, что главную вину и ответственность за происходящее в Балтийском флоте он возлагает на Максимова, что эта его неприличная работа, направленная в демагогическом духе, привела и приводит к таким последствиям, которые не дают уверенности, что Балтийский флот будет существовать к весне.

С моей точки зрения, здесь, может быть, была не столько вина Максимова, сколько причина крылась в положении нашего флота, стоявшего в Ревеле и Гельсингфорсе. Я совершенно определенно считал, что главной причиной этих событий была немецкая работа. Гельсингфорс тогда буквально кишел немецкими шпионами и немецкими агентами, так как по самому положению Гельсингфорса, как финского города, контроль и наблюдение над иностранцами были страшно затруднены, ибо фактически отличить немцев от финнов или шведов почти не было возможности. Что касается того, что разница в настроении Балтийского и Черноморского флота могла находиться в зависимости от состава офицеров, то я считаю, что это существенного значения не могло иметь, ибо весь состав офицеров флота выходит из одного источника.

Никаких особо привилегированных групп во флоте не существовало, так как офицерство в Балтийском и Черноморском флоте распределялось главным образом по месту рождения: южане шли на юг, те же, которые были с севера, шли в Балтику. Поэтому эта сторона никакого влияния на настроение флота иметь не могла. Разницу в настроении я приписываю, согласно тем данным, с которыми я познакомился, исключительно работе неприятеля, которому в Балтийском флоте было гораздо легче влиять на настроение команд, чем в изолированном Черноморском флоте, который почти все время плавал и находился в движении, в то время как Балтийской флот несколько месяцев находился в портах, когда устанавливалась

тесная связь с берегом. Вот главная причина этого явления. Все остальные являются уже несущественными.

Затем Гучков выслушал доклад Чернявского о положении вещей в Балтике. Чернявский сообщил о выставленном командами требовании, чтобы суда управлялись комитетами, о том, что командование должно быть на выборных началах и о целом ряде требований относительно офицеров. Было выставлено требование относительно проведения полного выборного начала во флоте, чтобы офицеры могли оставаться на судах после санкционирования их командования, и целый ряд других требований, о которых Чернявский подробно доложил. Я, в свою очередь, обрисовал то, что делается у меня на Черном море. Тогда Гучков сказал мне: «Я не вижу другого выхода, как назначить вас командовать Балтийским флотом». Я ответил: «Если прикажете, то я сейчас же поеду в Гельсингфорс и подниму свой флаг, но, повторяю, что я считаю, что у меня дело закончится тем же самым, что у меня в Черном море события происходят с некоторым запозданием, но я глубоко убежден, что та система, которая установилась по отношению к нашей вооруженной силе, и те реформы, которые теперь проводятся, неизбежно и неуклонно приведут к развалу нашей вооруженной силы и вызовут те же самые явления, как и в Балтийском флоте». Я указал, что у меня во флоте вовсе не так благополучно, как кажется.

Надо сказать, что перед этим правительство прислало мне благодарность и выражение доверия за мою работу в Черноморском флоте. Я указал, что дело обстоит не так благополучно, как кажется со стороны, и просто лишь в силу изолированного положения флота, в силу ряда причин, которых не было в Балтийском флоте, события протекают с задержкой, но я глубоко уверен, что кончится тем же. Поэтому я сказал Гучкову: «Если прикажете, я сейчас же вступлю в командование Балтийским флотом, но вряд ли я смогу помочь и сделать что-нибудь». Гучков сказал, что он подумает еще раз, и спросил меня: «Ведь вы не откажетесь принять это назначение?». Я сказал, что привык исполнять приказания, и что, если прикажут, я сейчас же поеду в Гельсингфорс. На этом кончилось мое первое свидание с Гучковым.

Тогда же я получил предложение приехать к Родзянко к завтраку. В разговоре Родзянко высказал оптимистический взгляд относительно положения в Черном море. Я сказал ему, что у меня идет такой же внутренний

развал, как и везде. Пока мне удается сдерживать это движение, действуя на остатки благоразумия, но что в настоящее время уже есть признаки, что это благоразумие исчезает, и я нахожусь накануне такого же взрыва, который был в Балтийском флоте, и что совершенно не верю в благополучие, которое чисто внешнего свойства. Родзянко задал вопрос: «Что же делать, по вашему мнению?». Я сказал, что единственный выход вижу в борьбе с тем, что нас разлагает: с пропагандой неизвестных безответственных типов, совершенно неизвестно откуда появившихся, которые ведут открытую работу против войны и против правительства. Пока меня еще не тронули, и я пользуюсь известным влиянием, которое у меня еще осталось, но, вероятно, на-днях и это кончится. Я сказал, что считаю, что бороться можно только этим путем, но что я положительно не знаю, к кому мне обратиться, кто мог бы помочь мне в этом деле. Родзянко спросил меня, обращался ли я к каким-нибудь политическим партиям, чтобы они помогли мне в этом деле. Я сказал, что пока еще не обращался. Родзянко предложил мне проехать к Плеханову и поговорить с ним; может быть, он даст совет, даст указания, как лучше поступить в этом деле.

Я поехал к Плеханову, изложил ему создавшееся положение и сказал, что надо бороться с совершенно открытой и явной работой разложения, которая ведется, и что поэтому я обращаюсь к нему, как главе или лицу известному с.-д. партии, с просьбой помочь мне, приславши своих работников, которые могли бы бороться с этой пропагандой разложения, так как другого способа бороться я не вижу в силу создавшегося положения, когда под видом свободы слова проводится все, что угодно. Насильственными же мерами прекратить,— в силу постановления правительства,— я этого не могу, и, следовательно, остается только этот путь для борьбы с пропагандой.

Плеханов сказал мне: «Конечно, в вашем положении, я считаю этот способ единственным, но он является в данном случае ненадежным». Во всяком случае, Плеханов обещал мне содействие в этом направлении, при чем указал, что правительство не управляет событиями, которые оказались сильнее его. «Вы знаете,— спросил меня он,— что сегодня должно быть выступление войск, что сегодня, около 3-х часов, должны выступить войска с требованием смены части правительства?». Это было

21—22 апреля[15]. Как раз в этот день, около 4-х часов, было назначено заседание правительства на квартире Гучкова, на Мойке. Плеханов заметил, что это выступление будет пробой правительства,— раз правительство не будет в состоянии справиться с выступившими против него, то какое же это правительство? По всей вероятности, оно должно будет пасть. «Я лично думаю,— сказал Плеханов,— что все идет не так, как мы хотели или предполагали; события принимают стихийный характер, и в этом случае отдельные лица или отдельные группы могут только до известной степени задерживать или способствовать течению, но я сомневаюсь, чтобы мы могли в ближайшие дни что-нибудь сделать». Вот суть его отношения.

Тогда все это выступление базировалось главным образом на почве империалистической политики правительства,— стремлении получить Босфор и Дарданеллы,— что вызвало требование смены Гучкова и Милюкова, как носителей этой тенденции. Плеханов в разговоре со мной сказал такую фразу: «Отказаться от Дарданелл и Босфора — все равно, что жить с горлом, зажатым чужими руками. Я считаю, что без этого Россия никогда не в состоянии будет жить так, как она хотела бы».

От Плеханова я отправился прямо на совещание совета министров, которое происходило на Мойке, в квартире Гучкова. Когда я проезжал по Невскому и Морской, то мне начали попадаться отдельные воинские части,— там был Финляндский полк и, насколько помню, Измайловский. Вся эта демонстрация стекалась на Мариинскую площадь, перед Мариинским дворцом, где обычно заседало правительство. В данном же случае демонстранты сделали ошибку, не зная, что из-за болезни Гучкова правительство заседает не в Мариинском дворце, а на Мойке. Поэтому демонстрация происходила перед пустым фактически Мариинским дворцом. У Гучкова, в присутствии всего правительства, заседавшего под председательством князя Львова, я подробно доложил все, о чем уже упоминал раньше: о положении на Черном море и о том, к чему это, по моему мнению, должно привести. В это время получено было известие о демонстрации и о требованиях убрать Гучкова и Милюкова из состава правительства. Как резюме этих разговоров, было сказано как будто Милюковым: «Мы можем обсуждать здесь и говорить о чем угодно, а может быть, через несколько времени мы все in corpore будем сидеть

в Крестах или в крепости. Какую же ценность имеют при данном положении наши суждения?». Конечно, с разумностью такого взгляда нельзя было не согласиться.

Как раз перед концом заседания прибыл ген. Корнилов [16], кажется, из Царского Села (я его в первый раз тогда видел). Корнилов сказал, что в городе происходит вооруженная демонстрация войск против правительства, что он располагает достаточными силами, чтобы прекратить это выступление, и в случае надобности, если бы произошло вооруженное столкновение, у него есть уверенность в возможности подавления этого движения. Поэтому он просил, чтобы правительство санкционировало это и дало возможность немедленно начать действовать. Это послужило поводом к обмену мнениями и дебатам, при чем особенно против восставали Львов и Керенский, который заявил: «Наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооруженную силу значило бы вступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным». На этом заседание закончилось. Но Керенский долго еще беседовал с Корниловым. Затем Керенский обратился ко мне и спросил: «Как у вас, в Черном море?». Я сказал, что дело идет все хуже и хуже, сообщил ему, что я был у Плеханова, просил его помощи, и что, со своей стороны, я прошу его, так как он имеет связь с политическими партиями,— с партией с.-р. и другими,— прислать ко мне опытных руководителей митингов, опытных агитаторов, которые могли бы разбивать тех людей, которые у меня ведут разлагающую флот пропаганду. Керенский обещал мне, что пришлет. На этом совещание закончилось.

Вечером я уехал в Псков, где в это время происходил совет командующих армиями, где был Алексеев, Рузский и целый ряд представителей армий — командующих армиями или начальников штаба всего фронта. В Пскове были выслушаны доклады отдельных начальников. Картина, выяснившаяся при этом, превзошла все мои худшие ожидания. Я совершенно не ожидал, что в армии происходили события, о которых открыто докладывали представители командного состава,— братание с немцами, продажа оружия, начавшийся стихийный уход с фронта. Словом, в армии происходил полный развал. Никаких мер, чтобы остановить этот развал и выйти из затруднительного положения, в сущности, никто не мог

предложить. Что касается того, что, может быть, возникла мысль, что прекращение войны и есть этот исход, то должен сказать, что общее мнение было таково, что войну продолжать во что бы то ни стало нужно. Отдельных мнений в пользу прекращения войны я не помню, и наоборот,— общее мнение было таково, что войну прекратить мы не имеем возможности. Таким образом, совещание только констатировало факт развала в армии, не выработав никаких мер к борьбе с этим явлением.

Алексеевский. Ведь ген. Рузский после этого ушел в отставку. Не был ли его уход продиктован тем обстоятельством, что он склонялся к мысли, что войну мы не можем вести дальше, и остается только заключить мир? Впоследствии эта мысль была определенно формулирована Духониным.

Колчак. В такой форме это не высказывалось. Говорилось только, что при таких условиях вести войну нельзя, но все же продолжать необходимо. У всех был расчет на то, что революция вызовет подъем в войсках, вызовет чувство патриотизма, желание победы, желание закрепить совершившийся переворот победой на театре военных действий. Я помню, что это было общее мнение людей, знакомых с историей. Взять хотя бы французскую революцию, которая все победила коалицией. Между тем потом выяснилось, что все старались использовать революцию для своих личных целей. Во время же совещания в Пскове общая точка зрения была такая, что продолжать войну необходимо, что мы связаны такими обязательствами с союзниками, что выход наш из войны вызовет такие последствия, что при этих условиях заключение мира с Германией будет означать полную победу Германии, которая немедленно разобьет союзников и затем продиктует нам свою волю в такой форме, которая вряд ли явится приемлемой.

Алексеевский. Было ли вам известно тогда или после, что существует соглашение, заключенное 9-го сентября 1914 года между Россией, Францией и Англией, относительно того, что при известных условиях каждое из этих государств, несмотря на то, что в открытом тексте сказано, что никто не может заключить отдельного мира, может заключить отдельный мир? В отношении России этим условием была революция.

Колчак. Я в первый раз слышу об этом.

Алексеевский. Слышали ли вы, что товарищ министра иностранных дел Нератов перед большевистским пере-

воротом увез с собой некоторые документы министерства иностранных дел? Он оставался в министерстве при первом правительстве и был главной работающей силой в министерстве иностранных дел, потому что ни Милюков, ни в особенности Терещенко не были достаточно подготовлены для руководства ведомствами иностранных дел. Документ, о котором я говорю, Комиссия в руках не имела, но я слышал от лица, заслуживающего доверия, состоявшего в министерстве иностранных дел, что такой документ существует. В отношении Франции таким обстоятельством, разрешавшим заключение отдельного мира, являлось взятие Парижа; в отношении Англии — высадка германского десанта на островах, и у нас — революция.

Колчак. Я с Нератовым не встречался и о существовании такого соглашения не слыхал. После совещания в Пскове было еще одно совещание у Гучкова, где рассматривался документ, известный под именем «Декларация прав солдата». Я вернулся в Петроград вместе с Алексеевым по предложению Гучкова,— собраться у него на квартире для обсуждения вопроса о документе, известном под именем «Декларация прав солдата», под председательством Гучкова. Эта декларация вырабатывалась особой комиссией при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов из представителей армии и флота. Доклад по этому поводу делал помощник военного министра, кажется, ген. Маниковский. При начале чтения декларации Маниковский сказал: «Я должен доложить, что с выработанным в настоящее время такого рода документом, который предполагается провести в жизнь, я не согласен по существу, но я хотел бы, чтобы каждый из присутствующих высказал свои замечания, и, может быть, нам удастся внести некоторые поправки и исправления».

Тогда Алексеев, который сидел по правую руку Гучкова, когда началось чтение, встал и сказал: «Я, как главнокомандующий, не могу обсуждать вопроса о том, как окончательно развалить ту армию, которой я командую, поэтому обсуждать вопрос я не буду и от дальнейшего участия отказываюсь». После этого все присутствующие заявили, что присоединяются к мнению командующего и считают бесполезным обсуждать этот документ; раз решено его ввести, пусть вводят, но рассматривать его они не будут. На этом чтение документа и закончилось. Ген. Маниковский говорил: «Я решил сделать

доклад только в надежде, что удастся ввести некоторые поправки, удастся смягчить то, что здесь сказано, но раз все считают излишним обсуждать, то больше ничего не могу сделать». Тогда все встали, распрощались и ушли. Я остался еще несколько минут с Гучковым и спросил его, как он решил, должен ли я перейти в Балтику, или вернуться в Черное море. Гучков подумал и сказал: «В сущности это все равно, в таком случае возвращайтесь в Черное море». На этом кончилось мое пребывание в Петрограде, и я уехал в Черное море.

Алексеевский. В эту поездку в Петроград вы видели всех представителей временного правительства? Комиссия хотела бы знать ваше отношение к этому правительству с точки зрения интересов военных и морских, в частности, к наиболее видным его представителям — Львову, Гучкову, Керенскому. Какие недостатки и достоинства видели вы в этом правительстве?

Колчак. За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине. Никого из них я не мог заподозрить, чтобы они преследовали личные или корыстные цели. Они искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву,— на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и вполне определился,— Совет Солдатских и Рабочих Депутатов — ведет совершенно открыто разрушительную работу в армии и вообще в отношении вооруженной силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д. Правительство бороться с ним совершенно бессильно, хотя бы даже оно располагало силами, так как оно принципиально применять эту силу не хочет, а рассчитывает на возможность чисто морального воздействия и держится методов управления, основанных на чисто моральном воздействии. Такое впечатление на меня произвело правительство. Повидимому, такой точки зрения держались все члены правительства, так как разногласий у них не было. Гучков, может быть, и понимал положение, но на меня он произвел впечатление человека, так далеко зашедшего по пути компромиссов, что для него не оставалось другого пути. Он сам говорил, что он больше работать не может, и, повидимому, ясно видел, что должен уйти.

Алексеевский. Гучков держался того же мнения, как и выдающиеся генералы, что больше работать нельзя?

Колчак. Да, к этому времени все пришли к тому же убеждению.

Алексеевский. Но это не есть исход — уйти ответственным людям и оставить на второстепенных персонажей ведение дела.

Колчак. Никто из нас ни от чего не отказывался, но мы ясно видели, что при такой обстановке мы ничего сделать не можем. Если бы нашлись люди, которые могли бы взять это дело, то пусть бы они брали его, но дело в том, что революция не выдвинула таких людей,— их не было. Тем не менее мысли кончить войну у меня никогда не возникало. Я считал, что лучше итти солдатом и выполнить ту роль, которую я найду возможной при данных условиях, но ни у кого из нас мысли об окончании войны не было.

Алексеевский. Что вы думали тогда и впоследствии о предложении Корнилова, сделанном на квартире Гучкова, что он обладает достаточной силой, чтобы поставить барьер этому движению, ведшему к прекращению войны? Действительно ли он обладал достаточными силами?

Колчак. Да, я считаю, что он обладал достаточными силами, иначе он не сделал бы этого предложения. Это человек, отдающий себе отчет в окружающей обстановке, и, конечно, в то время это можно было еще сделать.

Алексеевский. Вы как будто сказали, что с другой стороны, вы просили указаний для себя. Если бы были даны известные директивы ответственными руководителями, чтобы поставить барьер этому движению физическими репрессиями, считаете ли вы, что это было бы возможно у вас, на Черном море?

Колчак. Да, я считаю, что в то время это было возможно и у меня. В то время у правительства было достаточно дисциплинированных сил, чтобы подавить это движение. Это было мнение среди военных, которое было, в частности, высказано Корниловым; разделял его и я, так как считал, что в то время было вполне возможно.

Алексеевский. Происшедшие в начале мая перемены в составе правительства [17], в результате чего было исключение из рядов его представителей буржуазии в лице Гучкова и Милюкова, не вызвали ли надежды на улучшение положения в смысле направления правительственной политики?

Колчак. Считали, что это есть ухудшение, что дальше все пойдет хуже и хуже.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

26-го января 1920 г.

Алексеевский. В прошлый раз, адмирал, мы остановились на вашем возвращении в Черное море после совещания в Пскове.

Колчак. По возвращении моем в Черное море из Пскова я был в Севастополе и должен сказать, что, находясь там, я был не в курсе дел в смысле положения вещей на фронте и не представлял себе такого потрясающего развала нашего фронта. Для меня стало ясно, что войну, в сущности говоря, надо считать проигранной, и я положительно затруднялся решить, что предпринять для того, чтобы продолжать эту войну. По приезде в Черное море, ко мне явилась депутация от солдат царскосельского гарнизона, во главе которой стоял унтер-офицер Киселев, который командовал сербской дружиной. Он был сначала на фронте, а потом в броневой автомобильной роте. Он первый выступил в первых числах марта, после представления депутации остался у меня. Это был человек глубоко убежденный в необходимости переворота; он первый выступил и говорил, что он действительно видит теперь, что путь, по которому пошла вся русская революция, ведет нас к гибели. «Я,— говорил он,— был убежденный революционер, сам первый выступил, был ранен во время этого выступления, а теперь я вижу, что фронта у нас почти нет». Обсудивши с ним вместе этот вопрос, я ему сказал, что я тоже пришел к тому же убеждению. По его мнению, единственное средство, может быть, было бы, если бы я открыто заявил здесь, в Севастополе, о том, что такое положение погубит революцию и всю нашу родину.

Тогда я решил поступить таким образом: я собрал все свободные команды в нескольких местах и, как я это делал раньше, совершенно откровенно высказал все то, что я узнал в Петрограде, обрисовал им положение ве-

щей, указал на бессилие правительства, на то, что фронт у нас в настоящее время разваливается совершенно; удастся ли его восстановить,— неизвестно, и что оказать сопротивление неприятелю невозможно. Я главным образом базировался на следующем положении: для меня, как человека военного и все время занятого исключительно только своими военными делами, казалось необходимым рассматривать происходящую у нас революцию с точки зрения войны. Для меня казалось совершенно ясным, что в такой громадной войне, в какой мы участвуем, проигрыш этой войны будет проигрышем и революции, и всего того, что связано с понятием нашей родины — России. Я считал, что проигрыш войны обречет нас на невероятную вековую зависимость от Германии, которая к славянству относится так, что ожидать хорошего от такой зависимости, конечно, не приходилось.

Суть моего сообщения сводилась, во-первых, к обрисовке полной картины, к характеристике Балтийского флота, к характеристике различных частей фронта. Я не считал нужным ничего скрывать,— изложил все то, что я узнал на псковском совете; обрисовал события, которые были в Петрограде; указал, что теперь начинается движение под лозунгом прекращения войны во что бы то ни стало. Тогда последствия от этого произойдут двоякие: во-первых, зависимость от Германии, так как мы дадим ей возможность, заключивши с нею какое-нибудь соглашение и выведя себя из театра военных действий, разбить союзников на западном фронте. Германия победит,— и мы попадем в полную от нее зависимость. Германия смотрит на нас, как на навоз для удобрения германских полей, и будет соответствующим образом третировать нас в будущем. Если мы выйдем из концерта держав согласия в этой войне и, допустим даже, что Германия будет побеждена, что ей не удастся победа над союзниками, то тогда нам придется иметь дело с союзниками.

Я указал, что сантиментальности в политике не существует, что в политике существуют чисто примитивные соображения о выходе из того или иного положения. Указал, что с союзниками мы связаны обязательствами, что союзники потратили колоссальные средства для оказания нам помощи, и что никогда раньше, до 1917-го года, мы не были так сильны в смысле снаряжения и так подготовлены для окончания войны, что если мы сейчас бросим свое участие и будем в этом направлении что-нибудь

делать, то, несомненно, вооружим против себя союзников, счет которых будет чрезвычайно тяжелым. Наша зависимость будет уже не от одной Германии, а, может быть, от целого ряда государств. Чем же расплачиваться придется нам? — говорил я. Ни для кого не тайна, что мы находимся в самом бедственном положении, и придется расплачиваться натурой,— территорией и нашими природными богатствами. И вот наступает, в конце концов, призрак раздела нашего; мы потеряем свою политическую самостоятельность, потеряем свои окраины, в конце концов, обратимся в так называемую «Московию»,— центральное государство, которое заставляет делать то, что им угодно, но то, что обусловливало нашу политическую самостоятельность и свободу,— все будет у нас отнято. Суть сводилась к этому.

Затем я указал, что союзники, действительно, в это время еще колебались, еще недостаточно ясно учитывали, какие последствия дадут у нас этот переворот и революция, как они отразятся на войне, и они перешли в наступление для того, чтобы дать возможность оправиться нашему фронту, т.-е. оттянуть немцев на себя. Союзники выполнили это апрельское наступление. Я указал на то, что прежде всего здесь мы связаны с союзниками не только какими-нибудь обязательствами, а связаны с ними кровью,— и союзники нам не простят. Я указал на те перспективы, которые казались мне несомненными. И вот мое спокойное, объективное и совершенно правдивое, без каких-нибудь недомолвок, сообщение произвело громадное впечатление на всех присутствующих. Ко мне начали обращаться команды с тем, что команды желают сами отправиться и, если надо, послать свои делегации на фронт с призывом продолжать войну во что бы то ни стало, что подобное положение является позорным, что мы прежде всего должны закончить войну, что эту войну можно закончить.

Результатом моих сообщений явилась так называемая черноморская делегация [18], которая в мае месяце выехала на фронт и принимала там весьма деятельное участие. Я знаю, что многие деятели не вернулись с фронта, потому что активно старались бывать в передовой линии,— показывать пример. Эта черноморская делегация, которая поехала тогда по России, сейчас же вызвала, через неделю после своего отъезда, реакцию, которая заключалась в той же самой пропаганде, которая получила характер пропаганды, направленной персонально против

меня. Там не выставлялось лозунгов политического характера,— пропаганда эта велась на чрезвычайно примитивной почве. Разбить этих противников было бы, в конце концов, нетрудно,— но она свое дело делала. Суть сводилась главным образом, насколько мне помнится, к тому, что я являюсь крупным собственником на юге России, что мое постоянное упорство и настойчивость в продолжении этой войны и освобождении свободного выхода из пролива в Средиземное море объясняется тем, что я являюсь крупным земельным собственником и для меня выгодно вывозить хлеб на тех условиях, которые представляют из себя эти открытые и свободные проливы,— такие заявления делались на митингах на Черном море.

В Севастополе затем уже появились признаки довольно скверного свойства: около половины мая один из миноносцев, «Жаркий», который должен был итти к неприятельским берегам с каким-то поручением, кажется, постановки мин, отказался выйти. Это был первый случай отказа корабля исполнить боевое приказание, потому что в начале мая я выходил в море, и никаких вопросов по этому поводу не возникало. Затем одновременно с этим потребовали смены командира миноносца, старого лейтенанта Веселаго. Этот Веселаго был отличный командир, прекрасно жил с командой. Команда его сама выбирала на какие-то выборные должности, от чего он отказывался. И тут совершенно неожиданно команда потребовала его смены. Мотивы сводились к тому, что Веселаго якобы слишком смело ставит миноносец в опасное положение,— вот единственный мотив, который могла команда выставить против своего командира. Я сказал, что я его не сменю, а миноносец я вывожу из кампании. Приказал ему спустить флаг и прекратить свою деятельность, т.-е. окончить плавание. Так он и остался.

Вместе с тем я послал своего флаг-офицера в Совет Матросских и Солдатских депутатов. Совет в это время был тоже бессилен что-нибудь сделать, хотя он совершенно разделял мою точку зрения. Он послал своих представителей, но в это время уже поднялась против того состава Совета целая кампания. Этот случай был сам по себе не особенно потрясающим и катастрофическим, но он для меня был весьма симптоматичен. Выяснилось, что я ничего сделать не могу, и сам Совет бессилен что-нибудь предпринять, кроме разговоров. Веселаго заявил, что он при таких условиях просто не считает возможным оставаться, и просил его списать. Пришлось

удовлетворить его просьбу и убрать его с миноносца. Вслед за тем такой же случай произошел на другом миноносце, «Новик», по совершенно нелепому поводу. Я поехал туда уже сам, и после переговоров с командой этот инцидент был улажен, так как я им указал на то, что никаких оснований для подобных выступлений нет.

Затем произошло еще одно весьма типичное явление. Какая-то комиссия,— я точно не знаю, в каких отношениях она стояла к Совету,— обнаружила какие-то злоупотребления,— по крайней мере, так было доложено — в порту, по поводу каких-то кож, которые там должны быть сдаваемы, для того, чтобы эти кожи выделывались. Это кожи со скота, который убивался для прокормления Черноморского флота. Они должны быть сдаваемы на кожевенный завод. Возникло обвинение против одного помощника заведующего портом. Он был генерал-майор по адмиралтейству, не помню его фамилии [19]. Обвинялся он в том, что эти кожи не сдаются куда следует; что они частным образом куда-то продаются. Комиссия постановила требовать немедленного ареста этого помощника. Когда следственная комиссия при Совете ко мне явилась (она и раньше приходила ко мне и делала различные заявления по поводу непорядков,— я клал свою резолюцию, направлял дело к прокурору, производилось следствие и представлялось Совету, в каком положении дело находится), я вышел к ней и сказал: «Прошу дать мне дело, я сейчас вызову главного военного прокурора и поручу произвести соответствующее расследование по этому делу». Тогда комиссия мне заявила, что она требует его ареста. Я сказал, что арест будет произведен тем лицом, которое будет производить следствие. Когда оно обнаружит признаки преступления, то от этого лица и будет зависеть, какие меры пресечения следует применить в отношении лица, на которое падает обвинение. Я не знаю, виновен ли он, или кто-нибудь другой, так как из их доклада этого совершенно не видно. Поэтому я сказал, что приказа об аресте не дам, покуда я не получу доклада от главного военного прокурора, или ничего не буду делать, а передам заявление туда. На этом мы разошлись. Затем я совершенно случайно узнал, что они арестовали этого офицера. Я потребовал его немедленного освобождения и сказал, что я не давал комиссии права производить аресты, что этот арест должен быть произведен только судебными властями. Это как раз совпало с переменой личного состава первого Совета. Были

произведены новые выборы, и в этот Совет прошло значительное количество, я прямо это признаю, солдат севастопольского гарнизона. Это был элемент уже совершенно другого порядка. Он был там и раньше, но тогда он был в меньшинстве,— там преобладали морские команды.

Алексеевский. А в то время были у вас политические комиссары?

Колчак. Нет, и не было во все время моего командования флотом. Эти обстоятельства, в связи с тем, что результатов практических не было,— я знаю, там были некоторые лица, которые выступали на митингах от партии с.-р., от партии с.-д., но все это имело чрезвычайно малое влияние,— привели к тому, что дело шло хуже и хуже, и эти события заставили меня задуматься. Состав Совета изменился. Верховский оттуда ушел; часть людей, с которыми я работал в согласии, ушли и заменились другими, и таким образом порвалась всякая связь у меня с этим Советом. Я перестал бывать там, они перестали приходить ко мне. Взвесивши все эти обстоятельства, я признал по совести, что дальнейшее мое командование флотом является совершенно ненужным, и что я могу по совести сказать, что я больше не нужен совершенно.

Попов. Какого партийного состава был новый Совет?

Колчак. Тогда было разрешено и офицерам, и командам записываться в какие угодно партии; партийность состава Совета я боюсь характеризовать, но общее течение уже складывалось в пользу большевистской партии. Тогда еще официально такой партии большевиков не существовало, но настроение носило такой характер. Все же я затрудняюсь назвать этот Совет большевистским, так как он не носил еще определенной окраски большевизма. Там было выборное начало для офицеров, контроль над действиями командования, т. е. приблизительно та же программа, какая была и в Балтийском флоте. Надо сказать, что тогда в Черноморском флоте не было такого термина «большевик», потому я и не называю его так. Большинство, насколько мне помнится, записывалось в партию с.-д., меньшая часть представляла из себя партию с.-р.

И вот, в конце концов, я решил просить освободить меня от командования по следующим мотивам: общее положение, полное бессилие что-нибудь сделать и совершенная моя бесполезность в той роли, в какой я нахожусь. Управлять флотом так, как я понимал, я считал

невозможным и считал нелепым занимать место. Поэтому я обратился к Керенскому с просьбой освободить меня от командования. На это Керенский мне ответил, что он считает это нежелательным и просит меня подождать его приезда в Севастополь, и надеется, что ему удастся устранить и уладить те трения, которые возникли в последнее время. Я согласился и второй раз уже не настаивал. В сущности говоря, в мае месяце быстро произошел общий и внутренний развал во флоте. Державшиеся до того времени рабочие порта, которые все время вели все работы по исправлению, ремонту и т. д., уже к тому времени стали разваливаться. Стали выставляться требования только экономического характера, а производительность все падала и падала с каждым днем, и каждое выведенное из строя судно уже оставалось в бездействии, потому что все работы в порту стали падать. Тем не менее я должен отметить, что известные части команды совершенно не разделяли нового настроения и сохраняли свои понятия о долге службы.

Я упоминал, что в самый печальный период уже окончательного развала флота мне нужно было, в виду полученных сведений о новых подводных лодках, усилить заграждения Босфора и в самом Босфоре поставить заграждения. Для этого нужно было сделать очень опасное и рискованное предприятие и войти в Босфор на катерах, с баркасами, нагруженными минами. Это предприятие носило характер чрезвычайной опасности и риска, и потому я вызвал охотников. Нашлось столько, что они превышали то число, которое мне нужно было для постановки этих заграждений. Это было в мае. Операция эта была выполнена, но с одним печальным происшествием,— ночью на одном из баркасов взорвалась мина. Произошло это в Босфоре, катера заметили, произошла стрельба. Было много раненых, но большинство людей успели вынести и перенести на другой катер,— это было серьезное предприятие. Я это привожу, как характеристику того, что был известный процент людей, которые шли на это, а на ряду с этим другое явление — инцидент с миноносцем «Жаркий».

К событиям этого времени относится приезд Керенского в Одессу. Я получил приказание прибыть в Одессу с миноносцем, с тем, что Керенский из Одессы пойдет в Севастополь на миноносце. Это было около 20-х чисел мая. Я к назначенному времени вышел с отрядом из 4-х миноносцев в Одессу и присутствовал там при торже-

ствах, которые были устроены в честь Керенского и которые носили такой же характер, как и встреча Гучкова в Одессе месяц тому назад. Затем вместе с Керенским я перешел на свой миноносец, и мы отправились в Севастополь. Во время перехода я долго и подробно, почти целую ночь, рассказывал Керенскому о тех обстоятельствах, которые произошли в Черном море. Я указал, что считаю совершенно невозможным продолжать свою деятельность, потому что я коренным образом расхожусь в своих взглядах на командование, на дисциплину во флоте, которая теперь проводится, и что я неспособен работать в этой обстановке.

Я не отказываюсь по существу от какой бы то ни было работы и предоставляю себя в полное распоряжение правительства, но я считаю совершенно бесполезным, может быть, даже вредным для дела, если я останусь. Я сказал ему: «Я не понимаю, чего вы хотите для республики? Во время войны нужна вооруженная сила; я приложил все усилия, чтобы ее удержать, но раз это выходит из вашего плана и это не нужно, зачем я буду продолжать работать?». Он на это ответил: «Я считаю, наоборот, что правительство это, как и правительство прежнего состава, считает, что вы должны оставаться, что теперешнее правительство признательно вам за сохранение Черноморского флота в его боевом состоянии, но вы понимаете, что мы переживаем время брожения: тут надо считаться с возможностью эксцессов».

Керенский, как и всегда, как-то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти два-три месяца всем надоело, и общее впечатление было таково, что всякая речь и обращения уже утратили смысл и значение, но он верил в силу слова. Я доказывал ему, что военная дисциплина есть только одна, что волей-неволей к ней придется вернуться и ему; что так называемой революционной дисциплины не существует, и та партийная дисциплина, которую он приводит, это — дело совершенно другое, потому что единственная дисциплина в армии, в сущности говоря, та, которая выражается в известных внешних формах дисциплинарного устава, которая характеризует взаимоотношение начальника и подчиненного; она одна и та же во всех решительно армиях и флотах всего мира, и какой бы ни взяли дисциплинарный устав,— наш или американский,— мы найдем там одно и то же, никакой разницы по существу нет, есть разница лишь в деталях. То же, что он говорил

о примере партийной дисциплины, это есть дисциплина, которая создается не каким-нибудь регламентом, а воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств, известных по отношению к родине, и эта дисциплина может быть у меня, может быть у него, может быть у отдельных лиц,— но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя.

Так мы ни до чего договориться не могли, потому что стояли на совершенно исключающих друг друга точках зрения. По приезде в Севастополь Керенский объезжал суда; я был все время с ним. Он был встречен весьма торжественно, говорил речи, но на меня производило впечатление, что он на команды никакого впечатления не производит. Казалось, что все идет хорошо. «Вот видите, адмирал, все улажено, мало ли что,— теперь приходится смотреть сквозь пальцы на многие вещи; я уверен, что у вас не повторятся события. Команды меня уверяли, что они будут исполнять свой долг...» После таких переговоров, он, в конце концов, еще раз обратился ко мне с просьбой от имени правительства — оставаться. «Сейчас вас заменить нежелательно, я прошу, чтобы вы продолжали оставаться». Я сказал: «Хорошо, останусь».

После его отъезда положение нисколько не изменилось. Все продолжалось в том же духе, в каком все это шло раньше, и у меня было общее впечатление такое, что его приезд никаких результатов не дал и никакого серьезного впечатления ни в командах, ни в гарнизоне не оставил, хотя он был принят хорошо. Я на некоторое время уходил из Севастополя, ездил в Николаев на заводы посмотреть строящиеся там корабли. Там я узнал о положении вещей на судостроительных заводах. Все в сущности шло к полной остановке, к полному прекращению работы. Тем не менее я все-таки продолжал делать то, что делал раньше,— продолжал выходить в море, вести работу по постановке заграждений, сетей против подводных лодок, по дозорной службе, конвоированию. Поскольку это было возможно,— постольку это выполнялось. Затем в июне месяце начали происходить события уже более серьезного характера. Под влиянием агитации среди команд явилось совершенно неожиданное событие на почве вражды с офицерским составом,— до того времени таких вопросов не существовало. Начали уверять, что офицеры замышляют какую-то контр-революцию. Ни-

какая контр-революция со стороны офицерства, разделенного по судам, была невыполнима.

Офицерские союзы существовали совершенно открыто, на них могли присутствовать команды и потому, конечно, вопрос о какой-нибудь контр-революции совершенно исключался, а наоборот,— все усилия со стороны командного состава и офицерства заключались в том, чтобы поддерживать правительство и выполнять свой долг по отношению к службе. Это было неожиданно для меня. Было совершенно ясно, что это — работа провокационного характера, которая, конечно, клонится, в конце концов, к тем событиям, которые имели место в Балтийском море. Я сообщал об этом все время правительству, доносил ему о всех тех событиях и настроениях, которые у меня были в Черном море, и предупреждал, что дело становится все хуже и хуже, и что я считаю безнадежным положение дела в дальнейшем. Но так как я обещал оставаться до последней возможности, то я и не поднимал вопроса о своей смене, так как считал, что она произойдет и без согласия правительства. Я очень часто выступал перед командами, постоянно приезжал на собрания, и обыкновенно по заведенному ранее порядку меня извещали, что в таком-то часу, в таком-то месте будет собрание, чтобы я мог взять в учет, в случае тревоги, готовность флота, чтобы потребовать команду, и все это шло до сих пор в совершенном согласии. Теперь же все пошло самочинным порядком. Я получал известия стороной, не имея никакой связи ни с какими представительными командными органами.

Наконец, случилась весьма характерная вещь. Киселев, оставаясь все время в Севастополе, где проживала его семья — отец, мать, сестра и брат,— принимал очень большое участие и помогал мне. Он очень часто выступал, прекрасно говорил, и ему удавалось совершенно срывать ораторов своими выступлениями. Я считаю его одним из самых крупных деятелей на митингах и собраниях, где он оказывал известное влияние на команду своим уменьем говорить с большим воодушевлением. Он у меня часто бывал; я с ним подружился, потому что я видел в нем глубоко порядочного русского солдата, глубоко преданного идее блага родины, и в этом отношении у меня с ним установилась тесная близость. Это был человек совершенно бескорыстный.

Затем произошли последние события в начале июня, которые заставили меня уйти с командования помимо

желания правительства. В один прекрасный день состоялся митинг на дворе черноморского экипажа; это — огромная площадь, на которой было 15.000 народа. Я был на этом митинге. Разбирался вопрос персонально относительно меня. Обвинялся я, во-первых, в том, что являюсь в роде прусского агрария; во-вторых,— и это уже обвинение совершенно странного свойства,— что я ослабляю Черноморский флот выводом из строя судов, при чем приводился в пример миноносец «Жаркий», о котором я сказал, что я его никуда не пошлю и считаю его, как судно, совершенно несуществующим. Было еще одно обстоятельство. Был один старый броненосец — «Три Святителя», который, в виду того, что очень много людей просилось в отпуски, и мне нужно было чем-нибудь компенсировать людей на транспортах, я решил вывести из кампании, и командой этого броненосца «Три Святителя» пополнить команды транспортной флотилии в Одессе. Отпусками в это время ведали уже комитеты, и все отпуска шли без какого бы то ни было контроля со стороны командования. Я же получал только извещения от командира, что не хватает людей, партии не возвращаются, а новые уходят, и это заставило меня прибегнуть к такой мере. В военном отношении это играло очень незначительную роль. Это было старое судно, которое должно было осенью быть сдано в порт.

Я решил поехать на этот митинг, хотя меня не приглашали. Узнав время, когда будет этот митинг, около 4-х часов дня, я один вместе со своим дежурным флаг-офицером поехал в этот экипаж. Там какие-то неизвестные мне посторонние люди подняли вопрос относительно прекращения войны, представляя его в том виде, в каком велась пропаганда у нас на фронте,— что эта война выгодна только известному классу. В конце же концов, перешли на тему относительно меня, при чем я был выставлен в виде прусского агрария.

В ответ на это я потребовал слова и сказал, что мое положение материальное определяется следующим. С самого начала войны, с 1914 г., кроме чемоданов, которые я имею и которые моя жена успела захватить с собой из Либавы, не имею даже движимого имущества, которое все погибло в Либаве. Я жил там на казенной квартире вместе со своей семьей. В первые дни был обстрел Либавы, и моя жена, с некоторыми другими женами офицеров, бежала из Либавского порта, бросивши все. Впоследствии это все было разграблено в виду хаоса,

который произошел в порту. И с 1914 г. я жил только тем, что у меня было в чемоданах в каюте. Моя семья была в таком же положении.

Я сказал, что если кто-нибудь укажет или найдет у меня какое-нибудь имение или недвижимое имущество, или какие-нибудь капиталы обнаружит, то я могу их охотно передать, потому что их не существует в природе. Это произвело впечатление, и вопрос больше не поднимался.

Затем пошел вопрос относительно инцидента с «Жарким», затем с броненосцем «Три Святителя». Действительно, флот несомненно ослаблялся в это время, в виду того, что приходящие в периодический ремонт миноносцы не поступали в срок просто потому, что работа шла отвратительно. Такие работы, которые при нормальных условиях требовали трех-четырех часов, производились трое-четверо суток. Я совершенно определенно и не скрывая того положения, которое создалось в порту и во флоте, сказал, что ослаблять флот, с моей стороны, конечно, совершенная бессмыслица, и совершенно бессмысленно взводить на меня такое обвинение. Если кто-нибудь заинтересован чтобы во флоте был порядок, то, конечно, я первый, и, следовательно, трудно мне предъявить обвинение и заподозрить меня в том, что я умышленно ослабляю флот, ибо это значит рубить сук, на котором я сижу. После этого мне никаких возражений сделано не было.

Я сел в автомобиль и уехал. Затем я вернулся к себе на «Георгий Победоносец», и чем кончился этот митинг, я не знаю. Повидимому, он кончился ничем. Вечером я получил в первый раз от нового Совета приглашение притти в Совет на заседание. Как раз приехал Киселев ко мне и сказал, что дело очень плохо, что теперь поставлен вопрос относительно разоружения офицеров и обвинения их в контр-революционном заговоре. Данных почти нет никаких. Но это теперь пущено кем-то, и среди команды идет по этому поводу брожение. Совет будет этот вопрос обсуждать, при чем прибавил: «Я советую вам не ехать туда, так как это совершенно бесполезно,— делу не поможете, будете резкости говорить, ничего из этого не выйдет». Он сказал, что он будет на этом собрании, но мне там делать нечего. Я все-таки поехал. Я решил посмотреть, так как я никогда еще не видел этих заседаний. Когда я приехал, то увидал, что там идет разговор о контр-революции, реакции и реставрации и еще

о чем-то. Я видел, что мне разговаривать об этом было совершенно бесполезно. Там был поднят, между прочим, вопрос о том, что всех офицеров надо немедленно разоружить, потому что иначе они устроят контр-революцию. В какой форме, как они ее устроят, с оружием или без оружия, я не знаю,— это было настолько бессмысленно и глупо, что я, прослушав несколько речей, обратился к председателю: «Нужно мне здесь быть и есть ли ко мне какие-нибудь вопросы?». Он мне сказал, что если будет нужно, то меня можно будет вызвать,— зачем я буду даром терять время. Я уехал. Так меня тогда больше и не вызывали. Киселев известил меня, что, повидимому, завтра будет решение относительно разоружения офицеров. На другой день было дано с одного из линейных судов радио в виде приказа о том, чтобы разоружить всех офицеров, произвести обыски оружия в офицерских квартирах и т. п. Это было часа в три-четыре дня. Сделано это было без уведомления меня, и прежде чем можно было на это как-нибудь реагировать, снестись и поговорить,— это было выполнено, и на некоторых судах потребовано оружие. Офицеры были на кораблях. Несколько офицеров застрелилось в знак протеста, но в общем никаких эксцессов и историй не произошло. Я сделал распоряжение по своему судну, чтобы никакого сопротивления не было, чтобы не было кровопролития и никакого безобразия. Затем я потребовал собрать свою команду «Георгия Победоносца» и сказал несколько слов по поводу бессмыслицы этого акта и о том, что офицерство разбросано по всем судам небольшими группами, что бессмысленно бояться заговора офицеров, так как приходится их по 1 на 15—20 человек команды, и никакой по существу опасности они представлять не могут. Затем я сказал, что вообще какой бы то ни было контрреволюции не существует в природе, потому что союз офицеров существует совершенно открыто, он мне лично известен, я знаю все его дела, я бы сам не допустил в такое время какие бы то ни было выступления, потому что они приблизили бы нас к полнейшей гибели. Я указал им, что мы — старшие офицеры —были лойяльны в отношении к правительству, исполнили все его приказания, что, следовательно, вопрос о какой-нибудь контр-революции никогда не поднимался. Затем я сказал, что могу рассматривать это, как оскорбление, которое наносится прежде всего мне, как старшему из офицеров, здесь находящихся, что с этого момента я командовать

больше не желаю и сейчас об этом телеграфирую правительству. Затем я взял свою саблю и бросил ее в воду. Я стоял около трапа и ушел вниз.

После того я послал об этом телеграмму Керенскому, указав, что я уже ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях командовать флотом больше не буду, что я передаю командование старшему после себя адмиралу, что в полночь я спускаю свой флаг, который будет заменен флагом старшего по мне. Я писал в письме, что я выполнил все то, что я обещал, но командовать больше не могу, и совесть моя чиста. Затем ко мне явилась какая-то депутация по поводу отпусков. Я сказал, что я больше не командую и просил ее по этим вопросам ко мне не обращаться, потому что я никаких распоряжений давать не буду.

Затем я вызвал контр-адмирала Лукина, командующего линейными кораблями, старшего по мне, и сказал ему, что я, будучи фактически поставлен в невозможность командовать, приказываю ему вступить в командование флотом и поднять свой флаг. Затем ко мне вечером, часов в восемь, явилась какая-то делегация от Совета, которая без всяких мотивов вынесла резолюцию, что она считает необходимым, чтобы я сдал свое командование старшему. Я ответил, что командование уже сдал адмиралу Лукину. Делегация просила, чтобы переданы были всевозможные секретные документы. Я сказал: «Принимайте какие хотите документы, но имейте в виду, что это длительное дело. Вы, конечно, можете их принять и рассмотреть». Вместе с тем такое же постановление было относительно контр-адмирала Смирнова, моего начальника штаба. Относительно других офицеров никаких постановлений не было сделано. Затем я сказал, что уезжаю к себе домой, на берег.

Алексеевский. Адмирал Лукин никаких возражений не сделал по этому поводу?

Колчак. Нет, он все видел и, конечно, возражал, но я сказал ему, что я приказываю, так как сегодня ночью возможна какая-нибудь тревога или нападение, и я фактически не могу командовать, а он обязан это сделать. Вечером я поехал к себе домой. Вскоре ко мне на городскую квартиру явились еще два-три человека с заявлением, что они уполномочены Исполнительным Комитетом посмотреть, нет ли у меня каких-нибудь секретных документов, но так как я на квартире никогда не жил, приезжал туда на несколько часов по вечерам, а жил

на корабле, то, конечно, никаких документов у меня не могло быть. Я предложил им осмотреть мой кабинет; они произвели обыск, но ничего не нашли. Я оставался дома. Смирнов пришел ко мне вечером.

Когда ко мне явился один из флаг-офицеров и сообщил, что будто бы состоялось постановление о моем аресте, я сказал, что поеду на корабль и буду там ночевать, так как я не хотел, чтобы меня арестовали в моем доме в присутствии моей жены и ребенка. Я уехал на корабль, там лег спать, а в 2—3 часа ночи меня разбудил флагофицер, который сообщил мне телеграмму от Керенского. Телеграмма была направлена по моему адресу и в Совет, и еще, кажется, по командам; составленная в очень резких выражениях, составленная по поводу безобразия, которое произошло в Черном море, она говорила, что правительство считает подобные выходки актом, враждебным революции и родине, и требует немедленного прекращения всех этих безобразий и возвращения оружия офицерам, а что касается меня, то правительство соглашалось, чтобы я временно передал командование, и требовало моего немедленного приезда в Петроград для доклада.

На другой день к моему чрезвычайно тяжелому состоянию прибавилось известие, что в Севастополь прибыла американская военная миссия адмирала Гленона, которая имела в виду оставаться некоторое время для изучения постановки у меня минного дела и методов борьбы с подводными лодками. Тогда приехала в Петроград миссия Рута. При ней и была морская миссия Гленона, которая приехала ко мне. Эта миссия предполагала у меня проплавать несколько времени и познакомиться с положением дела. Я, конечно, немедленно уехал на берег и сказал, что я никого не принимаю и принять миссию не могу, и она, ознакомившись с положением вещей, немедленно решила уехать.

Приказ правительства был выполнен, оружие было возвращено сейчас же, и все опять пришло во внешнее благополучие и спокойствие. Я оставался целый день у себя дома. Никто ко мне больше не являлся. Ночью я беспрепятственно сел в поезд и поехал в Петроград. В этом же поезде ехала как раз американская миссия Гленона. По прибытии в Петроград я должен был явиться,— Керенского тогда не было,— к его помощнику Кедрову или Дудорову. Он мне сказал, что правительство в ближайшие дни соберется, что им назначается особая следственная комиссия, которая спешно выезжает в Се-

вастополь для разбора всего дела. Председателями этой комиссии были А. С. Зарудный[20] и Бунаков[21]. Между прочим, Зарудный сказал, что все это — вздор, и снова все уладится; но я ответил, что это не наладится, так как я был целый месяц в этой обстановке, целый месяц старался всеми зависящими от меня способами как-нибудь дело поправить, что я считаю, что дело пойдет все хуже и хуже; во всяком случае я назад не вернусь и командовать при таких условиях не буду.

Затем я был принят в Мариинском дворце на заседании правительства. Я сделал доклад, изложил в деталях все то, что у меня было, и говорил, уже не стесняясь, резко, что все это я предвидел и обо всем заранее предупреждал, что я не могу рассматривать деятельность правительства иначе, как ведущую к разрушению нашей вооруженной силы. Я говорил, что гораздо проще было итти совершенно открытым путем, просто-напросто распустить команды и прекратить деятельность флота, потому что при таких условиях флот все равно никакой пользы не принесет. Вместе со мной был Смирнов, который тоже говорил на ту же тему. Я указывал, что считаю виною ту политику правительства, которую оно приняло в отношении вооруженных сил,— подрыв и развал командования, подрыв его авторитета, постановка командования в совершенно бесправное и беспомощное положение; указывал, что под видом свободы собрания и свободы слова совершенно открыто ведется работа наших врагов. Я глубоко убежден, что во всех этих собраниях как в Балтийском море, так и в Черноморском флоте, для меня совершенно ясно видна работа не русская, а работа германской агентуры[22]. Указал на целый ряд совпадений и фактов, которые мне были известны по Балтийскому и Черному морям, что в течение революционного периода образцовое состояние Черноморского флота в отношении команды систематически разлагалось у меня на глазах, при чем я был бессилен что-либо сделать; я был только зрителем, и единственно чем я мог справляться, это моим нравственным авторитетом и моим влиянием.

Я указал, что долго на этом играть нельзя, что потом это все провалится, что про мои команды я в течение целого года ничего, кроме хорошего, сказать не мог; команды вели себя настолько хорошо, что очень редко доходили дела до моей конфирмации, и в большинстве случаев они были такого характера, что разрешались в низших инстанциях. Я не говорю уже о том, что ни одного

случая смертной казни не было,— не было случая ссылки в каторжные работы. Несомненно, были проступки, но характера такого, что до командующего флотом они почти не доходили,— и такие команды довели до такого состояния путем систематического, планомерного нравственного развала. На этом меня правительство, бывшее в глубоком молчании, поблагодарило за обстоятельный доклад и отпустило. Никакого ответа мне никто не дал.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

27-го января 1920 г.

Колчак. Таким образом, я остался в Петрограде ожидать возвращения из Черного моря комиссии под председательством Зарудного, которая выехала туда в первые дни моего пребывания в Петрограде. В ожидании этой комиссии я жил на частной квартире и почти никого не видел, пока ко мне не явился прикомандированный к миссии адмирала Гленона русский офицер-лейтенант, который передал мне пожелание адмирала Гленона видеть меня и переговорить со мною. Зная о целях миссии, я сказал, что пусть он назначит мне время, когда я могу приехать к нему. Адмирал Гленон жил в Зимнем дворце. Там я был принят Рутом и адмиралом Гленоном. Гленон сообщил мне, что цель его миссии — сделать визит нашему флоту, затем американское правительство интересуется некоторыми вопросами по минному делу и борьбе с подводными лодками и желало бы познакомиться с этим. Кроме того, совершенно секретно он сообщил мне, что в Америке существует предположение предпринять активные действия американского флота в Средиземном море против турок и Дарданелл. Зная, что я занимался аналогичными операциями, адмирал Гленон сказал мне, что было бы желательно, чтобы я дал все сведения по вопросу о десантных операциях в Босфоре. Я ответил на это, что не отказываюсь от этого и готов поделиться теми сведениями, которые у меня имеются.

Тогда Гленон спросил меня: «Как бы вы отнеслись, если бы я обратился с просьбой к правительству коман-

дировать вас в Америку, так как ознакомление с этим вопросом потребует продолжительного времени, а между тем мы на днях должны уехать». Относительно этой десантной операции он просил меня никому ничего не говорить и не сообщать об этом даже правительству, так как он будет просить командировать меня в Америку официально для сообщения сведений по минному делу и борьбе с подводными лодками. Я сказал ему, что против командирования в Америку ничего не имею, что в настоящее время свободен и применения себе пока не нашел. Поэтому, если бы правительство согласилось командировать меня, я возражать не буду. В то время, как миссия сносилась с правительством, в ожидании ответа от правительства, я начал собирать все необходимые документы: выписал одного флаг-капитана, который имел на руках все данные по босфорским операциям, словом, начал подбирать все материалы, необходимые для этой задачи.

Как раз в это время Керенский уехал, и потому окончательного согласия со стороны правительства на американскую командировку нельзя было получить. Наконец, ответ получился в положительном смысле, вскоре после приезда Керенского с юго-западного фронта, после наступления 18-го июня. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался тогда в совете министров, и совет министров без всяких возражений согласился на командирование меня в Америку. В это время приехал и Зарудный с комиссией. Зарудный заявил мне: «Совершенно ясно, что все это работа немецкой агентуры [22]. Сколько мы ни расследовали этот вопрос, было ясно, что против вас команда решительно ничего не имеет. Поэтому вы должны принести жертву и снова вернуться на флот, так как большинство лучших элементов желает вашего возвращения». Я сказал, что считаю себя настолько сильно оскорбленным, что командовать там считаю ниже своего достоинства и поэтому к командованию Черноморским флотом ни при каких обстоятельствах не вернусь.

Вскоре после этого, в связи с приездом Керенского, произошло положительное решение вопроса о моей поездке в Америку. За все это время я мало кого видел в Петрограде. Меня посещали знакомые офицеры, главным образом офицеры флота, которые упрашивали меня, чтобы я оставался во флоте и не уходил. Я сказал, что я уже принял на себя известное обязательство, и что в России сейчас нет применения моим силам. Одно время

я хотел уйти на фронт, чтобы меня назначили командовать тяжелой батареей, но после позорного наступления на юго-западном фронте 18-го июня я решил отказаться от этой мысли. Затем одна группа офицеров обратилась ко мне с просьбой, в виду невозможности ведения войны в России, но считая необходимым продолжать войну, сформировать легион из добровольцев и с ним отправиться во Францию. Я сначала остановился на этой мысли, но затем получил сведения об отношении за границей к русским частям, в виду их позорного поведения на французском фронте и отказа драться и участвовать в борьбе. Когда я получил сведения о том, что имя русского во Франции является чем-то в роде брани, я пришел к мысли, что рассчитывать на такую работу, какую я имел в виду, конечно, при таких условиях не приходится.

Затем политические деятели, которые заседали в Таврическом дворце, кажется, по делам ликвидации, и с которыми я был знаком еще по Государственной Думе, узнав о моем приезде, пригласили меня. Я приехал и рассказал о своем положении. Они также говорили мне, чтобы я не уезжал, что я нужен здесь. Я сказал, что готов ехать куда угодно и делать что угодно, но пусть мне укажут определенно, что я должен делать, что таких указаний я не получаю, обстановка же, в которой я мог бы оказаться, если бы остался в России, такова, что исключает возможность какой бы то ни было полезной работы для родины. «Я считаю,— сказал я,— что единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно; я считаю, что это будет единственная служба родине, которую я буду нести, принимая участие в войне, которую я считаю самым важным, самым существенным делом из всего того, что происходит, что революция пошла по пути, который приведет ее к гибели, но я не политический деятель, я солдат, и поэтому считаю нужным продолжать свою службу, чисто военную. Раз я не могу в России принимать участия в этой борьбе, я буду продолжать ее за границей» (у меня была тогда надежда, что я буду принимать известное участие в Дарденелльских операциях).

Затем я был еще на нескольких заседаниях Национального центра, образовавшегося в это время. Там я также сказал, что работать здесь больше не могу, так как уже принял известное обязательство американскому правительству, и ожидаю только выдачи заграничного

паспорта, чтобы ехать с миссией, возложенной на меня правительством, в Америку. Еще до моего отъезда произошло выступление большевиков, прибывших из Кронштадта. Как раз в это время я был очень близок к правительственным сферам, хотя и не принимал непосредственного участия в делах. Кажется, 2-го или 3-го июля Керенский вернулся с фронта в Петроград. Я несколько раз приходил в морское министерство с просьбой доставить мне возможность повидать его, но он все время был так занят и передвигался с одного места на другое, что я не мог его видеть. Между тем, от него зависело утверждение состава моей миссии; я подобрал специалистов, четырех офицеров, и надо было от Керенского получить санкцию на этот состав миссии, выдачу заграничных паспортов, средств для поездки и так далее.

Поэтому в день 4-го июля, когда вечером началось выступление большевиков, я пришел в приемную морского министра и решил ожидать его, пока Керенский не явится. Мне сказали, что он должен быть около 12-ти часов. Я ожидал, пока Керенский не приехал. Керенский заявил мне, что он очень занят, должен позавтракать и сейчас же ехать на заседание совета министров, и что времени у него нет. Я заявил тогда, что у меня также срочные дела, что мне надо получить санкцию на состав миссии и ее отправление. Тогда Керенский сказал мне: «Тогда пойдем завтракать, и во время завтрака вы мне доложите все ваши вопросы».

Мы пошли завтракать, и так как Керенский очень торопился, то я рассказывал ему в общих чертах о положении, создавшемся с моей поездкой. Во время этого разговора пришел дежурный адъютант и доложил, что к Керенскому явилась депутация уволенных старших возрастов, кажется, свыше 42-летнего. Тогда Керенским были устроены периодические отпуска для полевых работ, но все это делалось довольно несистематически и вызывало неудовольствие. Вообще эта тенденция ухода с фронта в армии и во флоте, особенно в Черноморском, была особенно заметна. Я уже подчеркивал несколько раз, что после первой недели революции у всех наблюдалось стремление все бросить и уехать домой по своим делам. Когда явилась депутация, Керенский заявил, что он не примет ее, так как у него нет времени. В ответ на это депутация заявила, что она не уйдет, пока военный и морской министр не даст положительного ответа относительно продления срока отпуска.

Тогда Керенский, не кончив завтракать, встал и вместе с присутствующими вышел в приемную и на лестницу, где находилось человек 30 солдат старшего возраста. Они заявили, что хотя срок отпуска их и вышел, но что у них как раз теперь начинается уборка хлеба, что работников в деревне нет, и что поэтому они просят продлить срок отпуска до окончания уборки, что иначе они не в состоянии будут убрать хлеб. Керенский сказал, что постановление относительно их возвращения есть постановление Совета Депутатов фронта, что он его утвердил и изменять его не может, не переговоривши с фронтовой организацией, так как продление их отпуска задерживает тех, которые ожидают своей очереди. «Поэтому,— сказал Керенский,— я ни в каком случае не отменю распоряжения».

Это вызвало чрезвычайно энергичные протесты среди этих депутатов, которые начали говорить, что их зря берут на фронт, тогда как ведь хлеб тоже нужен для ведения войны. Один из них обратился к Керенскому с таким заявлением: «Нас всего около сорока тысяч, а здесь, в Петрограде, имеется до ста тысяч бездельников, которые никуда не хотят итти. Вы нас посылаете на фронт, потому что мы люди старые, привыкшие к дисциплине, привыкшие исполнять приказания, а вот вместо нас вы послали бы части, которые находятся в Петрограде и которые ничего не делают. Между тем вы их не можете послать, так как они не хотят итти, и вы ничего не можете с ними сделать. От нас вы требуете этого, так как знаете, что мы привыкли исполнять приказания и будем их выполнять». На это Керенский что-то ответил, но, в конце концов, совершенно неожиданно повернулся ко мне (я стоял сзади него) и сказал: «Поговорите с ними, адмирал»,— и сам ушел.

Я остался, кажется, с Бунаковым, и так как был большой шум, раздавались протесты, то я обратился к депутации и сказал, что не могу говорить со всеми сразу. «Я вам не могу давать никаких обещаний, потому что я посторонний человек,— но министр приказал мне переговорить с вами, и я буду говорить. Для этого вы выберите двух-трех человек, так как я не знаю, в чем заключается дело». Тогда ко мне вышел почтенный старый солдат с георгиевскими крестами и медалями, бывший на японской войне и участвовавший и в этой войне. Я с ним пошел в приемную, и он мне стал подробно рассказывать. Действительно, положение было трагическое: «Нас тянут

на фронт,— сказал он,— не для того, чтобы мы воевали, а для того, чтобы поставить нас в тылу на пилку дров, на всякие интендантские работы. Мы не отказываемся ни от чего, но войдите же в наше положение». Он обрисовал картину положения дома, крайне печальную. «Министр говорит нам, что мы должны выполнить наш долг,— сказал мне он,— но мы свой долг выполнили: я веду вторую войну и воевал недаром,— имеются все знаки отличия. Теперь двое сыновей взяты на фронт, дома остались только жена и девочки. Хлеб удалось кое-как засеять, собирать же его некому, и в таком положении находятся почти все остальные. Мы просим дать нам возможность собрать хлеб, а затем мы снова можем вернуться на фронт. При настоящих порядках мы могли бы и не являться, и никто нас не потребовал бы, но мы привыкли к дисциплине и потому хотели действовать в законном порядке».

Выслушав его, я сказал: «Конечно, по моему мнению, вы могли бы быть уволены, но я дать такого разрешения не могу». Тогда они сказали, что хотели бы получить ответ от министра. Я пообещал им, что сделаю все, что могу, что я постараюсь повидать министра, чтобы выслушать от него тот или другой решительный ответ — положительный или отрицательный. Я вызвал дежурный автомобиль и поехал искать Керенского. Я ездил по всему городу, но долго не мог найти; наконец, случайно в одном из правительственных учреждений я узнал, что он находится в квартире Терещенко на Дворцовой набережной, и что там происходит заседание совета министров. Я приехал туда, явился в приемную вместе с этим солдатом и стал ждать конца заседания.

Когда заседание совета министров кончилось и они начали выходить, я с солдатом подошел к Керенскому и сказал ему: «Вы приказали мне переговорить. Я переговорил, и мое мнение такое, что с точки зрения военной можно было бы разрешить продление отпуска, но, конечно, я не в курсе дела. Я приехал сюда специально для получения определенного ответа, так как депутация до сих пор сидит в морском министерстве и ждет от вас окончательного ответа». Керенский на это совершенно определенно ответил: «Нет, никаких отсрочек, никаких отступлений от тех распоряжений, которые были сделаны, не будет». В это время подошли к нам все министры и начали говорить с солдатом, но, повидимому, это на него уже не производило никакого впечатления. Тем дело и кончилось.

Я сел в автомобиль, вернулся к депутации и сказал ей, что видел министра и все правительство и что вопрос о продлении отпуска решен отрицательно. «Я больше сделать ничего не могу». На это мне солдаты заявили, что с этим ответом не могут вернуться и потому они пойдут не к своим, а куда глаза глядят. Между тем Керенский опять уехал, и я не мог с ним переговорить.

После ухода депутации я обратился к Дудорову и сказал ему, что мне необходимо переговорить с Керенским. Дудоров сказал мне: «Скажу вам по секрету, что сегодня в семь-восемь часов вечера Керенский должен уехать. Официально он уезжает с Варшавского вокзала, неофициально же с Царскосельского. У меня также имеются срочные дела, и единственный способ поймать Керенского, это — сейчас же ехать на вокзал, сесть в поезд, в котором должен ехать Керенский, и на дороге, когда поезд тронется, переговорить с ним обо всем, так как здесь он слишком занят. Мы доедем до Царского Села, откуда и вернемся». Мы так и сделали. Приехали на Царскосельский вокзал, узнали от коменданта, где поезд Керенского, сели в поезд и стали ждать прибытия Керенского. Керенский прибыл за несколько минут до отхода поезда. Как только Керенский приехал, поезд тронулся, и я на ходу стал делать подробный доклад Керенскому. Керенский выслушал мой доклад и подписал бумаги, относящиеся к моей миссии. Дудоров также сделал доклад. В конце концов, когда поезд подошел к Царскому Селу, мы оставили его и вернулись в Петроград. Вечером этого дня началось первое выступление против правительства. На следующий день прибыли команды из Кронштадта, и произошли те события, которые известны, вероятно, и вам [23]. Вот все, что я могу по этому поводу сказать.

Алексеевский. Какое впечатление произвели на вас эти события, какие были причины выступления, какие меры приняло правительство, и были ли это те меры, какие нужно было принимать?

Колчак. Я считаю, что это было выступление чисто-большевистского характера. Это подчеркивало прибытие кронштадтских матросов и выступление частей петроградского гарнизона. В Петрограде в это время было около 120 000 войск, которые ничего не делали, только слонялись по улицам и не желали итти на фронт. Мотив был общеизвестный — прекращение войны и роспуск по домам, все же остальные мотивы были привходящими.

В связи с событиями правительство вызвало войска с фронта; эти войска вступили в город уже после событий; я видел их входящими в город в очень хорошем порядке. Это были, кажется, велосипедные части, кавалерия и казачьи части.

Столкновения, которые тогда были в Петрограде, сводились к столкновению большевистских частей с казаками. Единственно серьезное дело было около Литейного моста. В это время я как раз выходил от своих знакомых на Шпалерной, так что, хотя я непосредственно и не видел самого столкновения, но слышал стрельбу и видел бегство матросов по Шпалерной. Вообще же за все это время никаких ужасов на улицах ни днем ни ночью не было. Все это производило такое впечатление, что если бы были взяты войска с фронта, то они могли бы свободно подавить движение, так как особых затруднений в этом отношении не встретилось бы. Кронштадтские команды, пришедшие в Петроград после этого столкновения, произвели разгром, напились и затем сели на суда и уехали в Кронштадт. Все это производило впечатление неорганизованного выступления совершенно нелепого характера [24].

Алексеевский. У вас не возникало мысли, что правительство могло бы переменить курс политики в смысле установления более твердой власти в этот момент, и что правительство могло стать господином положения и подавить начинавшееся большевистское движение?

Колчак. Я уверен, что правительство, если бы хотело, могло бы это сделать; но так как в состав его входили частью члены, находящиеся в полной зависимости от Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, то оно и не могло ничего предпринять против этого. Там наблюдалась картина полной анархии. В Петрограде существовали два совершенно независимых органа — правительство и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Они вступали в какие-то переговоры, но, тем не менее, каждый из них действовал совершенно самостоятельно, за свой страх и риск. Те части, которые были настроены большевистски, находились в распоряжении Совета. У правительства также были свои войска. Таким образом, была картина полнейшей анархии и двоевластия, при котором одна власть не признавалась другой и не считалась с другой. Конечно, была полная возможность, если бы правительство захотело, устранить это, но там происходило так, что когда

часть членов Совета была арестована, то Керенский, вернувшись в Петроград, их освободил.

Трудно было разобраться, какую игру вел Керенский, но мне представлялось, что он находится в какой-то зависимости от Советов, не решается ни в чем выступать против них, а старается вести политику примирения, что, конечно, осуществить было совершенно невозможно, так как вся политика Совета была определенно направлена к прекращению войны, заключению мира с Германией, выходу из коалиции союзников и к дальнейшему немедленному проведению всех принципов социализма. Между тем правительство все же поддерживало борьбу с Германией и считало необходимым оставаться в коалиции и было против введения в жизнь социализма в том виде, как этого желали большевики. Поэтому правительство и Совет расходились. Даже среди войск существовал полный хаос: никто не знал, кому он подчиняется и чьи приказания он должен исполнять. Части, пришедшие с фронта, были в распоряжении правительства, и, сколько можно было судить по внешнему виду, находились в полном порядке, были вполне дисциплинированы, в особенности части кавалерийские. Таким образом, с этой стороны вопроса не возникало,— вероятно, они исполнили бы всякое приказание правительства.

Алексеевский. В этот период вашей жизни вам было сделано предложение от группы офицеров образовать легион, чтобы выступить с ним на французском фронте. Кто был инициатором, из кого состояла эта группа офицеров?

Колчак. Трудно сказать. Я не помню,— фамилии все были незнакомы. Большею частью это были офицеры, которых я встречал в морском генеральном штабе; помню, что это время мне приходилось встречаться там с Пешковым. Он говорил со мною откровенно и нарисовал мне картину положения наших войск во Франции. Рассказ его и послужил поводом к отказу моему от работы в этом направлении. То были люди, которые также не знали, где найти применение своим силам, но которым их совесть и долг подсказывали, что в такое время нельзя сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит. Затем большое моральное содействие оказала еще депутация союза офицеров фронта, в состав которой входил Новицкий и еще несколько представителей, которые поднесли мне георгиевское оружие и адрес и выразили полное сочувствие. Это было во время или незадолго до июльских событий [25].

Алексеевский. В это время у вас не возникла мысль, что война дальше продолжаться не может, что надо подчиниться необходимости кончить ее и пойти за той действительной властью, которая представляется Советами?

Колчак. Нет, такой мысли у меня не являлось. Я считал, что войну мы кончить не можем и что ее надо продолжать во что бы то ни стало. Никогда мысль о необходимости кончить войну мне не приходила в голову, и я не мог бы на это пойти. Я встречался с офицерами фронта, знал, что есть части, которые желают драться; во главе наших войск стояло такое лицо, как генерал Корнилов, которому в армии доверяли и на которого можно было положиться. Корнилов считал возможным дальнейшее ведение войны, так что говорить о каком-то мире было невозможно.

Алексеевский. Ведь генерал Корнилов был начальником штаба юго-западного фронта во время этого неудавшегося июньского наступления и, значит, до известной степени был и автором этого наступления?

Колчак. Автором был Керенский,— Корнилов же являлся только выполнителем.

Алексеевский. Но ведь выполнение возлагало известную долю ответственности и на исполнителя. Принимая во внимание, что тогда выяснилось, что наступательные действия для нас невозможны, что армия, по крайней мере в половинном составе, не желает драться, не стало ли тогда ясно для военных, что войну продолжать мы не можем?

Колчак. Все считали, что войну продолжать надо во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило.

Алексеевский. Среди солдатских масс стали раздаваться голоса, что командный состав, не желая служить под большевистской властью или властью красной демократии, в известной степени стал саботировать. Это выражалось в том, что в критические минуты командование и даже руководство военными действиями стало передаваться в руки комитетов. Так было при операциях под Ригой.

Колчак. Меня в это время не было, во всяком случае, при мне этого не было.

Алексеевский. Не было ли у вас мысли, которая оправдывала бы эти упреки, а именно мысли, что уход крупных представителей командного состава с ответственных постов, например, ваш уход с поста командующего Черноморским флотом, является саботажем той

военной силы, распоряжение которой переходило в другие руки. Не было ли у вас мысли, что вашим уходом вы ослабляете ту остающуюся военную силу государства в виде Черноморского флота, которая была под вашим руководством?

Колчак. Нет, этой мысли у меня не являлось. Я считал, что поступаю так, как мне подсказывала моя совесть и долг. Я не мог оставаться во флоте, так как меня удалили.

Алексеевский. Вы оставили командование без приказа.

Колчак. Но я был поставлен в такое положение, что не мог больше командовать. Я сделал то, что я должен был сделать, и считал, что иначе поступить не могу. Что же мне оставалось еще делать,— итти на дальнейший позор, на то, чтобы мои приказания не выполнялись? Я оставался на своем посту, пока меня не убрали. Когда меня заставили уйти, правительство на это никак не реагировало. Я сидел в Петрограде 1—1 1/2 месяца, и правительство не делало мне никаких предложений; повидимому, оно само считало это невозможным.

Алексеевский. Если бы правительство дало приказ о вашем возвращении, вы вернулись бы?

Колчак. Несомненно... Если бы правительство дало такой приказ, то я бы вернулся,— я всегда был лойялен правительству. Несомненно, что если бы правительством было мне дано такое приказание, то не выполнить его я не мог бы; но в том-то и дело, что мне только один Зарудный говорил: «Вы должны принести эту жертву и вернуться в Черноморский флот». Я ему на это ответил, что сам я этого вопроса не подниму, и сам ни при каких условиях обратно туда не вернусь. Сам я проситься туда не стал бы, но приказание, если бы таковое мне было дано, исполнил бы, так как иначе я должен был бы не признавать правительства. Раз я подчинялся ему и был лойялен до последнего дня, то выполнил бы все его приказания.

Что касается моего отправления в Америку, то оно находилось в тесной связи с согласием английского правительства дать мне возможность проехать через Англию, так как в это время англичане установили на пограничных пунктах свой контроль,— англичане контролировали выезд из России тех лиц, которые проезжали через эти пункты. Поэтому я вошел в сношения с английской миссией, сказал им откровенно о цели моей поездки, при чем

они мне сказали, что было бы лучше, если бы я выехал из России под чужой фамилией, в виду того, что немцы следят за мной, и если им сделается известным мой выезд, то они примут меры. Действительно, один из пароходов, который шел из Христиании в Англию (миссия сама была виновата, так как кричала и шумела об этом), в Немецком море был остановлен подводной лодкой в сопровождении миноносца, при чем немцы вызвали прямо по списку лиц, которые ехали с этим пароходом и были нужны им, забрали их и отпустили пароход дальше. Англичане по секрету сообщили мне, что дадут знать, когда мне следует выехать, чтобы не задерживаться в Норвегии, так как между Бергеном и [пропущено слово] пароходы ходили довольно нерегулярно,— иногда через неделю, иногда дней через 10,— и поэтому никто не знал, когда пароход может пойти.

После двадцатых чисел июля я уехал из Петрограда. За несколько дней до моего отъезда я виделся с Гурко[26], который в это время уже отказывался от командования. Гурко приехал из Кисловодска или Пятигорска. Сначала он поехал на съезд командующих армиями в Могилеве, куда должен был приехать и Керенский. Но присутствие Гурко там оказалось нежелательным, так как он был в обостренных отношениях с Керенским, и последний заявил: «Если будет Гурко, то я не буду». Поэтому Гурко приехал в Петроград с намерением вернуться затем на Кавказ. Гурко сообщил мне о положении в армии, но сказал при этом, что надежда на продолжение войны есть, что Корнилов прилагает к этому все усилия. Гурко смотрел на продолжение войны, как на необходимость. Он первый приехал ко мне с визитом. На другой день я хотел приехать к нему на квартиру отдать визит, но узнал, что утром он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Больше я с ним не виделся. Арест был произведен по ордеру Керенского по поводу каких-то документов, которые были найдены у Гурко[27],— кажется, переписка его с бывшим государем. Подробности этого мне неизвестны, так как вскоре после этого я уехал.

Получив от английской миссии уведомление, что мне надо выехать тогда-то, я около двадцатых чисел уехал вместе с миссией по железной дороге на Торнео, Христианию, Берген и, действительно, совершенно точно приехал к самому отходу парохода. За все время пути ничего замечательного не произошло. На Бергене я провел около суток, пока не пришел пароход. О поездке моей

и моей миссии англичане были осведомлены. Я ехал через Швецию под чужой фамилией. Отношение ко мне было самое любезное. Из Бергена мы пошли на Лондон, откуда предполагали через Атлантический океан проехать в Америку. В Лондоне я был в начале августа. Там я виделся исключительно только с морскими деятелями. Я был у адмирала Джелико, который в то время был морским министром — первым лордом адмиралтейства; был несколько раз у начальника морского генерального штаба генерала Холль. Генерал Холль заявил мне, что мне придется подождать, так как в ближайшее время пароходов нет, что пароходы все страшно забиты, и что мне придется недели две прожить в Лондоне. Тогда, чтобы использовать время, я просил разрешения Джелико познакомиться с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных станций, чтобы осветить этот вопрос для себя. Для этой цели я ездил по различным заводам и станциям, летал на разведку в море, и так дождался момента, когда был отправлен вспомогательный крейсер из Глазго в устье св. Лаврентия, Галифакс. За все время пребывания в Лондоне я никого, кроме моряков, не видел. Русским морским агентом в Англии в то время был Волков. Видел также русскую морскую миссию, за исключением Ермолова, который в это время, кажется, был во Франции. С Набоковым [28] я также виделся.

Алексеевский. Каково было настроение в военной и морской миссиях и русском посольстве в это время? Что говорилось о положении России, отношении союзников и о расчетах союзников?

Колчак. Из тех разговоров, которые я вел с нашими миссиями, видно было, что они смотрят на положение вещей очень мрачно и считают, что это неминуемо кончится проигрышем войны и вынужденным соглашением с немцами. Этого они, с своей стороны, чрезвычайно боялись, так как считали, что в этом случае союзники примут против нас такие же репрессивные меры, как и против Германии. Во Франции в это время было уж такое антирусское настроение, что французы третировали вообще всех русских и называли их не иначе, как «изменник». У меня вначале было желание использовать время пребывания в Лондоне и приехать во Францию, но мне сказали, что лучше туда не ехать, так как настроение там к русским отрицательное. Поэтому я остался в Англии, где существовало все же более терпимое отношение.

Правда, газеты уже вели кампанию против Керенского, говорили, что во всем виноват Керенский и характеризовали его словом... «болтун»,— но вообще в Англии относились к России и русским скорее положительно. В беседе со мной генерал Холль сказал: «Что же делать,— революция и война вещи несовместимые, но я верю, что Россия переживет этот кризис; вас может спасти только военная диктатура, так как, если дело будет и впредь так продолжаться, то вы вынуждены будете примириться с немцами и попасть в их лапы».

Алексеевский. В русских посольских кругах каковы были мнения по поводу событий в феврале?

Колчак. Насколько я знаю, Набоков с самого начала приветствовал это положение, и даже его резкие отзывы, которые он поместил о бывшей царской семье, в Англии вызвали большое недовольство против него в видных правительственных сферах, которые считали, что каковы бы ни были его убеждения, но он не имел права, будучи на службе императорского правительства, так выражаться и высказывать свое порицание персонально бывшей царской семье, в то время, как эта семья была лишена возможности возразить или ответить. Благодаря этой бестактной выходке, он не пользовался влиянием и авторитетом среди англичан, которые в этом отношении очень щепетильны и корректны.

Из Глазго я выехал в Галифакс. Англичане, благодаря моему личному знакомству с адмиралом Джелико и генералом Холль, были со мной чрезвычайно любезны. Джелико беседовал со мною очень долго по поводу обороны Немецкого моря и минирования немецких берегов. Он спрашивал моего мнения по этому поводу и был чрезвычайно любезен. Обыкновенно о таких вещах не сообщают посторонним, он же находил возможным говорить об этом со мной. Таким образом, со стороны английского морского начальства отношение было самое корректное и любезное. Их любезность выразилась в том, что нас поместили на этот вооруженный крейсер совершенно бесплатно. Этот крейсер конвоировал огромный транспорт «Кармения», идущий в Канаду с больными и ранеными канадскими солдатами. Мы вышли из Глазго и направились в Ирландское море. Несколько сот миль нас сопровождали несколько миноносцев, а затем уже в открытом море мы шли вдвоем. Таким образом, благополучно, не встретив никакого неприятеля, мы пришли в Галифакс, совершив весь переход в 10—11 дней.

По прибытии в Галифакс нас встретил морской офицер — морской агент Миштовт, который заявил нам, что в Мон-Реале нас встретят представители морского министерства Соединенных Штатов, что нам предоставлен специальный вагон, что мы являемся гостями американской нации, и чтобы мы не беспокоились ни о помещении, ни о средствах передвижения, так как все это берет на себя американское правительство. Таким образом мы прибыли в Мон-Реаль, где нам был подан вагон. Туда же прибыли представители морского министерства Штатов — два офицера, которые были прикомандированы к моей миссии и которые были раньше в России (один из них Мак-Кормик, пробывший в Петрограде 4—5 лет, хорошо говорил по-русски). Таким образом с полным комфортом мы прибыли в Нью-Йорк и Вашингтон. По прибытии в Вашингтон, я сделал прежде всего визит нашему послу Бахметьеву и морскому министру, его помощнику, министру иностранных дел, военному министру, словом, всем тем лицам, с которыми мне потом приходилось сталкиваться.

После обмена визитами в первые же дни официальных приемов я выяснил, что план относительно наступления американского флота в Средиземное море был оставлен. Его выполнение было невозможно в виду того, что шла перевозка американских войск на французский фронт, и производить новую экспедицию на Турцию, Дарданеллы, было бы совершенно невозможно, хотя военные круги и говорили, что это имело бы большое значение, так как захват Константинополя и вывод Турции из состава коалиции послужил бы началом конца всей войны. Тем не менее выполнить этого было нельзя, так как весь транспорт был занят перевозкой войск на французский фронт.

Алексеевский. Думали ли вы лично, что форсирование Дарданелл американским десантом может дать успех, принимая во внимание неуспех предыдущих англо-французских попыток?

Колчак. Да, я считал это возможным.

Алексеевский. Состояние американской армии, как экспедиционного корпуса, давало ли надежду?

Колчак. Конечно, американская армия не была в состоянии выполнить блестяще эту задачу, но принималось во внимание то положение, что в этот момент Турция находилась в полном истощении. Американцы базировались главным образом на том, что Турция не окажет им

сопротивления, а даже пойдет навстречу. Как бы то ни было, этот вопрос был решен отрицательно, и мне оставалось выполнить только мою миссию, т. е. передать те сведения чисто технического характера, которые интересовали американцев. Так же, как в Англии, я пользовался здесь полнейшим вниманием со стороны американских, главным образом морских, властей. После того как выяснилось, какую работу мне надо выполнить и как использовать привезенные со мною материалы, мне было предложено вместе с моей миссией поехать в Нью-Йорк,— к северу от Нью-Йорка, в известное место для летних купаний, недалеко от которого находится морская академия. Было условлено с министром, что мы отправимся в Нью-Йорк вместе с прикомандированными офицерами, где разберем все материалы, где нам будет указано, что интересует морское ведомство Штатов. Мы уехали в Нью-Йорк и там занимались недели две-три.

За все это время в Нью-Йорке я ни с кем не виделся, так как с утра до вечера мы все время проводили в академии и занимались своей работой. Мне было поручено ответить на некоторые вопросы чисто технического порядка, и я занимался этим делом. Когда я закончил работу, я получил приглашение от морского министра познакомиться с американским флотом и непосредственно участвовать в маневрах этого флота в Атлантическом океане. Я, конечно, принял это приглашение вместе с офицерами. За нами пришел миноносец, и мы на этом миноносце прибыли на флот, стоявший в [пропущено слово]. Около 12 дней я плавал на флагманском корабле американского флота «Пенсильвания», участвуя в его маневрах. Американцы были чрезвычайно любезны не только в смысле внешней стороны, но и в смысле ознакомления меня с организацией маневрирования флота, управления им и т. д. Я привез оттуда чрезвычайно ценные материалы, которые теперь, конечно, имеют для нас только академическое значение.

По окончании маневров я решил, что надо возвращаться домой. Я был глубоко разочарован, так как мечтал продолжать свою боевую деятельность, но видел, что отношение в общем к русским тоже отрицательное, хотя, конечно, персонально я этого не замечал и не чувствовал, так как я был гостем нации и приехал в ответ на такую же миссию, которая была у нас и которая была хорошо принята. Тем не менее, я видел, что отношение Америки к русским было чрезвычайно отрицательное,

и оставаться там было тяжело. Я сделал прощальные визиты, представился президенту. Я беседовал с ним несколько минут по поводу положения в России; он расспрашивал меня относительно слухов, дошедших в Америку, о рижских операциях,— наш флот тогда был вытеснен из Рижского залива. Он спрашивал, были ли подавляющие силы у немецкого флота и как дело обстояло раньше. Я сказал, что после моего ухода в 16-м году была сделана громадная оборонительная работа: была поставлена масса новых орудий, поставлены минные заграждения и т. д., словом, была выполнена колоссальная работа, усиливающая позицию, но что я теперь не могу ничего сказать, кроме того, что моральное состояние команд плохо, что драться с ними невозможно. Он сказал, что, вероятно, это и есть единственное объяснение. Затем я решил возвратиться в Россию. Я считал, что моя миссия не удалась, что участвовать в войне мне не удастся и что поэтому надо вернуться в Россию и там искать какой-нибудь работы, соответствующей моим знаниям и способностям.

Алексеевский. Не замечали ли вы в Нью-Йорке или в Вашингтоне, что часть русского общества усиленно работала в пользу немедленного окончания войны?

Колчак. Я с этим совсем не сталкивался. Эта агитация, если она и была, должна была вестись очень осторожно, так как американцы и все правительство страшно муссировали эту войну, старались всеми мерами поднять воинственный дух. Все здания были оклеены плакатами патриотического свойства, и если такая пропаганда велась, то очень осторожно, так как иначе американцы немедленно прекратили бы ее. Русских печатных изданий я там не видел, и все сведения приходилось получать из американских газет; американская же пресса является удивительно несерьезной в отношении проверенности тех сообщений, которые она дает. Первые сведения о корниловском выступлении я получил в Мон-Реале, при чем это было представлено в таком виде, что все уже кончено, что Корниловым взят Петроград и т. д., и только через несколько дней начали получаться другие сведения.

Из Америки я решил ехать в Европейскую Россию, дать о своей поездке отчет правительству и затем начать делать что-нибудь. Довольно долго пришлось дожидаться первого парохода, который шел из Сан-Франциско. Это был японский пароход «Карио-Мару». Я решил ехать через крайний Запад на Восток. Я выбрал этот путь преж-

де всего потому, что в это время в Финляндии уже шла борьба, начались наступления Маннергейма и враждебные действия, направленные против русских. По некоторым данным, я подозревал, что Маннергейм является немецким ставленником. Обсуждая этот вопрос, я считал, что нельзя ехать и через Францию, а затем через Архангельск, так как для этого пришлось бы обратиться к англичанам,— мне же не хотелось второй раз прибегать к их любезности. Поэтому оставался только путь через Владивосток,— это был к тому же наиболее скорый путь.

Я выехал из Сан-Франциско. Как раз в день моего отъезда были получены первые сведения о большевистском перевороте 26-го октября, о том, что Керенский бежал, правительство пало, а Петроград находится в руках Советов. Так как до этого я неоднократно читал в американских газетах подобные же сенсации, то особого значения и этому не придал, тем более, что американским газетам верить было чрезвычайно трудно. В Америке остался из моих спутников только один Смирнов, а остальные четыре [три?] спутника поехали вместе со мной. Это были — специалист по минному делу лейтенант Безуар, мой флагманский офицер Лечитский и специалист по минным заграждениям Вуич. В Сан-Франциско перед отходом парохода я получил телеграмму на французском языке из Петрограда от партии к.-д., подписанную как будто председателем комитета, где мне было предложено выставить мою кандидатуру в Учредительное Собрание по Балтийскому и Черноморскому флоту. Я ответил на эту телеграмму согласием. «Карио-Мару» держал курс на Иокагаму через Гаваи. Переход длился приблизительно 12—14 дней. За все это время я был абсолютно отрезан от всего мира, несмотря на то что на «Карио-Мару» была приемная станция. Пароход был страшно перегружен, и только благодаря содействию Лансинга и знакомству в морском мире нам удалось получить места.

В Иокагаму мы прибыли около 8—9 ноября. Здесь я был поставлен в курс событий и получил первые сведения о положении дел в России. Меня встретил наш морской агент контрадмирал Дудоров, который сообщил мне, что произошел переворот, что временного правительства не существует и что в настоящее время существует так называемая Советская власть, которая, повидимому, идет на соглашение с Германией к прекращению войны. Эти известия произвели на меня большое впечатление. Я подробно переговорил с Дудоровым,— можно ли верить

известию о заключении мира с немцами и нет ли возможности получить более точные сведения. «Вы находитесь в связи с Петроградом, в связи с генеральным штабом, поэтому я прошу обратиться к Альтфатеру или к кому-нибудь другому в генеральном штабе, который бы информировал вас о том, что произошло и в каком положении находится фронт и война».

Вскоре после этого получилось известие о переговорах и Брестском мире. Это было для меня самым тяжелым ударом, может быть, даже хуже, чем в Черноморском флоте. Я видел, что вся работа моей жизни кончилась именно так, как я этого опасался и против чего я совершенно определенно всю жизнь работал. Для меня было ясно, что этот мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу зависимость от нее и окончательное уничтожение нашей политической независимости. Тогда я задал себе вопрос: что же я должен делать? Правительства, которое заключает мир, я не признаю, мир этот я также не признаю; на мне, как на старшем представителе флота, лежат известные обязательства, и признать такое положение для меня представлялось невозможным. Тогда я собрал своих офицеров и сказал, что предоставляю им полную свободу ехать, куда кто хочет, но что свое возвращение в Россию после этого мира считаю невозможным, что я сейчас ничего не могу решить, но поступлю так, как подскажет мне моя совесть.

Обдумав этот вопрос, я пришел к заключению, что мне остается только одно — продолжать все же войну, как представителю бывшего русского правительства, которое дало известное обязательство союзникам. Я занимал официальное положение, пользовался его доверием, оно вело эту войну, и я обязан эту войну продолжать. Тогда я пошел к английскому посланнику в Токио сэру Грину и высказал ему свою точку зрения на положение, заявив, что этого правительства я не признаю и считаю своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам; что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами, как представителя русского командования, и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках. Поэтому я обратился к нему с просьбой довести до сведения английского правительства, что я прошу принять меня в английскую ар-

мию на каких угодно условиях. Я не ставлю никаких условий, а только прошу дать мне возможность вести активную борьбу.

Сэр Грин выслушал меня и сказал: «Я вполне понимаю вас, понимаю ваше положение; я сообщу об этом своему правительству и прошу вас подождать ответа от английского правительства». Я сказал ему, что два моих офицера так же смотрят на вещи, как и я, и желают разделить мою судьбу; другие [?] же, у которых в России остались семьи, которые они не считают возможным бросить, желают ехать в Россию. Со мною остались Вуич и Безуар.

Алексеевский. В то время, когда вы приняли такое тяжелое решение поступить на службу другого государства, хотя бы и союзного или бывшего союзным, у вас должна была явиться мысль, что ведь существует целая группа офицеров, которые вполне сознательно остаются на службе нового правительства во флоте, и что среди них имеются известные крупные величины. Как рассматривали вы их тогда?

Колчак. Я считал, что они поступают неправильно, они не должны были оставаться на службе. Я не мог, конечно, рассматривать их всех, как людей бесчестных: ведь большинство из них было поставлено в безвыходное положение,— надо было что-нибудь есть.

Алексеевский. Но ведь там были крупные офицеры во флоте, которые сознательно шли на это, как, например, Альтфатер. Как относились вы к ним?

Колчак. Поведение Альтфатера меня удивляло, так как если раньше поднимался вопрос о том, каких политических убеждений Альтфатер, то я сказал бы, что он был скорее монархистом. Мечтой Альтфатера было флигель-адъютантство, он к этому и шел, так как имел большие связи при ставке. И тем более меня удивляла его перекраска в такой форме. Вообще, раньше было трудно сказать, каких политических убеждений офицер, так как такого вопроса до войны просто не существовало. Если бы кто-нибудь из офицеров спросил тогда: «К какой партии вы принадлежите?» — то, вероятно, он ответил бы: «Ни к какой партии не принадлежу и политикой не занимаюсь». Каждый из нас смотрел так, что правительство может быть каким угодно, но что Россия может существовать при любой форме правления. У вас под монархистом понимается человек, который считает, что только эта форма правления может существовать. Как я думаю,

у нас таких людей было мало, и скорее Альтфатер принадлежал к этому типу людей. Для меня лично не было даже такого вопроса,— может ли Россия существовать при другом образе правления. Конечно, я считал, что она могла бы существовать.

Алексеевский. Тогда среди военных, если и не высказанная, то все же была мысль, что Россия может существовать при любом правительстве. Тем не менее, когда создалось новое правительство, вам уже казалось, что страна не может существовать при этом образе правления?

Колчак. Я считал, что это правительство является правительством чисто захватного порядка, правительством известной партии, известной группы лиц, и что оно не выражает настроений и желаний всей страны. Для меня тогда это было несомненно. Я считал, что то направление, которое приняла политика правительства, которое начало с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев над нами, говорил за то, что это правительство действует в направлении нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов.

Алексеевский. В отношении Альтфатера у вас не являлось мысли, что он может быть назван не только человеком, открыто ориентирующимся на Германию, но и карьеристом?

Колчак. Я всегда считал Альтфатера карьеристом, человеком, который считает возможным делать карьеру,— таких людей было много. Другой такой фигурой в нашем флоте являлся Максимов. Бернс мне представлялся с другой точки зрения. Бернс был всегда убежденным германофилом. Он всегда был убежден в необходимости связи с Германией и считал величайшей ошибкой наше участие в войне против нее. Это было его глубокое убеждение, и с этой точки зрения он и рассматривал все происходившие события. Поэтому я понимал точку зрения Бернса,— она могла быть объективно оправдана, так как Германия во время войны обнаружила необычайно высокую постановку дела во флоте. Так как вся военная литература, все военные исследования были немецкими, то вполне понятно, что он находился под влиянием немецкой военно-морской школы. Поэтому я вполне понимаю, что германский империализм, который сказался в области знания и точной науки, несомненно, имел на него

влияние. Я совершенно не отрицаю того, что он находился под сильным влиянием этой школы, так как вся литература, вся работа в этой области шли из Германии. Это в такой же мере сказывалось и в военном деле, в какой сказывалось и в области техники и технической промышленности.

Недели через две пришел ответ от военного министерства Англии. Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно принимает мое предложение относительно поступления на службу в армию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. Я ответил, что, обращаясь к ним с просьбой принять меня на службу в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю использовать меня так, как оно найдет это возможным. Что касается того, почему я выразил желание поступить в армию, а не во флот, то я знал хорошо английский флот, знал, что английской флот, конечно, не нуждается в нашей помощи. Кроме того, флот гораздо меньше нуждается во внешнем пополнении, так как если корабль гибнет, то он гибнет вместе со всем экипажем. Затем, на что же я мог бы претендовать, идя во флот? Я был командующим флотом в Черном море, я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут создалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю итти в армию, хотя бы простым солдатом.

Таким образом, на запрос английского военного министерства я ответил, что у меня нет ни претензий, ни желаний, кроме одного — возможности участвовать активно в войне. Наконец, очень поздно пришел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться в Бомбей и явиться в штаб индийской армии, где я получу указания о своем назначении на месопотамский фронт. Для меня это, хотя я и не просил об этом, было вполне приемлемо, так как это было вблизи Черного моря, где происходили действия против турок и где я вел борьбу на море. Поэтому я охотно принял предложение и просил сэра Ч. Грина дать мне возможность проехать на пароходе в Бомбей.

Алексеевский. Встречались ли вы в Японии с русскими официальными кругами?

Колчак. Да, я встречался там с Крупенским, Игнатьевым и вообще говорил со всем составом посольства.

Алексеевский. Как смотрел Крупенский на политическое положение в России и были ли у него колебания в отношении правительства большевиков?

Колчак. У всех, кого я только видел, отношение к этому правительству было отрицательное. Они определенно этого правительства не признавали, не отвечали на его требования, которые поступали, и т. д При мне должен был приехать новый представитель Советской власти и вступить в исполнение обязанностей посла. Но японское правительство его не допустило. Таким образом, положение наших послов внешне осталось как бы без перемен, но, по существу, они не были авторизированы никакой властью, существовали как бы по инерции, по старым кредитам. С ними считались, как с представителями великой державы, и таким образом все шло постарому.

Алексеевский. Но ведь тогда для официальных русских кругов вопрос об отношении к правительству должен был встать хотя бы в грубой материальной форме?

Колчак. Вопрос этот они решали таким образом: они существуют, пока существуют средства, отпускавшиеся для посольства. Средства эти поступали от кн. Кудашева, который получал крупные ресурсы от боксерской контрибуции. Из этой суммы можно было содержать местные посольства, но, конечно, можно было ожидать, что китайцы откажутся выплачивать эту контрибуцию, и посольствам тогда нужно будет закрыться. Я помню, Крупенский говорил, что в таком случае он закроет посольство, сдаст его под охрану, а сам уедет частным человеком.

Алексеевский. Этих средств хватало только на содержание восточных посольств и местных консульств или их хватало и на содержание всего дипломатического корпуса?

Колчак. Я боюсь точно сказать, знаю только, что на Востоке посольства существовали на эти средства. Что касается американского посольства, то Бахметьев располагал огромными средствами, и во всяком случае американское посольство в этой помощи не нуждалось.

Алексеевский. Но ведь для Крупенского и официальных русских кругов Японии было ясно, что смененное большевистским правительством правительство Керенского также не удовлетворяло требованиям момента и смены этого правительства они желали и раньше. Какого же они правительства хотели?

Колчак. Они желали, чтобы это правительство было авторизировано Учредительным Собранием. Общее мнение всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, было таково, что только авторизированное Учредительным Собранием правительство может быть настоящим, но то Учредительное Собрание, которое мы получили, которое было разогнано большевиками и которое с места запело интернационал под руководством Чернова, вызвало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого Учредительного Собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс. Все считали, что нужно создать новое правительство, но что для этого прежде всего надо спросить голоса самой страны. На большевистскую власть смотрели, как на захват власти известной группой, которая не спрашивала, желает ли страна этой власти. Считали, что если такие события произошли, то по всей вероятности они будут вынуждены прибегнуть к Учредительному Собранию или другому представительному органу, который или авторизирует их, или назначит другое правительство. Таким образом, и к правительству большевиков и к Учредительному Собранию, которое было разогнано большевиками, отношение было отрицательное.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

28-го января 1920 г.

Алексеевский. Вчера мы остановились на вашем отъезде по приглашению английского правительства в месопотамскую армию.

Колчак. Этими переговорами с английским послом в Токио сэром Грином исчерпываются у меня все встречи, более или менее серьезные, которые я имел за время своего пребывания в Японии. Я почти нигде не бывал и виделся только с членами посольства и с членами нашей военной и морской миссий. В конце концов, мне удалось

в 20-х числах января, после долгих ожиданий, уехать на пароходе из Иокагамы в Шанхай, куда я прибыл в конце января. В Шанхае я явился к нашему генеральному консулу Гроссу и английскому консулу, которому вручил бумагу, определяющую мое положение, просил его содействия устроить меня на пароходе и доставить меня в Бомбей в штаб месопотамской армии. С его стороны было сделано соответствующее распоряжение, но пришлось долго ждать парохода. Когда пароход пришел, на нем обнаружилась чума; его задержали, дезинфицировали, и, наконец, мы собрались выехать на Шанхай, Гонг-Конг, Сингапур, Коломбо и Бомбей. Из Шанхая я выехал в феврале, ибо там пришлось три или четыре недели ждать парохода.

Перед отходом моим я получил письмо от нашего посланника князя Кудашева, который был в Пекине, с просьбой приехать к нему по весьма важному делу для переговоров с ним. Я ответил, что если бы это было раньше, я мог бы заехать в Пекин, но теперь никоим образом не могу изменить своего движения и извиняюсь, что приехать не могу. Затем еще в Шанхае я впервые встретился с одним из представителей семеновского вооруженного отряда. Это был казак сотник Жевченко, который ехал через Пекин, был у нашего посланника, затем поехал в Шанхай и в Японию с просьбой оружия для отряда Семенова. В гостинице, где я остановился, он встретился со мной и сказал, что в полосе отчуждения произошло восстание против Советской власти, что во главе восставших стоит Семенов, что у него сформирован отряд в 2000 человек, и что у них нет оружия и обмундирования,— и вот он послан в Китай и Японию просить о предоставлении ему возможности и средств закупить оружие для отрядов.

Он меня спрашивал, как я отношусь к этому. Я ответил, что как бы я ни относился, но в данный момент я связан известными обязательствами и изменить своего решения не могу. Он сказал, что было бы очень важно, если бы я приехал к Семенову поговорить, так как нужно, чтобы я был в этом деле. Я сказал: «Вполне сочувствую, но я дал обязательство, получил приказание от английского правительства и еду на месопотамский фронт». С своей точки зрения, я считал безразличным, буду ли я работать с Семеновым, или в Месопотамии,— я буду исполнять свой долг по отношению к родине. В разговоре с нашим агентом я советовал дать средства

на приобретение оружия, но средства эти не были даны Жевченко, и он, уехавши в Японию, уже получил согласие от японского генерального штаба на то, что помощь оружием ему будет оказана. И действительно, японцы послали известное количество оружия, патронов и т. д. Вот самое крупное, что было за время моего пребывания в Шанхае.

Из Шанхая я уехал на пароходе в Сингапур. В Сингапуре ко мне прибыл командующий войсками генерал Ридаут приветствовать меня, передал мне срочно посланную на Сингапур телеграмму от директора Intelligence Departament осведомительного отдела военного генерального штаба в Англии. Телеграмма эта гласила так: английское правительство приняло мое предложение, тем не менее, в силу изменившейся обстановки на месопотамском фронте (потом я узнал, в каком положении дело, но раньше я не мог этого предвидеть), считает в виду просьбы, обращенной к нему со стороны нашего посланника кн. Кудашева, полезным для общего союзнического дела, чтобы я вернулся в Россию, что мне рекомендуется ехать на Дальний Восток начать там свою деятельность, и это с их точки зрения является более выгодным, чем мое пребывание на месопотамском фронте, тем более, что там обстановка совершенно изменилась.

Я сделал уже более половины пути. Это меня поставило в чрезвычайно тяжелое положение, прежде всего материально,— ведь мы все время путешествовали и жили на свои деньги, не получая от английского правительства ни копейки, так что средства у нас подходили к концу и такие прогулки нам были не по карману. Я тогда послал еще телеграмму с запросом: приказание это или только совет, который я могу не исполнить. На это была получена срочная телеграмма с довольно неопределенным ответом: английское правительство настаивает на том, что мне лучше ехать на Дальний Восток, и рекомендует мне ехать в Пекин в распоряжение нашего посланника кн. Кудашева. Тогда я увидел, что вопрос у них решен. Подождавши первого парохода, я выехал в Шанхай, а из Шанхая по железной дороге в Пекин. Это было в марте или апреле 1918 г.

В Пекине я явился к нашему посланнику кн. Кудашеву, показал ему все документы, которые я имею и на основании которых я действую, и сказал ему: «Я прислан в ваше распоряжение. Какую миссию вы предполагали возложить на меня?». Он мне ответил: «Я сам настаивал,

что вам делать на месопотамском фронте нечего, тем более, что там русских частей нет. Там были русские части, которых англичане поддерживали известным образом, и они вместе с англичанами дрались против турок; но теперь эти русские части бросили фронт, и этим объясняется их распоряжение». Вот каковы были мотивы распоряжения Intelligence Departament.

Князь Кудашев дальше мне сказал вот что: «Против той анархии, которая возникает в России, уже собираются вооруженные силы на юге России, где действуют добровольческие армии генерала Алексеева и генерала Корнилова (тогда еще не было известно о его смерти); необходимо начать подготовлять Дальний Восток к тому, чтобы создать здесь вооруженную силу, для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на Дальнем Востоке». Для этой цели Кудашевым, очевидно, раньше был разработан этот вопрос таким образом, что в полосе отчуждения Китайско-Восточной жел. дороги на средства этой дороги, которые предназначались ранее для отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшей железную дорогу, положить основание вооруженной силе в полосе отчуждения, сначала под видом охраны этой полосы отчуждения, а затем, когда эти войска будут обучены и подготовлены, двинуть их за пределы китайской полосы на Владивосток или куда-нибудь.

О Семенове там было известно, что он действует со своим отрядом, который поддерживается материально,— и оружием, и деньгами,— японцами, что этот отряд пока особого успеха не имеет, что он действует на границе Маньчжурии, вблизи Забайкальской области, до полосы маньчжурской границы, что у него ожидается приход добровольцев, которые увеличат вооруженные силы, и таким образом можно ожидать, что впоследствии этот отряд выльется в большую вооруженную силу. Я спросил, какие у меня будут взаимоотношения с Семеновым, у которого есть приоритет. Он сказал, что Семенов действует в Забайкалье, а мне дается задача работать в полосе отчуждения, при чем он прибавил: «Конечно, вам придется войти с Семеновым в компромисс. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли на себя заведывание суммами, которые распределяются хаотически,— нужно, чтобы эти деньги шли через определенные руки, через вас. Мне известно, что англичане и французы поддерживают отдельные отряды формирования, которые образовались в Харбине, но все это делается без всякого плана. Отряды эти

самочинные, не подчиняются никому, зависят от тех иностранцев, которые им дают деньги, и происходит полный хаос. Нужно постараться этот хаос привести в порядок».

Я сказал, что займусь этим делом, но прежде всего мне хотелось бы знать, на какие средства и в каком масштабе я могу вести эту работу. Кн. Кудашев сказал: «У нас теперь чрезвычайно тяжелое положение с Восточно-Китайской жел. дорогой. В виду того положения, которое создалось в России, китайцы обнаруживают тенденцию захватить эту дорогу в свои руки. Дорога, в сущности говоря, русская, хотя деньги и акции большей частью находились в Государственном банке, и только часть находилась сначала в Русско-Китайском, а потом в Русско-Азиатском банке. В ней заинтересованы непосредственно русские и французы. Но китайцы хотят воспользоваться этим положением и забрать дорогу. Придется вести борьбу». Так как правление Восточно-Китайской жел. дороги было в Петрограде, и большая часть его членов оставалась там, то, как он мне сообщил, Хорват [29] считает необходимым образовать правление Восточно-Китайской жел. дороги, которое получило бы возможность там так или иначе осуществлять свои русские интересы. Вслед за тем он сообщил, что план будет выработан, и попутно выяснится вопрос о моей деятельности в полосе отчуждения.

Вскоре в Пекин прибыли Хорват, Путилов [30] и Гойер [31]. С Хорватом прибыли еще несколько представителей железной дороги и Русско-Азиатского банка и их уполномоченный Славута, затем директор отделения Азиатского банка, одним словом, лица из состава представителей железной дороги и Русско-Азиатского банка. Хорват мне сказал, что он совершенно согласен с тем взглядом, который был высказан кн. Кудашевым. Прежде всего нужно оформить мое положение, чтобы я мог в полосе отчуждения явиться лицом определенным, чтобы я вошел, как член правления, в состав правления железной дороги. Там, в составе правления этой дороги, был всегда член правления по назначению генерального штаба, который ведал военно-стратегической стороной железной дороги и ее охраной. Я не помню, кто там был раньше, но это был офицер генерального штаба, теперь же они предполагали просить меня, с тем, что я должен был занимать совершенно определенное официальное положение.

Затем было собрание у кн. Кудашева с китайскими представителями, которые, по уставу, должны были входить в состав правления, и совместно было образовано правление Китайской жел. дороги под председательством Хорвата. Я вошел в это правление, как военный член, согласно уставу, так что с формальной стороны все было сделано правильно. Туда же вошел и Устругов, с которым я впервые тогда познакомился. Кн. Кудашев туда не входил, так как он, как посланник, не мог войти.

Алексеевский. В числе лиц этого совещания был и Сталь?

Колчак. Он был в Пекине, но в правление не входил.

Алексеевский. Он был как бы юрисконсультом?

Колчак. Нет, он не участвовал,— акт этот составлял помощник Гойера. Я видел Сталя, несколько раз с ним говорил, но участия он не принимал. Все эти лица продолжали заниматься разбором различных дел, в которых я не принимал участия, а я вместе с нашим агентом Татариновым занялся разработкой формирований в полосе отчуждения, составлял сметы и затем ставил вопрос, где же достать оружие. Единственной страной, откуда представлялась возможность получить вооружение, была Япония, потому что английское и французское правительства тогда фактически могли в лучшем случае поддерживать только деньгами такое предприятие, но ни одной винтовки, ни одного патрона и пулемета они дать не могли. Это могла дать только Япония. Поэтому я на одном из частных собеседований с князем Кудашевым и Хорватом сказал, что я считаю необходимым сейчас просить Японию об отпуске нам оружия под те суммы, которые находятся в распоряжении железной дороги, или каким-нибудь другим путем, но прежде всего надо известное оружие получить, потому что, раз мы не будем обеспечены оружием, формирование вооруженной силы явится невозможным. Тогда кн. Кудашев предложил мне поехать к японскому посланнику Сайде, которому я, не скрывая ни цели, ни смысла всего происходящего, все изложил и сказал, что весь вопрос заключается в оказании нам помощи оружием, что я прошу снестись с правительством, какое оружие и в каком размере военное министерство Японии могло бы отпустить на предполагаемое формирование воинских частей, и что с моей стороны желание сводится к тому же,— и дал список. Затем ко мне прибыл Попуда и с ним я тоже обсуждал этот вопрос. При переговорах с Попудой относительно оружия, он

сказал, что будет телеграфировать об этом в генеральный штаб, что в Харбине имеется японская миссия с генералом Накашима во главе, и было бы хорошо, если бы я с ним столковался. Он сообщил, что Семенову передали довольно много оружия, и что, вероятно, на известных условиях Япония согласится и нам дать вооружение. На этом мы покончили все дела и переговоры в Пекине, и я уехал в Харбин.

Алексеевский. Образование нового правления не вызвало ли в самих участниках совещания сомнений в его правильности? Ведь, в сущности говоря, действительно было старое правление, а тут как бы самочинно образовывается новое, при чем из старых членов правления были только два китайских представителя, затем Хорват и Путилов,— больше никто не оставался. Таким образом четыре члена, два русских и два китайских, выбрали приблизительно 12 человек и самих себя.

Колчак. Нет, там было всего 7 или 8 членов. Вопрос стоял таким образом: правления нет, и если мы правления не образуем, то китайцы возьмут дорогу в свое распоряжение. Китайское правительство не возражало против этого, а оно могло бы легко возражать, так как это делалось совершенно открыто. Один член правления был губернатором Гиринской провинции.

Алексеевский. Значит, выясняется, что в сущности главным лицом и инициатором всего этого предприятия в смысле образования нового правления Восточно-Китайской железной дороги с созданием не только управления дороги, но и администрации территории в полосе отчуждения, и созданием учреждения, которое ставит себе целью борьбу с большевизмом, был в сущности князь Кудашев?

Колчак. Я думаю, что князь Кудашев и Хорват.

Алексеевский. Какие-нибудь переговоры по этому поводу с посланниками в Пекине были?

Колчак. Франция была заинтересована, и князь Кудашев говорил, что французы в общем относятся недоброжелательно к этому предприятию,— они считали, что они тоже имеют право вмешательства в эти дела; но кн. Кудашев как-то уладил это дело. В то время происходила смена посланника. Приехал Боб, старый посланник куда-то уезжал, и Кудашеву удалось уладить трения. Препятствий они не ставили.

Алексеевский. А английские дипломатические круги в Пекине имели какое-нибудь отношение к этому?

Колчак. Нет, ни английские, ни американские, ни японские круги не имели к этому никакого отношения. С их стороны никаких вопросов не возникало.

После всех переговоров я выехал на Мукден в Харбин. Это было в начале или половине апреля по новому стилю. Прибывши в Харбин, я прежде всего, не вступая в должность свою около 10-ти дней, старался присмотреться к тому положению, которое создалось по всей линии отчуждения жел. дороги, и изучить ту обстановку, которая сложилась на Дальнем Востоке, и обстановку военную прежде всего. Как раз во время моего приезда там находился отряд Семенова, который вел активные операции против большевиков и довольно успешно,— ему удалось оттеснить противника за реку Онон. Но Ононский мост был взорван красными частями, и это остановило движение семеновского отряда, и дальше он не пошел. Таково было положение у Семенова в полосе от Читы до ст. Оловянная. Средства Семенов получал главным образом от японской миссии в смысле вооружения, денег, снабжения, а отчасти ему помогал Хорват из тех запасов, которые находились в полосе отчуждения железной дороги и принадлежали бывшей там страже этой дороги.

В первые же дни мне было совершенно ясно, что Семенов действует, не считаясь ни с Хорватом, ни с его распоряжениями, широко применяя в полосе отчуждения железной дороги реквизиционную систему, т.-е. просто забирая все, что можно. Семенов реквизировал все железно-дорожное имущество,— приставлял револьвер ко лбу, и все выносилось. Хорват противился этому, но он не слушался. К тому времени у Семенова явилась идея милитаризации железной дороги с тем, чтобы на ней было военное управление. Я говорил об этом с Хорватом и Уструговым [32] и сказал, что я не верю в возможность милитаризации дороги, потому что здесь нет даже достаточно людей для того, чтобы взять дорогу в военные руки, а отряд Семенова не содержит в себе тех элементов, которые бы взяли это дело. Я говорил, что милитаризация в моих глазах будет то же самое, что и социализация, т.-е. эта дорога перестанет работать, и что нужно держать тех техников и служащих, которые работали на этой дороге раньше, и базироваться на существующем техническом персонале, но не допускать возможность военного управления дорогой. Таково же было мнение Уструговa и Хорвата, и проект не получил осуществления, по крайней мере в полосе отчуждения.



Колчаковцы в походе.
Сибирь, 1918—1920 гг.



Портрет Верховного правителя
и Верховного главнокомандующего
адмирала А. В. Колчака





Дом в Омске, где заседало правительство Колчака. 1918—1919 гг.

Командующий союзными войсками в Сибири генерал М. Жанен

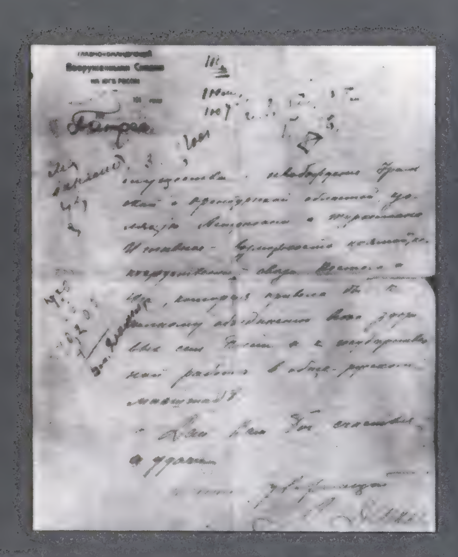


Генерал В. О. Каппель



Атаман Г. С. Семенов.
1918 г.

Письмо
А. И. Деникина
А. В. Колчаку.
14 февраля 1919 г.


Главнокомандующий
Вооруженными Силами
на юге России


А. В. Колчак
с группой офицеров
английской военной миссии





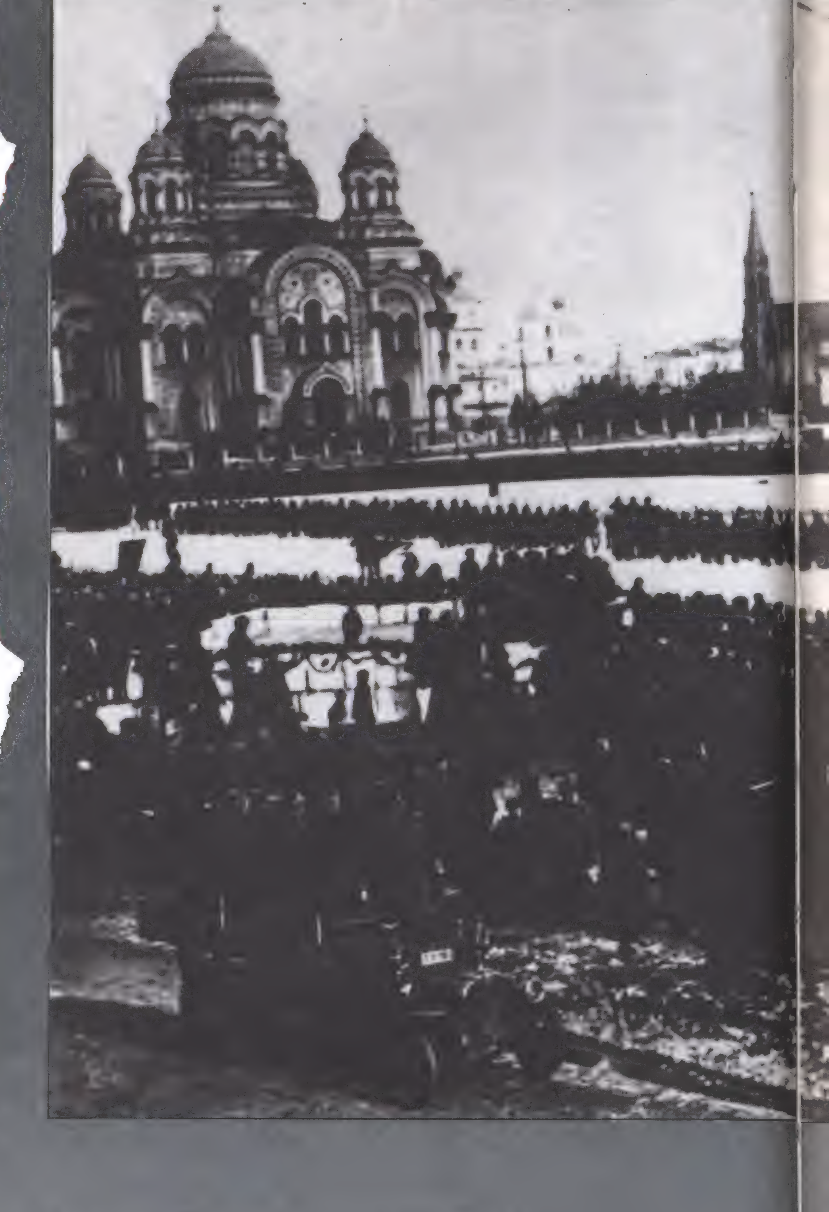
Арестованные министры колчаковского правительства. 1920 г.

Суд над колчаковскими министрами. Омск, март 1920 г.



Адмирал А. В. Колчак на фронте.
Осень 1919 г.





**Вступление Красной Армии в Иркутск.
7 марта 1920 г.**


32



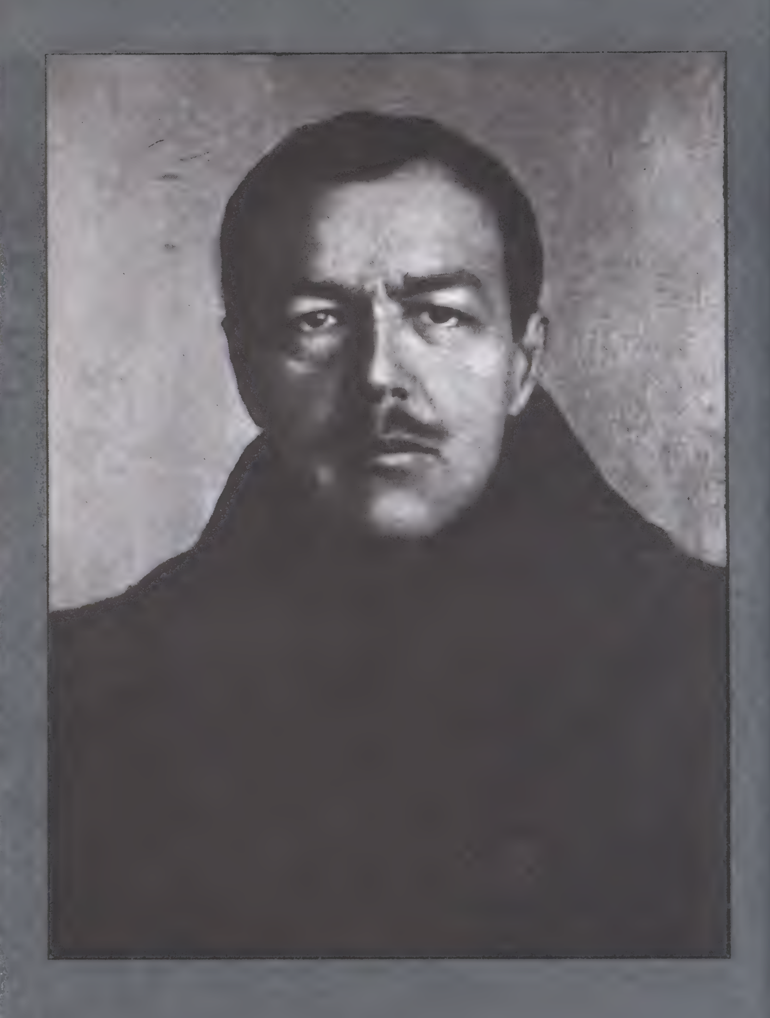


Сибирские партизаны. 1919 г.



Штаб партизанского отряда. Сидит в центре — Н. А. Каландаришвили

Н. А. Каландаришвили —
один из активных организаторов
партизанской борьбы против колчаковцев
в Забайкалье в 1918—1920 гг.,
командир партизанских отрядов.
1918—1919 гг.



А. А. Ширямов — председатель Сибирского подпольного комитета РКП(б) и Иркутского военно-революционного комитета



В. К. Блюхер — начальник 30-й, а позже 51-й дивизий 3-й армии Восточного фронта

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



М. Н. Тухачевский, командующий 5-й армией Восточного фронта

Затем на другом конце железной дороги, около ст. Пограничная, находился другой маленький отряд, не более 70—80 человек, есаула Калмыкова. Этот отряд образовался самостоятельным путем, независимо ни от кого,— собралась группа офицеров, и к ней примкнули уссурийские казаки. Этот маленький отряд находился около ст. Пограничной, и как я вскоре убедился, он пользуется поддержкой в смысле оружия со стороны Японии. Кроме того, Семенова поддерживали усиленно французы, и представители военной французской миссии перевели ему известные средства. Англичане держались несколько другого положения. Кроме этих двух конечных отрядов по концам дороги,— Калмыков пока еще ничего не делал,— в самой полосе отчуждения, в Харбине главным образом, находились следующие воинские части: отряд полковника Орлова, численностью примерно в 1000 чел., затем отряд полковника Маковкина, состоящий из китайских добровольцев,— это была небольшая часть, в которой было человек 400. Затем было несколько независимых от Орлова и Маковкина формирований. На ст. «Эхо» — 200—300 вер. от Харбина — был артиллерийский отряд с несколькими орудиями. Кроме того, в полосе отчуждения формировался отряд охранной стражи Китайской железной дороги, куда принимались добровольцы; в нем было человек 600—700 стражи или даже меньше. Чисто железнодорожными силами командовал ген. Самойлов. Плешков занимал в это время положение как бы командующего войсками с большим штабом. Он начал с формирования большого штаба, не имея никакой вооруженной силы. Все отдельные отряды никому и ничему не подчинялись, и правление Плешкова было чисто номинальное. Они сносились с штабами по своим нуждам с требованием денег, снабжения и вооружения, но когда дело доходило до каких-нибудь распоряжений, выходящих из штаба, они не желали их выполнять.

Нужно сказать, что все эти отряды образовались както стихийно, самостоятельно. Никто определенными планами не задавался, и поэтому лица, которые стояли во главе таких отрядов, были совершенно независимы и самостоятельны, тем более, что иностранцы поддерживали Семенова и Калмыкова. Англичане поддерживали немного Орлова,— это единственное, что англичане делали, и поддерживали главным образом только материально, потому что оружия у них не было. Французы присылали

немного оружия Семенову, но мало. Американцы никакого участия ни в чем не принимали.

Алексеевский. Отряд Маковкина, состоящий из китайцев, тоже предназначался для борьбы с большевиками, а не для охраны железной дороги?

Колчак. Нет, считалось, что китайцы вообще не будут участвовать. Этот отряд предполагали для охраны дороги, потому что на китайцев смотрели так, что они вообще драться не будут, и на них надеяться нельзя. На них смотрели, как на средство изъятия русских от охраны железной дороги, и считали, что они дальше этой дороги не пойдут.

Все отдельные отряды возникли, повторяю, совершенно самостоятельно, поэтому они действовали почти независимо от кого бы то ни было, подчинялись только своим начальникам, а к штабу предъявляли одни только требования в смысле материального снабжения, деньгами и т. д. Что меня очень опечалило с самого начала, это — глубокая рознь между орловским отрядом и семеновским. Они участвовали еще до меня в совместных действиях, но эти совместные действия привели к разрыву и осложнениям между Семеновым и Орловым, и дело дошло до того, что орловцев невозможно было двинуть на фронт вместе с семеновцами. Такие же отношения были между отрядами Калмыкова и Врангеля. Часть орловского отряда была в это время на семеновском фронте, но готовилась отойти оттуда, потому что она свою задачу считала законченной. Эта часть была размером в эскадрон, с двумя орудиями и пулеметами. Там, на семеновском фронте, все время шли трения, и было желание у отдельных отрядов выйти из подчинения Семенову.

Алексеевский. Каковы были причины этих трений?

Колчак. Я думаю, что они лежали в характере русских людей, совершенно утративших в это время всякое понятие о дисциплине. «Никому не желаю подчиняться, кроме самого себя»,— поэтому каждое распоряжение, которое давал какой-нибудь начальник, всегда резко критиковалось, считалось, что оно бессмысленно, и возбуждались бессмысленные жалобы на то, что нас, мол, заставляют драться, а своих берегут, и т. д. Вот это все привести в порядок и заставить их объединиться была моя задача, чтобы подчинить их одной власти.

Алексеевский. Вы лично в Харбине встретились и с Орловым?

Колчак. Да.

Алексеевский. А раньше вы этих военных людей знали?

Колчак. Нет, я в первый раз их видел и узнал, что Орлов был в армии все время, что касается Семенова и Калмыкова, то я их нигде никогда не видел.

Политическое положение определялось следующим образом: политическую организацию в Харбине составлял Дальневосточный комитет. В нем было управление Восточно-Китайской жел. дороги и находилось то, что называло себя правительством и жило в вагоне, это — так называемое правительство Дербера, в которое входил и Устругов. Оно состояло преимущественно из представителей торгово-промышленного класса на Востоке[33].

Алексеевский. Но вы, повидимому, группу Дербера не совсем точно называете правительством. Правительством оно назвало себя позднее, а до этого времени оно называло себя восточным комиссариатом.

Колчак. Они называли себя правительством Дербера. Вскоре после этого оттуда вышел Устругов, все посты у них были распределены, Краковецкий[34] был военным министром. Жили они в вагонах, предоставленных им Хорватом. Их деятельность ни в чем не сказывалась, я ни разу не сталкивался с ними ни в какой области, хотя мы жили рядом и стояли на смежных ветках. Министерские посты были у них все распределены, но они не делали никаких выступлений, а жили как частные лица и, повидимому, ни во что не вмешивались и никаких претензий ни на что не заявляли.

Алексеевский. А Дальневосточный комитет обнаруживал известную деятельность?

Колчак. Очень слабую,— она клонилась к известной поддержке этих отрядов; кое-какие средства он давал. Дальневосточный комитет проявлял чрезвычайно малую и слабую политическую деятельность. Они у меня бывали. Но это были только разговоры, а дела они никакого не делали. Что же касается гражданской власти, то на полосе отчуждения была восстановлена та власть, которая раньше там существовала. Там была администрация в руках гражданского управления при правлении дороги и целая система администрации в полосе отчуждения железной дороги.

Алексеевский. Там был установлен член директор-распорядитель, который стоял во главе правления этой дороги?

Председатель. Политическую работу начало вести уже вновь организовавшееся правление?

Колчак. Да, другого органа не было.

Алексеевский. Каковы были взаимоотношения между Хорватом, который являлся как бы главою правительства, фактически существующего на полосе дороги, с Дальневосточным комитетом и с группой Дербера?

Колчак. Что касается группы Дербера, то Хорват считал так: «Было бы неудобно выбросить их на улицу; они просили у меня возможности жить, я дал им вагон, и я смотрю на них, как на частных лиц». Он им покровительствовал, как частным лицам, несмотря на то, что они претендовали на какое-то звание членов правительства. Я думаю, что отношение всего правления было такое же, как и отношение Хорвата. Когда обсуждался вопрос о создании какой-нибудь власти на полосе отчуждения, то я и некоторые другие заявляли совершенно определенно, что никакого правительства и определенной власти создать в полосе отчуждения нельзя, потому что это, в конце концов, территория не русская, и китайцы могут попросить убраться это правительство вон, если бы таковое объявилось. Дело в том, что положение полосы отчуждения было очень серьезное со стороны китайцев. Китайцы уже чувствовали себя хозяевами положения. Я заметил резкое изменение великолепных отношений и когда я приехал в Харбин, они взяли совершенно другой тон и другое направление. Я думаю, что Дербер и его сотрудники потому не объявляли себя правительством, что это вызвало бы конфликт с китайцами. В полосе отчуждения можно было только держаться строго условий, которые поставлены между правительствами. Но что выходило из этих рамок, могло привести к крайне нежелательным последствиям.

Алексеевский. Но тогда не возникали у вас опасения, что, в конце концов, с группой Дербера придется столкнуться, как с политическим противником и как с претендентом на то же самое, на что правление Восточно-Китайской жел. дороги претендовало?

Колчак. Нет,— какая же это была правительственная власть?

Алексеевский. Ведь по существу правление было началом правительственной власти; юридически это не могло быть заявлено по тем соображениям, какие вы сказали, но по существу, раз это была организация, которая думала создать военную силу и эту военную силу опре-

деленным образом наладить для борьбы с большевиками, и отнимать у большевиков территорию, то ясное дело, что эта военная сила подчинялась бы каким-то директивам правления, и она подчинялась бы этому правлению до известного момента и на территории полосы отчуждения, и на той территории, которая была бы отнята, начиная с полосы отчуждения. Таким образом, это был зародыш власти, это была власть, но формально ей не было присвоено с самого начала никакого наименования. Но рядом, здесь же на рельсах, стоит полный состав претендентов. Для меня непонятно, каким образом со стороны Хорвата было такое великодушие laisser faire?

Колчак. Хорват не претендовал на формирование власти. Он к этому вопросу относился безразлично, потому что группу Дербера он не считал серьезной. У этих претендентов не было ни денег, ни вооруженной силы, следовательно, это была группа лиц, которая могла себя назвать как угодно, но фактически она не располагала никакими средствами, и со стороны иностранцев никаких отношений к ней не было заметно.

Алексеевский. Я думаю, что полезно было бы слышать от вас соображения о финансовом положении,— какие средства были отпускаемы для этого, в каких размерах, и каковы были источники возобновления этих средств?

Колчак. Я не был посвящен и не входил во все финансовые расчеты. У меня было условие с Хорватом, что я буду ежемесячно доставлять ведомость, и по его распоряжению средства выдавались начальнику штаба из Русско-Азиатского банка в Харбине. Приблизительно ежемесячный расход достигал у меня одного миллиона рублей, которые мне выдавались по моему ордеру. Эти деньги шли на содержание всех отрядов, кроме семеновского и калмыковского.

Алексеевский. Знали ли вы, каковы ресурсы правления и на что вы можете рассчитывать?

Колчак. Мне Хорват сказал, что я могу рассчитывать на средства в пределах одного миллиона рублей в месяц; эта сумма тогда приблизительно отвечала существовавшей потребности.

Алексеевский. Здесь возникает вопрос,— если бы дело шло успешно, главным образом на добровольческих началах, если бы было много желающих поступить добровольцами, то как бы вы отнеслись к этому и до какого

состава вы могли бы дойти в формировании новых отрядов?

Колчак. До состава корпуса пограничной стражи, которая находилась в полосе отчуждения, а средства для этого корпуса у дороги были. Эти средства шли не только на содержание отрядов Маковкина и Орлова, но я еще вел заготовку по интендантской части, закупку лошадей, обслуживание и приведение в порядок казарм; все это требовало около миллиона рублей, содержание же самих отрядов требовало гораздо меньше.

Алексеевский. Хотя корпус был и не пополнен, но всетаки по разверстке достигал, повидимому, до 20 тысяч человек?

Колчак. Да, эта цифра могла бы отвечать той задаче, которую мы ставили. Если бы в дальнейшем потребовались средства, то Хорват сказал, что они найдутся. Из 20 000 чел. предполагалось 5000 китайцев оставить для охраны дороги, а 15 000 отвести в действующие части.

После отрядов полковника Орлова и Маковкина и артиллерийской части, которая там формировалась, ко мне начали являться другие лица с просьбой формировать новые части. Я им отказал, потому что новых отрядов не к чему было создавать. Приток добровольцев был очень велик,— и я приступил к вопросу о мобилизации в полосе отчуждения. Мобилизация могла бы дать 10 000 чел. в пределах 5 верст, преимущественно молодых, начиная с самых ранних. Поэтому велись работы, но осуществить эту мобилизацию так и не удалось.

Вот общая картина, которую я застал по прибытии в Харбин. Прежде всего мне хотелось выяснить взаимоотношения с Семеновым. Мне докладывали, что Семенов никому не подчиняется, что он будет действовать за свой страх, самостоятельно и независимо. Я сказал, что я не претендую на то, чтобы командовать им, но что должно быть какое-нибудь согласование; нужно определить операционную зону; какая-то связь должна существовать. Об этом я считал необходимым переговорить с Семеновым и поехать к нему. Перед этим я несколько раз беседовал с главой японской военной миссии генералом Накашима. Генерал Накашима выслушал мои пожелания и сообщение о размере тех частей, которые я предполагал здесь развернуть. Я представил ему все сведения о помощи, которую я просил у Японии для содержания этих частей. Он сказал, что так много они не в состоянии дать, так как мы имеем огромнейшие средства во Вла-

дивостоке, что когда Владивосток будет в наших руках, нам будет легче, но пока у нас слишком мало сил, чтобы задаваться такими широкими проектами, и он обязуется предоставить сколько нам нужно пулеметов, материалов и т. д. Затем он неожиданно задает вопрос: «Какие вы компенсации можете предоставить за это?» Меня чрезвычайно удивил этот вопрос, потому что, в сущности говоря, я не являлся лицом, которое могло бы говорить о компенсациях. Я смотрел на оружие, как на заем, потому что Хорват платит за это оружие. «Я вовсе не прошу этого оружия, как милости,— если у вас есть оружие, то продайте мне; дорога платит за него, потому что я все равно должен создавать охрану дороги; оно нужно, и дорога вынуждена будет это оружие приобретать». Он сказал, что денежный вопрос его совершенно не интересует. Я говорю: «Какие я, явившийся сюда офицер, член правления дороги, могу вам компенсации предоставлять? Кем я уполномочен на это? Я обращаюсь к вам и смотрю на это, как на заем. Если вам нужно обеспечение, то Хорват даст обеспечение ценностями дороги. Я прошу у вас так немного,— какие тут могут быть компенсации? Вы знаете, что Россия может компенсировать что угодно, но я не могу вести с вами переговоры об этом, я никем не уполномочен».

Затем я обратился к нему с другой просьбой: «Задача наша заключается в том, чтобы объединить отдельные воинские части, так как иначе, друг без друга, работать они не могут,— и, если вы даете Семенову оружие и деньги, нельзя ли это делать через один источник, хотя бы через Хорвата, чтобы Хорват мог распределять те средства, которые извне получаются для вооруженных сил, более правильным образом». Затем я сказал, что, по моему мнению, такая непосредственная помощь начальникам отдельных отрядов есть главная причина недисциплинированности и неподчинения этих частей. Все они чувствуют себя независимыми, и согласовать действия отдельных частей при таких условиях невозможно. «Я думаю, вы, как военный, это понимаете, и прошу вас, если вы предполагаете давать какие-нибудь средства, делать это не непосредственно, а через Хорвата, хотя бы и под вашим контролем».

Вот разговор, который у меня был с генералом Накашима. Он меня спросил: «Вы к Семенову поедете?» — «Да, я поеду,— я хочу с ним договориться о том, какие у нас должны быть взаимоотношения».

С этой целью я в начале мая поехал в Маньчжурию, пославши Семенову телеграмму, что прошу встретить меня на ст. Маньчжурия. Когда я прибыл на ст. Маньчжурия, мне сообщили, что Семенова нет. Меня это очень удивило, потому что я послал за три дня телеграмму; на фронте было спокойно, но Семенова не было. Через некоторое время я убедился, что тут идет какая-то странная игра. Мне донесли, что Семенов находится на ст. Маньчжурия. Со мной было 300 000 руб. денег, которые я полагал ему передать от управления дороги. То обстоятельство, что Семенова нет, меня чрезвычайно удивило, тем не менее я продолжал там стоять и дожидаться. Наконец, мне совершенно определенно сказали, что он находится здесь, но что он не желает ко мне прибыть. Тогда я решил, что вопрос настолько важен, что надо пренебречь самолюбием. Я сам поехал к Семенову переговорить с ним. Мне совершенно определенно заявили, что Семенов получил инструкцию мне ни в коем случае не подчиняться.

Я прибыл к Семенову в вагон и спросил: «В чем дело? Я приезжаю сюда не в качестве начальника над вами, я приехал с вами поговорить об общем деле создания вооруженной силы, и нам нужно договориться, в какой мере и в какой степени я могу оказать вам помощь своим отрядом, потому что средства у нас одни и те же, средства Восточно-Китайской жел. дороги, и мне, как члену правления этой дороги, чрезвычайно важно знать ваши желания и цели для того, чтобы я мог распределять те остатки имущества и ценностей, которые имеются в распоряжении правления, соответствующим образом. Я привез вам денег от Восточно-Китайской жел. дороги». Он отвечал мне довольно уклончиво, что он сейчас ни в чем не нуждается, что он получает средства и оружие от Японии и что он не обращается ко мне ни с какими пожеланиями и просьбами. Тогда я убедился, что в сущности разговаривать не о чем. Таким образом, выяснилось, что Семенов желает действовать совершенно самостоятельно и ни в какие обязательства и связи с правлением железной дороги и с Хорватом входить не желает. Тогда я ему сказал: «Хорошо, я с вами не буду разбирать этот вопрос, но имейте в виду, что раз вы со мной не могли договориться и не могли ничего выяснить, то я слагаю с себя всякую ответственность за ту помощь, которую могла бы вам оказать железная дорога, и уже ее средства и ресурсы буду применять к тем частям, которые находятся

под моим командованием». Таким образом, мы расстались, и я уехал обратно в Харбин.

Денике. Вопроса о разграничении сферы действий вы с Семеновым не ставили?

Колчак. Нет, это был очень короткий разговор. После этого я уехал в Харбин и сообщил Хорвату о положении вещей. Я сказал, что уже никакой связи не имею с отрядом Семенова, который действует вполне независимо и самостоятельно, и что я буду действовать, заботиться и налаживать работу штаба, охватывая только те части, которые фактически находятся у меня в руках. Затем я разработал такой план операции: изучивши средства и ресурсы Восточно-Китайской жел. дороги, я увидел, что создать здесь серьезную вооруженную силу не удастся, что единственное место, откуда можно начинать развертывание сил, это — Владивосток, и что операции надо вести главным образом на Дальнем Востоке. Это было мое мнение, которое совершенно не разделялось японским командованием. У них в это время обсуждался вопрос об интервенции, и я думаю, что, с японской точки зрения, создание вооруженной силы на Востоке было в это время совершенно нежелательно. Из дальнейших разговоров я почти убедился, что это так. Поэтому они настаивали, чтобы все силы и средства употребить на действия в Забайкалье и передать их в распоряжение орловского и семеновского отрядов. Между тем отношения орловского отряда к Семенову совершенно исключали возможность совместных действий. Я об этом серьезно разговаривал с орловскими офицерами, и они заявили, что ни за что не пойдут.

Алексеевский. А вообще орловский отряд в его составе мог пойти куда бы то ни было?

Колчак. Я думаю, что мог бы. Он потом действовал в Приморской области по моему плану. Этот отряд увеличился до 2000 человек,— добровольцы все-таки являлись.

Попов. Как вы реагировали на пожелание Японии?

Колчак. Я считал, что главные действия должны быть на Дальнем Востоке, потому что во Владивостоке были огромные ресурсы и средства, которые бы освободили нас от постоянного обращения за помощью к иностранцам. Хорват был очень огорчен, но что делать,— не вести же войну из-за этого между собою. Он ставил вопрос так, как он есть. После этого, поговоривши с начальником штаба Орлова, я задал ему задачу строевой подготовки

этих частей, чтобы сделать из них регулярные силы, потому что, в конце концов, все это носило характер партизанских нерегулярных воинских частей. Поэтому первой моей задачей было приведение в порядок всех этих частей в дисциплинарном отношении и обучение их стрельбе. Затем я на Сунгари начал образовывать флотилию, использовав морских офицеров и команды, которые состояли из добровольцев. Китайцы смотрели на это довольно косо, но каких бы то ни было препятствий в этом отношении не чинили. Одним из первых мероприятий был вывод из Харбина всех воинских отрядов и частей, потому что это был город ниже всякой репутации,— пьянство и безобразия непременно связывались с пребыванием воинских частей в Харбине. Поэтому, когда явилась возможность все эти части вывести из Харбина и расположить их на линии до Пограничной, я это сделал. И отряд Орлова был расположен на ст. Пограничная. В Харбине я оставил небольшие части для несения караула.

Затем, вскоре после моего возвращения от Семенова, ко мне прибыл генерал Накашима, который сообщил, что известный груз артиллерии, снарядов и оружия посылается из Японии в мое распоряжение. Потом он спросил: «Как вы с Семеновым?». Мне было отчетливо понятно и ясно, что все это — дело рук японской миссии, и такое обращение ко мне Накашима меня взорвало. Я бываю очень сдержан, но в некоторых случаях я взрываюсь. Это была насмешка, и я сказал: «Вы, вероятно, отлично знали, к каким результатам эта поездка поведет. Я не знал, но вы отлично знали. Мне очень хорошо известно, что поведение и отношение Семенова было инструктировано подполковником Куроки, который состоял при нем. Вы можете против этого возражать, но это не меняет положения». Затем он говорит: «Что же, отряд Врангеля возвращаете от Семенова к себе?» — «Ваше превосходительство, отряд Врангеля действует на фронте, и поэтому, независимо от каких бы то ни было отношений моих с Семеновым, я не дам приказания убрать этот отряд, пока начальник этого не скажет и пока не явится возможность. Не могу я с фронта убрать часть, которая находится в боевой работе». Тогда он говорит: «А вы бы потребовали, чтобы эту часть вызвать».

Это меня окончательно возмутило, потому что это было бы просто провокационное предприятие,— я приказал бы Семенову вернуть отряд, а он не подчинился бы.

Я сказал: «Я бы, может быть, это и сделал, если бы вы мне не мешали». Одновременно с этим я узнал, что, несмотря на обещания мне и Хорвату передать деньги в наше распоряжение, Накашима через Куроки передал их Семенову. По этому поводу я ему сказал: «У меня к вам была покорнейшая просьба, исполнение которой я считал важной с точки зрения дисциплины. Формально мы бы не возражали, и то, что вы приказали бы, было бы передано. Я указал вам на те отрицательные результаты, которые получаются при непосредственной передаче этих сумм. Вы обещали, но тем не менее не исполнили, не предупредивши меня. Я должен сказать, что вы способствуете нарушению дисциплины и порядка в наших частях. Мне непонятны мотивы, по которым вы это делали, но факт для меня остается фактом». После этого мы очень холодно расстались, при чем он мне сказал: «Я японский офицер, я никогда не позволил бы себе нарушение дисциплины в каких-нибудь других частях. Вы наносите мне тяжкое обвинение, что мои действия нарушают военную дисциплину». На это я ответил: «Факты, которые я вам привел, подтверждают справедливость того, что я сказал». Это привело меня к совершенному разрыву с японской миссией. Я никаких дальнейших шагов не предпринимал, и, в конце концов, они задержали мне доставку груза оружия в Дальнем. Эта беседа была последней, содержание которой я не скрывал.

Алексеевский. Не приходилось вам высказывать мнений, которые могли бы быть приняты за выражение вашего общего отношения к помощи Японии в борьбе с большевиками, которые резюмировались бы фразой: «В конце концов, лучше большевики, чем японцы»?

Колчак. Нет, такой фразы не было сказано. Я таких положений не высказывал. Кроме того, я знаю хорошо, что против меня на этой почве шла борьба и интриги, которые велись от генерала Плешкова и Хорвата для того, чтобы использовать мое японофобство. Собственно говоря, никакого японофобства и японофильства не было,— нужно было только получить оружие. Я считал, что все это должно быть оплачено, но те размеры и те средства, которые я просил, были по существу так мизерны, что для первоклассной державы говорить о каких-то компенсациях за четыре старых гаубицы и десять тысяч винтовок мне представлялось совершенно абсурдным, потому что сам Хорват говорил, что средства на покупку найдутся, если бы надо было заплатить,

К этому периоду пошли слухи о восстании чехов на линии железной дороги, и некоторые чехи уже ушли [шли] и начали продвигаться по Амурской дороге...

Денике. За этот период времени до появления чехов были ли связи у вас или у окружающих вас групп с существовавшими на территории России или Сибири антибольшевистскими организациями и чехами?

Колчак. Нет, такой связи не было,— были только слухи, которые сообщали о том, что создается новая власть в Сибири, но о ней я окончательно узнал только осенью, когда приехал из Японии во Владивосток и когда прибыла туда миссия Вологодского [35].

Денике. А с российскими антибольшевистскими организациями, например Национальным центром, были у вас связи?

Колчак. О России мы узнавали только по слухам, а связи никакой не было. Первое известие более или менее точное и с большим опозданием привез приехавший из добровольческой армии генерал Степанов, впоследствии бывший у меня военным министром. Он привез сведения о том, что делается на юге России. Тогда же приехали Флуг и Глухарев [36].

Алексеевский. Они были в добровольческой армии или состояли только в офицерской организации в России? Они ведь приехали от Алексеева? Имели ли они какие-нибудь задания, или они были людьми, действующими за свой страх и риск?

Колчак. Они были посланы в Сибирь для осведомительной цели и никакой специальной миссии не имели. Они все остались здесь, обратно не вернулись, а ген. Алексееву они послали доклад и письма с курьером окружным путем. Кроме того, была послана курьерами группа офицеров, но дошли они или нет,— мне неизвестно.

После этого я продолжал вести свою работу. Тут было несколько характерных инцидентов, совершенно расстроивших мою возможность работать с японцами. Среди этих инцидентов было два, которые чрезвычайно повредили мне в дальнейшей моей работе и сделали ее почти невозможной. Однажды я получаю телеграмму с одной из станций между Харбином и Маньчжурией, где находился интендантский склад, принадлежавший охранной страже Маньчжурской дороги, где начальником гарнизона был Марковский; от него же и была эта телеграмма.

На станцию прибыл прапорщик Борщевский с отрядом в 20—30 человек семеновских войск, которые реквизировали весь склад. Нужно сказать, что там было некоторое количество обмундирования, и что они хозяйничали там, как у себя дома,— арестовали смотрителя склада, начальника гарнизона. В этом складе находилось много вещей офицеров, которые ушли на войну и оставили тут свое имущество. Склад был реквизирован и начал грузиться в вагоны.

Меня взорвало это предприятие, потому что это было уже вторжение на непосредственно подчиненную мне территорию, без всякого согласования со мной. Я немедленно собрал отряд человек в 40, под командой 2-х офицеров, и экстренным поездом двинул их на станцию арестовать эту компанию и отобрать захваченное имущество. Компания была арестована, привезена в Харбин, и все было обратно возвращено в склад. Затем сейчас же было начато следствие. Большинство солдат, которым в сущности нельзя было предъявлять каких-нибудь обвинений, потому что они исполняли приказание, были возвращены к Семенову, а Борщевского и других лиц посадили под арест, с тем, чтобы предать их полевому суду и этим раз навсегда прекратить такого рода хозяйничанье. Это вызвало страшное возмущение среди японцев и среди семеновцев. Вскоре прибыл сам Семенов в Харбин для объяснения с Хорватом по разным вопросам и по поводу этого инцидента. Ко мне прибыл Таскин[37], который состоял при Семенове, с тем, чтобы это дело ликвидировать. Я сказал, что не отпущу его, покуда не предам суду, и сделаю то, что суд постановит: постановит суд, чтобы его расстрелять,— расстреляю, постановит, чтобы послать его куда-нибудь,— пошлю.

Одним словом, миссия Таскина у меня успеха не имела. В конце концов, атмосфера стала чрезвычайно напряженной. Было доведено до моего сведения, что семеновцы меня собираются арестовать. Я всегда ходил один по городу и продолжал это делать теперь, но собрал орловскую часть и сказал, что никаких мер сейчас не буду принимать совершенно, потому что это могут быть только одни угрозы, которые не будут приведены в исполнение, но что орловская часть должна будет принять все меры по отношению к поезду Семенова, если со мной что-нибудь случится. До этого дело не дошло. В сущности, осталось все, как и было. Семенова я не видел,— он переговорил с Хорватом и уехал. Но когда узнали об этом

японцы, они сделали заявление, что выйдут с вооруженной силой для того, чтобы прекратить столкновения, если они возникнут. Все это создало тяжелую атмосферу. Инцидент был мирно улажен, но тем не менее это чрезвычайно повредило моей дальнейшей деятельности.

После этого японская миссия повела себя совершенно открыто (к сожалению, я сжег документ). От инструкторов-офицеров я узнал, что японцы начали работать по германской системе над разложением тех маленьких частей, которые у меня были. Говорили, чтобы офицеры ушли к Семенову, что у него открываются места. Начальником артиллерии был подан рапорт о том, что заведующий этой миссией предлагал ему вступить в отряд Калмыкова, где он будет занимать пост начальника артиллерии.

Словом, повелась работа совершенно определенного характера, относительно которой открыто докладывали орловцы. Орловцы, которые были твердые и честные люди, возмущались и даже выгнали одного из таких безответственных господ, которые приходили и говорили, чтобы они мне не подчинялись. Это меня глубоко возмущало,— я увидел, что раз являются с такими приемами, то работать нельзя. Тогда я обратился через нашего посла Крупенского в Токио с просьбой и с подробным изложением всего того положения, которое у меня создалось, и о необходимости мне самому поехать в Токио к начальнику генерального штаба Ихаре и переговорить с ним, что дальнейшая работа в такой атмосфере становится физически невозможной. Хорват тоже был очень обеспокоен всеми этими делами и советовал мне поехать в Японию и договориться там, потому что здесь с этими лицами разговора быть не могло. Тогда я передал командование штабом Хржешатицкому и в начале июля уехал в Токио.

Мне были даны необходимые для этого средства и документы. Я решил совершенно открыто поговорить с Ихарой, а Хорвату я сказал, что если наша работа противоречит японским целям, то мы здесь ничего не сделаем, потому что противодействовать японским директивам у нас средств нет. В Токио я явился к нашему посланнику Крупенскому, изложил ему все, что знал, и просил устроить мне свидание с начальником японского генерального штаба. Крупенский мне говорит: «Знаете, вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение относительно Японии, и они поняли это. Вы позволя-

ете себе разговаривать с ними слишком независимым и императивным тоном,— это было с вашей стороны ошибкой. Вы должны были это смягчить. Они себе составили мнение о вас, как о своем враге, который будет противодействовать всем их начинаниям, всему их делу, и поэтому они, конечно, вам не только помощи не будут оказывать, но будут оказывать противодействие вашей работе». Я говорю: «Все эти сведения относительно моего враждебного отношения к Японии идут из определенных источников, но мои поступки не давали никогда основания и повода к тому, чтобы считать меня врагом Японии. Я относился к ней, как к союзной державе. Война продолжается, большевистский авангард находится на Дальнем Востоке, больше половины его состоит из мадьярских и немецких частей, все военно-пленные немцы участвуют на стороне большевиков,— и поэтому я считаю, что я продолжаю ту войну, которую мы вели раньше, и что в интересах Японии оказать мне эту маленькую материальную помощь, за которой я обратился. Повторяю, что эта помощь исчисляется суммами настолько небольшими, что даже Китайская дорога гарантировала бы уплату».

Мне было устроено свидание с Ихарой. Там был помощник начальника штаба Танака, который теперь состоит военным министром. Я изложил все дело Танака и сказал ему, что с самого начала моего прибытия я совершенно определенно считал необходимым установить доброжелательные отношения с Японией, на которую я смотрел, как на дружественную державу, и от которой я просил только оружия и военное снаряжение, так как никаких других потребностей у меня не было. «Я рассчитывал, что Япония мне может выдать из своих громадных запасов часть оружия, которое мне нужно,— говорил я,— но события получили определенный характер, и мне приходится совершенно откровенно узнать ваше мнение,— возвращаться ли мне в Харбин, и будете ли вы мне противодействовать в той работе, которую я вам изложил; если да, то я считаю, что работать я не могу; а если вы дадите мне уверения, что вы не вмешиваетесь во внутренние дела и не будете мне препятствовать, то я буду продолжать свою работу». Затем я добавил: «Я понял бы ваше превосходительство, если бы в моем распоряжении был огромный корпус, к которому можно было бы применять метод разложения по германскому образцу. Но у меня только два полка,— что же к таким силам

применять такие средства. Это по меньшей мере неудобно». Он весьма весело встретил это заявление, потом подумал и сказал: «Знаете, адмирал, останьтесь у нас, в Японии. Когда можно будет ехать, я скажу вам, а пока у нас здесь есть хорошие места, поезжайте туда и отдохните». Для меня было ясно и понятно, что ничего из этого предприятия у меня не выйдет, потому что та линия, которую я взял, неприемлема. Тогда я сказал: «Хорошо, я останусь пока в Японии». Я протелеграфировал Хорвату общее содержание этой беседы, остался в Японии и решил немного полечиться, потому что я чувствовал себя не вполне здоровым. Как раз в эти же дни моего пребывания до меня дошли известия о владивостокском перевороте, произведенном чешскими и русскими частями, о том, что отряд Орлова вышел из Пограничной на Гродеково, что во Владивостоке образовалось правительство Дербера, и что затем там появилось правительство Хорвата с различными органами.

Алексеевский. Скажите, адмирал, вы знали раньше о намерениях Хорвата объявить себя правителем?

Колчак. Нет, у него таких намерений не было. Это была работа Дальневосточного комитета. Если у него эти планы были, то во всяком случае мне не были известны.

Алексеевский. Судя по тому манифесту, каким объявил о своем вступлении в управление всей Россией Хорват, этот переворот был подготовляем друзьями и лицами, которые его окружали. Вы не принадлежали к числу этих лиц?

Колчак. Я с ним об этом не говорил, и думаю, что этот переворот подготовлял главным образом Дальневосточный комитет.

Алексеевский. Еще один вопрос: вы покинули Харбин по тем соображениям, которые вы изложили. Деятельность отрядов Орлова и Семенова в Харбине по внутреннему управлению и несению ими чисто полицейских обязанностей вами намечалась или даже, быть может, направлялась, или нет?

Колчак. Нет, они совершенно не несли никаких полицейских обязанностей. Я выселил даже одну часть. Они несли только караульную службу.

Алексеевский. Но в Харбине были случаи, когда представители отрядов Семенова, Калмыкова и Орлова иногда присваивали себе функции политической полиции и принимали меры ареста, а иногда даже увозы и убийства по отношению к отдельным лицам.

Колчак. Увозы все время повторялись, но я не могу сказать, что это делали представители всех отрядов,— у меня данных определенных нет. Я могу только сказать, что я сам был свидетелем того, что в Харбине арестовывали на улице вечером, и в этом отношении отдельные группы действовали совершенно независимо. До моего отъезда было при мне убийство одного учителя — Уманского.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

30-го января 1920 г.

Колчак. Ко времени моего приезда наблюдалось, что в самых, казалось бы, маленьких отрядах создавались особые органы — контр-разведки. Создание этих органов было совершенно самочинное, так как контр-разведка может быть только при штабах корпусов. В таких отрядах могут быть лишь разведочные отделения, но контр-разведка, как орган, направленный для борьбы с противником, может существовать лишь в штабе корпуса. Между тем, контр-разведки существовали во всех таких отрядах, в особенности в таких отрядах, которые создавались сами по себе. Там, где впоследствии воинские части создавались на основании всех правил организации, их, конечно, не было, но во всех самостоятельно образовавшихся отрядах контр-разведка была.

Эти органы контр-разведки самочинно несли полицейскую и главным образом политическую работу, которая заключалась в том, чтобы выслеживать, узнавать и арестовывать большевиков. Нужно сказать, что эти органы контр-разведки большей частью состояли из людей, совершенно неподготовленных к такой работе, добровольцев, и основания, по которым производились действия органов контр-разведки, были совершенно произвольными, не предусматривались никакими правилами. Обыкновенно все контр-разведочные органы должны стоять в тесной связи с прокуратурой и во всех случаях обязаны действовать, оповещая ее. Здесь же никакой связи с прокуратурой не существовало, и самое понятие «больше-

вик» было до такой степени неопределенным, что под него можно было подвести что угодно.

Какие были причины для этого? Из разговоров с офицерами у меня создалось впечатление, что эти органы создавались по образцу тех, которые существовали в Сибири при Советской Власти. Во время большевистской власти в Сибири в целом ряде пунктов по железной дороге существовали такие заставы, которые контролировали пассажиров в поездах и тут же производили их аресты, если они оказывались контр-революционерами. По этому типу и эти отряды создавали у себя аналогичные органы. Они занимались совершенно самочинно осмотром поездов, и когда находили кого-нибудь, кто, по их мнению, был причастен к большевизму или подозревался в этом, то арестовывали. Такие явления существовали по всей линии железной дороги. После моего прибытия туда, когда выяснилась эта картина, я беседовал с начальниками отрядов, и говорил, что в сущности, контр-разведка должна быть только в моем штабе, так как существующие контр-разведки мешают друг другу и портят все дело. На это мне совершенно резонно ответили, что мы боремся, и то, что делали с нами, будем делать и мы, так как нет никакой другой гарантии, что нас всех не перережут. Мы будем бороться таким же образом, как и наш противник боролся с нами. За нами устраивалась травля по всему пути, а там, где мы находимся, мы обязаны таким же образом обеспечить и себя от проникновения сюда лиц, которые являются нашими врагами. Поэтому, хотя такие органы контр-разведки никогда не значились официально, на деле они продолжали функционировать. В тех отрядах, которые мне были подчинены, мне удалось поставить дело таким образом, что о производившемся аресте немедленно сообщалось мне и прокурору. Арестованные лица передавались прокурорскому надзору, и там производилось быстрое расследование дела.

Я помню, значительное число бывало арестовано по совершенно неосновательным причинам. Когда это выяснялось, то их отпускали. Но те лица, которые были персонально известны этим частям, конечно, не выдавались, и с ними воинские части расправлялись сами совершенно самочинно. В тех случаях, когда было только подозрение, они выполняли это требование и передавали прокурорскому надзору, которым и производилось расследование, большею частью не приводившее ни к каким результа-

там. Контр-разведка при штабе у меня была, но контр-разведки при отрядах действовали совершенно самостоятельно. Формально, они не существовали никогда, и, таким образом, любая часть могла сказать, что никакой контр-разведки у нее нет.

С точки зрения всех военных чинов, это было средство борьбы. Они говорили: «Мы защищаемся, мы ведем борьбу и считаем необходимым применить ту же меру, которую применяли и в отношении нас». Нужно сказать, что в Харбине ходило много рассказов относительно деятельности этих органов. Не знаю, насколько они были справедливы, но это был сплошной кошмар, стоявший на всей линии железной дороги как со стороны большевиков, так и со стороны тех, которые боролись с ними. Для меня, как нового человека, эти рассказы казались совершенно невероятными. Я сперва не верил им и считал больше словами, но потом, конечно, ближе познакомился и увидел, что на железной дороге идет все время жесточайшая взаимная травля как со стороны тех районов, где хозяйничали большевики, так и в тех районах, где хозяйничали их противники. Методы борьбы были одни и те же.

Алексеевский. Когда факты самочинных обысков, арестов и расстрелов устанавливались, принимались ли меры, чтобы привлечь виновных к суду и ответственности?

Колчак. Такие вещи никогда не давали основания для привлечения к ответственности,— было невозможно доискаться, кто и когда это сделал. Такие вещи никогда не делались открыто. Обычно происходило так: в вагон входило несколько вооруженных лиц, офицеров и солдат, арестовывали и увозили. Затем арестованные лица исчезали, и установить, кто и когда это сделал, было невозможно.

Алексеевский. Но ведь в самом Харбине или на ст. Харбин имелись определенные полицейские части, и они несли внешнюю полицейскую службу, которая должна была заключаться в недопущении таких самочинных действий. Принимались ли меры, чтобы наружная милиция была господином положения на станции?

Колчак. На центральной станции этого не делалось. Бывали иногда случаи арестов в городе. Большей частью это случалось по линии дороги, в самом же Харбине сравнительно редко, так как там был комендант станции, была воинская стража, существовала известная охрана станции. Приведу случай, с которым мне пришлось столк-

нуться, который произошел на второй день моего приезда и состоял в следующем. Начальником милиции в Харбине в то время был фон-Арнольд, который состоял при канцелярии Хорвата. Утром в тот день он позвонил мне по телефону и по-французски сообщил, что по дороге от Харбина к бойням (единственная шоссейная дорога) найдено тело убитого учителя Уманского, что об этом уже дано знать прокурору, что он и следователь выехали на место и производят дознание. «Я приеду к вам и все расскажу подробно».

Через некоторое время он сам лично прибыл ко мне и сказал, что он сильно подозревает, что это убийство совершено бывшими воспитанниками хабаровского корпуса. Кадеты хабаровского корпуса были везде — в отрядах Семенова, Орлова, Калмыкова и др. Уманский недавно приехал сюда, ничего не делал, и, очевидно, его убийство находится в связи с теми обвинениями, которые выдвигались против него в том, что, будучи в Хабаровске, он выдавал большевикам кадетов и их родителей, якобы участвующих в контр-революционных заговорах, благодаря чему погибла масса народа. Бежавшие из Хабаровска старшие воспитанники корпуса поклялись, что отомстят ему. «Вот все, что я подозреваю,— сказал фон-Арнольд,— остальное — дело следственных властей».

Расследование как будто дало известные следы, и, в конце концов, следователь направился в отряд Орлова. Но его, конечно, туда не пустили. Ко мне прибыл прокурор и заявил, что они хотят осмотреть все помещение отряда, казармы, автомобили и т. д., но что их туда не пускают. Я немедленно сделал по телефону распоряжение не только допустить, но и оказать полное содействие судебным властям в осмотре и в обыске, которые они предполагали сделать. На это последовал ответ, что будет исполнено, и что они будут допущены. Через некоторое время они были у меня, и я спросил, каковы же результаты. Они ответили: «Никаких, имеются сильные подозрения, но ничего определенного нельзя установить».

Конечно, самое важное было установить, кто оставлял казармы вечером и в течение ночи. Обыкновенно в частях ведутся точные списки увольняемых, в отряде же ничего подобного не было. Люди увольнялись просто дежурным офицером, который отпускал их. Никаких книг, никаких списков в отряде не велось. Поэтому установить факт, какие люди были вне казармы, было невозможно, и вся работа прокурора ни к чему не привела. Вблизи

того места, где было найдено тело, был найден свежий след автомобиля, на котором, повидимому, и было привезено тело, то никаких характерных признаков не было установлено,— ни шины, ни размер автомобиля. Таких автомобилей в Харбине сколько угодно, и поэтому осмотр их в казармах не дал результатов. Этот случай произошел в первые дни моего пребывания там.

Второй случай был таков. Однажды вечером, когда я сидел у себя в вагоне и занимался, мне доложили, что пришла молодая дама и просит принять ее. Я сказал, чтобы ее попросили ко мне. Она входит и бросается ко мне с просьбой спасти ее мужа, офицера, который на улице Харбина был арестован офицером семеновского отряда. «Я знаю, его арестовали по приказанию помощника Семенова, который является его личным врагом. Его приказано арестовать и отвезти в Хайлар, а кого отвозят в Хайлар, тот уже не возвращается назад. Я уверена, что его убьют, и только вы можете спасти его». Я считал, что прежде всего Харбин является частью территории, в которой распоряжаюсь я, и такие аресты без моего ведома являлись противоречащими основной воинской дисциплине. Семенов мог не считаться со мной, но в Харбине арестовывать офицера без моей санкции он, конечно, не мог. Затем я отлично знал, что разговаривать в данном случае совершенно бесполезно. Поэтому я вызвал караул, призвал двух офицеров и сказал: «Вероятно, сегодня вечером к поезду, который должен отойти в Хайлар, явится конвой с арестованным офицером. Арестуйте их всех и доставьте ко мне».

Офицера конвоировали четверо солдат и один офицер. Мной же было послано полроты, 20—30 человек, которые были скрыты на вокзале. Когда на вокзал вошел конвой с арестованным офицером, их окружили и заявили: «По приказанию командующего войсками вы арестованы». Те увидели, что сопротивляться бесполезно, так как силы были значительно больше, подчинились и были привезены ко мне. Я призвал к себе начальника семеновского отряда. Он заявил мне: «Ваше превосходительство, я человек подчиненный,— мне было приказано моим начальником сделать это, и я должен был выполнить. Я не могу ни оправдываться, ни доказывать, почему я это сделал. Я получил приказание от моего начальника доставить в Хайлар и больше ничего не могу сказать. Я выполнил данное мне приказание, а все остальное мне неизвестно».

Тогда я отпустил конвой, арестованного же офицера оставил у себя. Я призвал его и сказал: «Единственный способ спасти вас — арестовать вас, чтобы вы были у меня под охраной». Я так и сделал и отправил его на гауптвахту в орловский отряд. При этом я приказал следить за тем, чтобы к нему никто, кроме жены, не мог проникнуть; в случае попытки забрать его силой, действовать оружием. Он просидел таким образом некоторое время, затем я передал его Хорвату, который его через некоторое время освободил (я тогда уехал во Владивосток). Вот способ, которым можно было бороться с этим влиянием, но это было возможно только тогда, когда вы об этом знали. Не приди ко мне его жена, я ничего не знал бы об этом. Мало ли офицеров ездит с солдатами? На первый взгляд трудно узнать, ведут ли арестованного или он просто идет с ними. Что касается того, что делал Калмыков, то это были уже совершенно фантастические истории. Я лично, например, знаю, что там производились аресты, не имевшие совершенно политического характера, аресты чисто уголовного порядка. Там шла, например, правильная охота на торговцев опиумом. По линии Китайской жел. дороги ездили постоянно с контрабандой опиума очень много лиц, женщин и мужчин, провозивших опиум, стоивший очень дорого. Здесь очень часто уже не контр-разведка, а просто предприимчивые люди под видом политического ареста выслеживали этих торговцев, арестовывали их, отбирали опиум и убивали, а в случае обнаружения этого, ссылались на то, что это были большевистские агенты или шпионы.

Конечно, это были не большевики, это были просто хищники, занимавшиеся провозом опиума, что давало им большие деньги. За ними велась систематическая охота. Занимались этим солдаты и частные лица. Обычно в вагон входила кучка солдат, заявляла такому продавцу опиума: «Большевистский шпион», арестовывала, опиум вытаскивала и затем убивала его, а опиум продавала.

Алексеевский. Не приведете ли вы несколько примеров из деятельности Калмыкова, относительно которой вы говорите, что она превышала все, что делалось тогда?

Колчак. У него была крупная история, и я не знаю, как она уладилась. Это случилось за несколько времени до моего отъезда. Калмыков поймал вблизи Пограничной шведского или датского подданного, представителя Красного Креста, которого он признал за какого-то большевистского агента. Он повесил его, отобрав от него все день-

ги, большую сумму в несколько сот тысяч. Требование Хорвата прислать арестованного в Харбин, меры, принятые консулом, ничему не помогли. Скандал был дикого свойства, так как его ничем нельзя было оправдать. Хорват чрезвычайно был обеспокоен этим случаем, но сделать было ничего нельзя. Даже денег не удалось получить. Это был случай форменного разбоя. Такие явления по линии железной дороги существовали, и бороться с ними было почти невозможно.

Надо было посмотреть, что представляла из себя милиция,— единственный орган, который мог бы бороться с этими явлениями. Там, где существует организованная полиция, которая ведет наблюдение за порядком, она могла бы не допускать появления самочинных действий, неизвестно от кого исходящих, осмотра вагонов, ареста людей и т. д. Но нет,— милиция, существовавшая в то время, может быть, даже сама участвовала в этом. Нужно сказать, что в то время, когда я был в Харбине, милиция представляла нечто потрясающее по своей распущенности и даже по внешнему безобразию. В Харбине на всех улицах была наша и китайская милиция. Китайцы,— надо отдать им справедливость,— прекрасно несли свою службу. Правда, китайцы не вмешивались ни во что, но во всяком случае китайские городовые производили нормальное впечатление людей, стоящих на посту и занимающихся делом и несением охраны города и личной безопасности.

Что же касается наших милицейских, то они были большей частью распущенные, пьяные люди, абсолютно не знакомые ни с какими полицейскими обязанностями. Китайцы очень часто (мне самому приходилось это видеть) их избивали, приговаривая: «Мы теперь капитана, вы теперь ходя»[38]. У Арнольда был маленький отряд, составленный из старых полицейских, который дежурил на станции и поддерживал там порядок. Вообще же милиция представляла там один сплошной кошмар.

Алексеевский. Таким образом, не было возможности принять какие-нибудь систематические меры к обеспечению безопасности личной и имущественной по всей линии железной дороги при помощи формируемых отрядов?

Колчак. В то время дело только налаживалось. Может быть, впоследствии это и можно было сделать. Когда позже, осенью, мне приходилось проезжать там, то таких явлений уже не существовало,— по крайней мере никто не жаловался. А в то время милиция, охрана и стража

по железной дороге находились в таком печальном состоянии, что я глубоко уверен, что те же самые милицейские спокойно занимались предприятиями, подобными ловле опио-торговцев и т. д.

Алексеевский. Приходила ли вам мысль, что до вас и лиц высшего правительственного состава доходят сведения о жертвах такого произвола, только принадлежащих к так называемому обществу? К вам пришла жена офицера, для жены рабочего или крестьянина это было бы труднее, не только в смысле физического проникновения, но и в психологическом смысле. Приходила ли вам мысль, что такие случаи произвола во много раз превышают те отдельные случаи, о которых вам приходилось слышать?

Колчак. Я думаю, что все эти случаи едва ли могли касаться низов, так как не было смысла трогать этих людей. По крайней мере со стороны железно-дорожных служащих не было жалоб ни на какие аресты или обыски. Да это вполне понятно, так как вряд ли для организаторов подобных предприятий имело смысл арестовывать низших служащих.

Попов. Над кем же производились расправы?

Колчак. Большей частью над проезжавшими по железной дороге, и, конечно, вся эта работа велась главным образом в классных вагонах. Вопрос стоял таким образом, сколько я представляю: там постоянно ездили из Приамурья, Хабаровска по делам; если встречались лица, которые были известны раньше, как причастные к большевикам, то их хватали и арестовывали. Хватали также людей, о которых было известно, что с ними есть ценный груз опия. Все это относится к области уголовных деяний.

Алексеевский. Когда мы старались выяснить, почему образовывались контр-разведки, вы отвечали, что это — метод, заимствованный у противника. Вместе с тем вы образовали у себя центральную контр-разведку, с тем, чтобы упорядочить все эти органы контр-разведки. Те меры и методы, которые применяли эти контр-разведки отдельных отрядов, ваша центральная контр-разведка также применяла бы?

Колчак. Если бы контр-разведка обнаружила существование таких большевистских агентов, которых я признавал бы опасными, то, конечно, их приходилось бы арестовывать. Каждый из начальников может вступить на этот путь, может делать что угодно, но в пределах законных норм. Я всегда стоял на этой точке зрения.

Можно расстрелять, можно проделать что угодно, но все должно быть выполнено на основании законных норм. Такие вещи, как аресты, производимые контр-разведкой, если они подвергались расследованию и о них доносилось прокурору, можно было делать. При мне лично за все это время не было ни одного случая полевого суда. Было штабом арестовано несколько лиц, приехавших из Владивостока с целью закупки хлеба, при чем у них были отобраны деньги. Затем было рассмотрено, какие это были деньги — общественные или частные. Общественные были сданы в банк, частные же возвращены. Потом, насколько помнится, эти люди были освобождены, так как против них не было никаких улик. Они, действительно, принадлежали к большевистской организации и приехали закупить хлеб, но все же не было никаких оснований делать что-либо с этими людьми.

Алексеевский. Вам говорили, что это — метод, усвоенный противником, но признавали ли вы, что это — закон?

Колчак. Нет, не признавал. Несомненно, нужно было так бороться, и я считал необходимым это делать, но я не допускал, чтобы это делалось самочинными, неизвестными мне организациями.

Алексеевский. Офицеры говорили вам, что они могут быть вырезаны своим противником, если не усвоят себе методов защиты противника. Я ставил вам вопрос, не были ли эти аресты более многочисленны в массах населения. По вашему же мнению, эти аресты производились главным образом среди пассажиров. Следовательно, среди русского населения Маньчжурии как будто не было большевиков, не было тех агрессивных форм боевого большевизма, как в России и Сибири? Вы должны были заметить, когда при вас ссылались на необходимость создания контр-разведки в Маньчжурии, что это — лишь средство и повод для мести со стороны офицерства.

Колчак. Повторяю, что основания для этого были. Конечно, вполне понятно, что когда ведется борьба, то нежелательно, чтобы на территорию, на которой вы ведете борьбу, проникали агенты противника. Но здесь вопрос другой. Большею частью это был вопрос мести. Люди, которые пробрались сюда с величайшим риском и опасностями, хотя бы через Слюдянку, где погибло по крайней мере до 400 офицеров, люди, прошедшие через эту школу, конечно, выслеживали лиц, которых они узнали в дороге, и, конечно, мстили. Для меня было ясно, что главным мотивом этой деятельности является месть, что

все те ужасы, которые творились по линии железной дороги, происходили на почве мести.

Денике. Здесь отчетливо освещены ваши отношения с Семеновым. Но для меня не ясна роль Хорвата по отношению к вам и Семенову, с одной стороны, и с другой — роль Хорвата по отношению к Японии.

Колчак. Хорват все время держался странной политики примирения. После отделения Семенова, который не признавал ни Хорвата, ни меня, Хорват все же, против моего распоряжения, оказывал Семенову помощь. На этой почве у меня было с ним несколько случаев столкновения, так как Хорват давал известные предметы снаряжения из запасов железной дороги Семенову, тогда как я настаивал, что этой передачи не должно быть. Это могло делаться с моего ведома, но Хорват делал это несколько раз помимо меня, и это вызвало столкновения. В отношении японцев Хорват в то время держался политики необострения отношений, хотя вообще он с ними не работал и связи с ними не имел.

Денике. Вас он поддерживал во всем?

Колчак. Я думаю, что меня он не поддерживал. В связи с отношением Семенова и японцев я сказал Хорвату, что в таких условиях работать невозможно, что обстановка, которая создается в полосе отчуждения, исключает всякую возможность сохранить наше положение, наш престиж, и в этом случае я видел, что Хорват работает против меня. Он считал, что я слишком беспокоен и слишком несдержан, и возможно, что Хорват желал от меня отделаться.

Алексеевский. Каково было отношение Хорвата к репрессиям против большевиков?

Колчак. Хорват глубоко возмущался всем этим и со своей стороны делал все, поскольку это зависело от него, чтобы прекратить это. Когда случилась эта история у Калмыкова со шведским подданным, то Хорват наложил запрет на то оружие, которое предназначалось для отряда Калмыкова и прибыло на ст. Харбин, чтобы воздействовать на него. Но это оружие принадлежало японцам, и, в конце концов, ему пришлось его выпустить.

Алексеевский. Значит, он был человеком, который если стремился вести борьбу с большевиками, то в пределах законных норм? Был ли он в этом смысле более решительным, чем вы: он ли вас сдерживал, или вы его?

Колчак. В этом отношении мы не расходились. Хорват все время стоял на точке зрения законных норм борь-

бы. Вообще я не могу говорить об его борьбе с большевиками, так как в то время борьба только подготовлялась. В отношении железнодорожников, которые ему были подчинены непосредственно, он старался держаться политики примирения, успокоения и удовлетворения всех требований, которые выставлялись железно-дорожниками. Таким образом, меры, которые он принимал, были всегда в высшей степени гуманными. Он старался достигнуть всего добром, путем сглаживания острых углов; разговаривал постоянно с рабочими и вносил много успокоения в их среду. Насколько знаю, там была одна только забастовка, когда были остановлены поезда, при чем мой поезд был объявлен свободным для движения, и я прекрасно ездил. Стачка была прекращена, насколько помню, без всяких репрессий со стороны Хорвата.

Алексеевский. Теперь продолжайте ваш рассказ.

Колчак. Я понял, что мое возвращение нежелательно. В это время готовилась интервенция, т.-е. ввод иностранных войск на нашу территорию. По всей вероятности, впечатление, которое осталось у японцев, было таково, что я буду мешать этому делу. Поэтому они желали, чтобы я не вмешивался в дела Востока.

Алексеевский. Доходили ли до вас слухи, что параллельно с властью Дербера существует власть областного земства? Каково было ваше отношение к этим трем организациям власти?

Колчак. Из тех сведений, которые у меня имелись, я мог знать более или менее определенно только состав правительства Дербера, так как стоял в Харбине рядом с ними в вагонах. Что касается до приморского земства, то первоначально у меня были только сведения ошибочного порядка. Во время образования этих правительств я мог пользоваться только источниками из газет, бывших в Японии. По этому поводу я беседовал с Дудоровым, нашим агентом в Токио, который представил мне целый ряд распоряжений и постановлений, которые делались этими тремя органами власти на Востоке. Я должен сказать, что единственно серьезным органом, который занимался своим делом, мне представлялось земство, так как все акты, которые представлялись со стороны других правительственных организаций, носили только характер политической борьбы. У меня создалось представление, что между всеми этими организациями велась борьба за власть, и одна организация отменяла постановление другой. Между тем земство вынесло ряд постановлений,

носящих деловой характер. Поэтому у меня создалось впечатление, что земство есть единственная власть, которая на Востоке может что-нибудь создать, так как оно развивает работу чисто делового характера.

На меня произвело тяжелое впечатление имевшее тогда место разоружение отряда полковника Толстого. Я видел, что правительство Хорвата сделать ничего не может, и что, следовательно, сил у него нет. Во Владивостоке хозяйничали союзники. Чехи, например, не пропустили в Никольск-Уссурийск отряда Хржешатицкого, задержав его на Гродекове. Для меня было ясно, что Хорват и его правительство не являются хозяевами на Востоке и никаких распоряжений делать не в состоянии. Там хозяйничают союзники, и единственным деловым аппаратом остается только земство. Более подробные сведения я получил после того, как послал одного из сопровождавших меня офицеров,— Вуича,— во Владивосток, чтобы собрать сведения и обрисовать картину, так как по газетам было впечатление полного хаоса и сумбура и трудно было что-либо понять. В сущности, этим и определялось мое отношение к этим правительствам. Связи я с ними никакой не имел и не интересовался даже ими, так как в это время был на курорте. Я решил, что теперь наступило господство союзников, которые будут распоряжаться, даже не считаясь с нами.

Алексеевский. Какое впечатление произвел на вас самый акт объявления Хорвата себя верховным правителем?

Колчак. Я считал, что из всех лиц, которые были на Дальнем Востоке, Хорват единственный мог претендовать на это, так как он давно уже был на Востоке в качестве главноначальствующего полосы отчуждения, был известен на Востоке всем, и если он пытался образовать там правительственную власть, то и слава богу,— больше некому было это сделать. Я нисколько этому не удивился, так как Хорват был единственно авторитетным лицом, которое могло это сделать.

Алексеевский. Это предполагает известную предпосылку в вашем умонастроении, что нужна единоличная власть. Ведь верховный правитель — это, в сущности, диктатор.

Колчак. Я считал, что надо привести Дальний Восток к какому-нибудь порядку, поэтому я считал вполне понятным, если бы Хорват распространил свою власть, кроме полосы отчуждения, и на соприкасающуюся При-

морскую область. Я считал вполне естественным, что Хорват пытается наладить управление. Во всяком случае, я не считал, что это торжество идеи единоличной власти.

Алексеевский. Ваше умонастроение как будто было таково, что вы считали это единственным путем?

Колчак. Я очень колебался, считать ли такой путь нормальным. Я совершенно не вступал тогда ни в какие отношения с Хорватом. Я считал, что в такие моменты какое-нибудь лицо должно было взять власть в свои руки, так как в тот момент положение вещей носило характер анархии, когда у нас начинали хозяйничать иностранцы. Таким образом, когда Хорват, известное на Востоке лицо, взял власть в свои руки, то в принципе я считал это приемлемым. Пусть он начинает вводить управление и какой-нибудь государственный порядок. Но я не считал, что персональный состав этого правительства был в состоянии справиться с этой задачей, и то, что впоследствии мне было сообщено во Владивостоке, подтвердило, что этот персональный состав не в состоянии будет справиться с делом. До моего приезда во Владивосток мне казалось, что было бы наиболее резонным начать организацию власти через земства, которые казались мне как бы зарекомендовавшими себя известной деловой работой в крае.

По этому поводу я могу сказать следующее. Когда я приехал в Токио, то Нокс[39] сделал мне визит. Разговаривая со мной о положении на Дальнем Востоке, он спросил меня, что я делаю. Я изложил ему подробно свою эпопею на Дальнем Востоке и причину, почему я уехал оттуда и нахожусь в Японии. Он просил меня сообщить, что происходит во Владивостоке, так как, по его мнению, нужно было организовать власть. Я сказал, что организация власти в такое время, как теперь, возможна только при одном условии, что эта власть должна опираться на вооруженную силу, которая была бы в ее распоряжении. Этим самым решается вопрос о власти, и надо решать вопрос о создании вооруженной силы, на которую эта власть могла бы опираться, так как без этого она будет фиктивной, и всякий другой, кто располагает этой силой, может взять власть в свои руки. Мы очень долго беседовали по поводу того, каким образом организовать эту силу, Нокс, повидимому, приехал с широкими задачами и планами, которые ему впоследствии пришлось изменить, но он приехал помочь организации армии.

Я указывал ему, что, имея опыт с теми организациями, которые были, я держусь того, что таким путем нам вряд ли удастся создать что-нибудь серьезное. Поэтому я с ним условился принципиально, что создание армии должно будет итти при помощи английских инструкторов и английских наблюдающих организаций, которые будут вместе с тем снабжать ее оружием, что если надо создавать нашу армию, то надо создавать с самого начала, именно с воспитания, т.-е. строить школы для офицеров, для унтер-офицеров, потому что основная причина, почему нам так трудно было создавать вооруженную силу, это — всеобщая распущенность офицерства и солдат, которые потеряли, в сущности говоря, всякую меру понятия о чести, о долге, о каких бы то ни было обязательствах. Никто не желал ни с кем решительно считаться,— каждый считался со своим мнением. То же самое было и в обществе. Например, в Харбине я не встречал двух людей, которые бы хорошо высказывались друг о друге.

Ужасное впечатление у меня осталось от Харбина. Я человека в первый раз вижу, считаю его порядочным человеком, говорю с ним, как с таковым, а через минуту является другой и говорит: «Что вы с ним разговариваете, это — бывший каторжник» и т. д. А про этого другого говорит то же самое третий. Это была атмосфера такого глубокого развала, что создавать что-нибудь было невозможно. Это была одна из причин, почему я так скептически относился к правительству Хорвата,— оно состояло из людей, которые сидели в этой харбинской яме.

Алексеевский. Вы, значит, в известной степени считали, что земство могло бы быть государственной властью в силу того, что земство является государственным установлением, и что оно в то же время обнаружило достаточную деловитость в своей деятельности?

Колчак. Я главным образом базировался на последнем. Нокс спрашивал: «Каким образом можно создать власть?». Я сказал: «Путь к созданию власти один,— в первую очередь нужно создание вооруженной силы, затем, когда эта сила уже наступает, то командующий этой силой там, где она действует, осуществляет всю полноту власти. Как только освобождается известный район вооруженной силой, должна вступить в отправление своих функций гражданская власть. Какая власть? Выдумывать ее не приходится,— для этого есть земская организация, и нужно ее поддерживать. Покуда территория мала,

эти земские организации могут оставаться автономными. И по мере того, как развивается территория, эти земские организации, соединяясь в более крупные соединения, получают возможность уже выделить из себя тем или другим путем правительственный аппарат». Это была записка, которую я подал тогда Ноксу для того, чтобы выйти из хаоса. Впоследствии, когда мне пришлось поехать во Владивосток, когда мне пришлось познакомиться с деятельностью земства, я убедился, что это земство было большевистского направления, и на него надежды, с моей точки зрения, не было.

Алексеевский. А вы в личные отношения с земскими деятелями входили или вы слышали это от других, и не возникали ли у вас сомнения в том, что это освещение субъективное?

Колчак. Нет, в личные отношения с земскими деятелями я не входил. Но из дел явствовало, что связь Медведева и Огарева[40] с большевиками были несомненная. Это было дознано следствием и судебным материалом, и для меня было ясно, что это земство было полубольшевистское или большевистское.

Алексеевский. Вам не было известно, что Медведев, возглавлявший земство, как орган власти, был из этого земства изгнан большевиками, которые несколько раз пытались его арестовывать; что Огарев, городской голова Владивостока, как лицо, возглавляющее исполнительный орган городского управления, был изгнан и должен был точно так же скрываться от большевиков?

Колчак. Нет, я этого не знал. Нужно сказать, что вся обстановка, в которой я сидел в Японии, исключала возможность давать мне правильную оценку и взвешивать все, что там происходило. По американским и японским газетам до меня доходило кое-что.

Алексеевский. Остается еще третья из возникавших тогда организаций, это — дерберское правительство. Ваше отношение к дерберскому правительству не изменилось, когда оно из претендента обратилось в некоторую организацию?

Колчак. Нет, оно осталось таким же, как и было,— я считал его правительством опереточным.

Алексеевский. Я хотел бы задать вам еще один вопрос,— вы с французским послом Реньо имели беседы и разговоры?

Колчак. Я сделал ему один визит по совету Крупенского.

Алексеевский. Я ставлю этот вопрос потому, что Реньо играл впоследствии некоторую роль в союзнических кругах, влиявших на события в Сибири, а во-вторых, потому, что об этом есть какое-то указание в письме г-жи Тимиревой к вам от 17-го сентября, в котором она говорит, что у вас установился какой-то мезальянс с Реньо.

Колчак. Он был очень мило у меня принят, но я только занимался с ним беседами. Крупенский очень лестно о нем отзывался. Обдумав свое положение в Японии, я, в конце концов, пришел к убеждению, что при условии интервенции я вряд ли буду иметь возможность здесь, в России, что-нибудь сделать, потому что эта интервенция была мне неясна прежде всего. Она носила официальный характер помощи и обеспечивания прохода чехов на Дальний Восток. Вслед за тем получилось известие, что чехи отправляются обратно на уральский фронт, и смысл и суть этой интервенции мне были совершенно непонятны. Я видел из предыдущих отношений, что я — лицо, нежелательное для японского командования, и считал, что делать мне на Востоке здесь нечего. К этому времени я получил более подробное известие от Степанова относительно положения на юге России, и затем меня чрезвычайно беспокоило положение моей семьи, от которой я решительно никаких писем не получал. Я знал, что она находится где-то на юге, в Севастополе. Поэтому я решил поехать и постараться пробраться на юг, повидать ген. Алексеева, потому что из всей предшествующей власти Алексеев, как и Корнилов, сохранил в принципе для меня значение верховного главнокомандующего, которому я был когда-то подчинен и никаким актом из этого подчинения не вышел. Я считал, что если бы было в отношении меня сделано Алексеевым какое-нибудь распоряжение, я считал бы обязательным для себя его выполнить, как приказание главнокомандующего. Поэтому я решил ехать на юг, постараться найти свою семью, а затем явиться в распоряжение Алексеева. Вот решение, которое я принял в Японии.

Алексеевский. Я хотел бы выяснить,— как могло у вас остаться такое мнение об Алексееве, как главнокомандующем, после того, как он в свое время законно признанной всей Россией властью был удален от командования? Был Брусилов, затем был Духонин [41], который был убит во время переворота.

Колчак. Я представлял себе, что на юге Алексеев яв-

ляется командующим теми силами, которые там имеются, и считал, что я должен ему подчиниться в силу того, что он был раньше главнокомандующим. Это было не совсем правильно,— он, в сущности, главнокомандующим не был, но я тогда не знал, я представлял себе организацию противобольшевистскую, возглавляемую Алексеевым, потому что роль Корнилова была для меня не совсем ясна.

Алексеевский. До вас в Японию доходили известия о том, что в Западной Сибири образовалось западно-сибирское правительство [42], и как вы к этому относились?

Колчак. Были неопределенные сведения, что в Омске образовалось западно-сибирское правительство. Были неясные слухи о том, что в Самаре собирается съезд членов учредительного собрания, были первые намеки на образование директории [43],— это были все отрывочные и неопределенные сведения. Из них самое серьезное это то, что омскому правительству удалось успешно провести мобилизацию в Сибири, и что население, совершенно измучившееся за время хозяйничанья большевистской власти, поддерживало главным образом, в лице сибирской кооперации, власть этого правительства. Ни характера этого правительства, ни его целей и тенденций я не знал. Я знал только, что оно противобольшевистское. Тут же я узнал об организации вооруженной силы Гришиным-Алмазовым [44]. Подробности же я узнал, когда прибыл во Владивосток.

Из Японии я поехал на юг России, но потом мое решение изменилось. Из Японии я уехал беспрепятственно. Прибывши во Владивосток, я обратился к своим знакомым сослуживцам-морякам. В свою очередь, последние, узнав о моем приезде, обратились ко мне с просьбой, чтобы я им посвятил вечер и высказал свое мнение, что им делать, кому подчиняться, и каково должно быть отношение морских офицеров и команд к существующему троевластию. Я сказал, что я это сделаю, но прежде я прошу дать мне несколько дней, чтобы ознакомиться с тем, что делается во Владивостоке. Владивосток произвел на меня впечатление чрезвычайно тяжелое,— я не мог забыть, что я там бывал во время империи. Тогда мы были хозяевами. Это был наш порт, наш город. Теперь же там распоряжались кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко унизительно,

глубоко печально. Я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим русским городом.

Алексеевский. Каково было ваше принципиальное отношение к интервенции раньше, чем вы ее увидели во Владивостоке?

Колчак. В принципе я был против нее.

Алексеевский. Все-таки можно быть в принципе против известной меры, но допускать ее на практике, потому что другого выхода нет. Вы считали ли, что несмотря на то, что интервенция нежелательна, к ней все-таки можно прибегнуть?

Колчак. Я считал, что эта интервенция, в сущности говоря, закончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. В Японии я убедился в этом. Затем я не мог относиться сочувственно к этой интервенции в виду позорного отношения к нашим войскам и унизительного положения всех русских людей и властей, которые там были. Меня это оскорбляло. Я не мог относиться к этому доброжелательно. Затем самая цель и характер интервенции носили глубоко оскорбительный характер: — это не было помощью России,— все это выставлялось, как помощь чехам, их благополучному возвращению, и в связи с этим все получало глубоко оскорбительный и глубоко тяжелый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке я получил первые сведения о западно-сибирском правительстве, которое тогда называлось правительством Вологодского. Затем я узнал, что в Уфе состоялось совещание, на котором было решено из сибирского правительства образовать всероссийскую власть, и что во главе этой власти будет стоять Директория в составе Авксентьева, Зензинова, Вологодского, Чайковского, Болдырева [43]. Там же я узнал, что в Архангельске образуется какая-то власть под председательством Чайковского, и что все эти отдельные правительства решили объединиться под флагом Директории. Когда я собирался беседовать об этом вопросе со своими сослуживцами-моряками, где были представители от морского управления на Дальнем Востоке, я высказал им совершенно определенно, что не являюсь здесь их начальником, что я — совершенно частное лицо, и если они хотят знать мое мнение, то для того, чтобы прекратить, в конце концов, совершенно недостойное положение, которое существует во Владивостоке, в виде двух или трех каких-то прави-

тельственных организаций, которые борются между собой за власть, я признал бы западно-сибирское правительство, потому что это правительство образовалось, повидимому, без всякого постороннего влияния и поддерживается широкими слоями населения Сибири. Оно уже провело мобилизацию, что показывает, что оно имеет действительную организацию и пользуется сочувствием и доверием населения, потому что такая мобилизация иначе не пройдет. Вот те мотивы,— говорил я,— которые заставляют меня признать это правительство и всеми силами поддерживать его авторитет.

К этому времени как раз прибыла миссия Вологодского во Владивосток[45]. Не помню, кто с ним был, но наверное помню, что был Гинс. Миссия эта прибыла во Владивосток и сейчас же, в тот или на другой день, Вологодский созвал представителей дерберского правительства, которые моментально сложили свои полномочия и признали власть сибирского правительства. Затем, повидимому, земство тоже признало это правительство, и вслед за тем Хорват сказал, что он тоже подчиняется новой сибирской власти. Я лично представлялся тогда Вологодскому, так как бывший с ним один из морских офицеров сообщил мне, что было бы желательно, чтобы я повидался с Вологодским. Я сделал ему визит; он был страшно занят, ни о чем серьезно не говорил. Я ему сказал совершенно определенно, что те морские части, которые имеются здесь, безусловно подчинятся распоряжениям этого правительства. Затем эта миссия уехала, а я еще оставался, так как не мог никак выбраться из Владивостока, и, в конце концов, мне пришлось обратиться в чешский штаб. Сюда относится и первая моя встреча с Гайдой[46], который находился тогда во Владивостоке.

Я получил известие, что он желает меня повидать. Я пошел к нему в штаб и встретился с ним в здании бывшего порта, где он находился. Я спросил его, в каком положении находятся все дела. Он мне ответил, что вся сибирская магистраль очищена совершенно от большевиков, что есть постановление союзного командования о том, чтобы чехи не уходили из России в виду невозможности предоставить им тоннаж, а чтобы они шли на Урал, что на Урале теперь образуется чешско-русский фронт, который будет продолжать борьбу с большевиками. Я спросил его, какой характер носят вообще большевистские вооруженные силы. Он тогда совершенно

определенно сказал: «Это продолжение той же войны, которая была раньше. Центром тяжести всех этих вооруженных сил являются немецкие и мадьярские военнопленные. Для меня совершенно несомненно, что это есть та же война, которая велась раньше, и немцы, несомненно, участвуют во всем этом предприятии». Затем я спросил: «Вам известно про омское правительство, и как вы на него смотрите?» — «Да,— ответил он,— это омское правительство уже сделало большую работу по созданию армии, и эта армия теперь действует согласно с нами». Я спросил: «Кем объединяется командование?» — «Этот вопрос,— говорит он,— пока висит в воздухе, потому что объединения русского и чешского командования нет. До сих пор русские и чешские отряды дрались вместе, и эти вопросы решались чисто фактическим путем: где больше чешских войск, там русские подчинялись, и обратно, но общего командования нет». Я говорю: «По-моему, это — большой недостаток в борьбе, раз нет объединенной вооруженной силы, хотя бы только по оперативным заданиям».— «Я думаю, что правительство по этому поводу, несомненно, войдет с нами в соглашение, и я надеюсь, что этот вопрос мы в ближайшее время разрешим».

Действительно, Гайда обращался в то время к Вологодскому относительно назначения себя главнокомандующим вооруженными русскими и чешскими силами, действующими на территории Сибири, чтобы правительство санкционировало его власть. «Как бы вы отнеслись к этому?» — спрашивал он меня. Я сказал: «Для меня вопрос подчинения той или другой вооруженной силе определяется всегда практическим путем. Я не знаю состава русских сил, если вы все более организованы и в стратегическом отношении имеете бо́льшую ценность, то будет вполне естественно, что командование должно вам принадлежать. Если отношение изменяется в сторону русских, то должно быть русское командование,— иначе решить вопрос никак нельзя. Скажите, что такое Директория и что она из себя представляет?» Он говорит: «Это образование, несомненно, нежизненное. Я не верю, чтобы эта Директория могла объединить все русские части и силы, действующие здесь, в Сибири, и на другой территории. Я лично думаю, что она этого не может, и я имею сведения, что омское правительство относится вообще к этой затее отрицательно. Но Вологодский сам вошел в состав Директории и тем самым явился как бы в подчи-

нении». Я говорю: «Какую власть при этих условиях вы считали бы наилучшею?» — «Я,— говорит он,— считаю, что в этом периоде и в этих условиях может быть только военная диктатура». Я ответил: «Военная диктатура прежде всего предполагает армию, на которую опирается диктатор, и, следовательно, это может быть власть только того лица, в распоряжении которого находится армия. Но такого лица не существует, потому что даже нет общего командования. Для диктатуры нужно прежде всего крупное военное имя, которому бы армия верила, которое она знала бы, и только в таких условиях это возможно. Диктатура есть военное управление, и она базируется, в конце концов, всецело на вооруженной силе. А раз этой вооруженной силы нет пока, то как вы эту диктатуру создадите?». На это он мне отвечает: «Конечно, это — вопрос будущего времени, потому что сейчас все еще находится в периоде создания, развития. Но я лично считаю, что это — единственный выход, какой только может быть». На этом разговоре мы расстались.

Алексеевский. Этот разговор был после свидания с Вологодским и после отъезда Вологодского из Владивостока?

Колчак. Сколько помнится, после.

Алексеевский. Когда Гайда заявил вам, что он имел разговор или делал предложение Вологодскому о назначении его общим главнокомандующим, было ли для вас тогда ясно положение Гайды в самой чешской армии? Был ли он признанным вождем всех чешских сил?

Колчак. Это не было ясно для меня. Я слышал фамилии Сырового, Чечека. Во Владивостоке Гайда имел, повидимому, настоящую армию; всех же войск, распределенных по всей территории Сибири до того, как были признаны военнопленные, было двадцать — двадцать пять тысяч, впоследствии они дошли до 40 000.

Алексеевский. Вы не знали, кто в служебном отношении у них выше — Сыровой или Гайда?

Колчак. Нет, я не знал. Они как бы самостоятельно действовали: Гайда — на востоке, а Сыровой — на западе, но Гайда ему не подчинялся.

Алексеевский. А подчинялся ли Чечек Гайде, или нет?

Колчак. Я этого тоже не знаю.

Затем я узнал, что Семенов подчинился омскому правительству, что у него было свидание с Пепеляевым, который прибыл в Читу. Таким образом, впечатление у меня получилось такое, что дело все-таки сдвинулось с той

мертвой точки, в которой оно было, что возникает какое-то сильное, объединенное правительство, которое будет в состоянии что-нибудь сделать.

Алексеевский. А участие чехов в русской политической вооруженной гражданской войне вы не считали интервенцией союзников?

Колчак. Нет,— я считал, что чехи стоят совершенно особо. Прежде всего для меня было совершенно ясно, что чехи были поставлены в необходимость этой борьбы, для того, чтобы выбраться из России. Я на чехов смотрел совершенно другими глазами, я их отделял от тех союзников, которые пришли извне.

Алексеевский. Но тогда для вас было ясно, что сами чехи, как вооруженная сила, находятся тоже в распоряжении союзников?

Колчак. Тогда это было не совсем ясно. Наоборот,— мне представлялось, что они действуют совершенно самостоятельно, но что союзники им помогают. По крайней мере, они официально высказывали, что интервенцию они делают для обеспечения прохода чехов,— это был официальный язык, которым они всегда говорили.

Алексеевский. А теперь для вас ясно, кем выступление чехов было спровоцировано? Союзниками или большевиками?

Колчак. Я не знаю. Мне представлялось всегда, что чешское восстание началось в Европейской России, когда они решили двигаться на Восток, чтобы уйти оттуда. Мне кажется, тут не было определенной провокации,— просто большевики начали их разоружать, это создало у них впечатление, что их не выпустят, и заставило их сплотиться и организоваться,— это был вопрос жизни или смерти для них [47].

Алексеевский. Но впоследствии оказалось, что там был целый ряд агентов, французских и английских, еще до того, как большевики приступили к разоружению.

Колчак. Я мало осведомлен об этом. Мне начал рассказывать обо всей этой истории Дитерихс [48], который был начальником штаба у Сырового. Насколько я знаю об этом, с момента чешского движения это был вопрос жизни и смерти их. Они считали, что в России они бы погибли, потому что немцы хозяйничают в России, как они хотят. Они уходили уже на Запад, чтобы двинуться домой, но это было невозможно. Тогда они просились в Сибирь, для того, чтобы итти на Восток, не рассчитавши, что союзники не могли в то время дать им тоннажа. Ведь

если бы союзники руководили ими, то как объяснить, что они прошли всю Сибирь по магистрали?

Алексеевский. Есть сведения, что союзники решили захватить магистраль, и для этого нужно было дать чехам дойти до головного участка, чтобы иметь в своем распоряжении Владивосток и, обладая магистралью, осуществить свою мечту о создании уральского фронта. Есть мнение, что вовсе не сами чехи бросились на сибирскую магистраль, чтобы по ней уходить от большевиков,— нет,— они были направлены на эту магистраль.

Колчак. Откровенно вам скажу,— я не имею этих данных, и в наступлении чехов я не видел руководящей руки союзников. Для меня стала ясна роль союзников с чехами уже впоследствии.

Алексеевский. Этот разговор с Гайдой интересен в отношении выяснения вашей идеи, впоследствии целиком овладевшей вами, а вначале еще бывшей как будто под некоторыми сомнениями,— идеи единоличной власти. Когда Гайда развивал вам мысль, что только военная диктатура возможна, вы держались того же мнения? После того, как вы познакомились с деятельностью земства, вы укрепились, и ваши колебания в отношении характера образования власти в направлении единоличной власти или в направлении ее коллегиальности определились к этому времени?

Колчак. Впоследствии я смотрел на единоличную власть совершенно, может быть, не с той точки зрения, как вы предполагаете. Я считал прежде всего необходимою единоличную военную власть — общее единое командование. Затем я считал, что всякая такая единоличная власть, единоличное верховное командование, в сущности говоря, может действовать с диктаторскими приемами и полномочиями только на театре военных действий и в течение определенного, очень короткого периода времени, когда можно действовать, основываясь на чисто-военных законоположениях. У нас имеется чрезвычайно глубоко продуманное, взятое из-за границы, сверенное со всеми подобными же трудами в Германии, Англии и Франции, положение о полевом управлении войск. Это есть кодекс диктатуры, это — кодекс чисто военного управления. Для меня это было ясно, так как я очень хорошо знаю это положение и над ним очень много сидел, изучал и считаю его одним из самых глубоких и самых обдуманных военных законоположений, которые у нас были.

Для меня было ясно, что управлять страной на основании этого положения, в сущности говоря, нельзя, потому что там нет целого ряда необходимых положений, как, например, по вопросам финансового порядка, вопросам торгово-промышленных отношений; там не предусмотрено целого ряда государственных функций, которые власть должна осуществлять; они в положении о полевом управлении войск не предусматриваются. Поэтому мне казалось, что единоличная власть, как военная, должна непременно связываться еще с организованной властью гражданского типа, которая действует, подчиняясь военной власти, вне театра военных действий. Это делается для того, чтобы объединиться в одной цели ведения войны. Таким образом, единоличная власть складывается из двух функций: верховного командования плюс верховная гражданская власть, действующая в гражданском порядке, которой можно было бы управлять вне театра военных действий.

Алексеевский. Конечно, мы так и понимаем вас, что без гражданского аппарата и без высшего гражданского управления управлять страной нельзя. Но верховная власть возглавляется только одним лицом?

Колчак. Да. Мне казалось, что именно такая организация власти в период борьбы должна существовать, и в этом убеждении я укрепился уже тогда. Я обдумал этот вопрос и пришел к тому, что это — единственная форма, которая в таком положении будет возможна. Ехал я в Омск с очень большой медленностью, с очень большими остановками. Я ехал 17 дней, и в течение пути у меня ни встреч, ни задержек не было. В Омске я не предполагал задерживаться, кроме нескольких дней, для того, чтобы выяснить возможность выехать на юг и выяснить, в каком положении находятся дела на юге, и решить, как дальше двигаться. Когда я прибыл во Владивосток, я вместе с тем сложил с себя полномочия члена правления Китайско-Восточной железной дороги.

Алексеевский. Вот на это я и хотел бы обратить ваше внимание. Вы сложили эти полномочия, но правление как будто не освободило вас от звания члена правления. Вы получили уведомление?

Колчак. Помниться мне, что было получено. Я подал Хорвату докладную записку о том, что я уезжаю с Востока и прекращаю свою работу. Я считаю, что не могу больше оставаться в составе правления, и прошу меня отчислить,— и когда я был в Харбине, я получил свои

последние 2000 руб. жалованья, которые я, как член правления, получал, и сказал, что заканчиваю свою деятельность.

Алексеевский. Этот вопрос, конечно, не имеет существенного значения, но все же может иметь некоторое значение в вашем судебном деле. Дело в том, что правление или управление железной дороги в 1919 году давало сведения о составе управления Китайско-Восточной жел. дороги такие, что вы входили в него, как один из членов правления.

Колчак. Я не могу даже представить себе, чтобы после моего заявления они могли считать меня членом правления. Я сказал, что не могу оставаться членом правления, и никакого вознаграждения я не получал. Ни одного дела, ни одной бумажки до меня не доходило, и никакого отношения я больше к правлению не имел.

Алексеевский. Я говорю это потому, что, по смете железно-дорожного департамента за 1919 г., в части ее, касающейся Восточно-Китайской дороги, министерством финансов был представлен список членов правления Восточно-Китайской дороги, и вы значились там.

Колчак. Меня это совершенно удивляет, потому что я никакого отношения к дороге не имею. Я думаю, что это какое-то недоразумение или недосмотр в смете; может быть, эта смета составлялась еще в сентябре месяце 1918 г.

Алексеевский. Нет, она составлялась весной 1919 г. Я сам ее видел.

Колчак. Это какая-то ошибка, потому что я не имел никакого отношения.

Алексеевский. Эта ошибка может иметь значение, потому что она может послужить поводом к предположению, что вы, будучи верховным правителем, оставались членом правления.

Колчак. Это было совершенно немыслимо. В сентябре, когда я уехал и когда я фактически не мог состоять в правлении, я сложил свои полномочия. По прибытии в Омск, я узнал о смерти Алексеева, который умер, кажется, 11-го или 12-го сентября. Там же я получил известие о смерти Корнилова, и что главнокомандующим Добровольческой армией на юге России является ген. Деникин. Когда я прибыл в Омск, на ветке уже стоял поезд с членами Директории и поезд Болдырева[49], который был тогда назначен верховным командующим и прибыл с своим штабом в Омск. По прибытии в Омск, мы встретили

ген. Мартьянова, моего сослуживца по Балтийскому морю и штабу Эссена, и Казимирова. Они встретили меня и спросили, что я намерен делать. Я сказал, что я здесь только проездом и хочу пробраться на юг России.

Они мне сказали: «Зачем вы поедете,— там в настоящее время есть власть Деникина, там идет своя работа, а вам надо оставаться здесь. Во всяком случае, мы вас просим организовать на первое время морских офицеров, которые здесь разбросаны по Сибири. Надо, чтобы кто-нибудь взялся за организацию этих морских частей, и вы — единственное авторитетное лицо, которое это может взять на себя. Здесь уже имеется маленький зачаток — морское управление, во главе которого стоит Казимиров, но пока оно занимается одной регистрацией, составляет списки офицеров, которые проезжают через Омск и являются сюда. Надо это дело поставить, чтобы последние остатки, какие сохранились от флота, распыленные и разбросанные, собрать». Я говорю: «Ведь в Омске флота нет, эту работу вы можете спокойно без меня провести. Для флота надо все сосредоточить во Владивостоке,— там наш центр, там есть кой-какие остатки нашего имущества, транспорта, и это — единственное место, куда всем морским офицерам надо отправляться. Я только что уехал оттуда, назад ехать не намерен».

Затем о моем приезде узнал Болдырев. Это был первый из членов Директории, который прислал ко мне адъютанта и пригласил к себе. Болдырев задал мне вопрос, что я намерен делать. Я сказал, что я хочу ехать на юг России, никакого определенного дела у меня нет, и я хочу выяснить вопрос, как туда проехать. Он мне сказал: «Вы здесь нужнее, и я прошу вас остаться». На это я ответил: «Что же мне здесь делать: флота здесь нет?» Он говорит: «Я думаю вас использовать для более широкой задачи, но я вам об этом скажу потом. Если вы располагаете временем, останьтесь несколько дней». Я сказал, что я — человек свободный, у меня есть телефон, данный мне во Владивостоке, и что если он позволит поставить его на ветке, я могу ждать дальнейших его указаний.

Потом я сделал визиты всем членам Директории, познакомился с Авксентьевым, Зензиновым, Виноградовым, беседовал с ними по делам чисто частного порядка. Болдырева я раньше не знал никогда, но фамилия его была мне известна. Я считал его фигурой довольно крупной. Он образованный офицер. Но его деятельности

я не знал; частью лишь слышал о нем, скорее положительные, хорошие отзывы. Начальником штаба был Розанов[50]. Я был у него с визитом, и к этому же времени относится мое знакомство с представителями Добровольческой армии генералами Лебедевым[51], Сахаровым и Романовским.

Алексеевский. Они были официальными представителями Добровольческой армии?

Колчак. Официальным представителем Добровольческой армии был Лебедев, а Сахаров и Романовский были в Добровольческой армии, но, сколько помнится, полномочий у них не было.

Алексеевский. Значит, в сущности, Лебедев был послан командованием Добровольческой армии в Сибирь?

Колчак. Да, для связи и информации.

Алексеевский. Это достоверно? Сомнений у вас никаких не было?

Колчак. Нет, никаких сомнений.

Алексеевский. А не слышали ли вы сомнений в том, что полномочия его действительны?

Колчак. Нет, я никогда не слышал. Вся дальнейшая переписка, которая велась у меня с Деникиным, не вела к сомнениям, и Деникин мне писал о нем. Ведь это был один из мотивов, почему я взял его к себе начальником штаба.

Алексеевский. Я слышал такое объяснение, что Лебедев,— я, конечно, характеризую его так, как характеризовали те, которые давали мне сведения,— очень самолюбивый и честолюбивый молодой офицер. Несомненно, был в Добровольческой армии, но его командировка в Сибирь не носила такого официального характера поручения от командования, на который он претендовал, но он претендовал и сумел доказать это тогда. Благодаря этому он получил ответственную должность начальника штаба, и потому командование Добровольческой армией было в известной степени удовлетворено тем, что лицо, бывшее в Добровольческой армии, состоит начальником штаба. Поэтому оно не могло отрицать того, что в известной степени он является представителем Добровольческой армии. Таким образом, получилось некоторое qui pro quo. Это имеет большое значение, потому что эта фигура около вас играла большую роль, и его близкое отношение к вам и к той политической работе, которая здесь совершалась, имеет большой интерес и отношение к вашему делу и к другим. Так я определенно ставлю

вам этот вопрос: — возникали ли у вас какие-нибудь сомнения или, по крайней мере, слышали ли вы это? Ведь против него велась определенная кампания и указывался целый ряд возражений против его близости к вам.

Колчак. Нет, до меня не доходило, что он не является официальным представителем Добровольческой армии. В письмах Деникин мне ни слова об этом не писал. Я думаю, что если бы он явился без достаточных полномочий от Деникина, то Деникин прежде всего известил бы меня, что он не считает его своим представителем,— как же иначе могло быть?

Алексеевский. Я, как допустимую гипотезу, это принимаю.

Колчак. А я это совершенно отвергаю, потому что у меня никаких данных нет,— я находился в переписке с Деникиным, и Деникин отлично знал, так как вся переписка и донесения посылались ему.

Алексеевский. Это было fait accomplis, он был представителем, но он не был послан представителем с широкими полномочиями, он был послан для информации?

Колчак. Конечно, он не был послан в начальники штаба, и никогда Деникин не мог предполагать, что Лебедев будет у меня начальником штаба. Он его, вероятно, послал с теми задачами, с которыми посылались офицеры: т.-е. информировать его о положении вещей и делать все, что потребует Добровольческая армия в смысле установления связи с нею. Я уверен, что он полномочий быть начальником штаба не имел.

Алексеевский. Нет, не начальником штаба, а официальным представителем?

Колчак. Я глубоко убежден, что если бы этого не было, то Деникин бы меня известил, что он считает нежелательным это лицо, и оно не пользуется его доверием, как это он делал в отношении других офицеров, когда он посылал телеграммой: «Пожалуйста, такие-то офицеры не пользуются доверием Добровольческой армии, будьте осторожнее». Был даже ряд офицеров, которые сидели арестованными в омской тюрьме, не посланные вовсе Деникиным, как самозванцы.

Когда явились ко мне представители Добровольческой армии, они меня информировали о положении вещей на юге России, что там делается, какая там организация управления и т. д. Затем были разговоры относительно Директории. Все как эти представители, так и другие лица из армии, с которыми я встречался, отно-

сились совершенно отрицательно к Директории. Они говорили, что Директория — это есть повторение того же самого Керенского, что Авксентьев — тот же Керенский, что, идя по тому же пути, который пройден уже Россией, они неизбежно приведут ее снова к большевизму, и что в армии доверия к Директории нет.

В частности, к Болдыреву было то же отношение. Говорили, что Сибирское правительство относится к появлению этой Директории скрепя сердце, что это нужно, но что симпатии и сочувствия к этой Директории среди Сибирского правительства и армии нет. Из переговоров и случайных встреч с казаками я узнал, что у них есть определенное отрицательное отношение. Они говорили, что это есть представители партий, которые войдут в соглашение с большевиками и погубят Россию. Из казаков я встречался с Волковым [52] и еще некоторыми другими молодыми офицерами, которых я встречал в гостях. Я плохо помню, кто меня просил сделать доклад о положении на Дальнем Востоке. Это был какой-то общественный деятель. Я сделал свой доклад, в котором очень мрачно обрисовал положение, и указал, что, по-моему, все идет к тому, что Дальний Восток будет нами потерян, сил создать нам не удастся и т. д. Это было большое собрание чисто гражданских общественных деятелей там, где помещалась 2-я мужская гимназия. Из Директории на этом собрании никто не присутствовал, а от Сибирского правительства, очевидно, были представители, но боюсь точно сказать, кто.

Через два дня после этого меня снова вызвал генерал Болдырев к себе в вагон и сказал, что он считает желательным, чтобы я вошел в состав Сибирского правительства в качестве военного и морского министра. Я ему на это сначала ответил отказом, потому что я могу взяться только за морское ведомство, какового сейчас создавать нельзя, а пока надо постараться разобраться, какие здесь имеются ресурсы, средства, личный состав, привести все это в порядок, и тогда можно будет создать какой-нибудь орган. Что касается военного министерства,— то — что такое военное министерство во время войны? Я просто-напросто не хотел брать на себя этой обязанности. Болдырев тем не менее очень настаивал: «Не отклоняйте этого предложения. Если вы увидите, что дело не пойдет у вас, никто вас не связывает, вы всегда можете его оставить,— но сейчас у меня нет ни одного лица, которое пользовалось бы известным именем и доверием,

кроме вас. Поэтому я вас прошу, обращаясь к вашему служебному долгу, чтобы вы мне помогли, вступивши в должность военного и морского министра».

Я сказал: «Мне понятны все функции и задачи, которые возлагаются на военное министерство во время войны, но прежде всего мне хотелось вам задать вопрос: какое положение будет у меня в отношении войск, какие войска будут мне подчинены, будут ли известные части в моем распоряжении, или они все изъемлются, а у меня остаются аппараты снабжения армии, которые главным образом ложатся на военного министра в военное время?». Он мне ответил: «Вопрос о разграничении командования у нас еще не вполне закончен. Ведь здесь, как вы слышали, военный министр уже имеется в составе Сибирского правительства — Иванов-Ринов [53]. Но теперь, по всей вероятности, совету министров придется формироваться вновь, и Иванов-Ринов вряд ли войдет в этот совет, это место останется свободным, и я прошу вас его занять». Я сказал: «Я дам вам окончательный ответ только тогда, когда я выясню себе, что собственно мне придется делать, какие взаимоотношения будут у меня с вами — командующим армией, и со всеми теми войсками, которые находятся на территории Сибири».

«Здесь, насколько я слышал, существует система, с которой я коренным образом расхожусь в основаниях: это — корпусная территориальная система. Я считаю, что применять в Сибири эту систему при здешних расстояниях, при здешних средствах сообщения, брать этот германский образец и класть в основу организации вооруженной силы,— совершенно неправильно. Я считаю, что от этой организации будет нужно отказаться, а между тем большинство тут являются сторонниками этой системы, и мне придется с места вступать в конфликт с начальниками из-за такого кардинального вопроса. Этот вопрос меня больше всего заботит».

Он говорит: «Я считаю эту систему неприемлемой, я разделяю вашу точку зрения, и мы этот вопрос как-нибудь уладим. Я тогда сделаю распоряжение относительно того, чтобы вы вошли в состав правительства». Я говорю: «Хорошо, я войду, но повторяю, ваше превосходительство, что если только я увижу, что обстановка и условия будут неподходящи для моей работы и расходятся с моими взглядами, я попрошу освободить меня от должности. Я ставлю еще одно условие: я неясно себе представляю, что такое фронт, что такое наша вооруженная

сила на Урале, что нужно, какие отношения существуют у нас с чехами? Я человек посторонний и считаю необходимым в ближайшее время поехать на фронт для того, чтобы лично объехать все наши части и убедиться в том, что для них требуется».

Денике. А не возникало ли у вас с Болдыревым разговора, в связи с предложением министерского поста, об общем положении, в какой мере возможно и удобно вам работать с Директорией, в какой мере Директория вообще может принять ваши взгляды?

Колчак. Нет. Болдырев меня не запрашивал,— мы вели чисто деловой разговор.

Алексеевский. Словом, вы смотрели на это предложение несколько профессионально и политических возражений не делали?

Колчак. Нет, с Болдыревым я об этом не разговаривал, но я сознательно шел на службу к Директории. Принципиальных возражений против принятия портфеля военного министра у меня не было, и политических вопросов мы с Болдыревым не касались.

Алексеевский. Предложение поста военного и морского министра вы получили впервые от Болдырева, но разговоры о возможности вхождения в Сибирское правительство в качестве ли военного министра, или в ином качестве у вас были и раньше с кем-нибудь?

Колчак. Нет, я ни с кем не говорил. Первый разговор был с Болдыревым.

Денике. А Болдырев во время разговора не сказал ли вам, что об этом есть своего рода предложение в некоторой среде и что такого рода вхождение будет приветствоваться Сибирским правительством или отдельными его членами?

Колчак. Нет, он об этом не говорил. Затем мне пришлось, после того как я получил от Болдырева письменное предложение, вступить в отправление моей должности и бывать каждый день на заседаниях совета министров.

Денике. Это был уже не сибирский совет министров. Момент формирования его происходил без вас?

Колчак. Нет, он происходил при мне, потому что Директория приехала за один-два дня до меня. В заседаниях совета министров я встретил совершенно определенную атмосферу борьбы Сибирского правительства с Директорией. Я явился к председателю совета министров Вологодскому и сообщил, что со стороны Болдырева есть

такое-то распоряжение, и я стал являться туда, как член правительства. Таким образом, я был назначен Болдыревым не единолично, а от имени Директории, и, очевидно, он об этом совещался с членами Директории. Атмосфера, которую я там встретил, была чрезвычайно напряженная. Я мог бы ее характеризовать, как атмосферу борьбы Сибирского правительства с Директорией. Расхождения шли главным образом по поводу некоторых персональных назначений в составе министров. Между прочим, этот вопрос особенно обострился с назначением Михайлова[54], которого Директория не желала, а затем еще при назначении Роговского[55] товарищем министра внутренних дел по делам государственной охраны. Эти два вопроса приняли чрезвычайно большую остроту.

Алексеевский. Члены Директории участвовали на заседаниях совета министров?

Колчак. Нет, только Вологодский. А у них шли свои заседания, на которых я не присутствовал, а из совета присутствовал только Вологодский. К этому же самому периоду относится и чрезвычайно меня поразившее выступление впервые чехов по поводу состава правительства, выступление их представителей Кошека и Рихтера. Главное соображение, которое выдвигалось среди Сибирского правительства против Директории, сводилось к тому, что мы получили партийную власть, что с.-р., в конце концов, будут проводить свои планы, которые расходятся с мнением правительства, и что это явится несомненным уклоном в сторону большевизма; доказательством являлась связь Директории с Черновым, который был тогда в Екатеринбурге. Как раз к этому времени было выпущено воззвание, за подписью Чернова, касающееся вооруженных сил[56]. Оно наделало большую бурю и в правительстве и в военных кругах. Оно было составлено в обычных тонах и вызвало везде страшное негодование. В этом воззвании было указано на то, что офицеры — реакционеры, что они восстановили погоны, но под этим видом снова готовится реакция или контр-революция.

Все эти темы были глубоко оскорбительны для всего офицерства, которое в своей массе вело борьбу с большевизмом, не преследуя никаких политических целей. В самой армии было две стороны, которые довольно враждебно относились друг к другу. Это — Сибирская армия с бело-зелеными значками, создававшаяся на территории Сибири, и так называемая Народная армия, которая образовалась в Поволжье. Между ними существовала до-

вольно открытая вражда, и это меня чрезвычайно печалило. Офицеры были одни и те же; в Сибирской армии была масса офицерства совсем не сибиряков, и главный контингент офицеров Народной армии был из Европейской России. Они носили трехцветную полосу — русский национальный флаг, и, кажется, в это время были даже без погон; а Сибирская армия с самого начала надела погоны и бело-зеленое знамя взял как свой символ. Было много случаев столкновения между офицерами, и это меня глубоко печалило, но в общем думать о тех инсинуациях и нареканиях, которые возводил Чернов на офицерство, было нечего,— это была ложь, направленная к цели разложить с таким трудом и усилиями созданную вооруженную силу.

Алексеевский. Вы несколько раз касались вопроса о внешних знаках в армии, о погонах и отличиях офицеров, и вы сейчас высказываете мнение, что погоны и внешние знаки были приняты в Сибирской армии и отрицались в Народной. Не возникало ли у вас впоследствии вопроса о том, что окружавшие вас в Омске офицеры вводили вас в заблуждение? Офицерство в общем, по психологическим побуждениям не очень высокого масштаба, стояло всегда за погоны и отличительные знаки. Не возникало ли у вас сомнения, что на фронте вся армия ходит без погон, что солдаты и офицеры Народной армии и лучшие боевые офицеры Сибирской армии равнодушно относились к погонам? Этот вопрос, сам по себе очень пустяшный, у нас в русской действительности сделался большим вопросом. Как вы лично относитесь к погонам?

Колчак. Я лично относился положительно, мотивируя это тем, что это есть чисто русское отличие, нигде за границей не существующее. Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, когда она сняла погоны, это было связано с периодом величайшего развала и позора. Я лично считал,—какие основания для того, чтобы снимать погоны? Вся наша армия всегда носила погоны.

Алексеевский. Конечно, вы впоследствии должны были действовать, как политик,—если в солдатской массе есть настроение против погон, сделать уступку?

Колчак. Нет, я во время объездов фронта (а я очень много времени проводил на фронте) встречался на позициях в различных условиях с солдатами и офицерами и должен сказать, что у меня ни разу не возникал этот вопрос на фронте. Я видел одинаково безразличное отношение — иногда и погон достать нельзя,— какие тут

погоны, и без погон обойдешься. Предъявлять требований я не мог, оттого что их нельзя было удовлетворить. Этот вопрос мне просто-напросто не приходилось обсуждать ни за ни против. Во время моих поездок по армии этот вопрос не поднимался. Я встречал солдат и офицеров на передовых линиях, одетых совершенно фантастически,— где уж тут говорить о погонах: было бы что-нибудь надеть.

Заверил:

Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.

К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

4-го февраля 1920 г.

Денике. Мы остановились в прошлый раз на том пункте, когда вы сделались военным министром, и на создании атмосферы борьбы Директории с Сибирским правительством.

Попов. Вы говорили, что на заседании совета министров вынесли впечатление, что создается напряженная атмосфера борьбы, что со стороны омского Сибирского правительства выдвигается мысль о том, что Директория носит партийный характер, что она связана с Черновым, который ведет определенную агитацию.

Колчак. Эта атмосфера борьбы мне представлялась чрезвычайно неблагоприятным обстоятельством для того, чтобы вести какую-нибудь работу. Я видел после нескольких заседаний, что деловые решения не выносились, а велся все время спор политического характера и порядка. Я несколько раз приходил к убеждению, что работать в такой атмосфере нельзя, и что мне единственно остается — ехать непосредственно в армию. Я это высказывал генералу Болдыреву, у которого довольно часто бывал, говоря ему, что я положительно не чувствую себя пригодным для той деятельности, какая мне выпала. Я — военный техник, могу заниматься чисто военным делом, но эта обстановка меня отвлекает совершенно в другую сторону, которая для меня является нежелательной. Тут явилось еще одно весьма серьезное осложнение, с которым мне пришлось встретиться, когда я активно выступил на почву политической борьбы. Это — вмешательство чехов.

Представителей чехов, насколько мне помнится, в Омске было два — Кошек, который впоследствии был здесь, и Рихтер, которого я потерял из виду. Дело в том, что там шла борьба главным образом на счет персональных назначений в состав министров, и она главным образом концентрировалась вокруг Михайлова, на включении которого настаивало Сибирское правительство, и Роговского, которого выдвигала Директория и которого хотели сделать министром государственной безопасности, но впоследствии назначили на должность директора департамента милиции, т. е. в сущности товарища министра внутренних дел. Кроме того, было там несколько других вопросов. В это время поднимался вопрос о Сибирской Областной Думе, которая была в Томске. Вопрос этот не имел особенной остроты, потому что представитель Директории Авксентьев совершенно определенно заявил, что он берет на себя решение вопроса о роспуске Думы. Эта Дума была распущена после поездки самого Авксентьева в Томск.

Вот это самое персональное назначение различных лиц в состав совета министров и вызвало вмешательство чехов. Оно состояло в том, что оба представителя чехов порознь явились к Вологодскому и затем к членам Директории и некоторым министрам, и заявили от имени национального чешского совета, что чехи не согласны на кандидатуру Михайлова и еще нескольких лиц, я точно не помню кого, и что они настаивают, чтобы эти лица не были включены в состав Сибирского правительства. Для меня, как для человека нового, вопрос о кандидатуре Михайлова или кого-либо другого стоял совершенно открытым,— я их раньше не знал, не встречался ни с Михайловым, ни с другими членами правительства,— и когда вопрос поднимался, молчал, потому что никаких причин говорить против этих лиц у меня не было. В заседании председатель Вологодский доложил о появлении у него одного из чешских представителей с упомянутым заявлением, да еще подкрепленным тем, что если состав будет неугоден национальному чешскому совету, то чешские войска оставят фронт.

Перед этим я говорил с генералом Болдыревым, и он мне сказал, что с чехами у него очень трудно идет дело, что чехи бросают фронт и не желают больше драться. Для меня таким образом оставление чехами фронта было ясно, а заявление чешских представителей Кошека и Рихтера о том, что если не произойдет изменения

в составе совета министров, то они оставят фронт,— у меня вызвало совершенно определенную мысль, что они играют, что они и без этого фронт оставили бы, и что эта угроза недействительна. Я высказал свое мнение совершенно определенно. «Я не имею чести быть знакомым ни с Михайловым, ни с другими членами правительства, но для меня сегодняшний визит Кошека и Рихтера является совершенно императивным для того, чтобы я поддерживал кандидатуру этих лиц. Я настаиваю, чтобы правительство резко и определенно раз навсегда пресекло вмешательство чехов в наши внутренние дела, которые их ни с какой стороны не касаются». Так и было сделано. Совет министров категорически постановил о включении в состав совета министров тех лиц, которых он намечал ранее, и затем остановился на вопросе о Роговском.

Нужно сказать, что Директория в это время тоже разделилась на две группы,— одна, состоявшая из Авксентьева и Зензинова, и другая, которая состояла из Вологодского и Виноградова; Болдырев стоял посредине. Как человек военный и верховный главнокомандующий, он не занимал определенной политической позиции по отношению к той или другой группе. Из всех членов правительства я встречался только с одним Болдыревым; с Авксентьевым я обменялся визитом и виделся с ним на банкете.

Денике. Как относился Болдырев к этой борьбе?

Колчак. Болдырев думал, что надо всеми силами уладить это дело и итти на известный компромисс, что потом все устроится, но теперь нельзя создавать раскола, который отразится на армии и на положении дел на фронте. Он старался быть как бы примиряющим началом в этой Директории между двумя борющимися группами.

Денике. Как смотрел Болдырев на Директорию? Представлялась ли она ему жизнеспособной, или он тоже думал, что эта Директория ничего сделать не может?

Колчак. Когда я поднял вопрос об освобождении меня от обязанностей военного министра, то и Болдырев, и Авксентьев смотрели так, что это — временная, переходная ступень, и они не смотрели на себя как на постоянное учреждение.

Денике. Это по идее, Директория должна была через известный срок созвать Учредительное Собрание. Но не представляли ли они, что вообще Директория не сможет этого выполнить?

Колчак. Нет, я определенно этого вопроса не помню. В конце концов, после долгих разговоров пришли к компромиссу, что Роговский будет товарищем министра.

Денике. Вы присутствовали на совместном заседании Директории с Сибирским правительством, когда соглашение состоялось?

Колчак. Да, я тогда был на нем. Оно ничего из себя не представляло. Это было заседание, на которое явились все члены Директории и совет министров. На нем было прочитано постановление относительно взаимоотношений между Директорией и советом министров; затем члены Директории раскланялись и ушли, и дальше продолжалось деловое заседание.

Денике. Вы, повидимому, говорите о формальном моменте утверждения этого постановления. Но до этого было заседание или совместное совещание Директории и всего состава совета министров, где довольно остро эти вопросы ставились. Там, между прочим, с резкой речью выступал Михайлов, с другой стороны примирительно держался Шумиловский [57],— вы на таком заседании не были?

Колчак. Я не помню, откровенно говоря. Я помню формальное заседание, которое было очень коротким. Авксентьев прочел известное положение относительно Директории, относительно Сибирской армии, которая должна сохранить свое бело-зеленое знамя [58]. Этим вопросом совещание закончилось; затем члены Директории ушли, а Вологодский остался председательствовать. Тогда же ему было преподнесено почетное звание гражданина Сибири.

Денике. За это время завязались ли у вас с членами Сибирского правительства более или менее близкие личные связи?

Колчак. Нет, я не могу этого сказать. Я здесь оставался очень короткое время и вскоре, около 7—8 ноября, выехал на фронт. Я бывал у Болдырева иногда. Затем я получил приглашение от чешского командования приехать к 9—10 ноября в Екатеринбург для присутствования на торжестве передачи знамен четырем чешским полкам. Кроме того, мне нужно было вообще выехать на фронт, для того, чтобы повидаться с начальниками и обследовать все вопросы снабжения, все нужды армии и фронта. Примерно числа 7-го или 8-го я выехал из Омска в Екатеринбург. Тогда я был временно исполняющим

обязанности военного министра. В сущности, у меня министерства не было,— я жил в доме Волкова, в одной комнате; у меня не было ни аппарата, ни средств. Пока функционировали органы Сибирской армии, штаб этой армии помещался в Доме Свободы. Но пока я за него не принимался. Первая моя миссия была присутствовать на этом торжестве и затем вечером на банкете, где я впервые познакомился с чешскими офицерами и с Сыровым. Там присутствовали представители иностранных держав. Кроме того, там я вторично видел Гайду.

Денике. Во время этой встречи или впоследствии не возникало ли у вас с чехами каких-нибудь бесед в роде той, какая была у вас с Гайдой во Владивостоке?

Колчак. В этот день я не беседовал, а на другой день я поехал по различным военным частям и сделал визит Гайде, Сыровому и т. д. Здесь Гайда меня спрашивал о том, каково политическое положение в Омске. Я сказал, что считаю его чрезвычайно неудовлетворительным в виду того, что соглашение между Сибирским правительством и Директорией есть простой компромисс, от которого я не жду ничего хорошего, что столкновения в будущем почти неминуемы, потому что Директория не пользуется престижем и влиянием, что Сибирское правительство, которое считает, что оно Сибирь объединило и уже шесть месяцев стоит у власти, передает эту власть с известным сопротивлением. Я говорил, что столкновения несомненно будут, и во что они выльются, я сказать не могу. Гайда сказал на это: «Единственное средство, которое еще возможно, это — только диктатура».

Я заметил ему, что диктатура может быть основана только на армии, и то лицо, которое создает армию и опирается на армию, только и может говорить о диктатуре. Кто же при настоящем положении может взять на себя должность диктатора? Только кто-нибудь из лиц, находящихся на фронте, потому что никто, не опирающийся на вооруженную силу, не может осуществлять диктатуры. Гайда ничего не ответил на это, но сказал, что все равно к этому неизбежно придут, потому что Директория — несомненно, искусственное предприятие. Затем он говорит по этому поводу: «Мне известна та работа, которая ведется в казачьих кругах. Они выдвигают своих кандидатов, но я думаю, что казачьи круги не в состоянии справиться с этой задачей, потому что они слишком узко смотрят на этот вопрос».

Затем, после короткого визита, я поехал уже на ближайший фронт, чтобы повидаться с Пепеляевым[59] и познакомиться с Голицыным[60]. Фронт проходил недалеко от Екатеринбурга. Пермь и Кунгур не были взяты,— фронт был между Кунгуром и Екатеринбургом. Я разделяю свою работу на две части: одна заключалась в чисто техническом формировании сил, выяснении нужд и потребностей армии тогда, а другая заключалась в частных встречах и переговорах во время моих поездок на фронт и выяснении на месте чисто деловых сторон. Я вынес впечатление, что армия относится отрицательно к Директории, по крайней мере в лице тех начальников, с которыми я говорил. Все совершенно определенно говорили, что только военная власть может теперь поправить дело, что такая комбинация из пяти членов Директории, кроме борьбы, интриг, политической розни, ничего не дает и не даст, и что в таком положении вести войну нельзя. Особенно резко говорил генерал-майор Пепеляев: «С моей точки зрения, совершенно безразлично, кто будет вести дело войны,— но я считаю, что из комбинации Директории с Сибирским правительством ничего не выйдет хорошего».

Денике. А с какими видными деятелями, кроме Пепеляева, вам приходилось встречаться?

Колчак. Я видел Голицына, представителей полков, которые были на фронте, и общее мнение было то же самое; в этом смысле возражений я не встречал. Главным атаманом на Дальнем Востоке был Иванов-Ринов. Я видел его тогда, когда вступил в должность верховного главнокомандующего, в декабре месяце. Пепеляев об этом вопросе говорил с чисто военной точки зрения — раз мы ведем войну, должно быть чисто военное командование; а как это будет,— это для меня совершенно безразлично, потому что я не политик.

Денике. В бытность вашу в Екатеринбурге и на фронте вы не получали никаких известий о положении дела в Екатеринбурге, где находился Съезд членов Учредительного Собрания?

Колчак. Они уже были в Уфе. Я помню только одного члена — Брушвита. Он был представителем Съезда членов Учредительного Собрания и говорил речь на банкете,— только одного его я помню. Насколько мне помнится, я поехал на Челябинск с фронта. Там, в штабе Сырового, я повидался с Дитерихсом, который был начальником штаба. Сделал визиты членам чешского

национального совета, который был в Челябинске. Затем я отправился на фронт, откуда поехал назад южным путем на Омск. Мне был дан экстренный поезд. С этим поездом поехали представители чешского командования и полковник Уорд[61], который присутствовал на этом параде. С Уордом мы вместе завтракали и беседовали на всякие темы. Между Петропавловском и Курганом мы встретились с поездом генерала Болдырева, примерно за сутки до прибытия моего в Омск. Я явился к нему и в общих чертах изложил результаты своей поездки. Болдырев ехал в Челябинск для свидания с чешским командованием, так как, по его словам, с чехами у него были очень натянутые и затрудненные отношения. Чехи оставляют фронт, нам грозят тяжелые осложнения на уфимском фронте. Красная армия ведет наступление на Уфу, и его тревожит настроение чехов, которые оставляют фронт без всякого прикрытия.

Этот вопрос его чрезвычайно тревожил, и потому он выехал, не дожидаясь моего прибытия. Я спросил его о том, что делается в Омске, так как я никаких сведений об Омске не имел. Он говорит: «В Омске тоже нехорошо,— там, несомненно, идет брожение среди казаков; в особенности, говорят о каком-то перевороте, выступлении, но я этому не придаю серьезного значения. Во всяком случае, я надеюсь, мне удастся побывать на фронте и уладить там дело». Затем он прибавил: «Это все искусственно, но мы должны пройти через такую стадию, и я надеюсь, что работать будет вполне возможно, потому что весь состав Директории образован из людей, лично не преследующих никаких задач и старающихся сделать, что могут, и я думаю, что ничего серьезного отсюда не будет». Как видите, Болдырев определенно говорил, что в Омске атмосфера очень напряженная, в особенности в казачьих кругах. Я с ним расстался; он поехал в Челябинск, а я уехал в Омск, куда прибыл примерно числа 16-го ноября, за день до переворота. Меня главным образом в это время смущал вопрос о том, что окончательное решение относительно моих функций, в смысле образования министерства и моих взаимоотношений с командованием на фронте, оставалось еще неопределенным. Оно не могло быть выяснено фактически. У меня не было подчиненных частей. Эти вопросы Болдырев решил поставить, когда он окончательно вернется. Чисто технически меня беспокоил вопрос о территориальной системе, уничтожение которой я поставил категорическим услови-

ем вхождения моего в состав министерства и принятия на себя поста военного министра, так как я считал эту систему неприемлемой.

По приезде моем в Омск, ко мне являлись многие офицеры из ставки и представители от казаков, которые говорили определенно, что Директории осталось недолго жить, и что необходимо создание единой власти. Когда я спрашивал о форме этой единой власти и кого предполагают на это место выдвинуть для того, чтобы была единая власть, мне указали прямо: «Вы должны это сделать». Я сказал: «Я не могу взять на себя эту обязанность просто потому, что у меня нет в руках армии и вооруженной силы. А то, что вы говорите, может быть основано только на воле и желании армии, которая бы поддержала то лицо, которое хотело бы стать во главе ее и принять на себя верховную власть и верховное командование. У меня армии нет, я человек приезжий, и не считаю для себя возможным принимать участие в таком предприятии, которое не имеет под собой почвы.

Затем мне остается неизвестным вопрос об отношении к такой конъюнктуре власти со стороны Сибирского правительства. Сибирское правительство, насколько я мог понять, борется с Директорией, против Директории, желая власть сохранить у себя и оставить то положение, которое было до прибытия Директории,— это во-первых; а во-вторых, как я сказал, я нахожусь на службе, я это подчеркиваю, и не считаю возможным, оставаясь на службе, предпринимать какие-нибудь шаги в том смысле, в каком вы говорите». Вот приблизительно какие разговоры велись вскоре после моего приезда.

Денике. Вы не помните, кто из более видных военных деятелей являлся к вам с подобного рода разговорами и предложениями?

Колчак. Насколько помню,— Лебедев и полковник Волков, который был начальником гарнизона города; затем Катанаев, очень много офицеров из ставки. Определенно могу сказать, что ни Матковского, ни генерала Белова у меня не было. Из лиц не-военных, из политических деятелей по вопросу о единоличной власти у меня никого не было. Я помню, что приходили ген. Андогский, ген. Сурин и другие, когда шла работа по созданию морского и военного министерства. Как я говорил, никаких определенных решений или слухов мне не сообщалось. Это носило характер разговоров и обмена мнений.

Попов. Красильников [62] у вас не бывал?

Колчак. Насколько я помню, не был, но возможно, что он заходил вместе с Катанаевым. В то время он был войсковым старшиною. Когда я осведомился о положении вещей, то решительно хотел отклонить от себя должность военного министра, и мне кажется, что в тот день, когда я приехал, я об этом заявил в совете министров, мотивируя это тем, что при таких условиях я считаю невозможным вести работу военного министра. Это решение мое было почти категорическое. Но пока я не отказывался остаться на месте до прибытия Болдырева, так как в его отсутствие не считал возможным бросить начатое дело. А затем я собирался работать на фронте или заняться организацией морского министерства.

Насколько мне помнится, 17-го ноября был у меня Авксентьев, накануне своего ареста. Он приезжал ко мне на квартиру и просил, чтобы я взял свою просьбу об отставке назад. Я ему совершенно определенно сказал: «Я здесь уже около месяца военным министром, и до сих пор не знаю своего положения и своих прав. Обязанности свои в отношении обслуживания армии я более или менее себе представляю, но самые права военного министра мне неизвестны. Подчинены ли мне здесь войска, или нет, в каких взаимоотношениях я нахожусь с командованием фронта,— непосредственных или я с ними только сношусь и т. д.,— словом, целый ряд технических вопросов. Вместо чисто деловой работы здесь идет политическая борьба, в которой я принимать участия не хочу, потому что я считаю ее вредной для ведения войны, и в силу этого я не считаю возможным в такой атмосфере и обстановке работать даже в той должности, которую я принял». Так мы с ним и не договорились. Я продолжал упорно настаивать на том, что я не буду больше военным министром и жду только приезда Болдырева. Я делаю оговорку: мне кажется, что это было в то время, о котором я говорю, но, может быть, это было накануне моего отъезда на фронт.

Переворот совершился 18-го числа вечером, с воскресенья на понедельник. Об этом перевороте слухи носились,— частным образом мне морские офицеры говорили, но день и время никто фиксировать не мог. О совершившемся перевороте я узнал в 4 часа утра на своей квартире. Меня разбудил дежурный ординарец и сообщил, что меня просит к телефону Вологодский. Было еще совершенно темно. От Вологодского я узнал по телефону, что вечером около 1—2 часов были арестованы

члены Директории Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский и увезены за город, что он сейчас созывает немедленно совет министров и просит, чтобы я прибыл на это экстренное заседание совета министров. Когда я спросил: «Кем арестованы?» — он сказал: «Я точно вам сказать не могу и прошу вас как можно скорее одеться; около 6-ти часов я, вероятно, всех соберу».— Я спросил: «Какими частями произведен арест?» — Он ответил, что не знает. Тогда я приказал соединиться и вызвать сейчас же Розанова, который был начальником штаба Болдырева.

Он в это время спал, но когда я его вызвал, он сразу подошел к телефону. Я спросил его, знает ли он о том, что произошло в городе. Он ответил, что в городе полное спокойствие, разъезжают усиленные патрули, но что он никак не может добиться ни штаба, ни ставки, ни управления казачьими частями, так как их телефоны, повидимому, не действуют. Я ему сказал, что я сейчас оденусь и перед тем, как поехать в совет министров, заеду к нему по дороге, чтобы с ним переговорить. Затем я попытался соединиться со ставкой и спросить там, известно ли там, что делается, но со ставкой соединиться мне не удалось. Тогда я бросил эту попытку, вызвал себе автомобиль из гаража и около пяти часов заехал к Розанову. К Розанову же приехал и Виноградов, с которым я затем поехал в совет министров. Виноградов сообщил мне, что ночью, повидимому, казачьими частями на своей квартире были арестованы члены Директории, но где они находятся,— неизвестно. В городе все спокойно, разъезжают только казачьи патрули, стрельбы и вооруженных выступлений не было. Розанов, повидимому, не был совершенно в курсе дела; жаловался на то, что нет сообщения по телефону, и что он не мог добиться никакого толку. Он посылал своих ординарцев, но и они не могли ничего узнать, кроме того, что мне сообщили Вологодский и Виноградов. Я спросил Виноградова: «Вас не арестовывали?» — «Нет, ко мне никто не являлся».

Около шести часов совет министров собрался в здании губернатора, около собора, где он тогда помещался, и Вологодский сообщил всему составу совета министров о событиях, которые произошли ночью. Весь состав совета министров и все лица, к нему причастные, были налицо; между прочими были Розанов, Матковский, помощник военного министра, генерал Сурин. Матковский был совершенно не в курсе дела; повидимому, ничего

не знал. Он присутствовал в заседаниях совета министров постоянно, как командующий войсками. В этот день было большое заседание, были и министры, и товарищи министров, а так как должность командующего войсками давала ему права товарища министра, то и он поэтому присутствовал на заседании.

Вологодский не мог сообщить больших подробностей, а сказал в общих чертах, что ночью дом, где находились четыре арестованных лица, около здания гимназии, где они жили, был оцеплен сильным разъездом казаков 1-го сибирского казачьего полка; были еще части красильниковского отряда партизан, конная часть, и т. д. Затем он сообщил, что на вокзал, где находились специально подобранные чины государственной охраны Роговского и стоял один их эшелон, который все называли боевой эс-эровской дружиной, прибыла одна казачья часть, которая оцепила этот эшелон, разоружила его, никого не арестовывала, так как сопротивления эта охрана казакам не оказала, и сдала оружие и денежный ящик.

Тогда поднялся вопрос о том, где могут находиться арестованные члены Директории. На это никто определенно указать не мог. Потом уже кто-то из прибывших сообщил, что они находятся в здании сельско-хозяйственного института, за Загородной рощей, где находилась часть партизанского отряда Красильникова. Вологодский поставил вопрос, как относится к этому аресту совет министров. Было высказано несколько мнений. Первое мнение — факт ареста ничего не означает, тем более, что три члена Директории, большинство, остается: Виноградов, Вологодский и Болдырев. Второе мнение было таково, что Директория после того, что случилось, остаться не может у власти, и что власть должна перейти к совету министров Сибирского правительства. Об арестованных пока никто не говорил, участь их была неизвестна. Раз члены правительства подверглись какому-нибудь аресту и не могли этому противодействовать и предупредить арест, то тем самым они должны сложить с себя полномочия. Раз они арестованы, то тем самым они перестают быть властью. Затем высказывались еще, что вся власть должна перейти к совету министров, что власть Директории отпадает,— это было третье мнение.

Во время этих прений встал Виноградов и сказал, что он считает невозможным оставаться более в составе Директории ни при каких обстоятельствах после того, что произошло, и слагает с себя обязанности и никакого

участия больше в заседании принимать не считает возможным. Был поднят вопрос о том, чтобы Виноградов оставался в совете министров, но он сказал: «Я свои полномочия слагаю и выхожу из состава». После этого он оставил зал заседания. Уход Виноградова поставил ту часть голосов, которые говорили, что Директория остается, в затруднительное положение. Оставался только один Вологодский здесь и Болдырев на фронте. Тогда вопрос об оставлении Директории сам собою стал отпадать.

Затем часов около восьми поднялся вопрос о том, что надо выработать текст обращения к населению, что такое положение является совершенно нетерпимым, что в такой переходный момент может наступить анархия, и во что она выльется,— неизвестно. Пока в городе все спокойно, но все казачьи войска находятся под ружьем. Они посылают в город караул; отдельные части ходят по городу, хотя это ни в чем не проявляется; другие части находятся тоже под ружьем, хотя они не выходят из казарм, и если такое неопределенное положение продолжится, то можно ожидать каких-нибудь крупных и серьезных событий. Тогда поднялся вопрос такой,— что следует сделать, и как на это реагировать? Вопрос был поставлен таким образом: необходимо для того, чтобы вести и продолжать борьбу, отдать все преимущества в настоящее время военному командованию, и что во главе правительства должно стоять лицо военное, которое объединило бы собою военную и гражданскую власть, т.-е. был поднят вопрос определенно в форме объединения военной и гражданской власти в одном лице. Кем был поставлен этот вопрос, я точно не могу сказать, но кажется, что он был поставлен одним из военных. Когда ко мне обратились, то я тоже сказал, что считаю это единственным выходом из положения. Я только что вернулся с фронта и вынес убеждение, что там полное несочувствие Директории, и малейшее столкновение между Директорией и правительством отозвалось бы сейчас в войсках. Тогда вопрос стал принимать конкретную форму,— желает ли совет министров, чтобы власть была вполне единоличной, стоя во главе всего совета министров?

Когда этот вопрос был поставлен на обсуждение, я высказался за это совершенно определенно и сказал, что я считаю это единственным выходом из положения. Не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этого. Затем большинство членов совета министров, учитывая

ту обстановку, в которой мы находились тогда, страшно напряженное и тяжелое положение на фронте, брожение в самом Омске, только что случившийся ночью арест Директории, очень неопределенное и тревожное состояние во всех войсках омского гарнизона,— говорило, что необходимо хотя бы временно, но сейчас же, чтобы вступила в управление единая военная власть, в виде одного определенного лица. Ответ был вынесен положительный, без каких бы то ни было возражений с чьей бы то ни было стороны.

Тогда у нас верховным главнокомандующим был Болдырев, и я сказал, что этому верховному главнокомандующему и должна быть передана вся военная и гражданская власть. Верховный главнокомандующий, получив всю полноту гражданской власти, явится тем лицом, которое станет во главе правительства. Такое решение было принято всем советом министров без каких бы то ни было серьезных возражений; пока шел вопрос чисто принципиальный. В дальнейшем уже шло обсуждение вопроса о том, кто персонально должен быть верховным главнокомандующим и облеченным такой властью. После обмена мнений большинство членов совета министров высказалось в том смысле, что они предлагают мне принять эту должность. Тогда я считал своим долгом высказать свое мнение по этому поводу в том смысле, в каком я его высказал и раньше,— надо прежде всего стараться без всякой ломки сохранить то, что уже существует и что оказалось удовлетворительным, что не вызывает особенных возражений и сомнений, т.-е. власть существующую в лице верховного главнокомандующего генерала Болдырева. Я говорил, что генерал Болдырев является верховным главнокомандующим, что им организован штаб и что при существующем отношении к генералу Болдыреву со стороны войск против него особых возражений не будет.

Говорили про него, что он находится в руках партийных представителей с.-р., отзывались о нем довольно безразлично, но против него серьезно ничего не говорилось в войсках, и фактически он существует уже, как верховный главнокомандующий. Гораздо проще для армии и ее органов, чтобы осталось то лицо, которое уже имелось, и хотя речь идет о моем назначении, но я должен сказать, что я — человек новый. Власть должна опираться прежде всего на широкую популярность и доверие войск; между тем, хотя мое имя известно, но в об-

щем ни казаки ни армия меня не знают, и как они отнесутся к этому, не знаю. Я считаю долгом сказать, что если бы со стороны армии явилось какое-нибудь противодействие, то оно поставило бы меня в самое тяжелое положение, совершенно с моей точки зрения неприемлемое. Я добавил, что я высказываюсь таким образом, исходя из интересов самой армии, чтобы не вносить в нее каких-нибудь новых потрясений [63].

Тогда Вологодский обратился ко мне и сказал: «Я принимаю во внимание все, что вы сказали, но я вас прошу оставить зал заседания, так как мы находим необходимым детально и более подробно обсудить этот вопрос, и так как нам придется говорить о вас, то вам неудобно здесь присутствовать». Я оставил это заседание, которое продолжалось довольно долго. Я вошел в кабинет Вологодского, а затем через некоторое время ко мне пришли Петров или Михайлов,— не помню,— Матковский и Розанов, и передали мне, что меня просят пожаловать в зал заседания, что совет министров единогласно признал Директорию несуществующей, принял на себя всю полноту власти и, исходя из тех положений, которые обсуждались, признает необходимым передать власть одному лицу, которое стояло бы во главе всего правительства в качестве верховного правителя, и просит меня принять этот пост. Затем я пришел в зал заседания, где Вологодский прочел постановление совета министров, заявивши, что совет министров считает это единственным выходом из настоящего положения.

Тогда я увидел, что разговаривать не о чем, и дал согласие, сказав, что я принимаю на себя эту власть и сейчас же еду в ставку, для того чтобы сделать распоряжение по войскам, и прошу совет министров уже детально разработать вопрос о моих взаимоотношениях с советом министров, и затем назначить сегодня же днем заседание, для того, чтобы можно было обсудить целый ряд вытекающих из этого вопросов. Я должен был уехать в ставку и оттуда телеграфировать по войскам о случившемся.

Денике. Прежде чем перейти к дальнейшему, разрешите предложить вам такой вопрос: были ли указания о том, каким образом подготовлялся этот переворот? Вы осведомлены не были и личного участия не принимали; но впоследствии стало ли вам известно, кем и как этот переворот был организован? Кто из политических деятелей и военных кругов принимал в нем участие?

Колчак. Вскоре, в ближайшие дни, я узнал только тех лиц, которые активно участвовали в этом перевороте. Это были три лица. Я знаю, и мне говорил Лебедев, что в этом принимала участие почти вся ставка, часть офицеров гарнизона, штаб главнокомандующего и некоторые члены правительства. Он говорил, что несколько раз во время моего отсутствия были заседания по этому поводу в ставке. Я ему на это сказал одно: «Вы не должны мне сообщать фамилии тех лиц, которые в этом участвовали, потому что мое положение в отношении этих лиц становится тогда совершенно невозможным, так как когда эти лица будут мне известны, они станут в отношении меня в чрезвычайно ложное положение, и будут считать возможным тем или иным путем влиять на меня. Виновники этого переворота, выдвинувшего меня, будут постоянно оказывать на меня какое-нибудь давление, между тем как я считаю для меня совершенно безразличным это, и я не считаю возможным давать или не давать те или иные преимущества». Фактически это Лебедев и выполнил. Я могу сказать, что почти вся ставка, по крайней мере все начальники отделов принимали в этом участие и часть офицеров гарнизона, главным образом казачьи части. Я считал неудобным спрашивать о лицах. Что касается политических деятелей, то там, несомненно, были лица из состава совета министров.

Председатель. В самый момент переворота вы не знали, кто был инициатором и кто был фактическим выполнителем?

Колчак. Нет, я знал: Волков, начальник гарнизона, Катанаев, Красильников и несколько офицеров казачьих частей. Я Лебедева спросил: «Кто же был главным участником переворота,— казачьи части?» — Он ответил, что вся ставка, штаб главнокомандующего, при участии некоторых членов совета министров. Но до сих пор мне неизвестно, кто был из членов совета министров. Я никогда к этому вопросу не возвращался и никогда ни с кем из министров об этом не говорил. У меня создалось такое впечатление, что Матковский был не в курсе этих дел. Судя по его словам, он никакого участия не принимал. После заседания совета министров я поехал прямо в ставку. На вопрос Розанова о его положении, я сказал: «Мне кажется, лучше вам некоторое время не выступать, потому что ваше положение будет неудобное. Вы являетесь помощником Болдырева, и в отношении его

самого будет неудобно, если вы останетесь в своей должности, поэтому я прошу вас на некоторое время пока не принимать участия в делах ставки, а вместо вас будет полковник Сыромятников (он тогда был квартирмейстером) вести доклады и исполнять обязанности начальника штаба».

Когда Сыромятников явился, я прежде всего спросил его, какие части произвели сегодня ночью эти события? Он мне назвал. Тогда я спросил его, где находятся члены Директории. Он мне ответил, что они находятся в отряде Красильникова, в здании сельско-хозяйственного института. Я спросил, были ли сделаны какие-нибудь убийства и насилия в течение ночи. Он сказал, что ничего такого не было, что разоружение милиции Роговского не вызвало никаких столкновений и недоразумений. Тогда я просил вызвать к себе Волкова и сделать распоряжение, чтобы доставили в город арестованных, поместить их на их квартиру, квартиру усиленно охранять, но не держать их там. Затем я вместе с ним и с прибывшим генералом Андогским выработали целый ряд телеграмм по частям и по армии, главным образом на фронте, по гарнизонам различных городов,— все гражданские власти должен был осведомить об этом совет министров, а осведомление военных была моя обязанность,— о том, что я вступил в верховное командование и в верховное управление в качестве верховного правителя.

Затем мне в 4 часа дали знать, что совет министров снова собрался после перерыва, и что просят меня прибыть туда. Я приехал на это заседание и сообщил им те подробности, какие я знаю, какие распоряжения мною сделаны. Кажется, к этому времени арестованные были уже на своих квартирах. Я послал уже одного из своих ординарцев удостовериться, в каком они положении и состоянии. Они оказались все живы и водворены на свои квартиры. Затем на этом же заседании совета министров был обсужден вопрос относительно выработки краткой конституции о моих взаимоотношениях с советом министров. Была принята форма, которую я признал совершенно отвечающей тому, что нужно, указавши на то, что я считаю необходимым работать в полном контакте и в полном единении с советом министров. Затем тут же был намечен план относительно такого совета, который был бы при мне для экстренных вопросов и главным образом для решения вопросов иностранной политики, так называемого совета верховного правителя[64],

состоящего из пяти членов, в который могли вызываться ответственные лица.

Затем поднялся вопрос о том, что же делать сейчас. Я сказал, что в городе ходит масса самых фантастических слухов, поэтому надо самому факту переворота придать гласность. Я считал самым правильным судебное разбирательство в открытом заседании, для того, чтобы, во-первых, снять нарекания на лиц, совершивших этот переворот, а во-вторых, потому, что это лучший способ осведомления. Я сказал, что никогда не допущу кары над этими лицами, так как за то, что они это сделали, я принял уже все последствия на себя. Но это один из способов придать гласность самому обстоятельству совершившегося переворота [65].

Денике. Так что инициатива этого суда принадлежала лично вам?

Колчак. Я не помню, я ли первый высказал эту мысль, или Вологодский,— но такая точка зрения была высказана. Тогда было решено образовать специальный чрезвычайный суд, для того, чтобы разобрать все это дело. Затем я вызвал Волкова и сказал ему, что я считаю необходимым гласное расследование всех его действий не с целью его наказывать или карать, а с целью предать гласности, и поэтому я его отдаю под суд чрезвычайного суда. На суде он должен был дать показания, касающиеся этого дела. Этот суд вам, вероятно, известен?

Денике. А не выступал ли перед вами вопрос о том, что вовсе этот суд не явится средством осведомить общество о перевороте, если перед ним будет только голый факт переворота, а вся закулисная обстановка будет скрыта, и что если судить, то надо судить всех организаторов?

Колчак. Я предполагал, что вся картина переворота будет выяснена на суде. Но суд остановился все-таки на персональной ответственности трех лиц и дальше этого он в дело не входил.

На этом же заседании Совета был решен вопрос о личной судьбе членов Директории. Я сообщил, что я приказал перевести их на квартиру, что я сделал распоряжение гарантировать им полную неприкосновенность, и что единственно разумное решение, какое можно сделать в отношении этих лиц, это предоставить им выехать за границу. Это было общее мнение и совета министров. Потом уже впоследствии, так как сразу этого сделать было нельзя, в связи с чрезвычайным судом поднялся

вопрос о привлечении их к суду, при чем наиболее серьезное обвинение, которое тяготело над ними, были переговоры их по прямому проводу и доказательство тесной связи Авксентьева и Зензинова с Черновым и как бы подчинение их в партийном отношении Ц. К. партии с.-р., во главе которого стоял Чернов. Эти обстоятельства вызывали страшное возмущение. Какое это правительство, которое находится в руках определенной партии и исполняет ее приказания! Я подробно не знаю текста этих переговоров. Кажется, что я видел ленты, но они у меня в голове не остались, и ничего особенного они собой не представляли. Во всяком случае, каких-нибудь криминальных или преступных решений не было, но они, действительно, носили оттенок такой, что как бы верховная власть подчинялась партии и ее директивам. Это было самое серьезное обвинение.

Денике. К какому моменту относится письмо к вам Вологодского, где он указывал, что непременным условием его оставления на посту является личная неприкосновенность членов Директории?

Колчак. Это было им высказано на заседании. Это было, вероятно, в первый же день. Я думаю, что там же обсуждался этот вопрос, и общее мнение тогда было такое. Я ответил, что я личную безопасность им гарантирую. Затем обсуждался вопрос об отправке их за границу, что я поддерживал. Я думаю, что это письмо было мне прислано в промежуток между этими двумя заседаниями.

Попов. Вы упомянули относительно разговоров о суде над арестованными,— этот разговор тогда же был?

Колчак. Разговор о предании суду был не в тот же день, а на второй или третий день, может быть, даже после их отъезда, так как они уехали на второй день. Это было в ближайшие дни, когда следственный материал разбирался, и тогда было мнение, что желательно было этих лиц привлечь к суду. Мне пришлось сказать, что нежелательно предавать их суду как принципиально, так и фактически, так как они уже уехали и судить их нет никаких оснований. Раз они смещены, то зачем, собственно говоря, их судить?

Денике. Авксентьев и Зензинов приняли ли на себя какие-либо обязательства в виде отказа от власти в условиях, на которых они были отпущены?

Колчак. Нет, было дано обязательство не вести борьбы против правительства. Затем на этом вечернем

заседании совету министров я заявил, что все арестованные члены находятся в моем непосредственном ведении, и если угодно переговорить с ними и убедиться в их положении, пусть министр юстиции, имеющий к ним доступ, поедет к ним. Старынкевич[66] несколько раз ездил к ним на городскую квартиру и сообщил совету министров, что они, действительно, там находятся и с ними ничего не сделано. Во всяком случае, министру юстиции было предоставлено право навещать их и говорить с ними во всякое время. Вскоре ко мне прибыли, насколько мне помнится, Реньо и Уорд. Они меня спрашивали, что я намерен делать с членами Директории. Я сказал, что ничего не намерен с ними делать, а предоставляю им ехать за границу. Они спрашивали меня, намерен ли я предавать их суду. Я сказал, что не намерен. Со Старынкевичем я обсуждал вопрос, как их отправить. Было решено взять экстренный поезд с вагоном для охраны их. Я немного опасался каких-нибудь выступлений по дороге, так как мне говорили о возможности нападения на них, и я обдумывал, как бы гарантировать их от этого. Я воспользовался близостью и знакомством с Уордом и просил его вообще дать мне конвой из 10—12 англичан, который в дороге гарантировал бы от каких-нибудь внешних выступлений против членов Директории.

Уорд с большим удовольствием согласился. Он сказал, что ему нужно делегировать 15 человек во Владивосток, и эти 15 человек могут также ехать в этом поезде и нести караульную службу. Таким образом, это очень легко устроилось. Затем я со Старынкевичем решил вопрос о том, какие суммы нужно им дать. На вопрос, куда они предполагают ехать, члены Директории ответили, что они хотят ехать в Париж, и им была выдана сумма приблизительно 75.000—100.000 рублей каждому в этот же день. Затем дано было знать Хорвату заготовить заграничные паспорта, не ожидая их приезда, и просить китайские и японские власти о беспрепятственном их проезде. Вскоре был получен ответ, что все будет сделано, и что японские и китайские власти препятствий чинить не будут.

Затем я сказал Старынкевичу, чтобы он выработал известное положение, по которому они дали подписку, что они, во-первых, уезжают из России за границу, и вовторых, что они ни при каких условиях не будут вести политическую борьбу против правительства верховного правителя, находясь за границей. Затем тут же зашла

речь относительно Аргунова. Я сказал, что мне самому не ясна его роль, а Аргунов сказал, что он хочет вернуться. Мы ему сказали, что через несколько времени он может вернуться, но на первое время пускай выедет хоть в Шанхай, а затем никаких препятствий к его возвращению не будет.

Вечером я вызвал начальника конвоя и сказал ему, что он отвечает непосредственно передо мною за целость и неприкосновенность этих лиц и за малейшую попытку, против них направленную. Затем я сказал, что если будет попытка с целью нападения на них или, наоборот,— с целью освобождения их, тогда действовать оружием без всяких разговоров. Этот офицер сказал, что он все это выполнит сам и ручается, что все будет выполнено, как нужно. Я добавил, чтобы они ни с кем общения не имели, чтоб не останавливаться на больших станциях, итти самым экстренным порядком и доставить их до Чжанчжуня, английский конвой отпустить в Харбине. Они были отправлены 19—20 ноября.

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

6-го февраля 1920 г.

Алексеевский. Чтобы выяснить ваше отношение к перевороту, требуется установить некоторые дополнительные пункты. Между прочим, для Комиссии было бы интересно знать,— перед переворотом, во время и после него встречались ли вы в Сибири, или на востоке с князем Львовым[67], который тогда через Сибирь выезжал в Америку?

Колчак. Нет, с князем Львовым я не виделся,— мы разъехались. Я виделся только с другим Львовым — Владимиром Михайловичем.

Алексеевский. Не имели ли вы от князя Львова письма или указания?

Колчак. Кажется, какое-то письмо из Парижа было во время моего пребывания в Омске, но это было позже, приблизительно летом. Это письмо не содержало ничего важного и относилось главным образом к деятельности

той политической организации, которая была в Париже и во главе которой стоял Львов[68]. До этого я со Львовым не имел личных сношений и никаких указаний, переданных через него от кого бы то ни было, не имел. Письмо, о котором я говорил, было передано через консульскую миссию в Париже в июле месяце.

Алексеевский. В это время через Сибирь проезжал и находился в Омске Савинков?

Колчак. Савинков заходил ко мне, когда я еще жил на квартире в доме Волкова. Мы с ним беседовали. У меня он расспрашивал, интересуясь положением вещей, так как он только что приехал с Востока, он интересовался моим взглядом на отношение Японии к нам. Это было в первые дни моего приезда, насколько помнится, в доме Волкова. Виделся с Савинковым только один раз, так как он вскоре уехал. По вопросу внутренней политики я не беседовал с ним[69].

Алексеевский. Из числа лиц, с которыми вы в это время встречались, вы не упомянули об отношении к генералу Апрелеву, приехавшему в это время из-за границы.

Колчак. Я в первый раз слышу такую фамилию. Может быть, я и встречал его, но под другой фамилией.

Алексеевский. Не было ли в это время в Омске человека, приехавшего с поручением от русских заграничных кругов из Парижа или Лондона?

Колчак. В это время никого не было,— позже бывали. Что касается Апрелева, то я теперь вспомнил, что в Японии я встречал молодого морского офицера, известного мне раньше, который служил во французской миссии и носил эту фамилию. Я видел его несколько раз в Токио. Он приезжал туда с миссией и состоял в распоряжении Реньо, и к этому делу никакого отношения не имел.

Алексеевский. Я уже ставил вам вопрос, в каких отношениях вы состояли с Реньо. Вы отвечали, что отношения были чисто официальные. Между тем в письме г-жи Тимиревой от 17-го сентября есть упоминание о каком-то «альянсе», который вам удалось установить с Реньо. Повидимому, г-жа Тимирева пишет вам, повторяя те впечатления, которые вы вынесли от вашего морского переезда из Японии во Владивосток. Она говорит о пассажирах и, припоминая ваши впечатления, пишет, что вы вступили в «альянс» с Реньо.

Колчак. Из Японии я ехал вместе с Реньо. Я виделся с ним несколько раз; он был очень любезен, но ни о какой политике мы с ним не говорили. Это было простое

пароходное знакомство, так как из Цуруги он ехал вместе со мной, и даже за столом, за обедом и завтраком, мы сидели с ним рядом.

Алексеевский. Вы сказали в прошлый раз, что из поездки в армию вынесли впечатление, что армия была против Директории и на стороне идеи единоличной власти. Я хотел бы поставить вопрос: в каких частях вы были?

Колчак. Я был в западной армии, хотя тогда и не существовало этого термина. «Западная армия» тогда была екатеринбургская группа, которой командовал Гайда. Это были части, находившиеся в районе Челябинска.

Алексеевский. Приезжали ли вы в это время на юго-западный фронт, где находились части Народной армии Комуча?

Колчак. Эти части в то время были в Челябинске, куда я не приезжал [70].

Алексеевский. Ведь в это время большевики вели наступление на юго-западный фронт, и их удары выносили эти части армии Комуча?

Колчак. Да, и чехи, которые в это время начали свою эвакуацию. На фронте этих частей я не был, так как не мог туда проехать. Юго-западный фронт был в то время в районе Бугульмы, приблизительно по течению реки Ик. На юге в это время происходили большие бои частей Каппеля, принадлежавших к Народной армии.

Алексеевский. Юго-западный фронт в это время был выдвинут очень далеко. В это время ижевские и воткинские части принадлежали армии Комуча?

Колчак. Эти части уже перешли за Каму. В этих частях я также не был, так как не мог проехать в виду эвакуации чехов. Я говорил с Дитерихсом, не могу ли я проехать на фронт в Уфу, но он мне сказал, что это задержит спешную эвакуацию чехов,— и мне пришлось отказаться.

Алексеевский. В оценке отношений армии к перевороту большую роль должны сыграть добровольческие части. Каково было их мнение?

Колчак. Каково было их мнение, я не знаю, но я виделся с представителем в Челябинске, и он сообщил мне, что в общем отношение к комитету Учредительного Собрания и к Директории отрицательное даже в тех частях, которые находятся под командованием Фортунатова. Фортунатов в то время командовал полком Учредительного Собрания.

Алексеевский. При получении этих сведений о настроении армии обращались ли вы к командному составу?

Колчак. Да, главным образом, хотя в некоторых случаях мне приходилось даже беседовать с солдатами, правда, очень коротко. Я беседовал с солдатами, бывшими на фронте, и во время обхода в казарменных помещениях.

Алексеевский. Не думаете ли вы, что то мнение, которые вы принимали за мнение армии, в силу того, что вы не посетили наиболее важных пунктов, было фальсифицировано?

Колчак. Если бы у меня было такое сомнение, то оно рассеялось бы на второй-третий день после переворота, когда я получил от всех частей, даже частей Фортунатова, выражение сочувствия к происшедшему перевороту.

Алексеевский. К сожалению, эти телеграммы, как и некоторые другие важные документы, не сохранились.

Колчак. Они все находились в архиве штаба.

Алексеевский. Известно, что вначале на фронте у добровольческих частей и даже у частей Сибирской армии, которая была сначала организована на добровольческих началах, было враждебное отношение к перевороту. Таково, например, было отношение третьей дивизии, одной из самых боевых дивизий. Другие части оставались в неведении совершившегося переворота: им говорили, что адмирал Колчак действует от имени Директории, что Директория остается, так как в противном случае по настроению солдат можно было ожидать, что они оставят фронт с целью итти ликвидировать переворот.

Колчак. О таких настроениях мне ничего неизвестно, так как мне об этом никто не сообщал. Наоборот, если у меня и были сомнения, то они рассеялись в ближайшие дни, когда я получил уверенность, что подобная конструкция правительства и власти приветствуется всей армией. И дальше, в последующие дни, я от армии ничего, кроме самого хорошего, кроме самого положительного отношения, не видал. Ни одного оскорбительного письма, ни одного памфлета из армии за все время пребывания моего верховным правителем я не получал. Если у меня и были некоторые сомнения, хотя бы в отношении тех частей, которые были непосредственно подчинены Комитету Учредительного Собрания, то они рассеялись, так как тот же Фортунатов признал совершившийся перево-

рот совершенно легко, и даже не оказал сопротивления при аресте членов Учредительного Собрания, пославших вызов, что они пошлют войска против меня и откроют новый фронт [71].

Попов. Известны ли вам случаи, когда в тюрьму сажались солдаты за перехваченные письма, содержавшие неодобрительные отзывы о верховном правителе?

Колчак. Нет, мне это было неизвестно. Но я допускаю, что это могло быть: из массы солдатских писем могли быть и такие, которые содержали и такие отзывы.

Алексеевский. Когда вы были военным и морским министром, и будучи верховным правителем, не приходилось ли вам сталкиваться с фактом, что высшее военное командование до вашего вступления в военное и морское министерство, а также и при вас вело известную систематическую работу по возбуждению недовольства в Добровольческой армии, армии Комуча, тем, что военное снабжение этим частям всячески задерживалось? Я знаю, например, от начальника воткинской дивизии подполковника Перового, что ижевская дивизия, организовавшаяся после восстания, не получила оружия, снарядов и патронов по той причине, что они намеренно не отправлялись туда, тогда как сибирские части, составленные по мобилизации, имели всего в изобилии. Этим самым вызывалось недовольство этих частей.

Колчак. Тогда я этого не знал. Для меня значительно позже выяснилась эта картина, что, действительно, какая-то работа в смысле недоставления и задержки военного снабжения преднамеренно велась, но это было не в Западной армии, а главным образом в Сибирской. Если вы вспомните, то это было в тот момент, когда в главное командование вступил Дитерихс. Имеется его приказ, где он говорит, что этот вопрос должен быть разобран. У нас было очень тяжелое положение с доставкой оружия, так как первый период мы ничего не получали. Доставка оружия началась, приблизительно, к марту месяцу; до этого же времени во всех частях не было ни оружия, ни сапог, ни обмундирования. В это время положение было очень тяжелым, но я не думаю, чтобы оно носило предумышленный характер.

Алексеевский. Скажите ваше отношение к генералу Каппелю, как к одной из наиболее крупных фигур Добровольческой армии.

Колчак. Каппеля я не знал раньше и не встречался с ним, но те приказы, которые давал Каппель, положили

начало моей глубокой симпатии и уважения к этому деятелю. Затем, когда я встретился с Каппелем в феврале или марте месяце, когда его части были выведены в резерв, и он приехал ко мне, я долго беседовал с ним на эти темы, и убедился, что это один из самых выдающихся молодых начальников.

Алексеевский. Когда вы приняли власть верховного правителя, каково было отношение к перевороту правительств, существовавших на территории, освобожденной от большевистской власти?

Колчак. В первое время никакого, так как не было никакой связи. Когда произошли все события, относительно которых я говорил прошлый раз,— был решен вопрос относительно отправки членов Директории за границу; они под надежным конвоем были отправлены, кажется, на второй день вечером. В первый же день, часа в 3—4, было устроено второе заседание, на котором решено было утвердить верховный суд для разбора всего дела о перевороте. На второй день я с утра поехал в ставку. Все это время я жил в одной комнате и всю работу проводил в ставке. В ставке исполнявший должность начальника штаба вручил мне целый ряд телеграмм, которые прибывали в течение первых пяти дней. Эти телеграммы были из самых разнообразных мест Сибири, городов и частей армии и т. д. Эти телеграммы дали мне уверенность, что по крайней мере армия меня приветствует. Это были ответы на мое извещение; их были десятки, среди них были телеграммы отдельных лиц. Помнится, я получил даже телеграмму с приветствием от союза сибирских маслоделов.

В последующие дни приходили депутации и приветствия от различных крестьянских общин, в первые же дни приходили телеграммы главным образом от армии, военных частей. Тогда эти телеграммы дали мне полную уверенность, что то, что было сделано, сделано правильно, и отвечает настроению и пожеланию армии. Одной из первых была получена телеграмма от Хорвата, в которой он приветствовал меня, признавал меня верховным правителем и передавал себя в мое распоряжение. Одной из первых телеграмм была также получена телеграмма от атамана Дутова. Вместе с ней получилась телеграмма от правительства оренбургского. Затем была получена одна весьма характерная телеграмма от уральцев, хотя и несколько более осторожно составленная:

они приветствовали меня, но просили сообщить, какую политическую цель я ставлю в первую очередь. Я подтвердил им, что моя задача заключается в том, чтобы путем победы над большевиками дать стране известное успокоение, чтобы иметь возможность собрать Учредительное Собрание, на котором была бы высказана воля народа. Очень скоро я получил ответную телеграмму с приветствием и заявлением, что они передают себя в мое распоряжение, что они вполне разделяют мою точку зрения, и осуществление задачи, которую я ставлю перед собой, считают необходимым. Но я не получил никаких известий только от двоих: от Семенова и Калмыкова. От них не было никаких сведений,— но это меня не особенно беспокоило. Я был уверен, что Семенов будет против меня, в виду тех отношений, которые сложились раньше. Едва ли можно было рассчитывать, что Семенов пойдет вместе со мной, и я думал, что, вероятно, он попытается действовать отдельно, независимо.

Будучи еще военным министром, я отчетливо сознавал, в каком положении находится снабжение армии. Поэтому на второй же день я снесся с Вологодским и просил, кажется, его и министра снабжения, которым был в то время Зефиров, и еще несколько министров обсудить этот вопрос. Я считал необходимым, чтобы в первую очередь правительство занялось изучением вопросов экономического характера, так как вопрос снабжения стоит настолько остро, даже в самом Омске, и считал, что все усилия правительства должны быть приложены в первую очередь на обеспечение снабжения армии. Я сказал, что необходимо, чтобы завтра же вечером было устроено заседание, на котором я выскажу свои взгляды, чтобы было собрано экономическое совещание [72]. Это совещание было разработано тут же: были выбраны представители торгово-промышленников, кооперативов и банков, которых можно было созвать здесь же, в Омске. Таким образом было основано экономическое совещание, на котором я в первую неделю сам вел заседания. Я каждый вечер бывал там сам, пока не изложил все те задачи, которые я считал необходимым осуществить для обслуживания армии. Затем, когда началось обсуждение общих вопросов, мне было уже трудно, к тому же я заболел.

Алексеевский. Как отнеслись к перевороту представители иностранных держав, которые в то время были в Омске или которые после приехали в Омск?

Колчак. Насколько помню, в Омске в то время был представитель Америки — Гаррис и Франции — Реньо. Представителя Англии еще не было, был только полковник Уорд. Нокс же приехал позже. Со стороны Японии была только чисто военная миссия. Представителями чехов были тогда военные представители Кошек и Рихтер. Вообще отношения со стороны всех, кто ко мне являлся, были самыми положительными. Гаррис, американский представитель, относился ко мне с величайшими дружественными чувствами и чрезвычайной благожелательностью. Это был один из немногих представителей Америки, который искренно желал нам помочь и делал все, что мог, чтобы облегчить нам наше положение в смысле снабжения. Гаррис, насколько я помню, прибыл ко мне первый с визитом на следующий день. Гаррис сказал мне: «Думаю, что в Америке этому событию будет придано самое неопределенное, самое неправильное освещение! Но, наблюдая всю атмосферу, всю обстановку, я могу только приветствовать, что вы взяли в свои руки власть, при условии, конечно, что вы смотрите на свою власть, как на временную, переходную. Конечно, основной вашей задачей является довести народ до того момента, когда он мог бы взять управление в свои руки, т.-е. выбрать правительство по своему желанию».

Я сказал ему: «Это есть моя основная задача. Вы знаете хорошо, что я прибыл сюда, не имея ни одного солдата, не имея за собой никаких решительно средств, кроме только моего имени, кроме веры в меня тех лиц, которые меня знают. Я не буду злоупотреблять властью и не буду держаться за нее лишний день, как только можно будет от нее отказаться». На это Гаррис сказал мне: «Я вам сочувствую и считаю, что если вы пойдете по этому пути и выполните задачи, которые ставятся перед вами, то в дальнейшем мы будем работать вместе». В таком же духе говорил со мной и Реньо. Полковник Уорд был у меня на следующий день и сказал, что он также считает, что это — единственная форма власти, которая должна быть: «Вы должны нести ее до тех пор, пока, наконец, ваша страна не успокоится, и вы будете в состоянии передать эту власть в руки народа». Я сказал, что моя задача — работать вместе с союзными представителями, в полном согласии с ними, и что я смотрю на настоящую войну, как на продолжение той войны, которая шла в Европе.

Деннке. Не удалось ли вам выяснить, не были ли оповещены иностранные представители о готовящемся перевороте?

Колчак. Я думаю, что это было неожиданно, по крайней мере для Уорда, Гарриса и Реньо. Вслед за посещением этих лиц, о которых я говорил раньше, меня посетили Рихтер и Кошек. Со стороны Кошека отношение было самое милое, любезное, но все чувствовалось какая-то неопределенность. Они спросили меня: «Что вы предполагаете делать?». Я сказал, что моя задача очень простая,— снабжать армию, увеличить ее и продолжать борьбу, которая ведется. Никаких сложных больших реформ я производить не намерен, так как смотрю на свою власть, как на временную; буду делать только то, что вызывается необходимостью, имея в виду одну задачу — продолжение борьбы на нашем уральском фронте. Вся моя политика определяется этим. Стране нужна во что бы то ни стало победа, и должны быть приложены все усилия, чтобы достичь ее. Никаких решительно определенных политических целей у меня нет; ни с какими партиями я не пойду, не буду стремиться к восстановлению чего-либо старого, а буду стараться создать армию регулярного типа, так как считаю, что только такая армия может одерживать победы. В этом заключается вся моя задача. Тогда Рихтер задал мне вопрос: «Отчего вы раньше не говорили об этом, почему не спросили раньше нашего мнения?» Я ему довольно резко ответил: «Вам какое дело?» Я менее всего намерен был спрашивать мнения иностранцев и заявил ему: «Ваше мнение совершенно неинтересно и необязательно для нас». Он сказал мне: «Мы принимали участие в ведении войны». Я ему ответил: «Да, но теперь вы никакого участия не принимаете; теперь вы оставляете фронт,— почему же вы хотите, чтобы мы справлялись с вашим мнением и в особенности теперь, когда вы оставляете фронт?» Таким образом, отношение чехов, в лице их представителей, было скорей недоверчивым; со стороны Рихтера оно носило как бы характер обиды, что все сделано без их согласия, без предварительных переговоров с ними.

Денике. Не приходилось ли вам слышать, что в то время, когда Авксентьев и Зензинов находились в заключении, им через некоторых лиц предлагалось чехами выступление для ликвидации переворота?

Колчак. Такие разговоры были, но точных данных никаких не было, и никаких шагов в том направлении

не предпринималось. Совершенно отрицательную позицию занял чешский национальный совет. Это было в связи с выступлением в Уфе членов Учредительного Собрания.

Алексеевский. В это время было заключено предварительное перемирие с Германией. Таким образом, Германия вышла из войны, и устанавливалось общее замирение Европы. Не возникало ли у вас мысли, что и для России надо искать мирного выхода из того положения, которое создалось?

Колчак. Я об этом не думал, так как видел, что этот мир нас не касается, и считал, что война с Германией продолжается. Я тогда в первое время надеялся, что в случае, если нам удастся достигнуть известных успехов на фронте, то мы будем приглашены на мирную конференцию, где мы получим право голоса для обсуждения вопроса о мире. Так как этого не случилось, то я считал, что мы находимся в состоянии войны с Германией. В числе телеграмм, полученных мною, была со значительным опозданием и телеграмма из Уфы за подписью 5—6 членов Учредительного Собрания (кажется, там были подписи Нестерова, Девятова). Первая часть телеграммы состояла из ругани: меня называли узурпатором, врагом народа и т. д.; вторая же часть носила более серьезный характер: там заявлялось, что комитет членов Учредительного Собрания повернет свои штыки на Омск и откроет новый внутренний фронт, против меня. Насколько первая часть была для меня безразлична, настолько вторая часть носила характер вызова или угрозы. На это надо было как-нибудь реагировать, хотя я и получил сведения, что все части Народной армии (я получил приветствия от большой части) настроены сравнительно спокойно, и что эту угрозу вряд ли удастся осуществить.

Я, между прочим, получил донесение из Челябинска (это передавалось как слух, и за точность я не могу ручаться, но это было интересно, как характеристика отношения чехов), что когда случился переворот, в Уфе будто бы состоялось совещание членов Учредительного Собрания, на котором вопрос был поставлен таким образом, что надо соединиться с большевиками и начать общее наступление на Восток. На это будто бы чехи ответили, что если члены Учредительного Собрания войдут в сношение с большевиками, то они их всех перевешают. Чехи в это время были заняты своей эвакуацией с челябинского фронта и создали там ужасное положение. В Че-

лябинске было забито несколько тысяч вагонов, так что всякое передвижение на этом фронте было чрезвычайно тяжело. Я думаю, что это оказало большое влияние на снабжение армии: не было предумышленного задерживания, но в это время почти ничего не могли подавать в Западную армию благодаря забитости челябинского узла.

Когда я получил эту телеграмму, я послал Дитерихсу и Гайде телеграмму арестовать в Екатеринбурге Чернова, о котором я получил сведения, что он живет в каком-то крепком доме, и что при нем сто человек охраны, а также арестовать членов Учредительного Собрания. Это было выполнено, и Чернов был арестован; но затем Гайда, повидимому, по требованию национального совета, направил поезд, в котором был Чернов и часть его охраны, которые были арестованы в обстановке сопротивления (была брошена бомба, но, к счастью, убитых не было, были только раненые), почему-то через Челябинск,— и в Челябинске Чернов был освобожден. Так или иначе, Чернов попал в национальный совет, оттуда он бежал, уехал за фронт и перебрался в Европейскую Россию. Кем был освобожден Чернов, не имею точных сведений, но полагаю, что это был национальный совет.

Попов. Известно ли вам, что при аресте Чернова екатеринбургской комендатуре было дано распоряжение, чтобы Чернов и его товарищи были ликвидированы?

Колчак. Об этом мне неизвестно, и мною таких распоряжений не давалось. Арест производился русскими частями.

Попов. Известно ли вам, что Чернов и его товарищи были отбиты вооруженной силой чехов?

Колчак. О том, что они были отбиты вооруженной силой, я совершенно не знаю. Наоборот,— я знаю, что по требованию национального совета они были ему переданы.

Попов. Вооруженным отрядом чехов Чернов и его конвой были отбиты от русского конвоя, который вел их на расстрел.

Колчак. Мне это представляется иначе: они были арестованы Гайдой. Чешский же национальный совет потребовал, чтобы их доставили в Челябинск, почему Гайда и выполнил это приказание. О том, что было нападение чехов на русский конвой, я совершенно не знаю. Если бы это было, то, вероятно, Гайда сообщил бы об этом,— между тем он ничего не сообщал мне. Гайда

в это время командовал не только чешскими войсками, но и екатеринбургской группой, состоящей из русских и чешских войск. Поэтому он мог отдавать приказания одинаково и русским и чешским частям. Арест Чернова, насколько я помню, был произведен русскими частями, но распоряжение об аресте было направлено непосредственно Гайде, как старшему начальнику. Насколько я помню, я сделал это распоряжение Гайде и получил ответ, что приказание выполнено. Через несколько дней, видя, что результатов нет, я спросил, где же находится Чернов. Был запрошен Гайда, каким поездом был отправлен Чернов. Гайда ответил, что Чернов такого-то числа отправлен в Челябинск. Тогда я приказал запросить Дитерихса. Дитерихс ответил, что Чернова в Челябинске нет. Я считал, что когда поезд с Черновым прибыл в Челябинск, то чешский национальный совет потребовал выдачи Чернова, и его освободили.

Алексеевский. Вы отдавали определенное приказание арестовать Чернова и доставить в Омск. Приказание это было не выполнено. Было ли сделано какое-нибудь расследование по поводу неисполнения этого приказания?

Колчак. Нет, никакого расследования не было сделано,— я считался только с фактами. Потом Гайда говорил мне, что он не мог иначе поступить, что это было требование национального совета, которому он до известной степени подчинялся.

Алексеевский. Помимо Гайды, никаких расследований относительно ареста и доставки Чернова в Омск вы не делали?

Колчак. Нет, не делал. Я был очень удивлен, почему Чернова направили через Челябинск; потом выяснилось, что это было требование национального совета.

Алексеевский. Членов Учредительного Собрания, арестованных в Уфе, было приказано доставить также в Омск?

Колчак. Одновременно с первой телеграммой я послал телеграмму Дитерихсу с приказанием арестовать членов Учредительного Собрания и доставить в Омск. Когда я получил список арестованных лиц (их было около 20 человек), то оказалось, что там не было ни одного лица, подписавшего телеграмму, за исключением Девятова[73]. Список мне передал конвоирующий офицер.

Попов. Распоряжение об аресте членов Учредительного Собрания было сделано по предложению Вологодского?

Колчак. Было сделано мною совершенно самостоятельно после получения этой телеграммы.

Попов. В распоряжении Комиссии имеется копия телеграммы с надписью: «Произвести через верховного правителя арест членов Учредительного Собрания».

Колчак. Насколько я помню, это было мое решение, когда я получил эту телеграмму с угрозой открыть фронт против меня. Может быть, Вологодский, получив одновременно копию телеграммы, сделал резолюцию, но во всяком случае в этом решении Вологодский никакого участия не принимал. Членов Учредительного Собрания было арестовано около 20, и среди них тех лиц, которые подписали телеграмму, не было, за исключением, кажется, Девятова. Просмотревши списки, я вызвал офицера, конвоировавшего их, Кругловского, и сказал, что совершенно не знаю этих лиц и что в телеграмме они, повидимому, никакого участия не принимали и даже были, кажется, лица, не принадлежащие к составу комитета членов Учредительного Собрания, как, например, Фомин [74]. Я спросил, почему их арестовали; мне ответили, что это было приказание местного командования, в виду того, что они действовали против командования и против верховного правителя, что местным командованием было приказано арестовать их и отправить в Омск.

Таким образом, от этого ареста получилось впечатление весьма неопределенное: тех лиц, которых имелось в виду арестовать, не оказалось. Я вызвал вслед за этим Старынкевича и спросил его, что же делать с этими лицами. Определенных обвинений к этим лицам нет никаких,— как же следует в этом случае поступить? Старынкевич говорит: «Надо произвести следствие по этому делу. Затем, помимо вызова, который был брошен членами Учредительного Собрания, есть еще одно очень серьезное обвинение, которое ложится на этот Комитет членов Учредительного Собрания,— в том, что они выпустили огромное количество уфимских денег, при чем эти деньги расходовались главным образом на партийную работу. Надо выяснить, какое количество денег они напечатали и куда эти деньги шли». Я сказал: «Хорошо,— в таком случае возьмите этот вопрос на себя, так как мне лично эти лица не нужны». Когда я сказал Кругловскому, что он привез мне совершенно неизвестных лиц, то он ответил, что остальные были предупреждены чехами и скрылись. Я спросил, было ли какое-нибудь сопротивление

или противодействие обыскам и арестам, которые производились в Уфе со стороны частей Фортунатова. Он сказал, что никакого и, скорей, было оказано даже содействие. При Комитете Учредительного Собрания была охрана человек в 200, они оставались в том же доме, где жили, и когда их окружили и потребовали выдачи оружия, то это было сделано немедленно. Охрану даже не арестовывали, а просто разоружили и отпустили. Арестованные были привезены в Омск приблизительно числа 24—25 ноября.

Попов. Каким образом сложилась их судьба и под чьим давлением? Ведь вы знаете, что большинство их было расстреляно.

Колчак. Их было расстреляно 8 или 9 человек. Они были расстреляны во время бывшего в двадцатых числах декабря восстания[75].

Алексеевский. Как отнеслось к перевороту уральское правительство и другие правительства, существовавшие на востоке и находившиеся в территориальной связи с вами, как, например, Алаш-Орда и другие?

Колчак. Они ничем не заявляли о себе, и в первые дни о них ничего не было известно. Ни от Алаш-Орды, ни от уральского правительства не поступило никаких заявлений.

Попов. Известно ли вам, что одновременно с членами Учредительного Собрания были арестованы представители уральской власти, например Кириенко в Челябинске?

Колчак. Кириенко был доставлен вместе с остальными в Омск и арестован был, вероятно, местным начальником гарнизона. Также был арестован редактор местной газеты Маевский и отправлен в Омск.

Попов. В это время не отдавалось ли вами определенных указаний об аресте членов Учредительного Собрания вообще и в смысле репрессий в отношении активных членов партии с.-р.?

Колчак. Нет, таких определенных указаний я не давал, я только посылал телеграмму Дитерихсу и Ханжину, чтобы они приняли все меры для борьбы с пропагандой на фронте.

Алексеевский. В числе деятелей того времени была целая группа, представлявшая правительство Урала. В связи с ними находилась Ек. Брешко-Брешковская, которая до известной степени была тоже выслана из России.

Колчак. Она уехала, вероятно, раньше меня, так как я не слышал ни одного слова о ней.

Алексеевский. Она прибыла почти в одно время с вами во Владивосток, как член Учредительного Собрания.

Колчак. Я ничего об ней не слышал и считал ее находящейся вне России.

Попов. Вам было неизвестно, что даже такие представители партийных течений, как Брешко-Брешковская, должны были скрываться и перейти на нелегальное положение?

Колчак. Я не могу ничего сказать, так как я о ней не слыхал и не знал, что она находится в Сибири. От уральского правительства я ничего не получал и никаких распоряжений в этом направлении не делал. Имел место только единственный отклик, и то не членов уральского правительства, а каких-то общественных деятелей. Когда в феврале месяце они были арестованы, я приказал их освободить.

Попов. Таким образом, этим арестом вы считали ликвидированным вопрос относительно членов Учредительного Собрания?

Колчак. Да, считал совершенно ликвидированным.

Алексеевский. Продолжайте ваш рассказ о событиях, происходивших в Омске. Какие перемены вы находили нужным сделать в системе управления страной?

Колчак. Первый период, как вы увидите, я был лишен возможности заниматься этим делом. Главный вопрос, который занимал меня в это время, была подготовка и обеспечение пермской операции, которая была сообщена мне Гайдой, когда я виделся с ним. Она требовала быстрой подачи известного контингента комплектования из центральной Сибири. Это было связано с величайшими затруднениями в смысле снабжения, обмундирования, и т. д. Это была главная моя задача, и я в это время употреблял все усилия на то, чтобы ее обеспечить. По этому поводу мне пришлось войти в связь и контакт с генералом Ноксом, который находился во Владивостоке. Я ему послал телеграмму о том, что в первую очередь необходимо выслать на Урал патроны и снабжение в екатеринбургскую армию срочным порядком, так как во всем этом чувствуется громадный недостаток. Я запросил его, в каком положении находится подвоз боевых припасов, о которых Нокс писал, что они будут доставлены. В это время шли очень быстрые и непрерывные сношения с Владивостоком.

Вслед за тем, когда был обнародован приказ о предании суду Волкова, Катанаева и Красильникова, Семенов, до сих пор молчавший, реагировал на этот вопрос телеграммой, направленной непосредственно ко мне, в которой он заявлял, что он считает, что предавать их суду я не имею права, что деятельность этих лиц может быть судима только впоследствии, и что он требует их выдать в его распоряжение. На нее я, конечно, не ответил; я отправил ее в штаб и сказал, что не стоит отвечать на нее. Вслед за тем, вечером, в то время, когда мы потребовали прямой провод во Владивосток для переговоров с Ноксом, мне доложили, что прямого провода нет, что Чита прервала сообщение. Я предложил начальнику штаба выяснить этот вопрос. На это мне ответили совершенно неопределенно, говорили, что никакого перерыва нет, а все-таки мы не можем получить Владивосток; было ясно, что перерыв находится в Чите. Тогда я, чтобы что-нибудь сделать, приказал зашифровать телеграмму и послать окружным путем, так как была возможность телеграфировать через Монголию, во Владивосток, с перечислением и с требованием получить все, что нужно для фронта. Но все же я приказал попытаться вызвать Владивосток и по прямому проводу, потому что такие шифрованные телеграммы не заменяют переговоров по прямому проводу.

Затем я получил известие, которое потом оказалось недоразумением, но тогда на меня произвело впечатление чрезвычайно серьезное: это была первая угроза транспорту с оружием, обувью и т. д., задержанному где-то на Забайкальской железной дороге. Впоследствии оказалось, что это было не предумышленной задержкой, а задержкой благодаря непорядкам на линии; мне же доложили это так, что я поставил это в связь с перерывом сообщения и решил, что дело становится очень серьезным, что Семенов уже задерживает не только связь, но задерживает доставку запасов. Я просил Лебедева, который вступил в должность начальника штаба, вызвать по прямому проводу или Семенова, или его начальника штаба и окончательно выяснить вопрос, делается ли это умышленно, или нет, и если это делается неумышленно, то я прошу содействия и облегчить мне возможность сношений и протолкнуть вне очереди поезда с припасами и предметами снабжения для фронта. Лебедев получил такой ответ, что они просто не желают разговаривать. Тогда я, обдумавши этот вопрос и пользуясь тем, что

Волкова я послал на восток в Иркутск, решил поручить Волкову организовать отряд там, в Иркутске, и двинуться на Забайкальскую жел. дорогу для того, чтобы обеспечить нам провоз наших грузов.

Словом, создался целый конфликт.

В отношении Семенова я тогда издал приказ, в котором говорил, что 4 или 5 дней задерживается связь с Владивостоком, задерживается перевоз боевых припасов, что я считаю это актом предательства по отношению к армии со стороны Семенова и отрешаю его от должности. Это был приказ, который знаменовал собою перерыв всяких сношений с Семеновым. Насколько я был прав, трудно сказать, но я рисую вам ту обстановку и те мотивы, по которым я тогда действовал. В ответ на это не последовало ничего, но иностранные представители, которые тоже были оповещены об этой истории, спросили, что я намерен делать. Я сказал, что такие случаи надо решать оружием, я постараюсь собрать войска и двинуть их для того, чтобы обеспечить Забайкальскую жел. дорогу и продвинуть по ней грузы. Насколько это мне удастся, я не знал, но во всяком случае у меня другого выхода не было, потому что я пытался войти в соглашение, но из этого ровно ничего не вышло.

Об этом событии стало известно Ноксу и Жанену, который в это время приехал во Владивосток и был на пути к Омску. Из Читы я получил предложение от генерала Жанена подойти к прямому проводу, что я и сделал. Он сообщил мне, что положение чрезвычайно осложняется в Забайкалье, и что он считает долгом мне сообщить следующее: командующий японской дивизией заявил, что он не допустит никаких вооруженных действий на железнодорожной линии и что в случае, если я попробую ввести войска в Забайкалье, то японские войска вынуждены будут выступить против них. Почему это было сделано, я хорошо не знаю, но он, действительно, вызвал меня по прямому проводу и сказал, что он рекомендует мне быть очень осторожным, более спокойным и надеяться, что этот конфликт может разрешиться благополучным путем, и что решение его вооруженной силой является совершенно невозможным. Тогда я оставил это распоряжение. Японцы сообщили, что они берут на себя гарантию, что связь будет действовать, и что движение на линии железной дороги прекращаться не будет. Это мне в тот момент разрешало сомнение и то затруднительное положение, в котором я находился в отношении

доставки на фронт предметов снабжения, и я подчинился тому положению, разрешить которое своими средствами я иначе не мог.

Алексеевский. Вы, значит, понимали, что за Семеновым стоят японцы?

Колчак. Раз они заявляют, что они со своими войсками выступят, то я своими жалкими средствами что же мог сделать? Я примирился с этим, как с временным явлением, надеясь, что я со временем разрешу этот вопрос. В это время центр тяжести моей деятельности лежал в пермской операции, и я стремился всеми силами ее обеспечить. И действительно, связь после этого восстановилась, грузы, хотя с некоторым опозданием, все же были доставлены, и с этой стороны подготовительная работа операции шла, что меня до известной степени устраивало.

Алексеевский. А вашего приказа о лишении Семенова должности вы не отменяли?

Колчак. Нет, не отменял; я отменил его после следственной комиссии, когда Катанаев вернулся и, произведя расследование, сказал, что факта и намерения со стороны Семенова прервать связь и ничего не доставлять на фронт не было, и что все это было помимо него. Затем все время у меня уходило на работу в ставке и в заседаниях экономического совещания, крупными же делами общегражданского порядка мне почти не приходилось заниматься. Я делал объезд войск омского гарнизона и убедился в чрезвычайно положительном и сердечном отношении со стороны омского гарнизона и казаков ко мне, также со стороны офицеров и команды.

В середине декабря был случай, который в дальнейшем в значительной степени повлиял на мою работу. 9-го декабря нового стиля был георгиевский парад. Я не имел никогда теплого пальто и ходил всегда в солдатской шинели. После этого парада я объезжал войска и в результате, так как я легко был одет, заболел воспалением легких. Почти неделю я держался, и продолжал ездить на службу, еще не зная хорошо своей болезни, так как я болеть не мог и должен был продолжать работу. Только 15-го числа, когда я перебрался на квартиру в дом Батюшкина, был консилиум докторов, которые потребовали, чтобы я лег в постель. У меня сделалась запущенная тяжелая форма воспаления легких, так как я однажды уже болел воспалением легких, когда был на Востоке.

Эта болезнь прервала мою возможность ездить в штаб, в совет министров и т. д. Но я все время старался принимать всех, кто имел ко мне нужду, и просил только Волкова, что если нет особенно срочных вопросов, чтобы меня не занимать. Что же касается фронта, то я два раза в день принимал доклады Лебедева о положении на фронте. Принимал иностранцев, которые ко мне являлись. В некоторых случаях я даже пытался одеваться, выходил и снова ложился в постель. Болезнь моя очень сильно повлияла на события, потому что я в это время не мог заниматься; я не был вполне в курсе всех дел; мне пришлось прекратить занятия в экономическом совещании. Первый мой выход из квартиры был в день возобновления деятельности сената, в феврале месяце,— я болел шесть недель.

Алексеевский. Значит, этот период времени с половины января и до конца февраля управление гражданской стороной государственной жизни не лежало на совете министров?

Колчак. Да, конечно, я не мог в это время входить в дела как следовало бы и принимал только экстренные доклады. Единственно, что я не оставлял, как бы плохо мне ни было, это распоряжений о фронте, за исключением лишь нескольких дней, когда у меня была такая высокая температура и такие боли, что я дышать не мог.

Алексеевский. Во время вашей болезни произошло известное выступление в Омске. Как вы отнеслись к нему?

Колчак. Приблизительно около 20-х чисел Лебедев мне сообщил, что имеется агентурное, добытое контрразведкой сведение, что в Омске готовится выступление ж.-д. рабочих на линии железной дороги, что ожидается забастовка и т. д., что все это идет под лозунгом Советской Власти, но он большого значения этому не придает, так как в Омске находится достаточное количество войск и гарнизон вполне надежный. Поэтому вряд ли может быть какое-нибудь выступление.

Алексеевский. Никаких особых указаний вы по этому поводу ему не давали?

Колчак. Нет, все делалось автоматически. На случай тревоги раз навсегда было составлено расписание войск,— где каким частям находиться. Город был разбит на районы, все было принято во внимание. Никаких неожиданностей быть не могло, и мне не приходилось давать

указаний. Накануне выступления вечером мне было сообщено Лебедевым по телефону или, вернее, утром следующего дня, что накануне был арестован штаб большевиков, в числе 20 человек,— это было за сутки до выступления. Лебедев сказал: «Я считаю все это достаточным для того, чтобы все было исчерпано, и выступления не будет».

Попов. Что он доложил относительно судьбы арестованного штаба?

Колчак. Он сообщил только, что они арестованы.

Попов. А не сообщал он, что на месте ареста были расстрелы?

Колчак. Они были расстреляны на второй день после суда.

Попов. Определенно известно из всех данных по г. Омску, что часть штаба была расстреляна при самом аресте на месте; часть его успела скрыться.

Колчак. Я помню, они были расстреляны в день восстания.

Попов. Самый арест был произведен в ту же ночь, когда было восстание?

Колчак. Никак нет,— я знаю, что они были арестованы по крайней мере за сутки до восстания, так что я думаю, что это сведение неверное. Я твердо помню, что арест штаба был произведен гораздо раньше. В тот день, когда все было совершенно спокойно, там велось дознание; затем последовал день, который никаких решительно больше новостей не принес. Затем ночью в день восстания меня разбудил мой дежурный адъютант около пяти часов утра, заявив мне, что в городе происходят выступления красных, что занята восставшими тюрьма и освобождены все находившиеся в тюрьме арестованные, но что в самом городе спокойно,— пока идет только редкая ружейная стрельба на окраинах. На вокзале все спокойно. Затем он мне доложил, что по тревоге войска заняли свои места, и по расписанию ко мне должна прибыть сотня казаков.

Попов. Вы распорядились, чтобы вам была дана охрана?

Колчак. Нет, я не распоряжался, а согласно расписанию, выработанному командующим войсками Матковским и начальником штаба, на случай боевой тревоги должна была прибыть ко мне сотня казаков. Он сказал, что начальник штаба еще сообщит подробности по телефону и просит меня не беспокоиться.

Алексеевский. Как вы узнали о восстании, какие меры были приняты в течение самого восстания и до его ликвидации?

Колчак. Вслед за тем Лебедев сообщил мне по телефону следующее: в городе восстания никакого нет,— кроме нападения на тюрьму никаких других действий со стороны повстанцев не было. Были отдельные столкновения на окраинах города, но на вокзале все спокойно и благополучно, а что центр тяжести переносится на Куломзино, где, повидимому, повстанцы концентрируются, где они действуют своими главными силами; но туда уже отправлены казачьи части, походная артиллерия, и чехи также будто бы действуют. Тогда я был довольно спокоен по поводу того, что в Омске ничего не будет. Затем я спросил, есть ли связь с армией, на что он ответил, что связь прервана в Куломзине, но что он надеется, что она скоро будет восстановлена.

Когда рассвело, часов около 10-ти утра я приказал отпустить казаков домой, потому что в городе было совершенно спокойно,— мне достаточно было обычного караула,— и просил приехать Лебедева ко мне. Лебедев прибыл ко мне часов в 11 с докладом, что, благодаря аресту этого штаба, в Омске выступление не удалось, что все переносится в Куломзино. Там идет стрельба, у восставших имеются пулеметы, но артиллерии нет. Сейчас должна туда подойти из города наша артиллерия, и он надеется ликвидировать это восстание. Затем Лебедев мне доложил, что вся тюрьма разбежалась, но что приняты меры, поставлены патрули на все дороги, и бежавших удастся задержать. Я спросил: «Члены Учредительного Собрания тоже разбежались?» Он ответил: «Да, разбежались».

Затем он мне заявил, что сегодня вечером должен начать функционировать полевой суд по назначению командующего войсками, и что город объявлен на осадном положении. Матковский, кажется, утром тоже был и тоже доложил, что все спокойно в городе, никаких столкновений нет, что ночью было несколько столкновений небольших, серьезного же ничего не было, что центр тяжести перенесен в Куломзино. Действительно, вечером я получил извещение о том, что Куломзино охвачено со всех сторон войсками и что часть мятежников бежала. Бой был довольно упорный; с нашей стороны есть небольшие потери, но что сейчас в Куломзине все спокойно и будет восстановлено сообщение с фронтом.

Затем вечером мне была сообщена телеграмма от Гайды, нужна ли какая-нибудь помощь, двинуть ли войска, что у него чуть ли не готовы к посадке два полка, которые он немедленно, если потребуется, пришлет в Омск. Я ответил: пожалуйста, никого не присылайте с фронта, никаких частей не снимайте, чтобы отнюдь не нарушать плана военных работ, которые ведутся на фронте, что здесь все спокойно и все ликвидировано. Затем, мне кажется, что в этот же вечер, часов в 9 или в 10 примерно, я получил совершенно неожиданно для меня записку от Вологодского, который сообщал, что предаются военно-полевому суду члены Учредительного Собрания, которые никакой связи с восстанием не имели, а просто находились в тюрьме и были освобождены, и что он просит моего распоряжения о том, чтобы их суду не предавать. Я потребовал сейчас же бланк и написал на нем, что члены Учредительного Собрания суду не подлежат, и без моего ведома никакому суду их не предавать. Затем меня немножко удивило одно обстоятельство: мне доложили, что никого из членов Учредительного Собрания нет, что они все разбежались, а потом вдруг они почему-то предаются полевому суду. Я, конечно, не мог быть в курсе дела тогда вообще и только потом узнал, что они добровольно явились, т. е. часть из них сама пришла обратно в тюрьму. Свою записку я приказал отправить срочно начальнику гарнизона, потому что полевой суд был при начальнике гарнизона назначен Матковским. Начальником гарнизона был генерал-майор Бржозовский. Это было уже довольно поздно вечером, часов в 10—11, и после этого всю ночь меня никто не беспокоил и никаких сведений я не получал. Мне было довольно скверно, меня старались не беспокоить. Затем на утро, часов, вероятно, около 10-ти, ко мне приехали Вологодский, Тельберг и Старынкевич и просили принять их срочно по одному очень важному обстоятельству. Вслед за тем мне пришла от Бржозовского записка с перечислением арестованных членов Учредительного Собрания, что приказание выполнено, и вот список членов Учредительного Собрания, находящихся в тюрьме, которые суду полевому не предаются. Меня поразило, что список этот был очень мал, около половины. Затем было указано, что неизвестно где некоторые находятся. Вологодский меня спросил: «Вы знаете, что часть членов Учредительного Собрания вчера вечером расстреляна? Вы получили мою записку?». «Да,— говорю я,— и сейчас же сделал

распоряжение, чтобы их никакому суду не предавать, и чтобы без моего разрешения ничего с ними не делать».— «Так вот я вам должен сообщить об этом ужасном случае. Кто это сделал, по чьему распоряжению, нам пока ничего не известно,— но они ночью были кем-то расстреляны, и их тела найдены где-то около Иртыша. Кажется, 8 человек».

Алексеевский. А что вы сделали для выяснения этого дела?

Колчак. Я призвал дежурного адъютанта и приказал ему вызвать к себе главного военного прокурора, полковника Кузнецова. Я попросил их подождать до его прибытия и просил Вологодского: «Выслушайте вы, Петр Васильевич, его доклад, мне говорить трудно, и затем пусть приступят сейчас же к расследованию, кто виноват, по чьему приказанию и при каких обстоятельствах произошло это событие».

Алексеевский. Что же дало расследование?

Колчак. Я помню короткий разговор и помню, какое впечатление на меня произвело это событие, что я тогда высказал Вологодскому, Тельбергу и Кузнецову. Я говорил, что этот акт направлен персонально против меня с целью дискредитировать мою власть в глазах иностранцев, которые относились ко мне чрезвычайно благожелательно. Затем я не мог не поставить в связь это событие с тем обстоятельством, что за несколько дней перед этим выступлением у меня была депутация представителей социалистических партий,— я с ними не мог беседовать, но я заставил себя одеться и выйти к ним,— они меня приветствовали и сказали, что поскольку я буду держаться того пути, который я высказал в своих речах и декларациях, то я могу рассчитывать на их полную поддержку.

Денике. Эта депутация не социалистических партий, а блок 14-ти, куда вошли социалистическая партия «Единство», кооператоры и т. д.

Колчак. Да, именно так. Это было мое первое впечатление, и расстрел мне представлялся совершенно бессмысленным и не имеющим связи с восстанием, тем более, что я Старынкевичу раньше говорил: «Чего вы их держите? У меня нет в отношении их никаких обвинений, я ничего им не предъявляю,— все это люди, не имеющие никакого общественного значения, и держать их в тюрьме, это только занимать место, и их свободно можно было бы всех отпустить, взяв от них подписку, чтобы они

не вели борьбу против меня и жили где угодно, а следствие о них можно вести, не держа их в тюрьме». Старынкевич имел в виду какие-то формальности, которые несколько задержали освобождение,— и они должны были быть выпущены. Так что против них со стороны властей военных и гражданских никаких обвинений решительно не было, и такой акт, как расстрел, я мог рассматривать скорее с той точки зрения, о которой говорил, и как ответ на ту депутацию, которая была уже у меня за несколько дней до этого.

Поручивши это дело Кузнецову, я отпустил его. Когда приехал Лебедев на очередной доклад, то оказалось, что для него это тоже было новостью. Он говорил, что их не по суду расстреляли, а их повели в суд. Суд их будто бы не признал подсудимыми, согласно тому, что они никакого отношения к восстанию не имели, и был приказ отправить их обратно в тюрьму. Но по дороге конвоирующими офицерами они были расстреляны. Я спросил, выяснено ли, кто были эти конвоирующие офицеры и где они находятся сейчас. Я сказал, что я передал дело Кузнецову и прошу ему оказать всякую помощь для того, чтобы выяснить, кем это было сделано, потому что, очевидно, какие-то причины были для того, чтобы это сделать. В дальнейшем я более не давал распоряжений. От Кузнецова через несколько времени я узнал фамилию офицера Бартошевского, который привел их в полевой суд, но когда в полевом суде их отказались судить и было приказано конвоировать обратно, на этом обратном пути они были им расстреляны. Будто бы Бартошевский мотивировал этот расстрел их попыткой бежать, но я отлично знал, что всегда выставляется эта причина. На вопрос, арестованы ли эти офицеры, он сказал, что Бартошевский уехал вместе с частью конвоя, и что только один или два солдата этого конвоя были задержаны и опрошены. Помнится мне, что Кузнецову я говорил, что мне дело представляется не в Бартошевском,— я считаю, что это дело глубже. О всех подробностях мне значительно позже докладывали, а это было первое впечатление, какое у меня осталось. Впоследствии Кузнецов и сенатор Висковатов, который производил расследование, дали мне другие сведения. Было ясно, что Бартошевский и бывшие с ним — это только исполнители, важно было узнать, по чьему приказанию и с какими целями это было сделано.

Я тогда сказал Кузнецову: «Главная ваша задача, это — узнать, кто был автором, потому что это идет не от Лебедева,— я убежден, что это для него было неожиданностью,— не от Матковского,— таких приказаний исходить от него не могло, а начальник гарнизона Бржозовский получил мое распоряжение и, следовательно, суду никак их предавать не мог. Когда был совершен этот акт, я сказать сейчас не могу.

Алексеевский. А в дальнейшем вы все выяснили? Какие меры были вами приняты к тому, чтобы были разысканы виновные?

Колчак. Все это дело велось военным прокурором, я в это дело не вмешивался. Я его периодически спрашивал, в каком положении дело,— он говорил, что оно ведется обычным судебным порядком.

Алексеевский. К чему пришло военно-судебное следствие?

Колчак. Кузнецову так и не удалось выяснить. Он выяснил факт и лиц, которые участвовали в этом деле, но выяснить, кем была поставлена эта задача, установить, от кого исходило это распоряжение, не удалось. Тогда я решил передать это дело в руки сенатора-специалиста, и просил его произвести самое расследование. Это было в феврале месяце; следствие военное столь несовершенно, так медленно тянется, что я считал, что они просто не могут как следует разобраться.

Попов. Упоминали ли вам фамилию Рубцова?

Колчак. Я знаю, что Рубцов принимал какое-то участие в исполнении приговоров суда.

Попов. Из делопроизводства совета министров по поводу этого расстрела и из докладов Кузнецова с совершенной определенностью выясняется, что Бартошевский, пришедши в тюрьму, потребовал меня, Девятова и еще несколько лиц. Я был болен сыпным тифом, администрация тюрьмы отказалась меня выдать, а сами офицеры не решились, очевидно, в сыпную палату итти. Девятов же был уже уведен тогда, так как до этого явился Рубцов, потребовал и увел его вместе с Кириенко. Рубцов в тюрьме оставил расписку в том, что он получил Кириенко и Девятова. Об этой расписке говорится в докладе Коршунова и Кузнецова. Тем не менее никаких мер по отношению к нему не было принято.

Колчак. Рубцов был в тюрьме для исполнения приговора, кажется, но участия в убийстве членов Учредительного Собрания он не принимал.

Попов. Это по документам,— он не исполнял приговора, потому что приговора тогда не было. Он явился с определенным требованием нескольких лиц: Девятова, Кириенко, меня и других. Девятов и Кириенко были присоединены к партии в 45 рабочих, и все они в загородной роще были расстреляны, а Бартошевский увел других.

Колчак. Против Рубцова обвинения в расстреле не было, а было обвинение в отношении Бартошевского.

Попов. Что касается Бартошевского, то после того, как Кириенко и Девятов были уведены, он выбрал 8 человек, не подлежащих военно-полевому суду, и тут же, по данным дознания Кузнецова, были выданы еще 5 человек, осужденных к бессрочной каторге,— и они все были расстреляны на берегу Иртыша. Это подтвердилось заключением Чрезвычайной Следственной Комиссии. Бартошевский почему-то был освобожден, как благонадежный человек, под надзор Красильникова.

Колчак. Ведь неизвестно, где он был.

Попов. Бартошевский при мне сидел два месяца в тюрьме и освобожден, как благонадежное лицо.

Колчак. Мне это неизвестно.

Попов. Как же вы, верховный правитель, считающий это актом, направленным лично против вас, не поинтересовались судьбою фактического виновника?

Колчак. Бартошевский бежал, об его аресте мне ничего не известно.

Попов. Было еще 6 офицеров этого конвоя из отряда Красильникова,— фамилии их найдены Следственной Чрезвычайной Комиссией,— и никто не был арестован.

Колчак. Мне сообщили, что Бартошевский бежал, против Рубцова в то время никаких обвинений в убийстве не было. Кузнецов говорил, что он не расстреливал никого из членов Учредительного Собрания и против него никаких обвинений не было.

Попов. Девятов и Кириенко им расстреляны, это точно установлено данными Кузнецова.

Колчак. Да, это возможно, потому что это — единственный материал.

Алексеевский. Сенаторское расследование даже не обнаружило вдохновителей.

Попов. Знаете ли вы, что Рубцов и Бартошевский ссылались на личное ваше распоряжение?

Колчак. Да, Кузнецов мне об этом докладывал.

Попов. Разрешите мне занести в протокол, что вам это известно было от Кузнецова.

Колчак. Я, конечно, таких распоряжений не мог давать.

Попов. О роли Рубцова вы ничего не знали?

Колчак. Потом из следствия Кузнецова выяснилось,— в первые дни выяснилось,— что этот акт был выполнен Бартошевским.

Денике. А вы знали об участии в расстреле данных лиц Рубцова?

Колчак. Нет, я считаю, что это — дело Бартошевского, и что Рубцов в этом расстреле не участвовал. Потом я узнал, что и Рубцов, и Бартошевский фигурируют в этом деле.

Денике. Но вы сейчас изволили сказать, что вы о Рубцове ничего не знали.

Колчак. Я докладывал хронологически, как это дело мне представлялось, а следственный материал мне известен, как и вам.

Попов. А что Бартошевский был арестован, вы знаете?

Колчак. Нет, я считал, что он скрылся и уехал куда-нибудь на фронт, и достать его будет невозможно.

Попов. Но в то же время вы говорите, что он пробрался на фронт,— как же он мог скрыться?

Колчак. Да в первый день.

Попов. Вы сказали, что он скрылся и не мог быть допрошен.

Колчак. Нет, он был допрошен, а потом скрылся.

Попов. Почему он не был арестован при допросе?

Колчак. Кузнецов мне об этом ничего не говорил. Может быть, он сделал такое распоряжение. Вы, может быть, помните, когда это было?

Попов. Я с делом Бартошевского знакомился в делах омской тюрьмы. Затем о Бартошевском было постановление Чрезвычайной комиссии о предании его суду, а потом заключение той же комиссии об его освобождении, как человека благонадежного, под надзор. Это была комиссия Висковатова.

Алексеевский. А вам было известно, к чьему отряду принадлежат Бартошевский и Рубцов?

Колчак. Да, мне Кузнецов докладывал тогда. Все это следствие было мне доложено.

Алексеевский. Раз вы назначили главного военного прокурора для расследования,— вы видели в этом преступление. Но это преступление должно было в известной степени бросить подозрение и на прямых начальников

этих двух лиц,— не возникало ли у вас сомнений по отношению к начальникам этих двух офицеров?

Колчак. Откровенно сказать, мне в этот период трудно вспомнить, как возникало подозрение. У меня была высокая температура, я был болен и еле дышал, и мне в это время входить в такие тонкости и разговаривать было трудно. Я тогда говорить не мог, а только выслушивал доклады. Мне было очень тяжело вдаваться в такие тонкости. Мое мнение и убеждение было таково, что это был акт, направленный против меня и совершенный такими кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглашение с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дискредитирования моей власти перед иностранцами и перед теми кругами, которые мне незадолго до этого выражали доверие и обещали помощь.

Попов. Вы говорите, что Бартошевский был допрошен и после допроса скрылся. Почему же он тогда не был после допроса арестован,— вы не знаете? Вы спрашивали Кузнецова, почему его не арестовали?

Колчак. Может быть, и спрашивал, я не помню.

Попов. Вы не придали значения тому, что он не был арестован? Вы говорите, что не знаете, почему он не был арестован,— вы не поставили в вину Кузнецову это попустительство к явному разбою и убийству?

Колчак. Может быть, Кузнецов это и сделал, но каким образом он удрал, я не знаю.

Денике. Какие личные распоряжения по расследованию дела вами делались? Вам делались доклады, мы знаем, что было поручено Кузнецову и Висковатову производить дознание,— а кроме этого делались ли какие-нибудь распоряжения?

Колчак. Нет, я это дело передал официальным лицам.

Денике. Может быть, вы не помните освобождения из-под стражи такого лица, которое прошло в порядке организационной работы, и никаких докладов об аресте и освобождении вам не делалось?

Колчак. Не делалось.

Денике. Вы не предполагали, чтобы наиболее важные акты этого следствия производились с вашей санкцией?

Колчак. Нет, я не мог взять на себя.

Попов. Поручивши это дело Чрезвычайной комиссии, интересовались ли вы его дальнейшим ходом?

Колчак. Висковатов мне несколько раз докладывал, когда находил это нужным. Поручивши Висковатову это

дело, я совсем о нем забыл, и я был уверен, что больше ничего не могу сделать.

Алексеевский. Вы находили, что этот акт совершен с целью дискредитировать вас, и вы находили, что акт этот исходит от тех кругов, которые не желали вашего сближения с социалистическими течениями?

Колчак. Да, я так себе объяснял.

Алексеевский. В числе лиц и групп, которые вас окружали, вы легко могли разобраться, от каких именно лиц и групп это должно было итти.

Колчак. Это довольно трудно мне было сказать.

Алексеевский. Выражаясь принятой терминологией, крайне правые реакционные элементы были определенно известны. Например, Красильникова вы не могли смешать с Каппелем.

Колчак. Обвинять Красильникова, зная его отношение ко мне, я не мог, я не мог подозревать, чтобы Красильников мог сделать этот акт, направленный против меня.

Попов. Каких виновников этого расстрела выяснила работа чрезвычайной следственной комиссии?

Колчак. Она подтвердила эти два лица, того же Бартошевского и Рубцова, но о лицах выше стоящих Висковатов не мог найти никаких следов.

Попов. Вы судили по докладам Висковатова, а сами с делом не знакомились?

Колчак. Нет. Я считал Бартошевского исполнителем. Он меня мало интересовал,— я считал, что он действует по чьему-то распоряжению, а кто был вдохновителем и организатором этого дела, я не знаю.

Денике. Может быть, у вас в конце концов сложилось впечатление, почему это дело не осталось раскрытым до конца и истинные виновники не понесли никакой кары. Чем вы это объясняли?

Колчак. Я объяснял это всем тем судебным аппаратом, который у меня был в распоряжении и от которого по массе аналогичных дел, поручавшихся мною для расследования по вопросам злоупотреблений в интендантских поставках, я никогда не мог добиться от своего суда и следственной комиссии каких-нибудь определенных результатов. Все время суд и следственная власть задавались широкими задачами распутать и раскрыть данное преступление во всем его объеме, и в конце концов из этого ничего не выходило. Это есть недостаток организации нашей судебной власти. На это жаловался

и Кузнецов, что все стараются не давать определенных ответов, стараются дело затруднить, и к кому он ни обращался, он не мог добиться совершенно определенных и ясных ответов на все вопросы, которые он ставил. Он сам говорил, что чрезвычайно трудно было это дело расследовать в виду острого противодействия со стороны всех прикосновенных лиц, которых он опрашивал и которые выясняли этот вопрос. Целый ряд интендантских вопросов у меня был на фронте и в Омске, и в попытке захватить виновных в спекуляции я всегда был бессилен, раз я обращался к легальной судебной власти. Это была одна из тяжелых сторон управления, потому что наладить судебный аппарат было совершенно невозможно. Раз я становился на точку зрения юридическую, призывал юристов и поручал им это дело вести,— оно не давало результатов.

Попов. Почему не был арестован Рубцов, вы тоже не знаете?

Колчак. Я не помню, потому что в тот период, когда велось следствие, я передал это дело определенному лицу и не вмешивался в его распоряжения. Это дело следствия, а я сам не давал каких-либо распоряжений по этому поводу. Каким образом я мог приказать следователю арестовать то или иное лицо?

Попов. Известно ли вам, что при этом убийстве членов Учредительного Собрания были убиты ряд других лиц таким же порядком, без суда и следствия, не являвшихся членами Учредительного Собрания?

Колчак. Я знал этот список, который мне был представлен, я помню Маевского и Фомина.

Попов. Расстрелы в Куломзине производились по чьей инициативе?

Колчак. Полевым судом, который был назначен после занятия Куломзина.

Попов. Обстановка этого суда вам известна, и известно ли вам, что по существу никакого суда и не было?

Колчак. Я знал, что это — полевой суд, который назначался начальником по подавлению восстания.

Попов. Значит, так: собрались три офицера и расстреливали. Велось какое-нибудь делопроизводство?

Колчак. Действовал полевой суд.

Попов. Полевой суд требует тоже формального производства. Известно ли вам, что это производство велось, или вы сами, как верховный правитель, не интересовались этим? Вы, как верховный правитель, должны были

знать, что на самом деле никаких судов не происходило, что сидели два-три офицера, приводилось по 50 человек, и их расстреливали. Конечно, этих сведений у вас не было?

Колчак. Таких сведений у меня не было. Я считал, что полевой суд действует так, как вообще действует полевой суд во время восстаний.

Попов. Это знал весь город. А после вы это узнали?

Колчак. Я знаю, что собирался военно-полевой суд, который разбирал вопрос о причастности тех или иных лиц, и когда этот суд собирался, он выносил приговоры.

Попов. Как вы себе представляете вынесение приговора? Как применялся этот военный суд?

Колчак. Если повстанцы захвачены с оружием в руках, то они подлежат полевому суду.

Попов. Значит, записывалось, что такие-то и такие-то лица подлежат военно-полевому суду? Вам докладывали об этом? Делопроизводство, существует ли оно, сохранилось ли оно где-нибудь?

Колчак. Я его не спрашивал.

Попов. Вы не интересовались?

Колчак. В первый период я не мог интересоваться.

Попов. А сколько человек было расстреляно в Куломзине?

Колчак. Человек 70 или 80.

Денике. А не было ли вам известно, что в Куломзине практиковалась массовая порка?

Колчак. Про порку я ничего не знал, и вообще я всегда запрещал какие бы то ни было телесные наказания,— следовательно, я не мог даже подразумевать, что порка могла где-нибудь существовать. А там, где мне это становилось известным, я предавал суду, смещал, т.-е. действовал карательным образом.

Попов. Известно ли вам, что лица, которые арестовывались в связи с восстанием в декабре, впоследствии подвергались истязаниям в контр-разведке, и какой характер носили эти истязания? Что предпринималось военными властями и вами, верховным правителем, против этих истязаний?

Колчак. Мне никто этого не докладывал, и я считаю, что их не было.

Попов. Я сам видел людей, отправленных в Александровскую тюрьму, которые были буквально сплошь покрыты ранами и истерзаны шомполами,— это вам известно?

Колчак. Нет, мне никогда не докладывали. Если такие вещи делались известными, то виновные наказывались.

Попов. Известно ли вам, что это делалось при ставке верховного главнокомандующего адмирала Колчака, в контр-разведке при ставке?

Колчак. Нет, я не мог этого знать, потому что ставка не могла этого делать.

Попов. Это производилось при контр-разведке в ставке.

Колчак. Очевидно, люди, которые совершали это, не могли мне докладывать, потому что они знали, что я все время стоял на законной почве. Если делались такие преступления, я не мог о них знать. Вы говорите, что при ставке это делалось?

Попов. Я говорю: в контр-разведке при ставке. Возвращаюсь к вопросу о производстве военно-полевого суда в Куломзине.

Колчак. Я считаю, что было производство такое же, какое полагается в военно-полевом суде.

Попов. В Куломзине фактически было расстреляно около 500 человек, расстреливали целыми группами по 50—60 человек. Кроме того, фактически в Куломзине никакого боя не было, ибо только вооруженные рабочие стали выходить на улицу, они уже хватались и расстреливались,— вот в чем состояло восстание в Куломзине.

Колчак. Эта точка зрения является для меня новой, потому что были раненые и убитые в моих войсках, и были убиты даже чехи, семьям которых я выдавал пособия. Как же вы говорите, что не было боя?

Попов. Боев не было, могли быть лишь какие-нибудь стычки.

Колчак. То, что вы сообщаете, было мне неизвестно. Я лично там не мог быть, но я верю тому, что мне докладывалось. Мне докладывался список убитых и раненых. Эта точка зрения является для меня совершенно новой.

Попов. Это не точка зрения, а это факт.

Колчак. Вы там были?

Попов. Нет, я сидел в тюрьме и не был там точно так же, как и вы, но я говорю со слов участников этого дела.

Колчак. Мне говорили, что в Куломзине за весь день боя было 250 человек потери, а в правительственных войсках было человек 20 убитых и раненых, кроме того,

3—4 чеха, но сколько убитых было в войсках, я точно не помню.

Попов. Значит, вообще, помимо случаев в связи с восстанием, избиений шомполами и пытками в омской контр-разведке не существовало?

Колчак. Нет.

Попов. Не известен вам такой случай, когда один из расстрелянных по делу 11 коммунистов дал свои показания о том, что он является членом комитета партии коммунистов, только потому, что он подвергался пыткам путем выворачивания рук и суставов, подобно вытягиванию на дыбе, и т. д.?

Колчак. Нет, я в первый раз слышу.

Денике. А относительно того, что полевого суда никакого не было, а протоколы суда составлялись уже после расстрела, нам показывал не кто иной, как Сыромятников.

Колчак. Сыромятников у меня не бывал с докладами. У меня бывал один только Висковатов, который мне говорил, что часть приговоров не куломзинского, а омского полевого суда была сделана заочно.

Попов. В омской тюрьме сидело 5 человек куломзинских рабочих, заочно приговоренных к смертной казни.

Колчак. Что же, их потом расстреляли?

Попов. Они сидели еще несколько месяцев. Когда я ушел, они еще остались. В конце концов, они не были расстреляны. Но они об отмене приговора еще не знали, и таким образом они сидели несколько месяцев под страхом смертной казни. Теперь, может быть, в связи с этим вам была известна деятельность Розанова в Красноярске в качестве вашего уполномоченного?

Колчак. Мне известен один прием, который я ему запретил, это — расстреливание заложников за убийство на линии кого-либо из чинов охраны. Он брал этих людей из тюрьмы.

Попов. Вы запретили, а не предали суду за это убийство?

Колчак. Нет, потому что я считал, что, в сущности говоря, он имеет право бороться всеми способами, какие только возможны, что есть известный пункт, который по чрезвычайным обстоятельствам дает каждому начальнику на это право, но прибегать к такому приему, как заложничество, я считал недопустимым. Я считал, что ответственность лиц, не причастных к делу, недопустима. Об этом я говорил с министром юстиции Тельбергом [76].

Ему было отправлено через Тельберга распоряжение заложников не расстреливать.

Председатель Ирк. Губ. Ч. К. Чудновский. В каком месяце это было?

Колчак. Я думаю, в апреле или в марте.

Председатель Ирк. Губ. Ч. К. Чудновский. Разрешите напомнить о том, что в мае и июне расстреливали целыми партиями.

Попов. В омскую тюрьму в начале июня прибыл Стрижак-Василенко, который был впоследствии расстрелян совершенно незаконно. Он говорил нам в тюрьме, что красноярский институт заложников действовал до самого последнего дня его пребывания там. Он говорил, что ни один вновь арестованный не доводился до тюрьмы,— арестованных расстреливали по дороге в тюрьму,— это во-первых, а во-вторых, когда он был в тюрьме, то до самого последнего дня заложники расстреливались пачками по 8—10 человек.

Колчак. В качестве чего были эти заложники?

Попов. Вероятно, по поводу какого-нибудь убийства на ж. д., за убийство чеха или кого-нибудь другого.

Денике. Это известно из официальных источников в Красноярске, что за убийство чеха расстреливалось по 8—10 человек.

Алексеевский. В связи с этими мерами репрессий, по вашей инициативе совет министров принял два постановления, которые отмечены 16 и 18 апреля 1919 г., №№ 47, 48 и 52 секретных заседаний совета: вы предложили совету обсудить вопрос о расширении прав командующих войсками в том смысле, что за преступления, которые раньше не наказывались смертною казнью, могло быть повышено наказание до смертной казни.

Колчак. Да, были такие распоряжения.

Попов. Известно ли вам, что Розанов давал распоряжения о сжигании сел и деревень в интересах подавления якобы восстания, при обнаружении в них оружия и т. п.?

Колчак. Я не думаю, чтобы Розанов такие распоряжения давал, потому что по этому поводу есть телеграммы, которые я посылал Артемьеву и Розанову, которые имеются даже в газете в виде приказа Артемьеву, где я дал общие указания, как поступать в этих случаях борьбы с восстанием, где я указывал, что в случае, если жители будут замешаны в том или ином деле, на них накладывается денежный штраф, а затем конфискация иму-

ществ и земель в пользу тех, кто подавляет восстание. Это указание мое, которое было сделано, конечно, не указывало, как общую меру, сжигания деревень, но я считаю, что во время боев и подавления восстания такая мера неизбежна, и приходится прибегать к этому способу. Эта мера, конечно, не может быть применена в виде распоряжения, а только как мера во время столкновения и во время боя за деревню, и весьма возможно, что деревня эта сжигается. Но чтобы Розанов или Артемьев давали такие распоряжения, я не думаю, потому что есть распоряжения, которые делал Артемьев и в которых о сжигании ничего нет. В случае бегства заложника сжигание его дома могло происходить, но только в отдельных случаях, а не как общая мера. У вас, вероятно, есть данные о том, что Розанов давал такие приказания?

Попов. Да, показания Сыромятникова.

Колчак. Сколько мне известно из доклада того же Розанова, я знал два или три таких случая, где деревни были сожжены, и я признал это правильным, потому что эти случаи относились к деревне Степно-Баджейской, которая была сожжена повстанцами. Это была укрепленная база повстанцев, следовательно, она могла быть разрушена и уничтожена как всякое укрепление. Второй случай,— Кияйское, и третий случай — Тасеево, где-то на севере, я точно не могу сказать. Но эти случаи, как мне представлялось, носили военный характер, потому что это были укрепленные пункты, которые уничтожались в бою; это была база повстанцев, и если база была взята, то она должна быть уничтожена для того, чтобы ею не могли воспользоваться впоследствии.

Алексеевский. Можно было оставить гарнизон.

Колчак. Деревня Степно-Баджейская была сожжена самими повстанцами. Тасеево был укрепленный пункт, который во время войны может быть уничтожен. Я должен сказать, что такие случаи на большом западном фронте были очень редки. Там тоже были 2—3 случая, когда деревни были сожжены в боях. Я недавно беседовал с одним из членов революционного комитета. Он меня спрашивал, известны ли мне зверства, которые проделывались отдельными частями. Я сказал, что в виде общего правила это мне неизвестно, но в отдельных случаях я допускаю. Далее он мне говорит: «Когда я в одну деревню пришел с повстанцами, я нашел несколько человек, у которых были отрезаны уши и носы вашими войсками». Я ответил: «Я наверное такого случая не знаю,

но допускаю, что такой случай был возможен». Он продолжает: «Я на это реагировал так, что одному из пленных я отрубил ногу, привязал ее к нему веревкой и пустил его к вам в виде «око за око, зуб за зуб». На это я ему только мог сказать: «Следующий раз весьма возможно, что люди, увидав своего человека с отрубленной ногой, сожгут и вырежут деревню. Это обычно на войне и в борьбе так делается».

Заверил:
Заместитель председателя Иркутской Губ. Ч. К.
К. Попов

ПРИМЕЧАНИЯ

Ю. Кларов
ДОПРОС В ИРКУТСКЕ

[1] Нейбут А., партийная кличка в подполье «Петр Большой»,— профессиональный революционер, с 1905 года член Латышской социал-демократической партии, пропагандист, руководитель боевой дружины. В 1910 году эмигрировал в Америку, где продолжал свою революционную деятельность в латышской социал-демократической организации «Циняс-Биедрис» в Нью-Йорке и в латышской федерации при американской социалистической партии в Чикаго. В апреле 17-го года вернулся в Россию, возглавил Владивостокскую большевистскую организацию, был председателем исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов Владивостока. На III съезде Советов Нейбут избран членом ВЦИК, в качестве председателя Сибирского Центрального Комитета РКП(б) и члена Сибирского бюро ЦК РКП(б) руководил в 1918 году подпольными партийными организациями Сибири.

Масленников А.— профессиональный революционер, работал на подпольной работе в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону. В 1917—1918 годах председатель Самарского Совета, член ВЦИК. При колчаковщине член Омского и Сибирского подпольных комитетов большевиков.

Рабинович М.— профессиональный революционер, работал на подпольной работе до революции на Украине и в Белоруссии. В 1917—1918 годах один из руководителей Западно-Сибирского союза горнорабочих. При колчаковщине член Омского и секретарь Сибирского подпольных комитетов большевиков.

Вавилов П.— слесарь Самарского трубочного завода, большевик. До революции был на подпольной работе в Самаре и в Уфе. После революции — председатель Главного комитета Самаро-Златоустовской железной дороги, член Самарского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. В конце 18-го года руководил Омским подпольным военно-революционным штабом.— *19.*

[2] Гинс К.— управляющий делами колчаковского «совета министров». После свержения Колчака эмигрировал за границу.— *27.*

[3] Политцентр — см. Допрос Колчака.— *60.*

[4] Клуб имени Патлых был организован местными меньшевиками в память об убитом в Иркутске в 1917 году правом социал-демократе Н. Патлых.— *64.*

[5] 5 января Колчак подписал указ об отречении: «Ввиду предрешения мною вопроса о передаче верховной всероссийской власти главнокомандующему вооруженными силами юга России генерал-лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской восточной окраине оплота государственности, на началах неразрывного единства со всей Россией:

1) Предоставляю главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины, объединенной Российской верховной властью.

2) Поручаю генерал-лейтенанту атаману Семенову образовать органы государственного управления в пределах распространения его полноты власти.

Верховный правитель — адмирал *Колчак*.
Председатель Совета Министров *В. Пепеляев*.
Директор канцелярии верховного правителя
генерал-майор *Мартьянов*».— *64*.

[6] Буров В. И.— член РКП(б) с 1916 года, один из организаторов подпольного коммунистического движения в Черемхове, руководил отрядом, охранявшим поезд Колчака. В 1920 году командовал Иркутской стрелковой дивизией Народно-Революционной армии ДВР.— *67*.

[7] Войяк — солдат *(чеш.)*.— *69*.

[8] «Серые» — эсеры, «меки» — меньшевики.— *69*.

[9] Ширямов А. А.— в 1918 году член Забайкальского комитета РКП(б). В 1919 году один из организаторов партизанского движения, член Дальневосточного подпольного комитета РКП(б), с конца 1919 года председатель Сибирского подпольного комитета РКП(б) и Иркутского военно-революционного комитета.— *70*.

[10] Каландаришвили Н. А.— один из популярнейших партизанских командиров. В 1918 году командовал красногвардейским отрядом на Нижнеудинском и Прибайкальском фронтах. Затем командир партизанского отряда в Восточной Сибири и Забайкалье. В 1922 году погиб в бою в Якутии, где командовал спецотрядом Народно-революционной армии. В РКП(б) вступил в 1922 году, но партстаж, учитывая заслуги перед революцией, был ему установлен с 1917 года. Во время восстания отряд Каландаришвили первым вошел в Иркутск и стал костяком вооруженных сил Иркутского комитета большевиков.— *70*.

[11] В Протоколе объединенного заседания мирной делегации Политического центра с Реввоенсоветом 5-й армии и Сибревкомом от 19 января 1920 года в пункте 4 предварительного соглашения указано:

«Политический центр принимает все меры: а) для охраны Колчака и его штаба, а также золотого запаса, равным образом принимает меры против продвижения его на восток; б) Политический центр обязывается передать золотой запас и Колчака с его штабом при первой возможности Советской власти; в) момент передачи устанавливается в связи с политической и стратегической обстановкой Реввоенсоветом и Политическим центром» («От колчаковщины к Советам», «Сибирские огни», 1927, № 5).— *71*.

[12] В первый день восстания начальник Иркутского отделения контрразведки штабс-капитан Черепанов арестовал в качестве заложников группу работников Политцентра. Во время переговоров с Политцентром колчаковцы обещали освободить арестованных. Однако это обещание выполнено не было. Арестованных вывезли на пароходе и всех (30 мужчин и одну женщину) убили, сбросив трупы в Байкал. Известно об этом стало только тогда, когда в газете «Чехословацкий дневник» появилось соответствующее сообщение.— *72.*

[13] «Илья» — подпольная кличка А. А. Ширямова, который, находясь на нелегальном положении, выступал под именем Зверева, а затем Ильи Богачева.— *79.*

[14] Верхнеудинск — Улан-Удэ.— *81.*

[15] Болдырев В. Г.— царский генерал, во время первой империалистической войны начальник штаба второй гвардейской пехотной дивизии, затем — генерал для поручений при командующем 4-й армией, генерал-квартирмейстер штаба Северного фронта. Активный член контрреволюционного Союза возрождения. После переворота, приведшего Колчака к власти, Болдырев эмигрировал в Японию. 22 июня 1923 года Болдырев обратился во ВЦИК РСФСР с заявлением, в котором писал: «Внимательный анализ пережитых пяти лет революции привел меня к убеждению:

1) что за весь этот период только Советская власть оказалась способной к организационной работе и государственному строительству среди хаоса и анархии, созданных разорительной европейской, а затем внутренней гражданской войнами, и в то же время оказалась властью твердой и устойчивой, опирающейся на рабоче-крестьянское большинство страны;

2) что всякая борьба против Советской власти является безусловно вредной, ведущей лишь к новым испытаниям, дальнейшему экономическому разорению, возможному вмешательству иностранцев и потере всех революционных достижений трудового населения;

3) что всякое вооруженное посягновение извне на Советскую власть, как единственную власть, представляющую современную Россию и выражающую интересы рабочих и крестьян, является посягновением на права и достояние граждан Республики, почему защиту Советской России считаю своей обязанностью».— *95.*

[16] Пепеляев А. Н.— см. Допрос Колчака (59).— *100.*

[17] Комуч — см. Допрос Колчака (43).— *100.*

[18] Гершуни — эсер, террорист, один из организаторов покушения на харьковского губернатора Оболенского, убийства министра внутренних дел Сипягина и др. Одно время был главой боевой организации эсеров.— *104.*

[19] Здесь и далее использованы протоколы допроса Колчака в Иркутске.— *118.*

[20] Аппетитная девушка *(англ.)*.— *132.*

[21] На допросе от 24 января 1920 года Колчак показал, что в апреле 1917 года он по совету Родзянко посетил Плеханова с

просьбой оказать влияние на матросов Черноморского флота, которые поддаются антивоенной агитации различных пропагандистов. Слова Плеханова цитируются по протоколу допроса Колчака.— *134.*

[22] Цитируемое Стрижак-Васильевым обращение за подписью командующего советскими войсками в Чите Дмитрия Шилова было выпущено в конце августа 1918 года.— *144.*

[23] Зверев Д. Е.— член РКП(б) с 1917 года, из крестьян, в империалистическую войну поручик царской армии, был награжден четырьмя Георгиевскими крестами. В гражданскую войну — командир красногвардейского отряда на Восточном фронте, затем один из организаторов партизанского движения в Иркутской губернии, командующий Восточносибирской армией. После окончания гражданской войны Зверев — командир Красной Армии, затем находился на хозяйственной и административной работе.— *145.*

[24] См. Допрос Колчака (75).— *146.*

[25] В 1917 году, когда матросы разоружали на Черном море офицеров, адмирал Колчак, который командовал тогда Черноморским флотом, со словами: «Море мне ее дало, пусть море ее и возьмет» — бросил за борт свою саблю.— *147.*

[26] Центросибирь — ЦИК Сибири.— *161.*

[27] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 216.— *162.*

[28] Яковлев Н. Н. (1886—1918) — член РКП(б) с 1905 года, в 1918-м был представителем ЦК партии в Сибири и председателем ЦИК Советов Сибири.

Лыткин Ф. М. (1897—1918) — член РКП(б) с 1917 года, в 1918-м член Президиума ЦИК Советов Сибири.

Гаврилов Н. А. (1886—1919) — член РКП(б) с 1903 года, в 1918-м член Президиума ЦИК Советов Сибири, председатель Сибсовнаркома.

Лазо С. Г. (1894—1920) — член РКП(б) с 1918 года. Член Центросибири, командующий Забайкальским (Даурским) фронтом. В дальнейшем член Дальневосточного подпольного комитета РКП(б), командующий партизанскими отрядами Приморья.— *163.*

[29] См. Допрос Колчака (48).— *165.*

[30] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 39. С. 241.— *183.*

[31] Имеется в виду партийная подпольная конференция, которая проходила с 19 по 23 августа 1918 года в Томске. Конференция избрала Сибирский подпольный комитет, наметила единую тактику борьбы и приняла организационный устав.— *184.*

[32] Le monde slove (Славянский мир. Париж). 1925. № 4.— *209.*

[33] По плану восстания ко Второму району относилась левобережная часть Омска от реки Омь до железнодорожной ветки, включая военный городок. Отрядам Второго района предписывалось ов-

ладеть ставкой Колчака, кадетским корпусом, освободить узников концлагерей, захватить здание «совета министров» и радиостанцию.— *211.*

[34] и [35] См. Допрос Колчака (75).— *212.*

[36] По официальному сообщению начальника гарнизона, опубликованному в омской газете «Слово», в Куломзине при подавлении восстания было убито 144 человека, а по приговору суда расстреляно 117. Но эти цифры явно занижены: на другой день после расстрелов милиция подобрала в Куломзине 271 труп, а расправы совершались и в прилегающих к поселку районах.— *214.*

[37] Сыромятников был в конце 1918 года генерал-квартирмейстером ставки. Арестован вместе с Колчаком.— *215.*

[38] Очередная ложь. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ф. 253, оп. 1, д. 76) хранится распоряжение Колчака Розанову, в котором указывается: «...покончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживающего их».— *216.*

[39] Особый уполномоченный Колчака по Енисейской губернии генерал Розанов издал 27 марта 1919 года приказ, которым предписывал начальникам карательных отрядов «селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать, взрослое мужское население расстреливать поголовно».— *216.*

[40] *Ширямов А.* Борьба с колчаковщиной // Последние дни колчаковщины. М.— Л., 1926; *Бурсак И.* Конец белого адмирала. // Разгром Колчака. М., 1969; // *Чудновский С.* Воспоминания. // Годы огневые, годы боевые. Иркутск, 1961.— *225.*

ДОПРОС КОЛЧАКА

«Политическим Центром» называлось объединение или блок нескольких политических организаций Сибири, территориально охватывающий губернии: Томскую, Енисейскую и Иркутскую и области: Якутскую, Забайкальскую, Амурскую и Приморскую. Основными организациями, образовавшими «Политический Центр», были следующие: 1) земское политическое бюро, 2) центральный комитет объединения трудового крестьянства, 3) краевой комитет партии с.-р., 4) бюро сибирских организаций Р. С.-Д. Р. П. Основными политическими лозунгами этого блока были: 1) мир с Советской Россией, 2) борьба с интервенцией, 3) отказ от политических группировок с цензовыми элементами. Задачей политцентра по ликвидации колчаковщины было образование демократической государственности — буфера, на который эс-эры и меньшевики возлагали тайные надежды: они рассчитывали использовать буфер для опоры в дальнейшей борьбе с Советской властью. «Политический Центр» просуществовал после свержения колчаковского правительства около двух недель, передав затем власть большевистскому Ревкому.

Земское политическое бюро — представляло собою политическое объединение демократических земств Сибири. Начало

организации земского политического бюро относится к октябрю 1919 года. Наиболее видным представителем этой организации был известный эс-эр Колосов, автор книги «Сибирь при Колчаке» (Петр., 1923).

[1] Пепеляев В. Н.— бывший член 4-й Государственной Думы. Кадет. Во время империалистической войны работал на фронте в питательном отряде. С первых дней Февральской революции был комиссаром Временного правительства в Кронштадте, но в июльские дни вынужден был уйти и снова отправился на фронт. После Октября принял участие в тайных противо-советских организациях; был членом московского «Национального центра», которым и был направлен в Сибирь, и здесь принял активное участие в подготовке и осуществлении колчаковского переворота. Благодаря этому он скоро выдвинулся, занимая в колчаковском правительстве последовательно посты: сначала директора департамента милиции, потом товарища министра внутренних дел, затем министра внутренних дел, и наконец, уже в период агонии колчаковской власти, премьер-министра. В качестве последнего Пепеляев мечтал примирить колчаковское правительство с мелко-буржуазной «общественностью», в лице руководителей земств и городских дум Сибири. С этой целью он готов был пожертвовать даже Колчаком, заменивши его своим братом, генералом Пепеляевым, на войска которого он рассчитывал опереться в случае упорства Колчака в вопросе об уступках «общественности». Попытки Пепеляева создать правительство «общественного доверия» не имели успеха, и Пепеляев, уехавши из Иркутска к Колчаку, уже покинувшему Омск и продвигавшемуся отдельным литерным поездом в Иркутск, оказался не только без поддержки «общественности», но и без правительства. Вместе с Колчаком он был арестован и заключен в тюрьму. По постановлению Иркутского воен. Ревкома Пепеляев был расстрелян одновременно с Колчаком. Умирал Пепеляев как жалкий трус, моля о пощаде.— *236*.

[2] Толль Э. В.— известный путешественник, руководитель русской полярной экспедиции, организованной в 1900—1902 гг. Рос. Акад. Наук для обследования Ледовитого океана в районе Новосибирских островов и острова Беннетта. Экспедиция вышла из Петербурга на судне «Заря» 8-го июня 1900 г. (Колчак ошибочно указывает июль), прошла Ледовитым океаном через Карское море и зазимовала в западной части Таймырского пролива, занимаясь изучением Таймырского полуострова. Следующая зимовка уже была на о. Котельном, после чего весной была обследована группа Новосибирских островов. Весной 1902 г. Толль с астрономом Зеебергом пробрались на нартах к острову Беннетта, оттуда они уже не вернулись. Организованная Колчаком экспедиция по разысканию барона Толля только констатировала его гибель.— *246*.

[3] Волосович — геолог, впоследствии принимавший видное участие в изучении Якутского края и Северного океана. Руководил в 1908 г. экспедицией, снаряженной Академией Наук, для раскопок мамонта и исследования побережья Ледовитого океана между Леной и Индигиркой в геологическом отношении. В 1910—1912 гг. принял участие в гидрографической экспедиции министерства торговли и промышленности.— *247*.

[4] Оленин П. В.— политический ссыльный в Якутске. Занимался изучением Якутского края, участвуя во многих экспедициях и

командировках от Академии Наук. Одно время был консерватором музея Якутского отдела географического общества.— *248.*

[5] Брусилов Лев Алексеевич. В 1906 г.— капитан I ранга. В 1907 г. был произведен в адмиралы.— *255.*

[6] Палицын Федор Федорович, генерал от инфантерии. Начальник штаба с 1905 по 1909 год; после него был назначен генералом от инфантерии А. З. Мышмаевский.— *255.*

[7] Адмирал Непенин. Во время Февральской революции был командующим Балтийским флотом. 4 марта был убит восставшими матросами.— *256.*

[8] Маттисен — морской офицер, участник экспедиции в полярн. страны, изучавший условия плавания в низовьях и устье реки Лены и океанского побережья. Умер в 1922 г.— *259.*

[9] Генерал Верховский, при Керенском был назначен сначала командующим московским военным округом, а позднее военным министром.— *273.*

[10] Речь идет об эскадрах, направленных во время японской войны из Балтийского моря вокруг Африки к театру военных действий в Тихий океан и погибших под Цусимой.— *279.*

[11] Генерал Алексеев — начальник штаба верховного главнокомандующего, 2-го апреля назначен верховным главнокомандующим. Отстранен 22 мая. При Керенском назначен снова начальником штаба верховного главнокомандующего. 10 сентября подал в отставку, солидаризировавшись с Корниловым. Позднее действовал в качестве командующего добровольческими армиями юга против большевиков.— *287.*

[12] Под именем приказа № 1 было напечатано в «Известиях Петроградского Совета», № 3, за подписью Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов постановление собрания солдатских представителей о правовом положении солдат в армии. Согласно этому постановлению отменялись все установленные при царе внешние знаки подчиненности и обезличения солдат, как, например, вставание во фрунт и отдание чести вне службы, титулование офицеров благородием и превосходительством, запрещалось обращение к солдатам на «ты» и т. д. Выполнение этих требований было поставлено под контроль солдатских комитетов. Наиболее важными требованиями этого приказа надо признать запрещение выдавать офицерам винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, которые должны были находиться в распоряжении ротных и батальонных комитетов. Далее, устанавливалось, наряду с обязательством строжайшей дисциплины при выполнении служебных военных обязанностей, полное гражданское равноправие солдат в частной и общественно-политической жизни. Приказ этот имел огромное значение в качестве революционизирующего армию фактора.— *291.*

[13] Колчак имеет в виду, очевидно, приказ № 2 от 5 марта 1917 г., опубликованный за подписями Исп. Ком. Петроградского Совета Р. и С. Д. и воен. министра Гучкова в разъяснение и дополнение приказа № 1.— *291.*

[14] Князь Г. Е. Львов — крупный земский деятель дореволюционного времени, после Февральской революции был председателем совета министров и министром внутренних дел первого правительственного кабинета; в коалиционном кабинете 5 мая 1917 г. был премьер-министром.— *295.*

[15] Здесь имеется в виду вооруженная демонстрация против Временного правительства по поводу милюковской ноты о внешней политике России. Дата названа ошибочная, в действительности демонстрация была не 21—22 апреля, а 20-го. Руководя внешней политикой в качестве министра иностранных дел, Милюков опасался, как бы иностранные державы, особенно союзники, не учли изданного Советом Рабочих Депутатов манифеста «к народам всего мира» и обращения Временного правительства от 27 марта о международном мире и единстве,— за отказ от международных обязательств или ослабление военной мощи России. С целью заверить союзников, что Россия по-прежнему считает обязательными для себя заключенные царским правительством договоры и обещания, что Россия не ослаблена революцией и «всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось, благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого»,— Милюков поручил 18 апреля (в международный рабочий праздник 1-го мая) всем российским представителям при союзных правительствах передать об этом последним. Нота вызвала бурю возмущения в рабочих и солдатских кругах, и Советы Депутатов потребовали призвать Милюкова и правительство к порядку. На 9 часов вечера 20 апреля было назначено в Мариинском дворце совместное заседание Временного правительства и Исполнительного Комитета Советов с участием временного комитета Государственной думы, еще не сошедшего тогда со сцены. А до назначенного времени правительство собралось у Гучкова, как передает Колчак, и обсуждало создавшееся положение. На улицах в это время с 3-х часов дня двигались к Мариинскому дворцу воинские части. Демонстранты требовали отставки Милюкова и заключения мира без аннексий и контрибуций.— *300.*

[16] Генерал Корнилов. В дни Февральской революции был назначен командующим петроградским военным округом. Все время находясь в Петрограде, входя в тактические сношения с органами правительства и Советами, вел политику использования солдатских настроений для продолжения войны. В июле месяце вслед за выступлением 2—5 июля он назначается Керенским главнокомандующим юго-западным фронтом. С этого момента начинает выдвигаться в командной среде, как ярый защитник старого строя, проявлять себя активным контр-революционером. Условием своего вступления в эту должность он поставил введение смертной казни на фронте и по вступлении тотчас же издал приказ «не колеблясь» применять «огонь пулеметов и артиллерии» по бегущим солдатам. Повел решительную борьбу со всеми общественными организациями в армии. Скоро, 18 июля, Корнилов уже назначается, по постановлению Временного правительства, верховным главнокомандующим вместо генерала Брусилова. С этого момента у военщины и эс-эровских руководителей власти — Керенского, Савинкова и Филоненко (комиссар при Корнилове) возникает план контр-революционного переворота. В заговор входят тайные офицерские организации. Корнилов рассчитывал на захват им лично власти и установление военной диктатуры: с этой целью вступает в сношение с другими надежными по части борьбы

с революцией генералами. Несогласованность в методах была лишь с Керенским. 27 августа Корнилов, сдавши 21 августа немцам Ригу, решил выступить на Петроград. Керенский объявил смещение Корнилова с должности, но последний не подчинился. На защиту революции поднялись Советы Рабочих Депутатов и революционные организации, действовавшие под руководством большевиков. В результате корниловское наступление было ликвидировано и сам Корнилов с сообщниками арестован. Перед взятием большевиками в октябре ставки, где содержались арестованные генералы Корнилов, Деникин и другие, они были освобождены Духониным.— *301.*

[17] Пятого мая образовался коалиционный кабинет без участия Гучкова и Милюкова, в новый кабинет вошли Чернов и Церетели.— *305.*

[18] Масса черноморских матросов и севастопольских рабочих, далекая от центра событий и находившаяся под непосредственным влиянием своих старых командиров и политических руководителей— меньшевиков и эс-эров, значительно позже, чем питерцы и кронштадтцы, усвоили тактику революции и ее задачи. Они все еще находились в угаре шовинистических планов довести войну «до победного конца». Поэтому Колчаку и его пособникам из меньшевистских комитетов удалось уговорить около 300 человек отправиться на фронт и в Питер с целью противодействовать агитации против войны.— *308.*

[19] Очевидно, речь идет о ген.-майоре Петрове. Испол. Ком. Севастопольского Совета депутатов армии, флота и рабочих арестовал его по обвинению в содействии поставщику порта Дикенштейну, спекулировавшему на кожах.— *310.*

[20] А. С. Зарудный, товарищ министра юстиции Керенского, известный адвокат.— *321.*

[21] Фундаминский-Бунаков — соц.-рев., в конце августа 1917 г. назначен был генеральным комиссаром Черноморского флота.— *321.*

[22] Колчак отмечает здесь распространявшуюся в первые месяцы после февральского переворота легенду о том, что русские рабочие и их вожди-большевики являются не больше не меньше как агентами Германии. Легенда эта порождена была приверженцами царского строя и растерявшейся перед революцией обывательщины и намеренно распространялась представителями буржуазии,— такими, как Зарудный, на которого указывает Колчак, и другими, видевшими в развитии и углублении рабочей революции лишь происки германских шпионов.— *321.*

[23] События 3—5 июля.— *328.*

[24] У Колчака сохранилось поверхностное впечатление случайного наблюдателя, к тому же крайне несочувственно относящегося к событиям, и обывательские россказни о «пьяных» матросах, разгромах и т. п.— *329.*

[25] Поднесение адреса и оружия Колчаку от военной лиги,— а не просто от группы офицеров, как это описывает Колчак,— происходило 16 июня. Колчак в этот период пребывания своего в Петрограде находился в постоянной связи с многочисленными существовавшими тогда подпольными контр-революционными организациями. Между прочим, с ним уже в то время начинают вести переговоры о выставлении его кандидатуры в диктаторы.— *330.*

[26] Генерал Гурко — главнокомандующий армиями западного фронта. Отчислен от должности приказом Керенского от 25 марта 1917 г. за нежелание проводить в действие приказ № 8 по армии и флоту (декларация прав военнослужащих).— *333.*

[27] Арест Гурко произошел 22 июля 1917 г. по обвинению его в монархической пропаганде на фронте и в переписке с бывшим царем Николаем, в которой он заявлял последнему о своей приверженности царскому строю.— *333.*

[28] Набоков К. Д.— дипломат. Убит.— *334.*

[29] Генерал Хорват Дм. Леонид.— управляющий Китайско-Восточной железной дорогой с 1903 г. В 1918 г. объявил себя «временным верховным правителем», позднее подчинился Колчаку.— *349.*

[30] Путилов — крупный финансист, акционер некоторых промышленных металлургич. предприятий.— *349.*

[31] Гойер — один из руководителей деятельностью Русско-Азиатского банка, в последние дни колчаковщины принял должность министра финансов.— *349.*

[32] Устругов, инженер. Был включен в состав Временного Сибирского правительства (группа Дербера) — на пост министра пут. сообщения. Позднее примкнул к Хорвату. Незадолго до колчаковского переворота приезжал в Омск, в целях подготовки переворота в пользу диктатуры Хорвата. В кабинете Колчака занимал пост министра пут. сообщения. Вел переговоры с союзниками по вопросу об управлении и контролю над дорогами Сибири.— *352.*

[33] Это «опереточное», как его называет Колчак, правительство обычно называли «дерберовским кабинетом». Возникло оно в январе 1918 г., когда по всей Сибири уже стала устанавливаться Советская власть. Когда с октября 1917 года повсюду начались восстания, низвергавшие власть Временного правительства и устанавливавшие власть Советов, так называемая демократия — эс-эры, меньшевики, эн-эсы, кадеты и пр.— никак не могли смириться с фактом своего полного поражения и с победой Рабоче-Крестьянской власти и изыскивали способы ликвидации Октябрьского переворота. Одним из таких способов им представлялся «автономизм»,— как они его понимали. В понятие это вкладывалась борьба окраин против Советской власти, так как центр победил, и рассчитывать на контр-революцию в центре в ближайшее время было трудно. Для этого окраины должны были объявлять независимость, автономию и путем организации власти на демократических началах устранять большевиков. В Сибири была использована для этой цели идея Областной Сибир-

ской Думы, созыв которой приурочен был к началу января, то есть к началу предполагавшихся работ Учредительного Собрания. Но к 7 января 1918 г., назначенному для открытия Думы, кворума не собралось, открытие пришлось отложить до конца месяца. Члены Думы, по преимуществу эс-эры и областники-автономисты, съезжались медленно, но работы Думы должны были скоро начаться. 26 января большевики произвели аресты некоторых видных членов Думы — Патушинского, Шатилова, Якушева. Должны были арестовать Дербера, но он скрылся. Тогда на тайном заседании было избрано Временное Сибирское правительство автономной Сибири в составе 20-ти министров, из которых 16 были с портфелями и 4 без портфелей. Из наиболее видных участников этого совета министров были, кроме Дербера, министр ин. д.— Вологодский, военный — Краковецкий, финансов — Ив. Михайлов, юстиции — Патушинский, путей сообщения — Устругов. Но это правительство не осталось в Томске, а потянулось на Восток, откуда предполагалось начать движение против Советов.— *355*.

[34] Краковецкий А. А.— молодым офицером, в чине поручика ушел по делу офицерского союза на каторгу, по окончании которой находился в ссылке на поселении в Иркутской губернии. После Февральской революции занял видное положение при командующем войсками иркутского военного округа как партийный эс-эр и обращавший на себя внимание крупными теоретическими познаниями в военном деле. Позднее был избран в состав так называемого Сибирского правительства (группа Дербера) на должность военного министра. После ликвидации дерберовского правительства принимал участие в руководстве партизанскими отрядами на Дальнем Востоке.— *355*.

[35] Вологодский П. В.— премьер-министр колчаковского правительства, по происхождению — сын томского священника. Окончил Петербургский университет; служил в Средней Азии по судебному ведомству, а с 1897 года перешел в адвокатуру. Был выборщиком во 2-ю Государственную Думу. До контр-революционного движения в Сибири ничем себя не заявил.— *364*.

[36] Генерал Флуг и полковник Глухарев появились на Дальнем Востоке в качестве представителей и уполномоченных генерала Корнилова, который рассчитывал через них установить связь с контр-революционными правительствами Дальнего Востока.— *364*.

[37] Таскин — известный общественный деятель Забайкалья, бывший член 2-й Государственной Думы, областной комиссар Временного правительства в Чите и начальник Забайкальской области при Семенове.— *365*.

[38] «Ходя» — китайское слово, равнозначащее нашему «земляк». На Дальнем Востоке оно широко вошло в обиход, как пренебрежительная кличка. «Капитана» — искаженное русское слово, означает чиновника, власть, господина, по преимуществу представителя чужой нации.— *375*.

[39] Нокс — английский генерал, представитель английской военной миссии в Сибири.— *381*.

[40] Медведев и Огарев — деятели владивостокского земства, правые.— *383*.

[41] После удаления генерала Алексеева,— Духонин был назначен Керенским начальником штаба верховного главнокомандующего. Перед октябрьскими событиями освободил Корнилова и его сообщников. 1-го ноября 1917 г., когда во время октябрьских событий Керенский бежал, Духонин объявил себя верховным главнокомандующим. Сов. Нар. Ком. предложил ему вступить с неприятельскими армиями в переговоры о немедленном прекращении военных действий на фронте. Духонин отказался это сделать, за что был удален от должности, и вместо него назначен т. Крыленко. Духонин предпринял шаги к образованию у себя в ставке контр-революционной власти. Был убит матросами и солдатами.— *384.*

[42] Очевидно, Алексеевский имеет в виду здесь не Западно-сибирский комиссариат, образовавшийся в качестве филиала Сибирского правительства после эс-эро-чехо-словацкого переворота, а так называемый совет министров Сибирского правительства во главе с Вологодским или, просто, «Сибирское Правительство». Это правительство, образованное в июле 1918 г., восприняло «полноту власти» на территории «освобожденной от большевиков Сибири» и противопоставило себя группе Дербера, которая находилась во Владивостоке. В июле 1918 г. Сибирское правительство объявило независимость Сибири.— *385.*

[43] Как только по Волге образовался антисоветский фронт, в Самару стали съезжаться эс-эровские члены Учредительного Собрания, и здесь был образован на совещании в августе месяце 1918 г. комитет членов Учредительного Собрания, или «Комуч». Этот Комуч стремился присвоить себе значение всероссийской власти и ставил себе задачей завершение борьбы против Советской власти и восстановление деятельности разогнанного Учредительного Собрания. Комуч стремился поэтому подчинить уже сложившиеся к тому времени областные правительства юга, Урала, Сибири. Самой крупной организацией было Сибирское правительство, и Комуч вступил с ним в переговоры по вопросу об образовании единой всероссийской власти. «Сибиряки» согласны были образовать всероссийскую власть, но нехотя шли на сговор с Комучем. 15 июня 1918 г. состоялось в Челябинске первое совещание по вопросу об образовании единой власти. На этом совещании присутствовали: от Комуча — Брушвит, Веденяпин и Галкин и от Сибирского правительства — П. Михайлов, Головачев и Гришин-Алмазов. Соглашение достигнуто не было. Возникли острые конфликты между Омском и Самарой. Сибирское правительство в борьбе с якушевской затеей — Областной Думой, этим хилым и немощным выродком «демократии», приобретает все большее значение, особенно в виду поддержки Областного правительства Урала. По предложению пробравшихся в Сибирь эс-эров — Авксентьева, Аргунова, Брешковской, 23 августа вновь состоялось в Челябинске совещание, на котором решено было созвать окончательное совещание в Уфе. Это последнее состоялось 8 сентября. На этом совещании остро стал вопрос о форме власти, и решено было организовать Директорию, которая была выбрана 23 сентября 1918 г. в составе: Авксентьева (заместитель Аргунов), ген. Болдырева (заместитель Сапожников), Астрова (заместитель Виноградов) и Чайковского (заместитель Зензинов). В наличности оказались и фактически вошли в состав Директории Авксентьев, Болдырев, Вологодский, Виноградов и Зензинов.— *385.*

[44] Полковник Гришин, действовавший под псевдонимом Алмазова, перейдя после разгрома большевиками военных сил Временного правительства на нелегальное положение, занялся вместе с другими эс-эрами объединением разбитых офицерских сил, организуя офицерские банды для борьбы с Советской властью. После эс-эро-чехо-словацкого переворота Гришин был выдвинут эс-эрами в качестве главнокомандующего «Сибирской армией».— *385.*

[45] Поездка Вологодского и Гинса в сентябре 1918 г. на Дальний Восток имела целью наладить взаимоотношения Сибирского правительства с Семеновым, Хорватом и группой Дербера.— *387.*

[46] Гайда — чехо-словацкий офицер, выдвинувшийся как активный белогвардеец во время эс-эро-чехо-словацкого переворота и потом занимавший крупные посты в армии Сибирского и Колчаковского правительства.— *387.*

[47] Лучшими комментариями к этим словам Колчака может служить следующая выписка из книги его сподвижника Гинса («Сибирь, союзники и Колчак», т. 1, стр. 215): «Секрет возвращения чехов на запад заключался в решении, принятом в Париже. Война с Германией еще не была окончена. Предоставить тоннаж для перевозки 40 тысяч чехов во Францию представлялось затруднительным. Казалось более целесообразным вернуть всех чехов к Волге и создать для Германии угрозу восстановления восточного фронта. Президент Масарик, тогда еще председатель чехо-словацкого национального комитета в Париже, прислал приветствие чехо-словацкому войску и благословлял его на дальнейшую борьбу. Вывести все войско не представлялось возможным; значительная часть его, согласно ранее уже полученным инструкциям, находилась в районе Волги и Урала, рассчитывая пробиться к Архангельску. Поэтому политический расчет диктовал возвращение всех чехов к Волге для использования их военной силы против германских прислужников — большевиков — и восстановления преданной союзникам России».— *390.*

[48] Генерал Дитерихс М. К.— играл видную роль в руководстве военной политикой чехов в Сибири. Участник мировой войны, начальник штаба 3-й армии, после корниловщины был назначен Временным правительством генерал-квартирмейстером при верховном главнокомандующем. После взятия ставки бежал в Киев. С уходом чехо-словацких эшелонов на восток был назначен их главнокомандующим. В последние дни колчаковщины был главнокомандующим всеми военными силами Сибири. Впоследствии играл видную роль на Дальнем Востоке, во время японской оккупации этого края.— *390.*

[49] Болдырев В. Г.— генерал, участник русско-японской и мировой войн. После Октябрьской революции вместе с генералом Алексеевым и другими организовал «Союз возрождения России», участвовал в уфимском государственном совещании и был избран в члены Директории.— *393.*

[50] Розанов — генерал, прославившийся своим зверством в борьбе с повстанческим движением среди крестьян в Енисейской губернии и на Дальнем Востоке. В 1918 г. Розанов служил в Советской армии, но во время переворота в Поволжье перешел на сторо-

ну контр-революционного самарского правительства. Позднее он был начальником штаба главнокомандующего всеми вооруженными силами учредиловцев. Спустя несколько месяцев после колчаковского переворота Розанов был назначен в Красноярск в качестве особого уполномоченного Колчака. К этому времени в Енисейской губернии получило широкое развитие повстанческое движение среди крестьян. Розанов обрушился на борьбу с крестьянами-повстанцами всеми мерами безудержности озверелого человека. В свое время повсюду прогремел его знаменитый приказ от 27 марта 1919 г., по которому начальникам военных отрядов предлагалось к неуклонному исполнению «при занятии селений, захваченных ранее разбойниками (в устах Розанова это означало — повстанцами и большевиками.— *М. К.*), требовать выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются,— расстреливать десятого». «Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием,— сжигать, взрослое мужское население расстреливать поголовно». Он же ввел систему заложничества и массовых расстрелов заложников.— *395.*

[51] Лебедев. Находился в штабе Корнилова во время его похода на Петроград. В Сибири появился в качестве представителя Добровольческой армии ген. Деникина, присланного для информационной связи. Один из активных участников колчаковского переворота. Был произведен Колчаком в генералы и назначен начальником штаба верховного главнокомандующего. Позднее был назначен военным министром с оставлением в должности начальника штаба.— *395.*

[52] Волков — казачий офицер, бывший комендантом города Омска при Сибирском правительстве, еще до Колчака систематически производивший расстрелы арестованных. Один из организаторов убийства эс-эра Новоселова, которого Областная Дума намеревалась ввести в состав правительства в отсутствие Вологодского и Серебренникова. В колчаковском «перевороте» 18 ноября Волков сыграл весьма видную роль.— *397.*

[53] Иванов-Ринов — царский полковник и колчаковский генерал, активный член тайных военных организаций, подготовлявших в Сибири переворот весной 1918 г. Ввел в сибирской армии погоны, прежние знаки отличия, чинопочитание и пр.— *398.*

[54] Михайлов И. А.— сын известного члена партии «Земля и Воля», Адриана Михайлова, родился и получил среднее образование в Сибири, в Чите, затем в Петербургском университете. Карьерист, интриган и проныра, он после Февральской революции 1917 года примазывается к министрам Временного правительства в качестве их ближайшего сотрудника; после эс-эро-чехо-словацкого переворота был выдвинут на пост министра финансов в состав Временного Сибирского правительства. Получил прозвище «Ванька-Каин». Был активнейшим участником, организатором и «душой» заговоров, политических убийств и «переворотов». Бежал в Харбин, где пристроился в правление Вост.-Кит. ж. д.— *400.*

[55] Роговский Евг. Франц.— член Комуча, ведал вопросами внутреннего управления.— *400.*

[56] Речь идет о прокламации ЦК партии с.-р. о необходимости борьбы за подчинение армии эс-эровскому влиянию.— *400.*

[57] Шумиловский Л. И.— министр труда в составе Колчаковского правительства до последних его дней. Учитель. Был на фронте во время мировой войны. Находился в меньшевистской организации; с падением Колчака был арестован, судился вместе с другими министрами и был расстрелян.— *405.*

[58] Сибирская контр-революция первоначально прикрывалась, между прочим, демократическим лозунгом сибирской автономии и приняла бело-зеленое знамя, знаменовавшее сочетание снегов и лесов Сибири. Красное знамя революции преследовалось как знамя большевиков.— *405.*

[59] Генерал Пепеляев Анат. Ник.— брат колчаковского министра внутр. дел и последнего премьера В. Н. Пепеляева, расстрелянного вместе с Колчаком. Руководил взятием Перми в 1918 г. Одно время, когда Колчак терял значение и терпел поражение за поражением, Пепеляева называли как колчаковского преемника. Этого особенно домогался его брат, ставший премьером. Генерал Пепеляев прошел со своими отрядами за Байкал и даже на Амур. Оттуда пробрался в Якутскую область, где и был взят красными войсками. Судился в Чите, был приговорен к расстрелу, но, ввиду полного раскаяния Пепеляева в своих преступлениях перед Советской властью, приговор в исполнение приведен не был.— *407.*

[60] Кн. Голицын — генерал, командовавший одной из колчаковских армий, оперировавшей в пермском направлении.— *407.*

[61] Полк. Уорд — начальник английских отрядов, действовавших в Сибири. Бывший рабочий, член тред-юниона, как он себя именовал. Помимо военного командования своим отрядом, Уорд энергично занимался политикой. Он разъезжал по железной дороге и в каждом пункте, где имелись рабочие, выступал с речами об английской «демократии», уговаривая рабочих создать английские формы государственного устройства и взять английские методы защиты рабочих интересов. Уорд был несомненным инспиратором колчаковского переворота как проводник английской политики в Сибири. Написал свои воспоминания об интервенции в Сибири: «Союзническая интервенция в Сибири». (В переводе на русск. яз. книжка издана Госиздатом с пред. И. Майского.) — *408.*

[62] Красильников — казачий есаул царской армии, колчаковский генерал — один из виднейших в сибирской контр-революции бандитов, имевший свой отдельный отряд (позднее бригада), отличившийся особым зверством во время карательных экспедиций и большими безобразиями, творившимися его контр-разведкой. Красильников сам публично расстреливал рабочих (т. Россохина и других) во время ж.-д. забастовки 6 октября 1918 г. (в Омске). Был правой рукой «Ваньки-Каина» (Михайлова) в политических убийствах и «переворотах». Умер в Иркутске в больнице от сыпного тифа как раз в дни восстания, кончившегося арестом колчаковского правительства, в начале января 1920 г.— *409.*

[63] Колчак старается скрыть закулисную сторону событий 18 ноября и потому усиленно доказывает, что он был якобы даже против избрания его верховным правителем, так как он человек новый и не имеет опоры в армии. Между прочим, вся процедура его избрания, как он ее описывает, и как она, по-видимому, формально в действительности протекала, была инсценирована для сокрытия от непосвященных участников совещания настоящего смысла и причин совершающихся событий.

Г. Гинс — управляющий делами Сибирского правительства, несколько иначе описывает это заседание совета министров с участием оставшегося на свободе замест. члена Директории — Виноградова. «Некоторое время в заседании царило тягостное молчание. Первым взял слово министр продовольствия Зефиров.— «Я думаю о политике,— сказал он,— прежде всего с точки зрения рубля, которым оперирую, как покупатель. В интересах этого рубля я желал бы, чтоб сейчас же было выяснено, кому же принадлежит теперь власть».— После этого прения пошли по пути искания форм власти. Факт свержения Директории был признан... Власть могла перейти к трем оставшимся членам Директории,— но это был бы суррогат Директории, идея которой, как коалиции, умирала вместе с выходом левой половины. Принятие власти всем составом совета министров было бы повторением неудачного опыта Временного российского правительства князя Львова и Керенского.—

— Значит, диктатура? — окончательно формулировал в форме вопроса Виноградов.

Гинс далее замечает, что из состава совета против диктатуры возражал только Шумиловский. Все министры, ставленники Директории, оказались сторонниками единовластия. При определении кандидатов в диктаторы Колчак не отказался баллотироваться.— *415.*

[64] Совет верховного правителя образован был из председателя совета министров — Вологодского, министра внутренних дел — Гаттенбергера, министра финансов — Ивана Михайлова, министра иностранных дел — Ключникова и управляющего делами — Тельберга. Это своего рода «Звездная палата», основной задачей которой являлось определение общего направления правительственной политики.— *417.*

[65] «Суд над виновниками переворота, которые сами заявили о себе адмиралу и министру юстиции, проведен был с молниеносной быстротой»,— сообщает Гинс («Сибирь, союзники и Колчак», т. II, стр. 15). Приговор суда был вынесен уже 21 ноября,— т. е. через двое суток после переворота. Как и следовало ожидать, «виновники» переворота — полк. Волков, войсковые старшины Красильников и Каталаев — были оправданы.— *418.*

[66] Старынкевич С. С.— эс-эр, бывший ссыльный. В 1917 г., при Временном правительстве, был прокурором иркутской судебной палаты. При Советской власти, в начале 1918 г., судился за освобождение эс-эров из тюрьмы. Сделавшись министром юстиции колчаковского правительства, объявил своим методом борьбы с забастовками расстрелы.— *420.*

[67] Речь идет о кн. Г. Е. Львове, бывшем премьере в первые месяцы после Февральской революции.— *421.*

[68] Это так называемая русская заграничная делегация, контрреволюционный дипломатический штаб, объединявший заграничное представительство по делам российской контр-революции. В составе этой делегации находились: председатель — князь Львов, члены — Сазонов, Маклаков, Чайковский и Савинков.— *422.*

[69] Сам Савинков в своих показаниях перед военной коллегией Верховного суда республики 27 августа 1924 г. более откровенно говорит о целях и результатах посещения им Омска. Колчак абсолютно умалчивает о том, что Савинков получил от правительства Директории и затем от самого Колчака поручение на ведение дел за границей по заключению займов и признанию власти (см. Полный отчет по стенограмме суда. Изд. Литиздата НКИД. М., 1924, стр. 79 и следующие).— *422.*

[70] Колчак только что говорил, что он посетил Челябинск и отдал визит чешскому национальному совету, находившемуся там. О том, что Колчак посетил Челябинск в ту поездку, свидетельствует и Уорд (см. «Союзная интервенция в Сибири», стр. 75).— *423.*

[71] Колчак имеет в виду телеграмму из Уфы от так называемого совета управляющих ведомствами, за подписями: Филипповского, Климушкина, Нестерова и Веденяпина. Телеграмма-протест против переворота была послана по нескольким адресам в Екатеринбург, Оренбург, Уральск, Омск, Семипалатинск и пр. В телеграмме предлагалось Колчаку освободить арестованных членов Директории, а в случае неисполнения этого подписавшиеся угрожали объявить Колчака врагом народа, довести об этом до сведения союзных правительств и предложить всем областным правительствам активно выступить против реакционной диктатуры в защиту Учредительного Собрания, выслать необходимые силы для подавления «преступного мятежа» («Архив Октябрьской революции», фонд Вологодского, папка № 3, стр. 44).— *425.*

[72] Чрезвычайное государственное экономическое совещание было учреждено по указу Колчака 22 ноября 1918 г. Предметом этого совещания было «выяснение: а) финансовых мероприятий, которые дали бы возможность в кратчайший срок устранить тяжелое финансовое положение, переживаемое страной, б) мероприятий, необходимых в деле правильного снабжения армии, в) мероприятий, необходимых для восстановления производительных сил и товарообмена в стране». Состав экономического совещания был таков: председатель, назначаемый Колчаком, министры: военный, финансов, снабжения, продовольствия, торговли и промышленности, путей сообщения и государственный контролер, три представителя правлений частных и кооперативных банков, пять представителей всероссийского совета съездов торговли и промышленности, три представителя совета кооперативных съездов.— *427.*

[73] Подписи Девятова на телеграмме тоже не было.— *432.*

[74] Фомин Нил Валерьянович — член Учредительного Собрания, председатель правления сибирского кооперативного союза Закубсбыт, эс-эр, литератор. Активно участвовал в подготовке эс-эро-чехо-словацкого переворота и принимал деятельное участие в контр-революционных правительствах до Колчака. По приказу Колчака был вместе с другими членами Учредительного Собрания арестован в Челябинске в 20-х числах ноября и препровожден в Омскую

тюрьму. После Омского восстания в декабре 1918 г. был расстрелян в числе других членов Учред. Собрания. См. «Омские события при Колчаке». Красный Архив, т. VII и VIII.— *433.*

[75] Восстание в Омске 21—23 декабря 1918 г. явилось одним из первых рабочих и крестьянских восстаний в Сибири, отметивших эпоху колчаковщины. Оно должно было начаться в рабочих районах Омска, затем переброситься в некоторые части гарнизона и в лагери, где содержалось очень много военнопленных гражданской войны красноармейцев. Одновременно с этим должны были выступить рабочие станции Куломзино (Ново-Омск), по другую сторону Иртыша. О подготовке этого восстания была осведомлена контр-разведка, которая приняла заблаговременные меры к его ослаблению и ликвидации. 21 декабря начались массовые обыски и аресты. Была арестована группа в 42 человека рабочих-большевиков. Выступление было отменено, но об этом не удалось своевременно всех оповестить. Восстание вспыхнуло частично и разрозненно. Выступили куломзинские рабочие, которые оказались отрезанными от Омска, а раньше их небольшая военная часть, успевшая захватить губернскую тюрьму, где содержались политические заключенные, в том числе и члены Учредительного Собрания, арестованные Колчаком. Тюрьма была открыта, и политические заключенные, кроме находившихся в больнице, были освобождены и разбежались. Начальником омского гарнизона генералом Бржозовским был издан приказ, обязывавший ушедших из тюрьмы в течение суток вернуться. Неподчинившиеся приказу добровольно подлежали преданию военно-полевому суду и наказанию смертной казнью. Почти все члены Учредительного Собрания и некоторые общественные деятели, сидевшие в ожидании скорого освобождения, добровольно возвратились в тюрьму, и свое возвращение зафиксировали в тюремной конторе, в книге для записи добровольно вернувшихся. В ту же ночь, с 22 на 23 декабря, когда в Куломзине происходила расправа с повстанцами, а в самом Омске белогвардейские офицеры сеяли панику в населении массовыми арестами и расстрелами, по приказу Колчака был организован военно-полевой суд. Когда суд начал действовать, в тюрьму явились офицеры красильниковского отряда с поручиком Барташевским во главе и вывели оттуда сперва одну, а затем другую группу заключенных. Из первой группы один заключенный (рабочий) был застрелен на пути в суд, в городе, остальные судились и были приговорены частью к расстрелу, частью к каторге (кроме одного провокатора); другая группа была доведена лишь до здания, в котором происходил суд, там к ней присоединены были судившиеся, и все были отведены за Иртыш, где и были расстреляны (опять кроме провокатора). В то же время подошедший к тюрьме с партией арестованных накануне восстания 42 рабочих начальник унтер-офицерской школы капитан Рубцов зашел в тюрьму с требованием выдать ему заключенных Девятова, Кириенко, Михельсона, Миткевича и Попова. Михельсон оказался бежавшим, болевших тифом Попова и Миткевича Рубцов не решился взять из сыпнотифозных палат больницы, а Девятова и Кириенко присоединил к партии рабочих, и все 44 человека были расстреляны. Интересна маленькая подробность, выяснившаяся уже при следствии по делу арестованного в 1920 г. Советской властью капитана Рубцова: 42 рабочих были расстреляны им в 1 час ночи, а «судили» их в 4 часа утра, т. е. после расстрела, мертвых. Кроме эс-эра Девятова в ту ночь оказались расстрелянными Барташевским эс-эры Фомин, Брудерер, Саров, Лиссау, Марковецкий, а из мень-

шевиков, кроме Кириенко, еще Маевский. Последний был известен в истории социал-демократии в качестве старого меньшевика, организатора сибирского социал-демократического союза. Настоящая фамилия его была Гутовский. Эс-эро-чехо-словацкий переворот он приветствовал телеграммой, присланной им в Омск, а в колчаковское время он редактировал челябинскую газету «Власть Труда», без направления, но высказавшуюся против «переворота 18 ноября».

Колчак — для формы — действительно поручил военному прокурору Кузнецову расследование обстоятельств убийств 22 декабря. Расследование обнаружило лишь то, что было известно с самого начала от непосредственных участников убийства — Рубцова и красильниковцев: Барташевского, Вилленталь, Шемякина и других — Барташевский был арестован, но затем освобожден. Рубцов оставался на своем месте во главе унтер-офицерской школы, производившей позднее расстрелы по приговорам военных судов. Другим было предложено «скрыться», и само начальство снабдило их нужными паспортами. Часть их из отряда Красильникова перешла в отряд другого крупного бандита — атамана Анненкова.— *434.*

[76] Тельберг — юрист, прив.-доц. Московского и затем проф. Саратовского и Томского университетов. На правительственной работе выдвинулся с первых дней Колчака сначала в должности управляющего делами правительства, организатора государственного экономического совещания; член совета верховного правителя и позднее министр юстиции.— *453.*

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Кларов

ДОПРОС В ИРКУТСКЕ

ДОПРОС КОЛЧАКА

АРЕСТАНТ
ПЯТОЙ КАМЕРЫ

Редактор *В. Е. Вучетич*
Младший редактор *Н. М. Жилина*
Художник *П. В. Меркулов*
Художественный редактор *А. Я. Гладышев*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9053

Сдано в набор 22.05.90. Подписано в печать 21.09.90. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 27,87. Тираж 200 000 экз. Заказ № 908. Цена 3 руб.

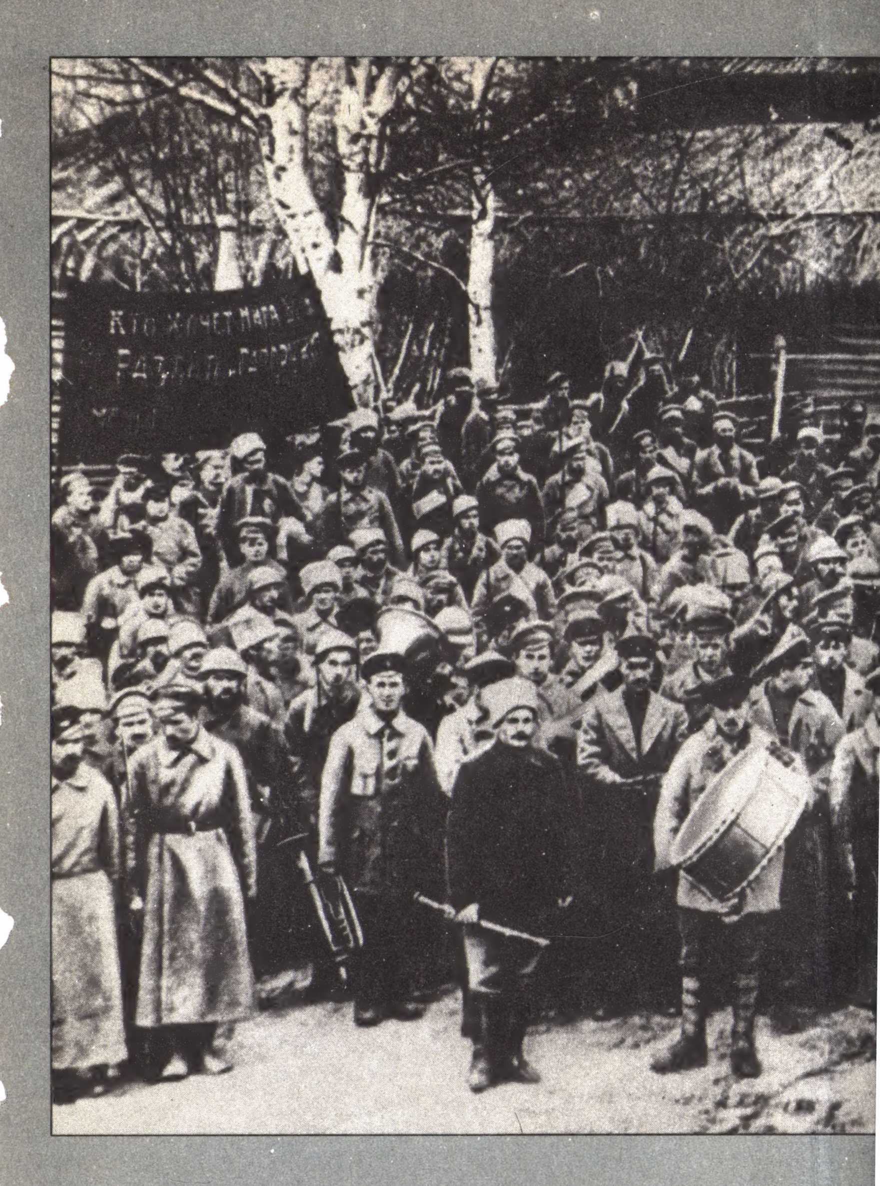
Политиздат.
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



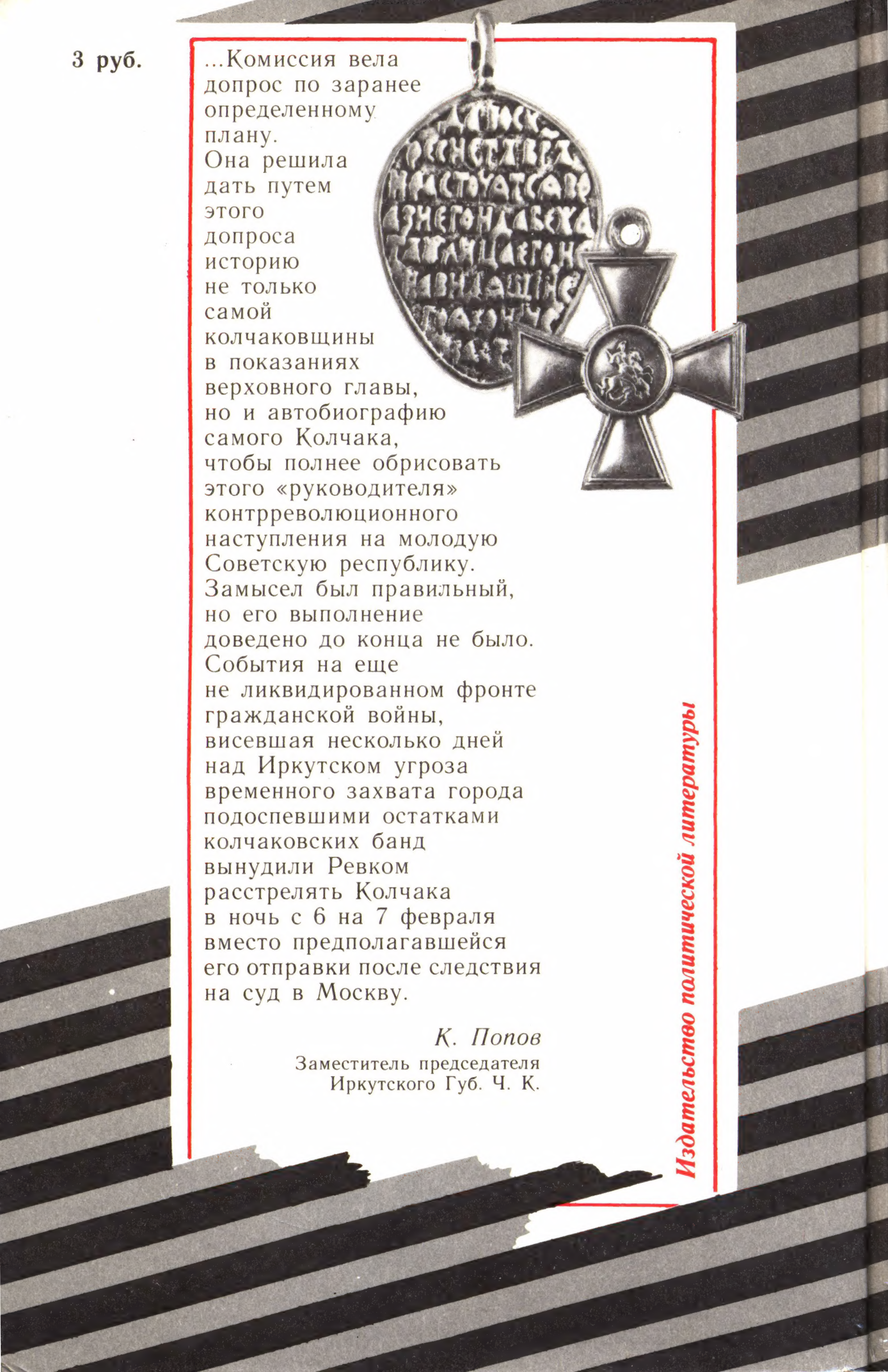
Похороны жертв колчаковщины.
Омск, 1919 г.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Отправка красноармейцев
на Восточный фронт.
1919 г.




3 руб.
...Комиссия вела допрос по заранее определенному плану. Она решила дать путем этого допроса историю не только самой колчаковщины в показаниях верховного главы, но и автобиографию самого Колчака, чтобы полнее обрисовать этого «руководителя» контрреволюционного наступления на молодую Советскую республику. Замысел был правильный, но его выполнение доведено до конца не было. События на еще не ликвидированном фронте гражданской войны, висевшая несколько дней над Иркутском угроза временного захвата города подоспевшими остатками колчаковских банд вынудили Ревком расстрелять Колчака в ночь с 6 на 7 февраля вместо предполагавшейся его отправки после следствия на суд в Москву.
К. Попов
Заместитель председателя
Иркутского Губ. Ч. К.
Издательство политической литературы


АРЕСТАНТ пятой камеры